АЛЕКСАНДР БЛОК

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ







СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией

В. Э. ВАЦУРО
Н. К. ГЕЯ
С. А. МАКАШИНА
А. С. МЯСНИКОВА
В. Н. ОРЛОВА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

АЛЕКСАНДР
БЛОК
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

8 Р1
Б 70

Составление, подготовка текста
и комментарии
ВЛ. ОРЛОВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Б $\frac{70202-244}{028(01)-80}$ **50-80** **4702010200**

ИСПЕПЕЛЯЮЩИЕ ГОДЫ

(Продолжение)

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

В. А. ЗОРГЕНФРЕЙ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК

(По памяти за пятнадцать лет: 1906—1921 гг.)

27 апреля этого года, во вторник, в редакции «Всемирной литературы», виделся я, как обычно, с А. А. Блоком и недолго с ним разговаривал; после того отвлекся другими разговорами и делами; но к концу дня, вернувшись домой, вспомнил опять Блока — хмурого в тот день, молчаливого, явно больного, и впервые за пятнадцать лет знакомства с А. А. подумал, что недостаточно его видеть и слышать — необходимо записывать впечатления виденного и слышанного. В тот же вечер я заполнил несколько страниц набросками воспоминаний о Блоке, наскоро и начерно, и приготовил тетрадь для дальнейших записей. Тетрадь эта осталась незаполненной. После 27 апреля увидел я Блока на столе, в комнате на Офицерской.

Раздумывая над неудачей своего замысла, я оправдываю себя и утешаюсь. Да, ценно для современников и для потомства каждое слово Блока, каждое его движение. Из этих слов и движений воссоздастся в веках — не живой облик гениального поэта, но хотя бы колеблемая отражениями жизни тень. Может быть, посчастливится сделать это, в сколько-нибудь полной мере, другим. Объяснение моей неудачи в той неизменной взволнованности, с которою я каждый раз, при разнообразных обстоятельствах, созерцал и слушал Блока. Сознанием его высоты был я проникнут с первой минуты, как его увидел, — и задолго до этой минуты. Но то необъяснимо волнующее и, при видимом спокойствии, страстное, что всегда было во взоре и в голосе А. А., нередко скрывало от меня формальный смысл его речей, всегда отрывочных

и напряженных; волшебная прелесть его существа зачаровывала взор и внимание. Разговор с ним был — как разговор с тем, с тою, может быть, кого любишь: чрезмерно напряженная восприимчивость улавливала каждый звук, каждое движение, но порядок звуков и движений, смысл их терялись; оставалось слитное впечатление переживаемой радости. И как любящему благоговейно и нежно не придет в мысль, в итоге богатого впечатлениями дня, воспроизвести, в форме точных записей, речи и поступки любимого человека, так не в силах был сделать этого и я.

Может быть, и для Блока, при всем несходстве его, по ритму души, с Гете, найдется свой Эккерман; цель моих заметок — поведать, поскольку я в силах, о тех высоких впечатлениях, которые, обрываясь и возобновляясь, заполнили пятнадцать лет моей жизни — период личного знакомства с А. А. Воспоминания мои будут, по необходимости, отрывочны и неполны. Ничего не утрачено; ничего не забыто; но все так глубоко и тяжко запало в тайники сознания, что труд воспроизведения радостно пережитого мучителен и кажется, мгновениями, безнадежным.

В 1902 году вышел сборник стихотворений студентов С.-Петербургского университета под редакцией приват-доцента Б. Никольского [1]. В сборник, выгодно выделявшийся в ряду подобных изданий удачным подбором материала, вошли два стихотворения А. Блока — поэта, никому в то время не известного *. В памяти моей эти стихотворения тогда же уместились прочно и навсегда, а неведомое имя «Блок» запомнилось и зазвучало волнующе. Стихи, подписанные этим именем и появлявшиеся в 1903 и 1904 годах в альманахах «Гриф», в «Новом пути» и в «Журнале для всех», входили в мое сознание воплощением томивших душу мою тайн; в созвездии поэтов благодатной эпохи начала XX столетия вспыхнуло новое светило — и зажглось своим особенным, небывалым и несравненным блеском. К тому времени, когда вышли «Стихи о Прекрасной Даме», у меня, наряду с страстным желанием увидеть, узнать автора книги, возникло и укрепилось чувство, которое я не могу назвать иначе как

* «Чем больней душе мятежной» и «Видно, дни золотые пришли». (*Примеч. В. А. Зоргенфрея.*)

сомнением в подлинности его существования среди нас. Казалось, что человек, в его земном образе, не может быть создателем таких слов.

Много прошло времени, прежде чем увидел я Блока. Литературные мои знакомства были ограничены; потом, когда круг их расширился, Блок долгое время оставался за его пределами. Я не упускал случая узнать что-либо об Александре Александровиче; расспрашивал о нем всех, так или иначе к нему прикосновенных. Помню, В. С. Миролюбов, в то время редактор «Журнала для всех», исповедуя меня, по своей привычке, как начинающего автора, первый удовлетворил моей любознательности, сообщив мне, что А. А. «высок, широкоплеч, крепок здоровьем, женат и видимо счастлив». Вл. Пяст отзывался о Блоке в выражениях восторженных, но недостаточно определенных: преобладали эпитеты «прекрасный» и «божественный». Поэт А. А. Кондратьев, человек терпеливый, общительный и изысканно-любезный, рисовал более точные образы: помнится, он сравнивал очертания лица Блока с профилями на древних монетах, изображающих диадохов — преемников Александра Великого. С. Городецкий давал порывистые реплики, не будучи в силах сосредоточиться хотя бы на секунду, но именно он познакомил меня впоследствии с А. А.

Просматривая свой «архив» за 1905—1906 годы, я нахожу следы пережитых волнений. Дружеские приглашения поэтов неизменно сопровождаются упоминаниями о Блоке — и упоминаниями неутешительными. «Хотя Блок у меня завтра не будет, зайдите ко мне»; «Блока не будет — он всецело поглощен экзаменами» и т. п. И, наконец, записка от Городецкого: «Будет Блок и еще несколько человек».

Поздней весною 1906 года, к вечеру светлого воскресного дня, приехал я в Лесной, на дачу к С. Городецкому (Новосильцовская ул., 5). Из собравшихся помню, кроме хозяев, А. М. Ремизова, К. А. Эрберга, П. П. Потемкина. Едва уселись за стол на балконе, как появился запоздавший несколько А. А. Первое впечатление — необычайной светлости и твердости — осталось навсегда и в течение долгого, немеркнущего весеннего петербургского дня пополнилось новыми, радостными впечатлениями. Таким, конечно, должен был быть А. А.; таким только и мог он быть...

Описывать чью бы то ни было наружность — трудная задача; описать наружность Блока — труд ответственный и, чувствую, для меня непосильный. Между тем с каждого из видевших Блока спросится. Портреты и фотографические снимки не удовлетворят потомков, как нас не удовлетворяют изображения Пушкина, — мы ищем живых свидетельств в записках современников, записках скудных и неопределенных, и до сих пор работою воображения пополняем недочеты изобразительных средств того времени.

В наружности всякого человека есть нечто текучее, непрестанно образуемое. Только безнадежно мертвые духом обладают установившейся, легко поддающейся определению внешностью. «Мертвые души» Гоголя — благодарный материал для художников даже недаровитых. Чем напряженнее и богаче духовная жизнь, тем больше в облике человека колебаний света и теней, тем неуловимее переходы от духа к материи, тем разнообразнее его видимые явления. И притом, по необычайно меткому выражению В. В. Розанова, человек бывает сам собою лишь в редкие минуты, когда он обретается «в фокусе» своего я[2].

Прошло более пятнадцати лет с того дня, как увидел я впервые Александра Александровича; образы живого Блока встают в моей памяти, надвигаясь друг на друга, затуманиваясь мгновениями и озаряясь потом волшебным светом. Черты внешнего величия пребывают неизменно; но тон, окраска, даже протяженность форм, соотношение линий — меняются в игре душевных сил.

В тот весенний день увидел я человека роста значительно выше среднего; я сказал бы: высокого роста, если бы не широкие плечи и не крепкая грудь атлета. Гордо, свободно и легко поднятая голова, стройный стан, легкая и твердая поступь. Лицо, озаренное из глубины светом бледно-зеленоватых, с оттенком северного неба, глаз. Волосы слегка вьющиеся, не длинные и не короткие, светло-орехового оттенка. Под ними — лоб широкий и смуглый, как бы опаленный заревом мысли, с поперечной линией, идущей посредине. Нос прямой, крупный, несколько удлиненный. Очертания рта твердые и нежные — и в уголках его едва заметные в то время складки. Взгляд спокойный и внимательный, остро и глубоко западающий в душу. В матовой окраске лица, как бы изваянного из воска, странное в гармоничности своей сочетание юноше-

ской свежести с какой-то изначальною древностью. Такие глаза, такие лики, страстно-бесстрастные, — на древних иконах; такие профили, прямые и четкие, — на уцелевших медалях античной эпохи. В сочетании прекрасного лица со статною фигурой, облеченной в будничный наряд современности — темный пиджачный костюм с черным бантом под стоячим воротником, — что-то, говорящее о нерусском севере, может быть — о холодной и таинственной Скандинавии. Таковы, по внешнему облику, в представлении нашем, молодые пасторы Христиании или Стокгольма; таким, в дни подъема и твердости душевных сил, являлся окружающим Иёста Берлинг, вдохновенный артист, «обольститель северных дев и певец скандинавских сказаний» [3].

Конечно, я не запомнил в точности разговоров того вечера. Беседа велась в буднично-шутливом тоне; темою служили по преимуществу события текущей литературно-художественной жизни. Сидя над тарелкой с холодным мясом, А. А. спокойно и внимательно прислушивался к перекрестным застольным разговорам и лишь изредка давал ответы на порывистые замечания Городецкого, толковавшего о сборнике «Факелы» и тут же, при помощи нескольких спичек, изображавшего эти факелы в натуре. Кажется, в эти дни А. А. покончил с государственными экзаменами и не без удовольствия сообщил, что продал свое студенческое пальто. Из высказанного им помню, что на чей-то вопрос — кого он более ценит как поэта, Бальмонта или Брюсова, А. А. ответил, не колеблясь, что — Бальмонта.

Встав из-за стола, пошли в парк и долго бродили в окрестностях Лесного, руководимые Городецким. Весеннее, несколько приподнятое настроение владело всеми. Городецкий проявлял его бегом и прыжками, умудряясь на ходу цитировать и пародировать множество стихов, своих и чужих; А. М. Ремизов подшучивал над Эрбергом, именуя его «человеком в очках» [4] и утверждая, что он впервые видит деревья и траву и крайне всему этому удивляется; Блок мягко улыбался, храня обычную неторопливость движений и внимательно ко всему прислушиваясь. Встретив на дорожке преграду в виде невысокого барьера, Городецкий через него перепрыгнул и предложил то же сделать другим; кое-кто попытался, но Блок, помню, обошел барьер спокойно и неторопливо.

Вернувшись, уселись в круг и принялись за чтение стихов. Та пора — 1906 год — была порою расцвета поэтической школы, душой которой и тогда уже был Блок, а главою которой был признан много лет спустя. Каждый день дарил поэзию новыми радостями, и роскошество ее стало для нас явлением привычным. Но, даже избалованные обилием красоты, внимали мы в тот вечер с наново напряженным благоговением Блоку, прочитавшему три свои недавние, никому из нас не известные стихотворения: «Нет имени тебе, мой дальний», «Утихает светлый ветер» и «Незнакомка».

Я впервые слышал Блока; впервые к магии его слов присоединилась для меня прелесть голоса, глубокого, внятного, страстно-приглушенного. Тысячи людей слышали за последние годы, как говорит и читает Блок; они, конечно, не забудут. Но что останется другим, тем, кто от нас узнает имя Блока? Свистящая граммофонная пластинка, передающая произведенную в 1920 году запись голоса А. А., — прослушав которую он, по словам очевидцев, помолчал и сказал потом: «Тяжелое впечатление...» [5]

Охарактеризовать чтение Блока так же трудно, как описать его наружность. Простота — отличительное свойство этого чтения. Простота — в полном отсутствии каких бы то ни было жестов, игры лица, повышений и понижений тона. И простота — как явственный, звуковой итог бесконечно сложной, бездонно глубокой жизни, тут же, в процессе чтения стихов, созидаемой и утверждающейся. Ни декламации, ни *поэтичности,* ни ударного пафоса отдельных слов и движений. Ничего условно-актерского, эстрадного. Каждое слово, каждый звук окрашены только изнутри, из глубины наново переживающей души. В тесном дружеском кругу, в случайном собрании поэтов, с эстрады концертного зала читал Блок одинаково, просто и внятно обращаясь к каждому из слушателей — и всех очаровывая.

Так было и в тот памятный день. Названные мною три стихотворения — и «Незнакомка» по преимуществу — были началом, сердцем новой эры его творчества; из них вышла «Нечаянная Радость». Помню, «Незнакомка», недавно написанная и прослушанная нами весенним вечером, в обстановке «загородных дач», после долгой прогулки по пыльным улицам Лесного, произвела на всех

мучительно-тревожное и радостное впечатление, и Блок, по просьбе нашей, читал эти стихи вновь и вновь.

Вслед за тем читали другие; но из прослушанного ничего не запомнилось, да и слушать не хотелось. Настроение, приподнятое вначале, улеглось; разговоры повелись шепотом. А. А. с обычной готовностью записал кое-кому стихи в альбомы и с улыбкою подошел ко мне — благодарить за только что присланные стихи, ему посвященные[6]. Стихи были слабые, и я чувствовал себя до крайности смущенным; не останавливаясь на них, А. А. перешел к прочитанным мною в тот вечер стихотворениям. Несколько слов его, как всегда неожиданных и внешне смутных, были для меня живым свидетельством его пристального внимания. П р о с т о, — и я это ясно п о н я л, — не в формах обычной литераторской общительности А. А. пригласил меня навестить его; тогда же мы условились о дне встречи, и А. А. сделал то, что часто делал и в дальнейшем и что каждый раз внушающе на меня действовало: вынул записную книжку небольшого размера и пометил в ней день и час предположенного свидания. Черта аккуратности — эта далеко не последняя черта в сложном характере Блока — впервые открылась мне.

В том году Блок переехал с квартиры в Гренадерских казармах на другую — кажется, Лахтинская, 3. Там побывал я у него впервые. Помню большую, слабо освещенную настольного электрическою лампой комнату. Множество книг на полках и по стенам, и за ширмой невидная кровать. На книжном шкафу, почти во мраке — фантастическая, с длинным клювом птица. Образ Спасителя в углу — тот, что и всегда, до конца дней, был с Блоком. Тишина, какое-то тонкое, неуловимое в простоте источников изящество. И у стола — хозяин, навсегда мне отныне милый. Прекрасное, бледное в полумраке лицо; широкий, мягкий отложной белый воротник и свободно сидящая суконная черная блуза — черта невинного эстетизма, сохраняемая исключительно в пределах домашней обстановки. Таким изображен он на известном фотографическом снимке того времени; таким я видел его не раз и в дальнейшем; но, насколько знаю, никогда не появлялся он в этом наряде вне дома. В кругу приятелей-поэтов, в театре, на улице был он одет *как все,* в пиджачный костюм или в сюртук, и лишь иногда

пышный черный бант вместо галстуха заявлял о его принадлежности к художественному миру. В дальнейшем перестал он и дома носить черную блузу; потом отрекся, кажется, и от последней эстетической черты и вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос стал курить папиросы обыкновенные.

Правда, внешнее изящество — в покрое платья, в подборе мелочей туалета — сохранил он на всю жизнь. Костюмы сидели на нем безукоризненно и шились, по-видимому, первоклассным портным. Перчатки, шляпа «от Вотье». Но, убежден, впечатление изящества усиливалось во много крат неизменной и непостижимой аккуратностью, присущей А. А. Ремесло поэта не наложило на него печати. Никогда — даже в последние трудные годы — ни пылинки на свежевыутюженном костюме, ни складки на пальто, вешаемом дома не иначе как на расправку. Ботинки во всякое время начищены; белье безукоризненной чистоты; лицо побрито, и невозможно его представить иным (иным оно предстало после болезни, в гробу).

В последние годы, покорный стилю эпохи и физической необходимости, одевался Блок иначе. Видели его в высоких сапогах, зимою в валенках, в белом свитере. Но и тут выделялся он над толпой подчинившихся обстоятельствам собратий. Обыкновенные сапоги казались на стройных и крепких ногах ботфортами; белая вязаная куртка рождала представление о снегах Скандинавии.

Возвращаюсь к вечеру на Лахтинской, к полумраку рабочей комнаты, где, в просторной черной блузе, Блок предстал мне стройным и прекрасным юношей итальянского Возрождения. Беседа велась на темы литературные по преимуществу, если можно назвать беседой обмен трепетных вопросов и замечаний с моей стороны и прерывистых, напряженно чувствуемых реплик А. А., идущих как бы из далекой глубины, не сразу находящих себе словесное выражение. Неожиданным, поначалу, показалось мне спокойное и вдумчивое отношение А. А. к лицам и явлениям поэтического мира, выходившим далеко за пределы родственных ему течений. Школа, которой духовным средоточием был он, не имела в нем слепого поборника — мыслью он обнимал все живое в мире творчества и суждения свои высказывал в форме необычайно мягкой, близкой к неуверенности. О себе самом, невзирая на наводящие мои вопросы, почти не говорил, но много и подробно расспрашивал обо мне и слушал мои

стихи; не проявляя условной любезности хозяина или величавой снисходительности маэстро, ограничивался замечаниями относительно частностей или же просто и коротко, но чрезвычайно убежденно говорил, правдиво глядя в глаза: «нравится» или «вот это не нравится». Так, насколько я заметил, поступал он в отношении всех.

Когда я уходил, за стеною кабинета, в смежной квартире, раздалось негромкое пение; на мой вопрос — не тревожит ли его такое соседство, А. А., улыбаясь, ответил, что живут какие-то простые люди, и чей-то голос поет по вечерам: «Десять любила, девять разлюбила, одного лишь забыть не могу» — и что это очень приятно. Еще одна черта блоковского гения открылась мне, прежде чем певец Прекрасной Дамы, Незнакомки и Мэри сказался по-новому в стихах о России.

После того виделся я с Блоком часто. С Петербургской стороны переехал он на Галерную улицу и несколько лет жил там, в доме № 41, кв. 4. От ряда посещений — всегда по вечерам — сохранилось у меня общее впечатление тихой и уютной торжественности. Квартира в три-четыре комнаты, обыкновенная средняя петербургская квартира «с окнами во двор». Ничего обстановочного, ничего тяжеловесно-изящного. Кабинет (и в то же время спальня А. А.) лишен обычных аксессуаров обстановки, в которой «живет и работает» видный писатель. Ни массивного письменного стола, ни пышных портьер, ни музейной обстановки. Две-три гравюры по стенам, и в шкапах и на полках книги в совершеннейшем порядке. На рабочем столе ничего лишнего. Столовая небольшая, почти тесная, без буфетных роскошеств. Мебель не поражает стильностью. И в атмосфере чистоты, легкости, свободы — он, *Александр Блок,* тот, кто вчера создал, может быть, непостижимые, таинственные строки и кто сегодня улыбается нежной улыбкой, пристально глядя вам в глаза, в чьих устах ваше примелькавшееся вам имя звучит по-новому, уверенно и значительно. Вечер проходит в беседе неторопливой и — какова бы ни была тема — радостно-волнующей. Отдельные слова, как бы добываемые, для большей убедительности, откуда-то из глубины, порою смутны, но неизменно точны и выразительны.

По собственному почину или, может быть, угадывая мое желание, А. А, читает последние свои стихи и —

странно — очень интересуется мнением о них. Выражение сочувствия его радует, а замечаниям, редким и робким, он противопоставляет, по-детски искренно, ряд объяснений. Бурные общественно-политические события того времени своеобразно преломляются в душе А. А. и находят себе, в беседе, особое, звуковое, внешне искаженное выражение. Чувствуются настороженность и замкнутость художника, оберегающего свой мир от вторжения враждебных его целям стихий. С наивным изумлением узнает А. А., что я не только пишу стихи, но и временами вплотную подхожу к общественной жизни и пытаюсь принять в ней участие. Об обстоятельствах обыденных расспрашивает он меня с опасливым любопытством человека из другого мира. О себе говорит мало. Ни самодовольства, ни самоуверенности в человеке, чье имя уже звучит как слава, чья личность окружена постепенно нарастающим культом.

Переходим в столовую и пьем чай. Молчаливо присутствует Любовь Дмитриевна, жена А. А. Большой любитель чаепития, А. А. совершает этот обряд истово и неторопливо. Курит, с глубоким вздохом затягиваясь. В изгибе крупных пальцев, крепко сжимающих папиросу, затаенная, сдержанная страсть.

Прощаюсь — и заранее знаю, что в последний миг встречу глубокий, чистый и пристальный взор, как бы договаривающий недоговоренное.

Тогда, в 1906 году, начал встречаться с Блоком и у общих наших знакомых — на вечерах у гостеприимного А. А. Кондратьева, патетического Пяста, на «средах» у Вячеслава Иванова. А. А., покончивший только что с государственными экзаменами, вновь стал доступен дружеской среде. Помню его здоровым, крепким, светло улыбающимся — как входит он, с тревожной надеждой ожидаемый многими, держа руку с отставленным слегка локтем в кармане пиджака, с поднятою высоко головою. В кругу тех, кого он называл друзьями, был он признан и почтительно вознесен; но ни с кем не переходя на короткую ногу, не впадая в сколько-нибудь фамильярный тон, оставался неизменно скромен и прост и ко всем благожелателен. Деликатный и внимательный, одаренный к тому же поразительной памятью, никогда не забывал он, однажды узнав, имени и отчества даже случайных

знакомых, выгодно отличаясь этим от рассеянных маэстро, имя которым легион. Молчаливый в общем, ни на секунду не уходил в обществе в себя и не впадал в задумчивость. Принимая, наряду с другими, участие в беседе, избегал споров; в каждый момент готов был разделить общее веселье. На вечере у Пяста слушал, сочувственно улыбаясь, пародии Потемкина на себя, на А. Белого, на Вячеслава Иванова; принял потом, как и все, участие в неизменных буримэ и, чуждый притязаний на остроумие, писал на бумажке незамысловатые слова. Так, сидя рядом со мной и получив от меня начало:

Близятся выборы в Думу,
Граждане, к урнам спешите, —

продолжил он приблизительно в таком роде:

Держите, ловите свирепую пуму,
Ловите, ловите, держите![7]

Еще не так давно, в минувшем 1920 году, придя на собрание Союза поэтов, уставший и измученный, играл он, вместе со многими, ему далекими и чуждыми, в ту же игру — и не стяжал, конечно, приза[8].

«Чуждый притязаний на остроумие», — написал я выше. Можно сказать больше. Остроумие, как таковое, как одно из качеств, украшающих обыденного человека, вовсе не свойственно было А. А. и, проявляемое другими, не располагало его в свою пользу. Есть, очевидно, уровень душевной высоты, начиная от которого обычные человеческие добродетели перестают быть добродетелями. Недаром в демонологии Блока столь устрашающую роль играют «испытанные остряки»: их томительный облик, наряду с другими гнетущими явлениями, предваряет пришествие Незнакомки в стихах и в пьесе того же имени. Представить себе Блока острословящим столь же трудно, как и громко смеющимся. Припоминаю — смеющимся я никогда не видел А. А., как не видел его унылым, душевно опустившимся, рассеянным, напевающим что-либо или насвистывающим. Улыбка заменяла ему смех. В соответствии с душевным состоянием переходила она от блаженно-созерцательной к внимательно-нежной, мягкоучастливой; отражая надвигающуюся боль, становилась горестно-строгой, гневной, мученически-гордой. Те же, не поддающиеся внешнему, мимическому и звуковому определению, переходы присущи были и его взору, всегда

пристальному и открытому, и голосу, напряженному и страстному. Но в то время, в годы, когда создавалась «Нечаянная Радость», и улыбка, и взор, и голос запомнились мне светлыми и спокойными. Магическое таилось в тайниках души, не возмущаемое соприкосновениями со стихиями жизни. «Так. Неизменно все, как было» — эти стихи записал мне в альбом А. А. в конце 1906 года, объяснив, что в них ответ на мои смутные, вновь и вновь высказываемые опасения измены...

В числе немногих посещал Блок в то время милого и гостеприимного, благодушного не без лукавства А. А. Кондратьева. Вечера, на которые хозяин собирал гостей, не стесняясь различием школ и вкусов, проходили шумно и не без обильных возлияний. А. А. не отстранялся от участия в общем веселье. Помню вечер, затянувшийся до утра, когда выпито было все, что нашлось в доме, вплоть до только что заготовленной впрок наливки. Среди гостей, расположившихся в вольных позах на диванах и по коврам, благодушно и доброжелательно улыбающийся А. А., уже прочитавший множество стихов и слушающий не вполне членораздельные вдохновения присутствующих. Кто-то в порыве одушевления предложил, за невозможностью продолжать веселье у хозяина или где-либо в ресторане, посетить «приют любви». Мысль встретила решительное сочувствие; взоры некоторых обратились на А. А. Не желая, по-видимому, выделяться, он просто и скромно согласился принять участие, но выразил надежду, что предполагаемая поездка «ни к чему не обязывает» каждого участника в отдельности. Через несколько минут, впрочем, предложение было забыто.

В ту же зиму — 1906—1907 года — не раз встречал я Блока на средах у Вячеслава Иванова, памятных, вероятно, многим. На среды собирался весь художественный и интеллектуальный Петербург, являлись гости из Москвы и из провинции, и едва ли европейски любезные хозяева знали в лицо всех присутствовавших. Читались заранее намеченные доклады, или предлагалась тема для дискуссий; председатель усаживался за стол, и началось словесное роскошество. Темы художественно-литературные, научно-философские и общественно-политические переплетались в сложной игре мудрословия, оплодотворенного эрудицией, и остроумия, вдохновленного наитием. Не помню, чтобы принимал участие в этих беседах Блок; но помню, как выходил он, по окончании словопрений,

читать стихи — и знаю: многие и многие из собравшихся, считая минуты, ждали этого мига. Стройный и высокий, в черном сюртуке с черным бантом, становился он у стола — и забывались и обесценивались итоги с таким напряжением проведенных дискуссий.

Кроме сред Вячеслава Иванова, показывался Блок в то время более широкому кругу лиц на собраниях литературно-художественного кружка «молодых» при С.-Петербургском университете и на открытых его вечерах. Мне запомнился третий вечер кружка, 1 февраля 1907 года, когда М. А. Кузмин читал, сопровождая музыкою, свои «Куранты любви», а А. А. — пьесу «Незнакомка». (Эту же пьесу прочел он перед тем, в тесном кругу, у себя дома, 12 января 1907 года.) Впервые, кажется, в Петербурге представители новой поэзии лицом к лицу сошлись с публикою, настроенною частью пассивно-выжидательно, частью настороженно. Помню перешептывания, отдельные недоуменные и иронические возгласы; но помню и трепетную настороженность слушателей, наполнивших старую физическую аудиторию университета и ловивших слова четкие, чистые, волшебно-внушающие. В этот вечер новая поэзия одержала первую победу над косною стихией толпы; и увы! с этого вечера новая поэзия вошла в массы и превратилась в обиходно-литературный материал.

1907 год начался для Блока «Снежною маскою». В тридцати стихотворениях этого цикла, написанных, по словам А. А., в две недели, отразилась напряженность налетевших на поэта вихрей. «Простите меня за то, что я все еще не писал Вам, несмотря на то, что мне хочется и видеть Вас и говорить с Вами. Все это оттого, что я в очень тревожном состоянии и давно *уже*», — пишет Блок мне 11 февраля 1907 года. Таким, тревожным, и вспоминаю я Блока в этот период, и следы этой тревоги проходят через ряд лет.

В 1907 году — та же квартира на Галерной, и лишь круг друзей несколько изменился. Театральный мир заявляет о себе. В столовой, за чайным столом, артистки театра Коммиссаржевской В. П. Веригина и Н. П. Волохова, В. Э. Мейерхольд, С. А. Ауслендер. Разговоры на театральные темы преобладают. Узнаю, что в прежние годы А. А. не раз выступал на сцене, играя даже Гамлета

и Чацкого. В биографии А. А. останется горестный пробел, если никто из видевших его в этих ролях не поделится с читателями своими впечатлениями. Думается мне, что не одно только любительство должно было проявиться в игре Блока: сочетание на сцене единственного, вне сравнения, поэта-чтеца с человеком — глубоко не актером — должно было дать единственные, разительные результаты [9].

Не помню отдельных посещений Блока в 1907 году; жил он тогда, отгораживаясь от внешнего мира, и изредка собирал у себя близких знакомых. Литературная известность, которой, по выражению Блока, «грош цена», уже стучалась к нему в двери и томила его до такой степени, что номер своего телефона он сообщал лишь немногим и в списке телефонных абонентов не значился. Вспоминаю осенний день, когда, не предупредив, зашел я к А. А. на Галерную. Прислуга сообщила, что хозяина нет дома, и лишь через две-три минуты догнала меня на улице. А. А. был дома, один, но боялся нежданных посещений...

Драмою «Фаина» («Песня Судьбы») закончился период бурь. В ней, в ее последних строках, в песне путника — весть о России, возврат к надежде. Эту драму читал он, собрав многочисленное общество, у себя на дому, 1 мая 1908 года. («Если не боитесь длинного чтения, приходите, пожалуйста...» — черта обычной скромности в пригласительном письме от 28 апреля.) В чтении «Фаины», в словах этой драмы, мучительной, слишком личной, литературно не удавшейся, чувствовалась и болезненно воспринималась ужасающая усталость; по окончании чтения А. А., сохраняя, как всегда, пристальное внимание к словам присутствующих, не примкнул, однако, к завязавшейся беседе и слушал молча. Мелочь: будучи в некоторой мере специалистом, я «в обуви ошибку указал» [10] — отметил, что локомотивы, фигурирующие в выставочном зале, не могут быть «с большими маховыми колесами», как прочитал автор; А. А. пытался отстоять свое понимание, но затем, признав мое превосходство, тут же заменил маховые колеса ведущими.

Личные обстоятельства надолго затем отвлекли меня от литературной жизни, и с 1909 по 1913 год встречи мои с Блоком были редкими и случайными. С неослабева-

ющим интересом встречая каждое его новое слово, издали следя за его жизнью, храня к нему благоговейную любовь, я уклонялся в то время, в силу тягостного своего душевного состояния, от непосредственной близости с А. А. и с мучительным чувством отклонял при встречах его дружеские приглашения. Помню его за эти годы в различных обликах. Ранней весною 1909 года встретился он мне на Невском проспекте с потемневшим взором, с неуловимою судорогою в чертах прекрасного, гордого лица и в коротком разговоре сообщил о рождении и смерти сына [11], чуть заметная пена появлялась и исчезала в уголках губ. На первом представлении «Пеллеаса и Мелизанды» [12] сидел он в партере рядом с женою, являя и осанкою, и выражением лица, и изяществом костюма вид величия и красоты; в цирке Чинизелли, в зимнем пальто и в каракулевой шапке, наклонялся к барьеру, внимательно всматриваясь в движения борцов;. и — припоминаю смутно — видел я его в угарный ночной час, в обстановке перворазрядного ресторана, в обществе приятеля-поэта, перед бутылкою шампанского; подносил ему розы и чувствовал на себе его нежную улыбку, его внимательный взор... Так продолжалось до 1914 года, когда тяжелая нервная болезнь разлучила меня с Петербургом — и с Блоком.

В санатории под Москвою, в июне 1914 года, получил я, в ответ на письмо и на стихи, посланные Блоку [13], письмо из с. Шахматова, ценное для меня по силе дружеского сочувствия и показательное в отношении душевного склада автора. Привожу это письмо в части, представляющей общий интерес:

«Письмо Ваше почти месяц лежит передо мной, оно так необычно, что я не хочу даже извиняться перед Вами в том, что медлю с ответом [14]. И сейчас не нахожу настоящих слов. Конечно, я не удивляюсь, как Вы пишете, что Вы лечитесь. Во многие леченья, особенно — природные, как солнце, электричество, покой, морская вода, я очень верю; знаю, что, если *захотеть,* эти силы примут в нас участие. Могущество нервных болезней состоит в том, что они прежде всего действуют на волю и заставляют перестать *хотеть* излечиться; я бывал на этой границе, но пока что выпадала как раз в ту минуту, когда руки опускались, какая-то счастливая карта; надо

полагать, что я втайне даже от себя самого страстно ждал этой счастливой карты.

Часто я думаю: того, чем проникнуто Ваше письмо и стихи, теперь в мире *нет*. Даже на языке той эры говорить невозможно. Откуда же эта тайная страсть к жизни? Я Вам не хвастаюсь, что она во мне сильна, но и не лгу, потому что только недавно испытал ее действие [15]. Знали мы то, узнать надо и это: жить «по-человечески»; после «ученических годов» — «годы странствий»... [16]

Воля к жизни восторжествовала, или выпала, может быть, «счастливая карта». <...>

Квартира на Офицерской, небольшая и незагроможденная, как и прежние квартиры. Отличие в том, что перед окнами не двор, не стена, а простор пустынной набережной Пряжки, и днями бьет в окна яркий солнечный свет. Тихо, и спокойно, и величаво, и передо мною все тот же светлый, с пристальным взором, с приглушенным голосом, Блок. Годы прошли над ним; бури жизни обветрили прекрасное лицо; гибельные пожары опалили чело заревом; но в открытом взоре — холод и свет алмазного сердца.

По свежему следу пережитого беседа вступает в область болезней души — и странным образом переплетается с темами войны. Может быть, потому, что мысли о войне и тяжкие предчувствия свойственны были мне и таинственно связаны с моею болезнью, и никто явственнее, чем Блок, не чувствовал связи между стихиями, потрясающими мир, и бурями, волнующими душу. И в начале 1915 года, и в дальнейшем, вплоть до 1917 года, отношение Блока к военным событиям нельзя было назвать иначе как безличным — не в смысле безразличия, а в смысле признания за ними свойств стихийных, поглощающих волю. Ни тени одушевления, владевшего — искренно или наигранно — интеллигентным обществом того времени, не проявлял А. А. в этих беседах; с другой стороны, не высказывал он, в сколько-нибудь определенной форме, активно отрицательного отношения к происходящему. В разговорах того времени, как и в стихах, он поминал Россию, томился по России, ждал ее...

При дальнейших свиданиях, нередких в 1915 году, попытки мои определить в нем личное чувство, сколько-ни-

будь близкое к гражданскому в действенном смысле этого слова, встречали неизменный неуспех. Переживая войну как грозу, томимый еще более грозными предчувствиями, он исключал свою волю из сферы действующих сил и лишь напряженно прислушивался к голосам стихий. В дни, когда знамения были, казалось, благоприятны, темнел он душою и ждал иного. Мне не забыть светлого воскресного дня, в кабинете на Офицерской, когда прочитал он стихи, которыми начинается «Седое утро»: «Будьте ж довольны жизнью своей, — тише воды, ниже травы...»[17] — глухо и угрожающе, подавляя волнение, произносил он, и когда, пораженный безысходностью отчаяния этих строк, я выразил изумление, он пояснил, помолчав: «Тут отступление на заранее подготовленные позиции...»

С той поры, при каждом свидании — на Офицерской, у меня дома и во время частых прогулок по окраинам Петроградской стороны, где в 1915—1916 годы любил бродить А. А., беседа неизменно начиналась «о России». Признаки упадка, ставшие для меня очевидными, встречали со стороны А. А. то безличное отношение, которое на первый взгляд казалось «нигилистическим» и за которым чувствовалась безграничная, жестоко подавляемая жалость и упорная вера в неизбежность единственного, крестного пути. Построения прогрессивных умов и вся психика входившей тогда в силу интеллигенции были глубоко чужды А. А.; помню, с интересом и сочувствием слушал он на прогулках мои полушуточные стихи на эти темы и скорбел о невозможности их напечатать[18]. Резкое несходство наших взглядов на некоторые вопросы теряло свою остроту. Более понимающего собеседника я не встречал. Аргументация Блока основывалась на общности чувств; доводы, смутные по форме, извлекались с каким-то творческим напряжением из глубины того же чувства и, будучи для логики отнюдь не убедительными, открывали новые области восприятия и понимания.

Петроградская сторона была в то время излюбленным местом прогулок Блока. Часто встречал я его в саду Народного дома; на широкой утоптанной площадке, в толпе, видится мне его крупная фигура, с крепкими плечами, с откинутой головой, с рукою, заложенной из-под отстегнутого летнего пальто в карман пиджака. Ясно улыбаясь, смотрит он мне в глаза и передает какое-либо последнее впечатление — что-нибудь из виденного тут же, в

саду[19]. Ходим между «аттракционами»; А. А. прислушивается к разговорам. «А вы можете заговорить на улице, в толпе, с незнакомыми, с соседями по очереди?» — спросил он меня однажды и не без гордости добавил, что ему это в последнее время удается.

Тут, в Народном доме, убедился я как-то, что физическая сила А. А. соответствует его внешности. Подойдя к пружинным автоматам, стали мы пробовать силу. Когда-то я немало упражнялся с тяжестями и был уверен в своем превосходстве; но А. А. свободно, без всякого напряжения, вытянул двумя руками груз значительно больше моего. Тут же поведал он мне о своем интересе к спорту и, в частности, о пристрастии к американским горам. Физическою силой и физическим здоровьем наделен он был в избытке и жаловался, как-то, на чрезмерность этих благ, его тяготящую.

Заходя по вечерам в кафе Филиппова на углу Большого пр. и Ропшинской ул., нередко встречал я там за столиком А. А. Незатейливая обстановка этого уголка привлекала его почему-то, и он, вглядываясь в публику и прислушиваясь к разговорам, подолгу просиживал за стаканом морса. «Я ведь знаю по имени каждую из прислуживающих девиц и о каждой могу рассказать много подробностей, — сказал он мне однажды. — Интересно». Посидев в кафе, ходили мы вместе по Петроградской стороне, и, случалось, до поздней ночи. Запомнился мне теплый летний вечер, длинная аллея Петровского острова, бесшумно пронесшийся мотор. «Вот из такого, промелькнувшего когда-то мотора вышли «Шаги Командора», — сказал А. А. — И два варианта» («С мирной жизнью покончены счеты...» и «Седые сумерки легли...»). И прибавил, помолчав: «Только слово *мотор* нехорошо, — так ведь говорить неправильно»[20].

Жизнь, неотступная, предъявила свои требования и к Блоку. Уже за несколько дней до призыва сверстников — ратников ополчения, родившихся в 1880 году, А. А. начал волноваться и строить планы, ничего, впрочем, не предпринимая. Со мною он делился опасениями, и я, с жестокостью и требовательностью человека, поклоняющегося, в лице Блока, воплощенному величию, предлагал ему единственное, что казалось мне его достойным: идти в строй и отнюдь не «устраиваться». Возражения А. А. были детски беспомощны и не обоснованы, как у других, принципиально... «Ведь можно заразиться, лежа

вповалку, питаясь из общего котла... ведь грязь, условия ужасные... Я мог бы устроиться в *** дивизии, где у меня родственник, но... не знаю, стоит ли»[21]. Так длилось несколько дней, и настал срок решиться.

«Мне легче было бы телом своим защитить вас от пули, чем помогать вам *устраиваться*», — полушутя, полусерьезно говорил я А. А. «Видно, так *нужно*, — возражал *он*. — Я все-таки кровно связан с интеллигенцией, а интеллигенция всегда была «в нетях». Уж если я не пошел в революцию, то на войну и подавно идти не стоит».

Я познакомил А. А. с инженером К<лассеном>, видным деятелем Союза Земств и Городов по организации инженерных дружин, и в последний момент А. А., за невозможностью подыскать что-либо более подходящее, был зачислен в табельщики и направлен на фронт.

Письмо А. А., сообщающее об этом и помеченное 8 июля 1916 года, кратко; вот оно:

«Вчера я зачислен в табельщики 13-й инженерно-строительной дружины и скоро уеду. Пока только кратко сообщаю Вам об этом и благодарю Вас. Что дальше — не различаю: «жизнь на Офицерской» только кажется простой, она сплетена хитро».

В военной форме, с узкими погонами «земсоюза», свежий, простой и изящный, как всегда, сидел Блок у меня за столом весною 1917 года; в Петербург он вернулся при первой возможности, откровенно сопричислив себя к дезертирам[22]. О жизни в тылу позиций вспоминал урывками, неохотно; «война — глупость, дрянь...» — формулировал он, в конце концов, свои впечатления. На вопрос, трудно ли ему приходилось, по должности табельщика, с рабочими дружины, отвечал, что с рабочими имел дело и раньше, когда перестраивал дом у себя в имении, и что ругаться он умеет. (Едва ли, конечно, нужно это понимать в буквальном смысле. Помню, как, по его словам, «ругался» он в 1920 году по телефону, когда, дав согласие на участие в вечере и подготовившись к выступлению, так и не дождался обещанного автомобиля: брань его состояла в попытке истолковать устроителям вечера, что такое обращение с художником «возмутительно».)

Надо надеяться, что «военный» период жизни Блока будет освещен кем-либо из близко его наблюдавших[23]. В то время, весною 1917 года, Блок всецело отдался но-

кому потоку. Творческие силы художника, казалось, дремали. Личные неудобства, и тогда уже ощутительные, мало смущали его. Так, рассказывал он мне, что, сидя на скамье на одном из московских бульваров[24], показался он подозрительным двум солдатам; один пожелал арестовать его; другой сказал, подумав, что — не стоит, и оба ушли. Об этом случае А. А. вспоминал с мягкой и сочувственной улыбкой.

Тогда же поступил он на службу в Высшую следственную комиссию, занятую разбором дел представителей бывшего правительства; насколько знаю, он заведовал редакцией стенографических отчетов и лично присутствовал при допросах министров. С этого года вообще появился Блок «на людях» и стал встречаться, по долгу службы, с представителями «здравого смысла». <...>

Много, однако, прошло времени, прежде чем угасла, затлевая и вновь вспыхивая, прекрасная жизнь. Гордое и холодное лицо не отражало внутренней борьбы; усталость никому о себе не заявляла. А тогда, в 1917 году, переходил он, собрав последние силы, от «заранее подготовленных позиций» в тылу в безнадежное наступление.

Помню первые месяцы после Октябрьского переворота, темную по вечерам Офицерскую, звуки выстрелов под окнами квартиры А. А. и отрывочные его объяснения, что это — каждый день, что тут близко громят погреба. Помню холодное зимнее утро, когда, придя к нему, услышал, что он «прочувствовал до конца» и что все совершившееся надо «принять». Помню, как, склонившись над столом, составлял он наскоро открытое письмо М. Пришвину, обозвавшему его в одной из газет «земгусаром», что почему-то больно задело А. А.[25]. И, наконец, вспоминаю холодный и солнечный январский день, когда прочел я в рукописи только что написанные «Двенадцать»[26].

В те дни хранил он, как всегда, внешнее спокойствие, и только некоторая страстность интонации обличала волнение. Круг его знакомств, деловых и дружеских, расширился и изменился; завязались отношения с представителями официального мира в лице новой художественно-просветительной администрации. Комиссариат по просвещению вовлек его в сферу своей деятельности; вначале готовился он принять деятельное участие в грандиозном плане переиздания классической русской литературы, а затем начал работать в Театральном отделе, в должности председателя Репертуарной секции. Литера-

турное пристанище обрел он в то трудное время в лево-эсеровских изданиях; были дни, когда идеология этой партии (к которой он, впрочем, никогда не принадлежал) и даже терминология ее держали его в своеобразном плену[27]. «Подавляющее большинство человечества состоит из правых эсеров», — сказал он мне однажды, разумея под меньшинством эсеров левых. В дальнейшем увлечение это прошло, и лишь к многочисленным группам и кастам, претендующим на близость к Блоку, прибавилась в истории общественности, еще одна.

О «Двенадцати» написано много и будет написано еще больше. Одни видят в «Двенадцати» венец художественного достижения и все творчество Блока предыдущих периодов рассматривают как подход к этому достижению; для других «Двенадцать» — стремительное падение с художественных высот в бездну низкого политиканства. О «Двенадцати» пишут и те, кто ничего, кроме «Двенадцати», из произведений Блока не читал; о Блоке, как поэте, судят люди, ничего, кроме отзывов о «Двенадцати» не читавшие.

Туман современности, еще не рассеявшийся, кутает эту поэму в непроницаемую броню; художественная ее ценность слабо излучается сквозь серую пелену, и только смутно давят душу очертания тяжеловесного целого. Опубликованная в недавнем времени заметка Блока о «Двенадцати»[28], не разъясняя ничего, подтверждает только искренность его творческих замыслов — искренность, в которой никто из знающих Блока не сомневался.

Если художественное произведение неясно, то никакие комментарии ничего к ним не прибавят. Ясность, однако приличествует мысли, и поскольку в «Двенадцати» отразилось отношение Блока к современности, оно может быть освещено и проверено памятью об авторе как человеке. В представлении многих, Блок, по написании «Двенадцати», стал «большевиком»; приняв совершившееся понес за него ответственность. Столь примитивное толкование устраняется даже тем немногим, что доступно в настоящее время обнародованию из личных о нем воспоминаний.

«...на память о страшном годе» — написал Блок на моем экземпляре «Двенадцати», а весною этого года

перебирая вместе со мною возможные названия для моей книги, сказал уверенно: «Следующий сборник (после «Седого утра»), куда войдут «Двенадцать» и «Скифы», я назову «Черный день».

Этого «страшного» и «черного» не обходил он молчанием в разговорах, не смягчая и не приукрашивая, а лишь пытался осмыслить и освятить. <...>

В чем же «дело»? Для Блока — в безграничной ненависти к «старому миру», к тому положительному и покойному, что несли с собою барыня в каракуле и писатель-вития. Ради этой ненависти, ради новой бури, как последнюю надежду на обновление, принял он «страшное» и освятил его именем Христа.

Помню, в дни переворота в Киеве и кошмарного по обстановке убийства митрополита, когда я высказал свой ужас, А. А. с необычною для него страстностью в голосе почти воскликнул: «И хорошо, что убили... и если бы даже *не его* убили, было бы хорошо». Говорил это человек глубоко религиозный, вовсе не чуждый обрядности — тот самый, что в минувшем году, по поводу не вполне почтительного моего эпитета, относящегося к лицу духовному, неодобрительно нахмурился, пояснив, что очень уважает русское духовенство [29].

«Относитесь безлично, — говорил он в трудные дни, отзываясь на мои сетования обывательского свойства, — я приучаю себя относиться безлично — это мне иногда удается». И в тягостной обстановке материальной необеспеченности, неуверенности в завтрашнем — в сегодняшнем дне, в водовороте низких страстей и фантастических слухов «из первоисточников» пребывал он бесстрастным и смотрел, поверх мутного потока современности, вдаль...

После «Скифов» и «Двенадцати» перестал А. А. писать стихи. Неоднократно пытался я говорить с ним об этом, но объяснения А. А. были сбивчивы и смутны. «Разреженная атмосфера... множество захватывающих и ответственных дел...» Одобрив как-то мое стихотворение, он тут же высказал удивление, что «можно, оказывается, и в наше время писать хорошие стихи». «Было бы не совсем добросовестно взваливать все на трудные времена, — произнес он в конце 1920 года, — мешает писать также и чрезмерная требовательность к себе». В самом начале 1921 года почувствовал он, по его словам, что

«что-то началось в нем шевелиться, части остановившегося механизма приходят в движение»; раннею весною стал уверенно говорить о приближении иных, допускающих творческую деятельность, условий — и тогда же заболел смертельно.

Последние годы, как отметил я выше, жил А. А. «на людях». Начав с работы в Театральном отделе, посвятил он затем много времени и сил «Всемирной литературе», где до последних своих дней состоял членом коллегии экспертов; председательствовал в совете по управлению Большим драматическим театром, входил в состав правления Союза писателей и других литературных организаций, основал петроградское отделение Союза поэтов и долгое время в нем председательствовал.

Работу в Репертуарной секции Театрального отдела вел он на первых порах энергично, вкладывая в нее присущие ему внимание и добросовестность; в дальнейшем, однако, отстранился от председательствования в секции, а затем и вовсе порвал связь с Театральным отделом. С этим периодом (конец 1918 и начало 1919 года) связано у меня воспоминание об исполненной, по поручению А. А., работе по переводу для Театрального отдела трагедии Грильпарцера[30]. От начала моего труда и до его завершения входил он во все подробности, давал указания и, по окончании работы, немало потратил усилий на преодоление препятствий канцелярского свойства, связанных с оплатою труда.

В качестве члена коллегии «Всемирной литературы» и редактора Гейне привлек он меня в конце 1918 года к переводу гейневской прозы и стихов, а затем и к редакционной работе. Изумительны и беспримерны тщательность и четкость, которые вкладывал он в свой редакторский труд; работа, на которую многие и многие из профессиональных литераторов смотрят преимущественно с точки зрения материальной выгоды, поглощала его внимание целиком. Поручив мне перевод «Путевых картин», он начал с того, что сам перевел до десяти страниц, читал их вместе со мною, внимательно прислушиваясь к моим замечаниям и вводя поправки; получив от меня начало перевода, просмотрел его, исправил и потом читал мне вслух, входя в обсуждение всех мелочей,

придумывая новые и новые варианты, то и дело обращаясь к комментариям и справочным изданиям. Ряд хранимых мною писем делового свойства, посвященных переводам Гейне, является живым свидетельством редакторской заботливости Блока.

Нельзя не подивиться и той чисто внешней аккуратности, которою облекал он будничный литературный труд. С чувством смущения вспоминаю, как, сдав А. А. груду наскоро сложенных листов, получал я их тщательно сброшюрованными рукою А. А., снабженными необходимыми пометками, перенумерованными и приведенными в полную типографскую годность.

Становится до конца понятною поговорка об аккуратности — вежливости королей, когда думаешь об А. А. Не знаю случая, когда бы обращение к нему, письменное или устное, делового или личного свойства, осталось без ответа, точного и исчерпывающего. «Забывать» он не умел; но, не полагаясь на поразительную свою память, заносил в записную книжку все, что требовало исполнения. В обстановке работы соблюдал порядок совершеннейший. Помню, как удивился я, когда, весною 1921 года, говоря со мною о моих стихах, открыл А. А. ящик шкапа и достал оттуда тщательно перевязанный пакет, помеченный моей фамилией; в пакете оказались, подобранные в хронологическом порядке, все мои письма и стихи, когда-либо посылавшиеся А. А., от начала нашего знакомства. Не без чувства удовлетворения пояснил он, что такого порядка держится в отношении всех своих корреспондентов и что порядок этот сберегает много времени и труда. Наблюдал я в А. А. и высшее проявление аккуратности, когда свойство это, теряя свой целевой смысл, становится как бы стихиею человеческого духа. В 1921 году, в дни, когда денежные знаки мелкого достоинства обесценились окончательно и в буквальном смысле слова валялись под ногами, вынул он однажды, расплачиваясь, бумажник и, получив пятнадцать руб. сдачи, неторопливо уложил эту бумажку в назначенное ей отделение, рядом с еще более мелкими знаками. Труд, затраченный на эту операцию, во много крат превышал ценность денег; это знал, конечно, А. А., но, верный себе, не расценивал своего труда.

Весною 1920 года А. А. стал во главе образовавшегося в Петербурге отделения Всероссийского союза поэтов. Отвлекаемый разнообразными обязанностями и делами

общественного и литературного характера, он все же немало времени уделял, поначалу, новой художественно-профессиональной организации; дав Союзу свое имя как председатель, он добросовестнейшим образом пытался выполнять председательские обязанности: посещал заседания, измышлял способы материального обеспечения членов Союза, организовывал вечера и в качестве рядового члена выступал как на этих вечерах, так и в частных собраниях Союза. Однако ни имя Блока, ни труды его не сообщили Союзу единства, не спаяли в одно целое разнообразного состава членов; невозможность творческой работы, обусловленная рядом сложных причин, чувствовалась слишком явно, и к концу года А. А., тяготясь доставшейся ему задачей, высказывался за ненужность Союза и пытался отказаться от председательской должности. Торжественная депутация, в составе почти всех членов Союза, во главе с покойным Н. С. Гумилевым, прибыла на квартиру к А. А. и почти силою вынудила у него согласие на дальнейшую деятельность. А месяца через два-три случайное, наскоро собранное собрание поэтов большинством пяти голосов против четырех переизбрало президиум и забаллотировало Блока, — факт, ни в малой степени, конечно, не обидный для памяти А. А., но показательный для нашего времени. А. А. принял известие о низложении своем «безлично», хотя отнюдь не равнодушно. «Так лучше», — сказал он. Близкие ему люди из состава Союза не сочли нужным, из уважения к А. А., добиваться отмены импровизированных выборов, а Союз, освободившись от нравственного воздействия возглавлявшего его имени, покатился по уклону и в недавнем времени ликвидировал свои дела, породив жизнеспособное кафе[31].

1917—1921 годы вывели Блока как поэта из его творческого уединения, и тысячи людей пересмотрели и прослушали его с высоты эстрады. Впервые после революции выступил он в Тенишевском зале, весною 1917 года, а затем неоднократно появлялся на эстраде перед публикою, вплоть до последнего своего в Петербурге выступления — в Малом театре[32]. Готовясь к чтению, незадолго до выхода, начинал он проявлять признаки волнения, сосредоточивался, не вступал в разговоры и ходил по комнате; потом быстро выходил на эстраду, неизменно

суровый и насторожившийся. Не я один поражен был, на вечере в Тенишевском зале, подбором стихов, исключительно зловещих, и тоном голоса, сумрачным до гневности. «О России, о России!» — кричали ему из публики, после стихов из цикла «Пляски смерти». «Это всё — о России!» почти гневно отвечал он.

Здесь уместно будет припомнить, хотя бы кратко, суждения А. А. о поэзии и о поэтах, какие мне довелось слышать от него в разное время и по разным поводам. Сколько-нибудь длительных бесед на темы литературные А. А. избегал — отзывы его носили характер отрывочный и, за редкими исключениями, бесстрастный. Плененности чужим творчеством я не наблюдал в нем, — может быть, потому, что познакомился с ним в годы, когда известные литературные влияния сыграли формирующую свою роль и гений поэта утвердился. Замечания его были подчас неожиданны и логически не убедительны; значение их становилось ясным лишь в сочетании с сокровеннейшими его мыслями о художественном творчестве. Одно для меня остается, в итоге, несомненным: всяческое литературное мастерство, все формально-поэтическое вызывало в нем отрицательное чувство. С самым понятием поэзии, с самым наименованием «стихи» мирился он лишь условно. Похвалив однажды стихотворение, мною прочитанное, тут же добавил он, что «это почти уж не стихи»; а когда, много лет тому назад, жаловался я, что стихи не пишутся, он, утешая меня, убежденно заявил, что можно не писать стихов и быть все-таки поэтом.

Достижения в области стихотворной техники оставляли его глубоко равнодушным, если с ними не связывались достижения иные. В собрании Союза поэтов, в присутствии Блока, покойный Н. С. Гумилев привел однажды, в качестве примера скромности и простоты А. А., высказанное им в коллегии «Всемирной литературы» мнение — что «какие же теперь вообще поэты... вот прежде были поэты: Фет, Полонский...». Кое-кто из присутствовавших улыбнулся, но А. А. с неподдельною искренностью начал отстаивать свою мысль, не пытаясь, впрочем, ее обосновать... Тогда же, на вопрос мой о Бунине, порадовал меня А. А., высказавшись о нем как о первоклассном современном поэте; формальная, по чисто внешним признакам, отдаленность его от новых течений поэзии не оказалась для А. А. решающим доводом.

Понятно, в силу сказанного, почему, еще много лет тому назад, А. А. отдавал предпочтение Бальмонту перед Брюсовым; понятно, почему, вдумчивый и осторожный, назвал он прочтенные О. Мандельштамом стихи «артистическими»;[33] почему, возражая многим и многим, отстаивал за Маяковским право громадного таланта и, мирясь с ужасающей словесной бутафорией И. Северянина, называл его настоящим поэтом[34]. И одно осталось мне непонятным: как за акмеизмом, за поэтическим профессорством, за цеховой фразеологией Н. С. Гумилева, явно наигранною, не чувствовал он поражающей силы художественного творчества. К поэзии Гумилева относился он отрицательно до конца и даже, когда, по настоянию моему, ознакомился с необычайным «У цыган», сказал мне, правдиво глядя в глаза: «Нет, все-таки совсем не нравится».

Трудно заподозрить Блока в предубежденно-неприязненном отношении к так называемым пролетарским *поэтам*, — казалось бы, от них должен был ожидать он обновления и сдвига. Однако говорил о них А. А. угрюмо и неохотно, и не помню, чтобы когда-нибудь высказался одобрительно. Просматривая однажды принесенную А. А. в дар Союзу поэтов кипу стихотворных пролетарских брошюр, уныло однообразных по форме и содержанию, я заметил вскользь: «Однако пролетарские поэты бессовестно заимствуют у «буржуазных». «Если бы только это...» — отозвался А. А. с омрачившимся взором — и перевел разговор на другую тему[35].

Суровый и *насторожившийся*, — иногда с тучею гневности на опаленном лбу, с постепенно углубляющимися складками в углах твердого и нежного *рта*, — вспоминается мне Блок за последние годы. Реже и реже освещалось улыбкою гордое лицо. Поразительны и непостижимы те чисто формальные изменения, которые приходилось мне наблюдать по временам в чертах лица А. А. Мимика, в смысле произвольных и рассчитанно-согласованных движений лицевых мускулов, вовсе не присуща была характеру Блока; лицо оставалось поверхностно спокойным. Но, выходя из «фокуса» своего, менял он наружность, как никто. Древнее становилось лицо, глуше его окраска; удлинялся, казалось, нос и выделялись неожиданно крупные уши; и опять, в светлый миг, стремительно мо-

лодел он, и божественная улыбка приводила черты лица в гармонию.

Таким юным, и сильным, и радостным вспоминается он мне на вечере Народной комедии[36], осенью 1920 года, в Народном доме. Искренне воодушевленный успехом, сопровождавшим игру участников, и в том числе Л. Д. Блок-Басаргиной, входил он опять в жизнь, вникал в ее легкие и томительные мелочи, дышал впечатлениями виденного; даже об умирающем Союзе поэтов говорил с живостью и делился своими планами. Наиболее явственно отражалось его настроение в походке. В моменты подъема душевного становилась она необычайно легкой и упругой. Из сумрака памяти встает передо мной давний, юный Блок: вижу его в фойе театра; стремительно проходит он — как бы несется, как бы летит, не касаясь пола, через переполненный зал, рука об руку с спутницей. Воздушный плащ ее развевается, откинутый назад в неудержимом движении, а сам оп — как архангел, влекомый светлою силою...

И опять другим, благодушным и детски простым, припоминается мне Блок в спокойные вечерние часы, за стаканом чаю, после напряженной, ставшей необходимою, беседы на общественные темы. Удовлетворяя любопытству моему и моей жены, характеризует среду артистов, с которой, по должности председателя театрального совета, приходится ему соприкасаться; с почтительностью не искушенного в делах жизни человека отзывается об их успехах на материальном поприще; напившись чаю, улыбается, уподобляя себя, по ублаготворенности и полноте облика, некоему заслуженному артисту. Потом, вспомнив о посещении театра высокопоставленным лицом[37], оживляется и, засунув руку в карман пиджака, быстро идет вдоль стены, наглядно изображая торопливую походку государственного человека. Что-то детски благодушное во всех словах и движениях. Это детское проявляется порою в форме непосредственной: трогательно и необыкновенно мягко звучит «мама» и «тетя» в устах сорокалетнего человека, — а между тем только так и говорил он о своих близких, даже в кругу случайных и мало знакомых людей. И неожиданно, по-детски, реагирует он, в разговоре со мною, на властный характер поэта Г.:[38] «Не хочется иногда читать стихи, а он заставляет...»

Чистота и благородство сопровождают в памяти моей образ Блока до последних дней его жизни. Имея недоброжелателей, сам он, поскольку наблюдал я его, вовсе не знал чувства недоброжелательства (характерен в этом отношении отзыв В. Розанова — как отнесся Блок к его резким выпадам[39]). Чувства, отдаленно даже напоминающие злопамятство, были ему чужды. Случайно пришлось мне быть свидетелем его разговора с издателем Г<ржебиным>, просившим А. А. высказаться о достоинствах поэта N, книгу которого он имел в виду издать. «Это поэт подлинный. Конечно, издавайте...» — не колеблясь, сказал А. А. о человеке, не подававшем ему в то время руки[40].

Излишне сентиментальным не был Блок в житейских и даже в дружеских отношениях и не на всякую, обращенную к нему, просьбу сочувственно отзывался. Но, приняв в ком-либо участие, был настойчив и энергичен и доброту свою проявлял в формах исключительно благородных. Поскольку дозволительно говорить в этом очерке о себе, должен сказать я (как и многие, вероятно), что обязан А. А. безмерно многим. Не ограничиваясь душевным участием в литературных моих замыслах и трудах, делал он, в особенности в последние годы, все возможное для устроения моего материального благополучия на этом поприще. Письма А. А. ко мне последнего времени содержат, почти каждое, упоминание о тех или иных его шагах в этом направлении. В них — подробные сообщения о ходе предпринятых им переговоров, искренняя радость по поводу удачи, тревога и сочувственная грусть в случае неуспеха. Перечитываю их с чувством вины и благодарности.

В начале 1919 года заболел я сыпным тифом и в тифу заканчивал срочную литературную работу. Узнав о болезни, А. А. прислал жене моей трогательное письмо с предложением всяческих услуг; сам в многочисленных инстанциях хлопотал о скорейшей выдаче гонорара; сам подсчитывал в рукописи строки, как сказали мне потом, чтобы не подвергнуть возможности заражения служащих редакции, и сам принес мне деньги на дом — черта самоотверженности в человеке, обычно осторожном и, в отношении болезней, мнительном.

У меня хранится копия с письма, посланного А. А. в сентябре 1918 года одному из народных комиссаров,

человеку, близкому к литературе. В письме этом, написанном по моей просьбе, А. А. излагает обстоятельства ареста одного из моих знакомых и, высказывая свою уверенность в его непричастности к политике, просит содействия к скорейшему разъяснению дела[41].

Одно из последних, написанных А. А., писем касается участи писательницы[42], впавшей в бедственное положение. Заканчивая счеты с жизнью, А. А. но уходил до конца в себя и тревожился о судьбе человека, вовсе ему чужого.

На глазах у всех нас умирал Блок — и мы долго этого не замечали. Человек, звавший к вере, заклинавший нас: «Слушайте музыку революции!», раньше многих других эту веру утратил. С нею утратился ритм души, но долго еще, крепко спаянная с отлетающей душой, боролась земная его природа. Тяготы и обиды не миновали А. А.; скудость наших дней соприкоснулась вплотную с его обиходом; не испытывая, по неоднократным его заверениям, голода, он, однако, сократил свои потребности до минимума; трогательно тосковал по временам о «настоящем» чае, отравлял себя популярным ядом наших дней — сахарином, выносил свои книги на продажу и в феврале этого года, с мучительною тревогою в глазах, высчитывал, что ему понадобится, чтобы прожить месяц с семьей, один мильон! «Все бы ничего, но иногда очень хочется вина», — говорил он, улыбаясь скромно, — и только перед смертью попробовал этого, с невероятным трудом добытого вина.

Не забыть мне тоскливой растерянности, владевшей всегда сдержанным А. А. в дни, когда пытался он безуспешно отстоять свои права на скромную квартиру, с которой он сжился за много лет и из которой его, в конце концов, все-таки выселили. «Относитесь безлично», — не без жестокости шутил я, и он только улыбался в ответ, с легким вздохом,

«Что бы вам выехать за границу месяца на два, на три, отдохнуть, пожить другою жизнью? — сказал я однажды А. А. — Ведь вас бы отпустили...» — «Отпустили бы... я могу уехать, и деньги там есть для меня... в Германии должен получить до восьмидесяти тысяч марок, но нет... совсем не хочется», — ответил он, — а это были

трудные дни, когда уходили и вера и надежда и оставались одна любовь.

Силы душевные постепенно изменяли А. А.; но лишь в марте этого года, после краткого подъема, увидел я его человечески грустным и расстроенным. Необычайное физическое здоровье надломилось; заговорили, впервые внятным для окружающих языком, «старинные болезни» [43]. Перед Пасхою, в апреле 1921 года, жаловался он на боль в ногах, подозревая подагру, «чувствовал» сердце; поднявшись во второй этаж «Всемирной литературы», садился на стул, утомленный.

Многим, я полагаю, памятен вечер Блока в Большом драматическом (б. Малом) театре, 25 апреля 1921 года. Зал был переполнен; сошлись и друзья и недруги, теряясь в толпе любопытных и равнодушных. Необычайная мрачность царила в театре, слабо освещенном со сцены синеватым светом. Звонкий голос К. И. Чуковского, знакомившего публику с Блоком наших дней, звучал на этот раз глухо и неуверенно; чувствовалась торопливость — и даже некоторая тревога. Этого настроения не развеял появившийся на эстраде Блок. Слышавшие его в другие дни знают, что *не так,* как в этот вечер, переживал он читаемые стихи. За привычной уже суровостью облика не замечалось сосредоточенности и страсти; в голосе, внятном и ровном, как всегда, не было животворящей силы. Читал он немного и недолго; на требование новых стихов отвечал, выходя из боковой кулисы, короткими поклонами и неохотно читал вновь; только выйдя в последний раз к рампе, с воткнутым в петлицу цветком, улыбнулся собравшимся внизу слабо и болезненно.

Через день встретил я его в редакции «Всемирной литературы» — в последний раз в жизни. На вопрос одной из служащих редакции— почему он так мало читал, А. А. хмуро и как-то не по-обычному рассеянно проговорил: «Что ж... довольно...» — и ушел в другую комнату. Мой последний разговор с ним оказался делового свойства: исполняя просьбу знакомой, уезжавшей за границу и мечтавшей об издании чего-либо, написанного Блоком, я спросил А. А., не хочет ли он воспользоваться этим предложением. В выражениях кратких и совершенно определенных А. А. ответил, что — нет, не хочет, что к нему иногда обращаются с такими предложениями и он их неизменно отклоняет.

Перед самою Пасхою уехал А. А. в Москву, где, больной и измученный, выступил в сопровождении К. И. Чуковского в ряде вечеров. Вернувшись в Петербург, слег, по настоянию врачей, в постель «на два месяца», как говорили тогда. О болезни его сразу же распространились слухи различного свойства; родные, в ответ на запросы, на справки по телефону, отвечали в тоне растерянном и все более и более тревожном; личное общение с А. А. было, по свойству болезни, нежелательно.

Последнее полученное мною от А. А. письмо, от 29 мая 1921 года, касается перевода «Германа и Доротеи» и заканчивается словами: «Чувствую себя в первый раз в жизни так: кроме истощения, цинги, нервов — такой сердечный припадок, что не спал уже две ночи».

Письмо коротко; почерк, обычно четкий, обрывист и не вполне ясен; после подписи — черта не ослабевающего и на ложе смертной болезни внимания: просьба передать поклон моей жене...

Все, что сопутствовало болезни и умиранию А. А. и что подлежит обнародованию, будет обнародовано его близкими. Мне остается сказать несколько слов о мертвом Блоке.

Я увидел его в шестом часу вечера 8 августа, на столе, в той же комнате на Офицерской, где провел он последние месяцы своей жизни. Только что сняли с лица гипсовую маску. Было тихо и пустынно-торжественно, когда я вошел; неподалеку от мертвого, у стены, стояла, тихо плача, А. А. Ахматова; к шести часам комната наполнилась собравшимися на панихиду.

А. А. лежал в уборе покойника с похудевшим, изжелта-бледным лицом; над губами и вдоль щек проросли короткие темные волосы; глаза глубоко запали; прямой нос заострился горбом; тело, облеченное в темный пиджачный костюм, вытянулось и высохло. В смерти утратил он вид величия и принял облик страдания и тлена, общий всякому мертвецу.

На следующий день, около шести часов вечера, пришлось мне, вместе с несколькими другими из числа бывших в квартире, поднять на руках мертвого А. А. и положить его в гроб. К тому времени еще больше высохло тело, приобретя легкость, несоразмерную с ростом и обликом покойного; желтизна лица стала густой, и темные

тени легли в его складках; смерть явственно обозначала свое торжество над красотою жизни.

И — последнее впечатление от Блока в гробу — в церкви на Смоленском кладбище, перед выносом гроба и последним целованием: темнеющий под неплотно прилегающим венчиком лоб, слабо приоткрытые, обожженные уста и тайна неизбитой муки в высоко запрокинутом мертвом лице.

С чувством горестным, близким к безнадежности, заканчиваю я строки воспоминаний. Им надлежало бы, по замыслу сердца, стать живым свидетельством отошедшего от нас величия; но — да говорит величие о себе своим единственным, внятным и в веках языком. Тесны пределы земных явлений и скудны слова; даже человеческое, сквозь восторг и благоговение, бессильны мы передать.

И — последнее, горькое для меня, как и для многих: было, казалось бы, время и была возможность, за словами, земными и по-земному незначащими, услышать и узнать от него *что-то другое, самое нужное, главное;* и случалось — напряженное сердце бывало на грани этих единственно нужных восприятий. Но слова обрывались; взор как будто договаривал недоговоренное, а улыбка, нежная и — теперь ясно для меня — всегда горестная, призывала мириться с непостижимостью тайны, той тайны, в которой и есть существо гения и в которую навеки облеклась отныне благословенная тень покойного.

11 декабря 1921

В. И. СТРАЖЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

Память капризна. Часто ей угодно хранить мимолетное, случайное, какую-нибудь мелочь жизни, не сберегая того, что неизмеримо нужнее и важнее. Досадуешь: помнишь пустяки, забыл чуть ли не самое главное — и боишься лукавой помощи мемуарного воображения, которое в *правду* подмешивает *поэзию.* Вот почему только скупые крохи извлекаю я из своих воспоминаний о Блоке.

Не помню той первой минуты, когда я увидел Блока при первой с ним встрече. Не помню, кто меня с ним познакомил — осенью 1906 года, в Петербурге, — в сутолоке многолюдного вечера у издателей начавших выходить с весны следующего года альманахов «Шиповник». Но помню с неугасающей ясностью: вот он, Блок, сидит почти против меня, по другую сторону длинного стола, за которым жуют и пьют именитые и неименитые, громкие и тихие поэты и прозаики — планеты, кометы и аэролиты литературы тех лет. Помню: с какой-то безвольностью я тянусь к нему, больше всего к нему, только, пожалуй, к нему. По совести, мог бы я тогда признаться, что влюбляюсь в него, то есть делю участь многих современников. Все время я подглядываю Блока, украдкой слежу за его сдержанными жестами, ловлю его слова, долетающие до меня в шуме застольных разговоров. Мой сосед справа, А. И. Куприн, трогает меня локтем и, указывая малозаметным движением руки на Блока, тихо спрашивает:

— Кто этот молодой человек?

— Блок... — так же тихо отвечаю я.

— Это Блок? — с каким-то неожиданным для меня удивлением переспрашивает Куприн и, забывая про свою тарелку, внимательно смотрит на Блока.

— Ага! И ты — тоже! — отзывается во мне (разумеется, лишь смыслом этих слов).

За весь этот вечер мне довелось обменяться с Блоком только несколькими фразами. На его вопрос, очень ли он огорчил меня своей рецензией (в «Вопросах жизни») о книжке моих юношеских стихов и рассказов, я смущенно ответил, что очень надеюсь на то, что следующей своей книжкой я заслужу с его стороны лучший отзыв. И он — позднее — не обманул моей надежды.

Кто-то предложил, когда кончилось «столование», просить Блока читать стихи... и, конечно, «Незнакомку», уже прославленную жемчужину его стихов, впервые — и еще недавно — просиявшую на «средах» у Вячеслава Иванова. И Блок читал.

На белом глянце изразцовой печки, занимавшей весь угол комнаты, рельефно отчеканилась его фигура в строгом изыске контуров. Он стал как будто выше, чем был на самом деле. С заложенными позади руками, чуть запрокинув голову, стоял он, прислонившись спиной к печке, и, выжидая тишину, смотрел... смотрел, казалось, в ту даль, куда улетало его лицо, где оживало творимое им видение, о котором вот-вот зазвучат его стихи. И когда застыла в комнате тишина, он начал:

По вечерам над ресторанами...

Читал он негромко, глуховатым голосом, укрощая ту внутреннюю взволнованность, которая передавалась, покоряя слух не модуляциями голоса, а самим ритмом льющейся строки.

...Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

Кончил. Посмотрел вопрошающими глазами. По лицу скользнула застенчивая улыбка, которую можно было понять: «Ну, разве я виноват, что то, что я прочел, так хорошо?»

Кто-то от удовольствия крякнул. Двое-трое зааплодировали. В шепоте и в глазах других было общее одобрение. Блок оторвался от изразцов, слегка наклонился в сторону сидевшего невдалеке на диване И. А. Бунина и сказал почти с робостью ученика, облекая в нее изысканную и тонкую учтивость младшего к старшему, что ему очень бы хотелось услышать мнение Ивана Алексеевича.

Бунин очень похвалил стихи [1] и заговорил о том, что не может примириться с отходом от строгой классической

рифмовки в творчестве новых поэтов в сторону рифм приблизительных и неточных, ведущих, по его мнению, к звуковому обеднению стихов. Может быть, он «придрался» к «дамами — шлагбаумами»... Мягко, но, видимо, с полной убежденностью, пользуясь полувопросительными фразами, Блок, ставший, как известно, одним из канонизаторов неточной рифмы, стал защищать ее допустимость и законность освобождения стиха от гнета точной рифмы. Он сказал, что прежде всего он ценит в рифме ее *органичность,* ее смысловое содержание, и с мелькнувшей улыбкой признался, что ему нравятся его органические рифмы: «ресторанами — пьяными».

Здесь память моя потухает. Я не помню, что было еще в тот вечер. Уходя, я уносил только одно впечатление — от Блока. Как та, о которой было им сказано:

Вот явилась. Заслонила
Всех нарядных, всех подруг, —

так сам он явился и заслонил для меня всех и все остальное в ту первую с ним встречу.

Второй, и последний, раз я встретился с Блоком в зиму 1906—1907 годов в Москве. Было ли это, когда приехал он для участия в конкурсе, организованном журналом «Золотое руно», или в другой, более поздний приезд его в Москву, сказать не берусь[2]. По чьей-то инициативе задумано было издание литературного сборника в пользу больного, разбитого параличом, московского писателя Николая Ефимовича Пояркова, участника ряда изданий «символистов», автора книжечки «Поэты наших дней». Участие в сборнике приняло около сорока человек. В числе их были: Allegro (П. С. Соловьева), К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, В. И. Иванов, Ф. К. Сологуб, И. А. Бунин, А. А. Блок, А. Белый, Н. И. Петровская, С. М. Городецкий, М. А. Кузмин, Г. И. Чулков, И. А. Новиков, Ю. Н. Верховский, Осип Дымов, Б. К. Зайцев, П. А. Кожевников, Влад. Ходасевич, С. Кречетов-Соколов (С. А. Соколов) и др.

В собирании материала для сборника, названного «Корабли» и вышедшего весною в 1907 году, принимал ближайшее участие и сам Николай Ефимович Поярков: ему передавались рукописи, он держал корректуру, сносился с типографией, хлопотал об обложке. Владея лишь одной левой рукой, прикованный к постели, пережив несколько мучительных операций, Николай Ефимович сохранил всю

свою удивительную жизнерадостность и был предан весь литературным интересам. «Корабли» стали волнующим событием его жизни, дружеское внимание к нему большого числа писателей глубоко трогало его. Я дружил с ним.

В какой-то день он прислал мне записку, приглашая меня в точно указанный час непременно быть у него, таинственно суля, что я встречу «нечаянную радость» и «пылающее сердце» [3].

Худенькая, юркая, светловолосая Мотя, жившая с Николаем Ефимовичем в качестве сестры-сиделки, жертвенно преданная ему, подчас капризному, всем существом своим и державшая на своих плечах всю тяжесть его одинокого и искалеченного существования, встретила меня в передней сверкающими глазами и торжественным шепотом:

— Сейчас придут Вячеслав Иванович Иванов и Александр Александрович Блок.

«Пылающее Сердце» и «Нечаянная Радость» немного запоздали. Они принесли свое приношение — стихи для «Кораблей». Кажется, пришел еще кто-то из московских друзей Николая Ефимовича. За чаем Вячеслав Иванов и Блок читали себя и чьи-то еще стихи, привезенные ими от петербургских поэтов. Блок прочел: «Брату», «Незнакомке», «Деве Млечного Пути» [4], то есть то, что он отдавал в сборник. Читал и Вячеслав Иванов.

Но этот раз Блок показался мне немного иным, каким-то внутренне озабоченным. Но магнитная сила его была для меня та же... Вячеслав Иванов предложил ему, справедливо полагая доставить этим отменное наслаждение Николаю Ефимовичу, прочесть... ну, разумеется, «Незнакомку».

— Прочтите! Пожалуйста, прочтите! — загорелся Николай Ефимович.

Блок не заставил повторить просьбы — читал.

Зная эти стихи наизусть, снова слыша их в чтении самого Блока, я не получил такого же впечатления, какое осталось у меня при первой встрече в Петербурге. Мне показалось, что поэт уже устал читать свой шедевр.

Потолковав о «Кораблях», о каких-то злободневных литературных новостях, петербургские гости заторопились куда-то и, попрощавшись, ушли.

Мотя краснела, бледнела, что-то падало у нее из рук.

— Что с вами, Мотя?

— Ах, какой — он... Ах, какой...

— Кто?

— Да Блок...

А Николай Ефимович перечитывал вслух оставленные «дары», — с удовольствием повторяя отдельные строки, казавшиеся ему особенно хорошими... Повторял:

Что сердце? Свиток чудотворный,
Где страсть и горе сочтены!

Я дразнил:

— Что значит: сочтены? От какого это глагола? Неудачно.

Николай Ефимович сердился и снова читал:

Комета! Я прочел в светилах
Всю повесть раннюю твою
И лживый блеск созвездий милых
Под черным шелком узнаю.

А я опять дразнил:

— Слишком много астрономии, и трудно разобраться.

Николай Ефимович сердился еще больше:

— Пусть трудно, пусть туманно, пусть *непонятно*, — зато настоящая поэзия!

В сентябре 1907 года в Москве гастролировал театр В. Ф. Коммиссаржевской. Самым острым «гвоздем» репертуара был «Балаганчик» Блока. Оп вызвал общий интерес после буйного шума и крайностей в оценках, сопровождавших его постановку в минувший театральный сезон в Петербурге. Вместе с «Балаганчиком» в тот же вечер шла «Вечная сказка» С. Пшибышевского, с В. Ф. Коммиссаржевской в роли Сонки.

В театре — 3 сентября — была «вся Москва». Напряженность интереса достигла предела. «Балаганчик» шел первым.

Сохранившаяся у меня программа спектакля напоминает состав участников: Коломбина — М. А. Русьева, Пьеро — В. Э. Мейерхольд, Арлекин — А. А. Голубев, первая пара влюбленных — Е. М. Мунт и А. Я. Закушняк, вторая пара влюбленных — В. П. Веригина и М. А. Бецкий, третья пара влюбленных — Н. Н. Волохова и А. П. Зонов, мистики — К. Э. Гибшман, П. А. Лебединский, К. А. Давидовский, П. Ф. Шаров, председатель мистического собрания — А. П. Нелидов, автор — А. Н. Феона. Программу дополняет музыка М. А. Кузмина, декора-

ция Н. Н. Сапунова, костюмы Ф. Ф. Коммиссаржевского, режиссер — В. Э. Мейерхольд.

О «Балаганчике» и его постановке было написано много, и могу сказать лишь два слова о впечатлении от зрительного зала. 3 сентября публика спектакля резко разделилась на пламенных «друзей» и лютых «врагов». Уже во время действия я слышал около себя змеиные шипы и презрительные «ха-ха!» — вторых и гневные возгласы: «Тише!» (громко) и «Дурачье!» (тихо) — первых. Когда прозвучали последние слова печального мечтателя Пьеро: «Мне очень грустно. А вам смешно?» — и под звуки его унылой дудочки опустился занавес, в зале закипел кипяток — спорили, бранились, даже с незнакомыми, готовые чуть не вцепиться друг в друга. «Враги» устремились успокоиться в буфете и курилке, «друзья» хлынули к рампе и, не щадя рук и горла, неистово вызывали артистов... Подобную бурю чувств мне довелось видеть, пожалуй, еще лишь раз, позднее, летом в 1910 году, в Венеции, в театре «Fenice», на вечере Маринетти и его сподвижников, когда футуристы и пассеисты дали друг другу такое братоубийственное сражение, что я, человек в их деле нейтральный, только что узнавший тогда, что существует на свете футуризм, искренне трепетал за свою физическую сохранность.

Осенью 1908 года В. Н. Бобринская задумала издавать литературно-художественный журнал «Северное сияние». Я был приглашен заведовать литературным отделом. В состав редакции вошли: Г. А. Рачинский, В. Ф. Эрн, Б. А. Грифцов и художник В. В. Переплетчиков. Журнал успеха не имел, поставить его на ноги не хватало умения и делового таланта. Через год «Северное сияние» перестало существовать. Привлекая сотрудников, я написал Блоку и просил для журнала стихов. Он быстро отозвался, я получил от него стихи и письмо. Привожу это письмо:

Многоуважаемый Виктор Иванович.

Спасибо Вам за Ваши милые слова — первый отзыв о «Земле в снегу», какой я слышал, очень приятный для меня.

Посылаю Вам маленькое стихотворение для «Северного сияния», которое очень меня интересует. Жалею только, что «без политики», зная, впрочем, что теперь за всякую политику сцапают. И, все-таки, очень мечтаю о

большом журнале с широкой общественной программой; «внутренними обозрениями» и т. д. Уверен, что теперь можно осуществить такой журнал для очень широких слоев населения, и с большим успехом, если бы... не правительство.

Конечно, спрашиваю Вас о гонораре и о том, будете ли присылать мне журнал? Я сейчас в деревне (Николаевская ж. д., ст. Подсолнечная, с. Шахматове), а к 1 октября, примерно, вернусь в Петербург (Галерная, 41, кв. 4). Если успеете, напишите мне два слова сюда.

Искренно уважающий Вас *Александр Блок.*

14/IX.08.

Письмо это я нахожу очень характерным для Блока той поры, когда, в сознании своего писательского долга и своей крепнущей поэтической силы, он сбрасывал с себя груз «декадентства» и «мистики», уходил от соблазнов мережковщины, «красивого уюта» и через «суматоху сердца» [5] выходил на иные пути; общественность, народ, Россия, проблема интеллигенции — вот что было теперь в центре его дум и устремлений. <...>

БОРИС САДОВСКОЙ

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

1

Со дня моей последней встречи с Блоком минуло тридцать лет. Многое из прошлого успело потускнеть и утратить живые краски, многое совсем затерялось и погибло.

Сознавая недостаточность моих беглых заметок, утешаю себя мыслью, что для биографии такого поэта, как Блок, каждая мелочь значительна.

2

Декабрь 1906 года.

Московский журнал «Золотое руно» недавно объявил литературно-художественный конкурс на тему «Дьявол». В состав жюри, кроме московских писателей и художников, вошли два петербургских гостя — Вячеслав Иванов и Александр Блок.

После присуждения премий члены жюри и кое-кто из сотрудников «Весов» и «Золотого руна» ужинали у Валерия Брюсова в его доме на Цветном бульваре.

Над Москвой стоял ясный морозный вечер, когда я и мой приятель, секретарь редакции «Весов» Михаил Федорович Ликиардопуло, на извозчике подъехали к воротам старинного «дома Брюсовых»: так возвещала надпись на воротах. Здесь, на дворе, в небольшом деревянном флигеле обитал литературный законодатель и король поэтов Валерий Яковлевич Брюсов.

Из передней налево небольшой кабинет с портретом Тютчева над письменным столом, прямо из передней — дверь в гостиную.

Там уже собралось человек двенадцать; между ними издатель «Золотого руна» молодой художник Николай Павлович Рябушинский, огромный, цветущего здоровья, всегда веселый; секретарь редакции Александр Антонович Курсинский, невзрачный, незаметный человек с необъятным самолюбием; знаменитый артист Малого театра Александр Павлович Ленский, красивый, голубоглазый, седой старик.

Первой премии не получил никто из литераторов. Вторую, в пятьдесят рублей, присудили петербургскому стихотворцу А. А. Кондратьеву за сонет о Люцифере, появившийся через месяц в специальном «дьявольском» номере «Золотого руна».

За ужином Ленского упросили прочесть что-нибудь из Брюсова; сам хозяин по просьбе гостей прочитал свою поэму «Конь Блед».

Ужин подходил к концу.

Вячеслав Иванов, рыжий, в потертом сюртуке, с облезлыми кудрями и жидкой бородкой, нараспев декламировал по корректурным оттискам отрывки из своего сборника «Эрос»:

Демон зла иль небожитель,
Делит он мою обитель,
Клювом грудь мою клюет,
Плоть кровавую бросает,
Сердце тает, воскресает,
Алый ключ лиет, лиет...

— Где же тут точки? — строго спросил Ленский.

Поэт растерялся.

— Я точек у вас не с л ы ш у , — продолжал артист. И тут же, взяв из рук Иванова корректуру, показал, как следует читать.

Неожиданно вмешался Курсинский:

— Мне кажется, что современный актер должен научиться играть механически, то есть машинально, не чувствуя и не размышляя. Тогда он по необходимости превратится в живую марионетку, и высшая задача сценического искусства будет таким образом достигнута вполне.

Голубые глаза Ленского гневно вспыхнули.

— Я такого актера представить не могу.

Курсинский молча налил себе вина. Неловкая пауза. В наступившей тишине донеслось из кабинета чье-то мерное чтение.

Незаметно я поднялся и прошел туда. Статный молодой человек, стоя перед письменным столом, читает стихи. Дамы слушают.

Это был Блок.

Ему только что исполнилось двадцать шесть лет. Обаяние девственной красоты, окружавшее Блока каким-то лучистым нимбом, можно назвать обаянием высшего разряда. Мало ли красивых физиономий? Но Блок был не столько красив, сколько прекрасен; в правильных, античных чертах его благородного лица светилось неподдельное вдохновение. Передо мной стоял поэт в полном значении слова, поэт с головы до ног. И действительно, вне поэтической сферы Блок немыслим: попробуйте вообразить его в чиновничьем фраке, в офицерских эполетах: получится карикатура.

Таким я увидал его впервые, и таким он навсегда остался для меня.

В манерах и походке небрежная грация; стройный стан изящно стянут черным с атласными отворотами сюртуком; все подробности костюма тщательно обдуманы.

Как сейчас, вижу это светлое молодое лицо, волнистые каштановые кудри, нежную улыбку. Мне Блок напомнил Ленского в «Онегине».

Слышу, как сейчас, глуховатый, ровный голос с деревянным оттенком, с точным, отчетливым произношением: каждое слово чеканится.

Но, как это ни странно, я не могу припомнить, что именно читал в тот вечер Блок. Полагаю теперь, что это были стихи из сборника «Нечаянная Радость», только что приготовленного к печати. Весной он вышел в издательстве «Скорпион» [1].

3

Незаметно пробежали четыре года.

«Золотое руно» и «Весы» успели сойти со сцены. В Москве возникло литературно-философское издательство «Мусагет», возглавляемое Андреем Белым [2].

На Пречистенском бульваре, близ памятника Гоголю, небольшая квартира из трех комнат с кухней; здесь мусагетцы толкутся с утра до вечера; заезжие гости даже ночуют в гостиной на широком диване, под портретом Гете.

Сотрудникам и гостям подается, по московскому обычаю, неиссякаемый чай в больших круглых чашках и мятные пряники.

Осенью 1910 года я бывал в «Мусагете» каждый день.

Как-то ранним сентябрьским вечером захожу в редакцию. В передней на вешалке чье-то незнакомое пальто. Направляюсь в гостиную. Навстречу мне с дивана поднимается неизвестный, протягивает руку:

— Блок [3].

Как переменился он за это время!

Английский моряк: вот сравнение, тут же пришедшее мне в голову.

Коротко подстриженные волосы, загорелое, с каким-то бронзовым налетом, лицо, сухие желтоватые губы, потухший взгляд. В тридцать лет Блок казался сорокалетним.

Разговор наш на первый раз ограничился шаблонными фразами; при дальнейших двух-трех встречах в «Мусагете» мы говорили тоже о пустяках...

Я жил тогда на Смоленском рынке, в меблированных комнатах «Дон». Это был любопытный осколок старой Москвы, описанный в мемуарах Андрея Белого.

Раз, утром, слышу стук в дверь.

Входит Блок. Он заезжал в «Дон» по делу, увидеться с членом редакции Эллисом; не застал и решил навестить меня.

Я велел подать самовар, и вот тут, за чаем, впервые завязалась у нас серьезная беседа.

О чем только мы не говорили: о книгах и поэтах, о Фете и Владимире Соловьеве, о русском театре и актере Далматове, о философии и любви.

Уже собираясь уходить, Блок взял со стола книгу и, улыбнувшись, спросил:

— Может ли существо неодушевленное мыслить?

— Не может, — ответил я.

— Вот и ошиблись. Не только мыслить, но и чувствовать. Правда, само оно не ощущает ни чувств, ни мыслей, но это все равно: оно их передает другим. Что такое книга? Вымазанная типографской краской пачка бумажных листков. А какую громадную, бессмертную жизнь она в себе заключает! Точно так же с точки зрения почтового чиновника, что такое «Гамлет» Шекспира? Фунт бумаги.

Эти слова до того поразили меня своей оригинальностью, что я их тогда же записал.

4

В начале зимы я ездил в Петербург и был у Блока на Малой Монетной улице.

Александр Александрович встретил меня дружески Когда мы уселись у него в кабинете, он посмотрел мне в лицо и улыбнулся:

— Определенно, лицеист.

Перед этим попался ему в сборнике «Чтец-декламатор» мой портрет в студенческом мундире, похожем на лицейский. Недоразумение разъяснилось. Узнав, что я не лицеист, а московский филолог, да еще классического отделения, Блок оживился.

— Значит, мы коллеги по факультету.

Он принялся расспрашивать меня о Ф. Е. Корше, о моих профессорах Покровском и Грушке, о Ключевском, которого особенно любил. Выслушав мой рассказ о беседе Чехова с Ключевским, происходившей при мне, Александр Александрович заметил:

— Чехов вечно учился и школил самого себя: в собственной жизни он был одновременно и зрителем, и действующим лицом. И до конца продолжал подниматься по незримой лестнице.

5

Перед отъездом в Москву я еще раз зашел к Блоку взять рукопись для нашей редакции.

По телефону он просил меня приехать утром. Ровно в одиннадцать часов я был на Малой Монетной.

Александра Александровича застал я в одиночестве на столе бутылка и две рюмки.

— Вот и прекрасно, садитесь, будем пить коньяк.

После трех рюмок я встал: мне надо было спешить Александр Александрович не отпускал меня. Он начал читать наизусть пародии Буренина на свои стихи.

— Что ни говорите, талантливо; мне положительно нравится.

Мы выпили еще по рюмке и расстались.

6

На Святках я обдумывал рассказ о декабристе Батенькове, просидевшем в Петропавловской крепости двадцать лет. Что мог слышать заключенный, кроме боя часов и

музыки крепостных курантов? Скрипел ли над ним от сильного ветра на колокольне железный ангел? Но, может быть, ангел запаян? Я написал Блоку о моих сомнениях и тотчас получил от него уведомление, что ангел действительно скрипит. Александр Александрович ночью ходил его слушать.

7

Воспой 1912 года петербургский журнал «Современник» пригласил меня заведовать литературным отделом. Я превращаюсь в оседлого жителя северной столицы; теперь мои встречи с Блоком из редких и случайных становятся постоянными.

Прежде всего я предложил ему сотрудничать в «Современнике»; для первого знакомства Блок дал журналу статью о Стриндберге.

Нередко он приглашал меня к себе обедать. Живо помню эти летние петербургские дни, эти молчаливые обеды в обществе Блока и его жены, Любови Дмитриевны — дочери знаменитого химика Менделеева. Помню нервную напряженность за столом. Нельзя было не заметить, что в этой семье не все благополучно; подчас мне казалось, что Блок приглашает меня только для того, чтобы не оставаться наедине с женой. Любовь Дмитриевна раз даже сказала супругу обидную колкость. В ответ Александр Александрович с улыбкой заметил:

— Кажется, разговор начинает принимать неблагоприятный оборот.

В домашней обстановке Блока неуловимо ощущается присутствие того, что принято называть «хорошим тоном». На всем отпечаток изящества и тонкого вкуса; только неуклюжая красного дерева конторка Дмитрия Ивановича Менделеева нарушает строгий стиль кабинета.

— Это был тяжелый ч е л о в е к, — отозвался при мне Блок о покойном тесте.

8

Прекрасный июньский полдень.

Вместе с Блоком я еду в Териоки; там на дачной сцене идет спектакль с участием Любови Дмитриевны.

Блок не в духе.

Ему неприятно видеть жену на театральных подмостках. В талант ее он не верит и едет с величайшей неохотой. Вот почему он так лихорадочно возбужден.

По пути Александр Александрович указал мне исторический «крендель булочной», воспетый в «Незнакомке». На солнце он действительно золотился.

Еще перед отъездом, на Финляндском вокзале, повстречался с нами и поехал вместе московский художник Н. Н. Сапунов — молодой человек в кофейном котелке и широком голубом галстуке.

Заговорили о счастье.

— Счастливых людей не видно, — заметил я, — где они?

Блок кивнул на Сапунова:

— Да вот счастливый человек.

В Териоках мы прямо с вокзала отправились в театр. Труппа занимала поместительную дачу близ моря с большим старинным домом и пышным садом.

К вечеру приехали поэты Пяст и Княжнин. Все мы присутствовали па спектакле.

Помнится, шел отрывок из комедии Гольдони;[4] перед началом режиссер с плащом на руке и розой в петлице произнес со сцены вступительное слово. Любовь Дмитриевна играла из рук вон плохо.

Неестественное возбуждение Блока сменилось угрюмостью.

9

Через неделю я собрался на Кавказ.

Накануне отъезда сажусь у себя обедать и вижу из окна подъезжающего на извозчике секретаря «Мусагета» — А. М. Кожебаткина. Ко мне вошел он грустный и озабоченный.

— Что случилось?

— Сапунов утонул.

Мне вспомнились слова Блока: вот счастливый человек.

От Кожебаткина узнал я печальные подробности.

В Териоках Сапунов собирался писать для театра декорации. Как-то поехал он кататься на лодке с поэтом Кузминым и двумя дамами. На взморье лодка опрокинулась. Спаслись все, кроме Сапунова.

Весь этот вечер и всю ночь до рассвета мы с Кожебаткиным скитались по городу в автомобиле. Заехали и на Стрелку. Море как зеркало, а мне все грезится, что вот-вот сейчас всплывет перед нами утопленник в голубом галстуке.

10

Всю зиму 1913 года встречаюсь я с Блоком то у Алексея Михайловича Ремизова, то у Бориса Михайловича Кустодиева, лепившего большой и очень схожий бюст Блока[5]. Тогда же я задумал роман; одному из героев намеревался я придать черты Александра Александровича. Благодаря этому случайному обстоятельству сохранилось кое-что из моих разговоров с ним. Привожу эти несвязные отрывки (материалы неоконченного романа) в том виде, как они у меня записаны.

11

Самородок-мыслитель — не самоучка, а сильный ум; обходя рутинное мышление, он создает свою систему и является эксцентриком в области мысли. Таковы Достоевский и Толстой.

— А Мережковский?

— Ни в коем случае.

12

Человек несчастен в силу своей бесконечности. Как ни старается он, а все не может заключить эту бесконечность в конечном.

13

Ненависть — чувство благородное.

— Почему?

— Потому что она вырастает из пепла сгоревшей любви.

14

Скажите, отчего у нас великие писатели умирают так рано? Должно быть, поэтическое творчество нам не нужно, вернее, для его существования нет подходящих жизненных условий. По той же самой причине в Англии нет композиторов, а в Турции — философов.

15

Счастье есть величина определенная. Сумма его для каждого из нас всегда одна и та же. Только дается оно соответственно способности восприятия.

— Нельзя ли пояснить примером?

— Можно. Я подымаю одной рукой, положим, два пуда, а вы — пять. Но усилия ваши и мои при этом пропорционально одинаковы.

16

Любимые книги нельзя читать как попало. Умейте выбирать для них подходящий день и час. Я, например, могу читать «Войну и мир» только в апреле, не позже полудня, а Жуковского — ночью, в рождественский сочельник.

17

В человеке две стороны: ночная и дневная, женская и мужская, средневековая и возрожденская.

18

Часто Блок читает мне свои новые стихи. Первую часть «Возмездия» узнал я задолго до ее появления в «Русской мысли».

Помню и это:

Утреет. С богом! По домам!
Позвякивают колокольцы.
Ты хладно жмешь к моим губам
Свои серебряные кольцы.
. . . .
— Любила, барин, я тебя,
Цыганки мы, народ рабочий *.

Сильнейшее впечатление оставил во мне «Мертвец»:

Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!

---

* Приводится по первопечатному тексту (в альманахе «Сирин»). (*Примеч. Б. Садовского.*)

— Не выходит у меня последний стих Как лучше, по-вашему: кости звякают о кости или кости брякают о кости?

— Ни то, ни другое. Я бы поставил «лязгают».

Блок промолчал, однако в печатном тексте значится предложенный мною вариант.

19

— Какие стихи Фета Вам больше всего нравятся? — спросил я однажды.

Александр Александрович мечтательно закрыл глаза:

— Слушайте :

В леса безлюдной стороны
И чуждой шумному веселью
Меня порой уносят сны
В твою приветливую келью.

В благоуханья простоты
Цветок, дитя дубравной с е н и , —
Опять встречать выходишь ты
Меня на шаткие ступени.

Вечерний воздух влажно чист,
Вся покраснев, ты жмешь мне руки —
И, сонных лип тревожа лист,
Порхают гаснущие звуки.

И мне сразу понятно стало, откуда у Блока в ранних стихах эта целомудренная, чисто фетовская нежность.

20

— Вот уже скоро два года, как Блок все пьет и ничего не п и ш е т, — грустно заметил Ремизов, распуская зонтик [6].

Мы возвращались с похорон. Моросил неприятный, осенний дождь. Ремизов, больше всего на свете боявшийся смерти, уныло горбился и пугливо поблескивал очками.

— Я пробую вытрезвить его. Каждый вечер сажаю на извозчика, и мы вдвоем катаемся по Петербургу.

С трудом удержался я от улыбки. Что за наивность! Как раз накануне Блок мне сказал:

— По ночам я ежедневно обхожу все рестораны на Невском, от Николаевского вокзала до Морской, и в каждом выпиваю у буфета. А утром просыпаюсь где-нибудь в номерах.

21

Последний раз я виделся с Блоком в марте 1916 года..

В его сумрачной квартире па Офицерской — гробовая тишина. Мы вдвоем. На столе уже вторая бутылка вина, но разговор не клеится.

Незадолго перед этим я сделался жертвой литературной сплетни, родившейся в одном из петербургских еженедельников. Ни оправдываться, ни звать обидчика в суд невозможно: очень уж грязен уличный журнальчик[7].

Никто, разумеется, этой клевете не поверил. Но мне по неопытности все мерещится, будто я погиб и моя репутация запятнана навеки. Теперь мне смешно, а тогда я страдал не на шутку.

Знал ли об этом Блок? Вероятно. Когда я встал, чтобы проститься, он неожиданно в первый и последний раз поцеловал меня. Как нежен был этот дружеский поцелуй!

Пусть же теперь он заменит точку к моим воспоминаниям.

1946

Е. Ю. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

Тридцать лет тому назад, летом 1906 года, в моей жизни произошло событие, после которого я стала взрослым человеком. За плечами было только четырнадцать лет, но жизнь того времени быстро взрослила нас. Мы пережили японскую войну и революцию, мы были поставлены перед необходимостью спешно разобраться в наших детских представлениях о мире и дать себе ответ, где мы и с кем мы. Впервые в сознание входило понятие о новом герое, имя которому — Народ. Единственно, что смущало и мучило, это необходимость дать ответ на самый важный вопрос: верю ли я в бога? Есть ли бог?

И вот ответ пришел. Пришел с такой трагической неопровержимостью. Я даже и сейчас помню пейзаж этого ответа. Рассвет жаркого летнего дня. Ровное румяное небо. Черные узоры овальных листьев акации. Громкое чириканье воробьев. В комнате плач. Умер мой отец. И мысль простая в голове: «Эта смерть никому не нужна. Она несправедливость. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого бога. Если же нет справедливого бога, то, значит, и вообще бога нет».

Никаких сомнений, никаких доводов против такого вывода. Бедный мир, в котором нет бога, в котором царствует смерть, бедные люди, бедная я, вдруг ставшая взрослой, потому что узнала тайну взрослых, что бога нет и что в мире есть горе, зло и несправедливость.

Так кончилось детство.

Осенью я впервые уехала надолго от Черного моря, от юга, солнца, ветра, свободы. Первая зима в Петербурге. Небольшая квартира в Басковом переулке. Гимназия.

Утром начинаем учиться при электрическом свете, и на последних уроках тоже лампы горят. На улицах рыжий туман. Падает рыжий снег. Никогда, никогда нет солнца Родные служат панихиды, ходят в трауре. В панихидах примиренность, а я мириться не хочу, да и не с кем мириться, потому что Его нет. Если можно было еще сомневаться и колебаться дома, то тут-то, в этом рыжем тумане, в этой осени проклятой, никаких сомнений нет. Крышка неба совсем надвинулась на этот город-гроб, а за ней — пустота.

Я ненавидела Петербург. Мне было трудно заставить себя учиться. Вместо гимназии я отправлялась бродить далеко через Петровский парк, па свалку, мимо голубиного стрельбища. Самая острая тоска за всю жизнь была именно тогда. И душе хотелось подвига, гибели за всю неправду мира, чтобы не было этого рыжего тумана и бессмыслицы.

В классе моем увлекались Андреевым, Коммиссаржевской, Метерлинком. Я мечтала встретить настоящих революционеров, которые готовы каждый день пожертвовать своей жизнью за народ. Мне случалось встречаться с какими-то маленькими партийными студентами, но они не жертвовали жизнью, а рассуждали о прибавочной стоимости, о капитале, об аграрном вопросе. Это сильно разочаровывало. Я не могла понять, отчего политическая экономия вещь более увлекательная, чем счета с базара, которые приносит моей матери кухарка Аннушка.

Белые ночи оказались еще более жестокими, чем черные дни. Я бродила часами, учиться было почти невозможно, писала стихи, места себе не находила. Смысла не было не только в моей жизни, во всем мире безнадежно утрачивался смысл. Осенью — опять рыжий туман.

Родные решили выбить меня из колеи патетической тоски и веры в бессмыслицу.

Была у меня двоюродная сестра, много старше меня. Девушка положительная, веселая, умная. Она кончала медицинский институт, имела социал-демократические симпатии и совершенно не сочувствовала моим бредням. Я была для нее «декадентка». По доброте душевной она решила заняться мной. И заняться не в своем, а в моем собственном духе.

Однажды она повезла меня на литературный вечер какого-то захудалого реального училища, куда-то в Измайловские роты.

В каждой столице ость своя провинция, так вот и тут была своя Измайловскоротная, реального училища провинция. В рекреационном зале много молодого народу. Читают стихи поэты-декаденты. Их довольно много. Один высокий, без подбородка, с огромным носом и с прямыми прядями длинных волос, в длиннополом сюртуке, читает весело и шепеляво, говорят — Городецкий. Другой — Дмитрий Цензор, лицо не запомнилось. Еще какие-то, не помню. И еще один. Очень прямой, немного надменный, голос медленный, усталый, металлический. Темно-медные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное. Читает стихи, очевидно новые, — «По вечерам над ресторанами», «Незнакомка». И еще читает...

В моей душе — огромное внимание. Человек с таким далеким, безразличным, красивым лицом, это совсем не то, что другие. Передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю, что-то отмеченное. В стихах много тоски, безнадежности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье. Они не вне меня, они поют во мне, они как бы мои стихи. Я уже знаю, что он владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти уже сталкивалась столько раз во время своих скитаний по Островам.

Спрашиваю двоюродную сестру: «Посмотри в программе: кто это?»

Отвечает: «Александр Блок».

В классе мне достали книжечку. На первой странице картинка, — молодой поэт вырывается на какие-то просторы[1]. Стихи непонятные, но пронзительные, — от них никуда мне не уйти. «Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я все забыл, что я любил, я сердце вьюгам подарил...» Я не понимаю, но понимаю, что он знает мою тайну. Читаю все, что есть у этого молодого поэта. Дома окончательно выяснено: я — декадентка. Я действительно в небывалом мире. Сама пишу, пишу о тоске, о Петербурге, о подвиге, о народе, о гибели, еще о тоске и о восторге.

Наконец все прочитано, многое запомнилось наизусть, навсегда. Знаю, что он мог бы мне сказать почти заклинание, чтобы справиться с моей тоской. Надо с ним поговорить. Узнаю адрес: Галерная, 41. Иду. Дома не застала. Иду второй раз. Нету.

На третий день, заложив руки в карманы, распустив уши своей финской шапки, иду по Невскому. Не заста-

ну — дождусь. Опять дома нет. Ну, что ж, решено, буду ждать. Некоторые подробности квартиры удивляют. В маленькой комнате почему-то огромный портрет Менделеева. Что он, химик, что ли? В кабинете вещей немного, но все большие вещи. Порядок образцовый. На письменном столе почти ничего не стоит.

Жду долго. Наконец звонок. Разговор в передней. Входит Блок. Он в черной широкой блузе с отложным воротником, совсем такой, как на известном портрете. Очень тихий, очень застенчивый.

Я не знаю, с чего начать. Он ждет, не спрашивает, зачем я пришла. Мне мучительно стыдно, кажется всего стыднее, что в конце концов я еще девчонка, и он может принять меня не всерьез. Мне скоро будет пятнадцать лет, а он уже взрослый, — ему, наверное, лет двадцать пять.

Наконец собираюсь с духом, говорю все сразу. Петербурга не люблю, рыжий туман ненавижу, не могу справиться с этой осенью, знаю, что в мире тоска, брожу по Островам часами и почти наверное знаю, что бога нет. Все одним махом выкладываю. Он спрашивает, отчего я именно к нему пришла. Говорю о его стихах, о том, как они просто в мою кровь вошли, о том, что мне кажется, что он у ключа тайны, прошу помочь.

Он внимателен, почтителен и серьезен, он все понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая.

Мы долго говорим. За окном уже темно. Вырисовываются окна других квартир. Он не зажигает света. Мне хорошо, я дома, хотя многого не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему еще тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Мне большого человека ужасно жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя.

Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнаженная, зрячая душа.

Через неделю я получаю письмо, конверт необычайный, ярко-синий. Почерк твердый, не очень крупный, но широкий, щедрый, широко расставлены строчки. В письме

есть стихи: «Когда вы стоите передо мной... Все же я смею думать, что вам только пятнадцать лет». Письмо говорит о том, что они — умирающие, что ему кажется, я еще не с ними, что я могу еще найти какой-то выход, в природе, в соприкосновении с народом. «Если не поздно, то бегите от нас, умирающих»... Письмо из Ревеля, — уехал гостить к матери [2].

Не знаю отчего, я негодую. Бежать — хорошо же. Рву письмо, и синий конверт рву. Кончено. Убежала. Так и знайте, Александр Александрович, человек, все понимающий, понимающий, что значит бродить без цели по окраинам Петербурга и что значит видеть мир, в котором нет бога.

Вы умираете, а я буду, буду бороться со смертью, со злом и за вас буду бороться, потому что у меня к вам жалость, потому что вы вошли в сердце и не выйдете из него никогда.

Петербург меня победил, конечно. Тоска не так сильна. Годы прошли.

В 1910 году я вышла замуж. Мой муж из петербургской семьи, друг поэтов, декадент по самому своему существу, но социал-демократ, большевик. Семья профессорская, в ней культ памяти Соловьева, милые житейские анекдоты о нем.

Ритм нашей жизни нелеп. Встаем около трех дня, ложимся на рассвете. Каждый вечер мы с мужем бываем в петербургском мире. Или у Вячеслава Иванова на Башне, куда нельзя приехать раньше двенадцати часов ночи, или в Цехе поэтов, или у Городецких и т. д.

Непередаваем этот воздух 1910 года. Думаю, не ошибусь, если скажу, что культурная, литературная, мыслящая Россия была совершенно готова к войне и революции. В этот период смешалось все. Апатия, уныние, упадочничество — и чаяние новых катастроф и сдвигов. Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоту, — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура — цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира, в этом смысле были гражданами вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка.

Мы не жили, мы созерцали все самое утонченное, что было в жизни, мы не боялись никаких слов, мы были в области духа циничны и нецеломудренны, в жизни вялы и бездейственны. В известном смысле мы были, конечно, революция до революции, — так глубоко, беспощадно и гибельно перекапывалась почва старой традиции, такие смелые мосты бросались в будущее. И вместе с тем эта глубина и смелость сочетались с неизбывным тленьем, с духом умирания, призрачности, эфемерности. Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась всероссийская снежная пустыня, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не заражающая нас своими восторгами и муками.

Помню одно из первых наших посещений Башни Вячеслава Иванова. Вся Россия спит. Полночь. В столовой много народа. Наверное, нет ни одного обывателя, человека вообще, так себе человека. Мы не успели еще со всеми поздороваться, а уже Мережковский кричит моему мужу:

— С кем вы — с Христом или с Антихристом?

Спор продолжается. Я узнаю, что Христос и революция неразрывно связаны, что революция — это раскрытие Третьего Завета. Слышу бесконечный поток последних, серьезнейших слов. Передо мной как бы духовная обнаженность, все наружу, все почти бесстыдно. Потом Кузмин поет под собственный аккомпанемент духовные стихи. Потом разговор о греческих трагедиях, об «орхестре», о Дионисе, о православной церкви. На рассвете подымаемся на крышу, это тоже в порядке времяпрепровождения на Башне. Внизу Таврический сад и купол Государственной думы. Сонный, серый город.

Утром приносят новый самовар, едят яичницу. Пора домой. По сонным улицам мелкой рысцой бежит извозчичья лошадь. На душе мутно. Какое-то пьянство без вина, пища, которая не насыщает. Опять тоска.

И странно, — вот все были за революцию, говорили самые ответственные слова. А мне еще больше, чем перед тем, обидно за нее. Ведь никто, никто за нее не умрет. Мало того, если узнают о том, что за нее умирают, как-то и это все расценят, одобрят или не одобрят, поймут в высшем смысле, прокричат всю ночь — до утренней яичницы — и совсем не поймут, что умирать за революцию — это значит чувствовать настоящую веревку

на шее, вот таким же серым и сонным утром навсегда уйти, физически, реально принять смерть. И жалко революционеров, потому что они умирают, а мы можем только умно и возвышенно говорить о их смерти.

И еще мне жалко, — не бога, нет, его нету. Мне жалко Христа. Он тоже умирал, у него был кровавый пот, его заушали, а мы можем об этом громко говорить, нет у нас ни одного запретного слова. И если понятна его смерть за разбойников, блудниц и мытарей, то непонятна — за нас, походя касающихся его язв и не опаляющихся его кровью.

Постепенно происходит деление. Христос, еще не угнанный, становится своим. Черта деления все углубляется. Петербург, Башня Вячеслава, культура даже, туман, город, реакция — одно. А другое — огромный, мудрый, молчащий и целомудренный народ, умирающая революция, почему-то Блок и еще — еще Христос. Христос — это наше... Чье наше? Разве я там, где он? Разве я не среди безответственных слов, которые начинают восприниматься как кощунство, как оскорбление, как смертельный яд? Надо бежать, освобождаться. Но это не так-то легко. Жизнь идет точною колеею, по башенным сборищам, а потом по цехам, по «Бродячим собакам» [3].

Цех поэтов только что созидался. В нем было по-школьному серьезно, чуточку скучновато и манерно. Стихи были разные. Начинали входить в славу Гумилев и Ахматова. Он рыскал вне русской равнины, в чужих экзотических странах, она не выходила за порог душной, заставленной безделушками комнаты. Ни с ним, ни с ней не по пути.

А гроза приближалась. Россия — немая и мертвая. Петербург, оторванный от нее, — как бы оторванный от берега, безумным кораблем мчался в туманы и в гибель. Он умирал от отсутствия подлинности, от отсутствия возможности просто говорить, просто жить. Никакой вообще революции и никаких революционеров в природе не оказалось. Была только черная петербургская ночь. Удушье. Тоска не в ожидании рассвета, а тоска от убеждения, что никакого рассвета никогда больше не будет.

Таков фон, на котором происходят редкие встречи с Блоком. Вся их серия — второй период нашего знакомства.

Первая встреча — в декабре 1910 года, на собрании, посвященном десятилетию со дня смерти Владимира Соловьева. Происходило оно в Тенишевском училище. Выступали Вячеслав Иванов, Мережковский, какие-то артистки, еще кто-то и Блок[4]. На эстраде он был высокомерен, говорил о непонимании толпы, подчеркивал свое избранничество и одиночество. Сюртук застегнут, голова высоко поднята, лицо красиво, трагично и неподвижно.

В перерыве муж ушел курить. Скоро вернулся, чтобы звать меня знакомиться с Блоками, которых он хорошо знал. Я решительно отказалась. Он был удивлен, начал настаивать. Но я еще раз заявила, что знакомиться не хочу, — и он ушел. Я забилась в глубину своего ряда и успокоилась.

Вскоре муж вернулся, но не один, а с высокой, полной и, как мне сразу показалось, насмешливой дамой — и с Блоком. Я не могла прятаться больше, — надо было знакомиться. Дама улыбалась. Блок протягивал руку.

Я сразу поняла, что он меня узнал. Действительно, он говорит:

— Мы с вами встречались.

Опять знакомая, понимающая улыбка. Он спрашивает, продолжаю ли я бродить, как справилась с Петербургом. Отвечаю невпопад. Любовь Дмитриевна приглашает нас обедать. Уславливаемся о дне. Слава богу, разговор кончается. Возобновляется заседание.

Потом мы у них обедали. По его дневнику видно, что он ждал этого обеда с чувством тяжести. Я тоже. На мое счастье, там был еще, кроме нас, очень разговорчивый Аничков с женой. Говорили об Анатоле Франсе[5]. После обеда он показывал мне снимки Нормандии и Бретани, где он был летом[6], говорил о Наугейме, связанном с особыми мистическими переживаниями, спрашивал о моем прежнем. Еще говорили о родных пейзажах, вне которых нельзя понять до конца человека. Я говорила, что мое — это зимнее бурное, почти черное море, песчаные перекаты высоких пустынных дюн, серебряно-сизый камыш и крики бакланов. Он рассказывал, что, по семейным данным, фамилия Блок немецкого происхождения, но, попав в Голландию, он понял, что это ошибка, что его предки именно оттуда, — до того ему там все показалось родным и кровным. Потом говорили о детстве и о детской склонности к страшному и исключительному. Он рассказывал, как обдумывал в детстве пьесу. Герой должен был

покончить с собой. И он никак не мог остановиться на способе самоубийства. Наконец решил: герой садится на лампу и сгорает. Я в ответ рассказывала о чудовище, существовавшем в моем детстве. Звали его Гумистерлап. Он по ночам вкатывался в мою комнату, круглый и мохнатый, и исчезал за занавеской окна.

Встретились мы как знакомые, как приличные люди, в приличном обществе. Не то, что первый раз, когда я с улицы, из петербургского тумана, ворвалась к нему. Блок мог прийти к нам в гости, у нас была масса общих друзей, у которых мы тоже могли встретиться. Не хватало только какого-то одного и единственно нужного моста. Я не могла непосредственно к нему обратиться, через и мимо всего, что у нас оказалось общим.

Так кончился 1910 год. Так прошли 11-й и 12-й. За это время мы встречались довольно часто, но всегда на людях.

На Башне Блок бывал редко. Он там, как и везде, впрочем, много молчал. Помню, как первый раз читала стихи Анна Ахматова. Вячеслав Иванов предложил устроить суд над ее стихами. Он хотел, чтобы Блок был прокурором, а он, Иванов, адвокатом. Блок отказался. Тогда он предложил Блоку защищать ее, он же будет обвинять. Блок опять отказался. Тогда уж об одном, кратко выраженном, мнении стал он просить Блока.

Блок покраснел, — он удивительно умел краснеть от смущения, — серьезно посмотрел вокруг и сказал:

— Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед богом.

Все промолчали. Потом начал читать очередной поэт.

Помню Блока у нас, на квартире моей матери, на Малой Московской. Народу много. Мать показывает Любови Дмитриевне старинные кружева, которых у нее была целая коллекция. Идет общий гул. За ужином речи. Я доказываю Блоку, что все хорошо, что все идет так, как надо. И чувствую, что от логики моих слов с каждой минутой растет и ширится какая-то только что еле зримая трещинка в моей собственной жизни. Помню еще, как мы в компании Пяста, Нарбута и Моравской в ресторане «Вена» выбирали короля поэтов. Об этом есть в воспоминаниях Пяста[7].

Этот период, не дав ничего существенного в наших отношениях, житейски сблизил нас, — скорее просто познакомил. То встреча у Аничковых, где подавали какой-то

особенный салат из грецких орехов и омаров и где тогда же подавали приехавшего из Москвы Андрея Белого, только что женившегося. Его жена показывала, как она умеет делать мост, а Анна Ахматова в ответ на это как-то по-змеиному выворачивала руки.

И наконец еще одна встреча. Тоже на людях. В случайную минуту, неожиданно для себя, говорю ему то, чего еще и себе не смела сказать:

— Александр Александрович, я решила уезжать отсюда: к земле хочу. Тут умирать надо, а я еще бороться буду.

Он серьезно, заговорщицки отвечает:

— Да, да, пора. Потом уж не сможете. Надо спешить.

Вскоре он заперся у себя. Это с ним часто бывало. Снимал телефонную трубку, писем не читал, никого к себе не принимал. Бродил только по окраинам. Некоторые говорили — пьет. Но мне казалось, что не пьет, а просто молчит, тоскует и ждет неизбежного. Было мучительно знать, что вот сейчас он у себя взаперти, и ничем помочь нельзя.

Я действительно решила бежать окончательно весной, вместе с обычным отъездом из Петербурга. Не очень демонстративно, без громких слов и истерик, никого не обижая.

Куда бежать? Не в народ. Народ — было очень туманно. А к земле.

Сначала просто нормальное лето на юге. Но осенью вместе со всеми не возвращаюсь в Петербург. Осенью на Черном море огромные, свободные бури. На лиманах можно охотиться на уток. Компания у меня — штукатур Леонтий, слесарь Шлигельмильх, банщик Винтура. Скитаемся в высоких сапогах по плавням. Вечером по морскому берегу домой. В ушах вой ветра, свободно, легко. Петербург провалился. Долой культуру, долой рыжий туман, Башню, философию. Есть там только один заложник. Человек, символ страшного мира, точка приложения всей муки его, единственная правда о нем, а может быть, и единственное, мукой купленное, оправдание его — Александр Блок.

Осенью 13-го года по всяким семейным соображениям надо ехать на север, но в Петербург не хочу. Если уж это неизбежно, буду жить зимой в Москве, а ранней весной назад, к земле. Кстати, в Москве я никого почти не знаю, кроме кое-каких старых знакомых моей матери.

Первое время Москва действительно не отличается от южной жизни. В квартире, около Собачьей площадки, я одна. В моей жизни затишье, пересадка. Поезда надо ждать неопределенно долго. Жду.

Месяца через полтора после приезда случайно встречаю на улице первую петербургскую знакомую, Софью Исааковну Толстую. Она с мужем тоже переехала в Москву, живут близко от меня на Зубовском бульваре. Зовет к себе. В первый же вечер все петербургское, отвергнутое, сразу нахлынуло. Правда, в каком-то ином, московском виде. Я сначала стойко держусь за свой принципиальный провинциализм, потом медленно начинаю сдавать. Вот и первая общая поездка к Вячеславу Иванову[8]. Еду в боевом настроении. В конце концов все скажу, объявлю, что я враг, и все тут.

У него на Смоленском[9] все тише и мельче, чем было на Башне, он сам изменился. Лунное не так заметно, а немецкий профессор стал виднее. Не так сияющ ореол волос, а медвежьи глазки будто острее. Народу, как всегда, много. Толкуют о Григории Нисском, о Пикассо, еще о чем-то. Я чувствую потребность борьбы.

Иванов любопытен почти по-женски. Он заинтересован, отчего я пропадала, отчего и сейчас я настороже. Ведет к себе в кабинет. Бой начинается. Я не скрываю, наоборот, сама первая начинаю. О пустословии, о предании самого главного, о пустой жизни. О том, что я с землей, с простыми русскими людьми, с русским народом, что я отвергаю их культуру, что они оторваны, что народу нет дела до их изысканных и неживых душ, даже о том, что они ответят за гибель Блока.

Вячеслав Иванов очень внимателен. Он все понимает, он со всем соглашается. Более того, я чувствую в его тоне попытку отпустить, благословить на этот путь. Но ни отпуска не прошу, ни благословения не хочу. Разговор обрывается.

Вскоре опять, 26 ноября, мы вместе с Толстыми у В. Иванова на Смоленском.

Народу мало, против обыкновения. Какой-то мне неведомый поэт, по имени Валерьян Валерьянович (потом узнала — Бородаевский), с длинной, узкой, черной бородой, только что приехал из Германии и рассказывает о тоже мне неведомом Рудольфе Штейнере.

Хозяин слушает с таким же благожелательным любопытством, как слушает вообще все. Для него рассказ в

основных чертах не нов, поэтому он расспрашивает больше о подробностях, о том, как там Белый, Волошин и т. д. Оттого, что о главном мало речи, я не могу окончательно уловить, в чем дело.

Но у меня неосознанный, острый протест. Я возражаю, спорю, не зная даже, против чего именно я спорю. Но странно, сейчас я понимаю, что тогда основная интуиция была верна. Я спорила против обожествления и абсолютизации человеческой природной силы. В нелепом, приблизительном споре я вдруг чувствую, что это все не случайно, что борьба у меня идет каким-то образом за Блока, что тут для него нечто более страшное, чем все туманы и метели его страшного пути, потому что враг из безличного становится личным.

Поздно вечером уходим с Толстым. Продолжаем говорить на улице. Сначала это спор. Потом просто моя декларация о Блоке. Мы уже не домой идем, а скитаемся по снежным сугробам на незнакомых пустых улицах. Я говорю громко, в снег, в ночь, вещи для меня пронзительные и решающие.

У России, у нашего народа родился такой ребенок. Самый на нее похожий сын, такой же мучительный, как она. Ну, мать безумна, — мы все ее безумьем больны. Но сына этого она нам на руки кинула, и мы должны его спасти, мы за него отвечаем. Как его в обиду не дать — не знаю, да и знать не хочу, потому что не своей же силой можно защитить человека. Важно только, что я вольно и свободно свою душу даю на его защиту.

Первого декабря, через четыре дня после этой ночи, я неожиданно получила письмо в ярко-синем конверте. Как всегда в письмах Блока, ни объяснений, почему он пишет, ни обращений, — «глубокоуважаемая» или «дорогая». Просто имя и отчество, и потом как бы отрывок из продолжающегося разговора. ...«Думайте сейчас обо мне, как и я о вас думаю... Силы уходят на то, чтобы преодолеть самую трудную часть жизни, — середину ее... Я перед вами не лгу... Я благодарен вам»... [10]

Может быть, сейчас мне трудно объяснить, отчего это короткое и не очень отчетливое письмо потрясло меня. Главным образом, пожалуй, потому, что оно было ответом на мои ночные восторженные мысли, на мою молитву о нем.

Я ему не ответила. Да и что писать, когда он и так должен знать и чувствовать мой ответ? Вся дальнейшая

зима прошла в мыслях о его пути, в предвидении чего-то гибельного и страшного, к чему он шел. Да и не только *он*, — все уже смешивалось в общем вихре. Казалось, что стоит голосу какому-нибудь крикнуть — и России настанет конец.

Опять юг.

Весной 14-го года, во время бури, на Азовском море погрузились на дно две песчаные косы с рыбачьими поселками. В это время у нас на Черноморском побережье земля стонала. Мне рассказывали охотники, как они от этих стонов бежали с лиманов и до поздней ночи провожали друг друга, боясь остаться наедине со страждущей землею. А летом было затмение солнца. От него осталось только пепельно-серебристое кольцо. Запылали небывалые *зори*, — не только на востоке и на *западе*, — весь горизонт загорелся зарею. Выступили на пепельно-зеленом небе бледные звезды. Скот во дворе *затревожился*, — коровы мычали, собаки лаяли, стал кричать петух, куры забрались на насесты спать.

Потом наступили события, о которых все *знают*, — мобилизация, война.

Душа приняла войну. Это был не вопрос о победе над немцами, немцы были почти ни при чем. Речь шла о народе, который вдруг стал единой живой личностью, с этой войны в каком-то смысле начинал свою историю. Мы слишком долго готовились к отплытию, слишком истомились ожиданием, чтобы не радоваться наступившим срокам.

Брат ночью пришел ко мне в комнату, чтобы сообщить о своем *решении*, — идет добровольцем. Двоюродные сестры спешили в Петербург поступать на курсы сестер милосердия. Первое время я не знала, что делать с собой, сестрой милосердия не хотела *быть*, — казалось, надо что-то другое найти и осуществить. Основное — как можно дольше не возвращаться в город, как можно дольше пробыть одной, чтобы все обдумать, чтобы по-настоящему все понять.

Так проходит мучительная осень. Трудно сказать, что дала она *мне*, — но после нее все стало тверже и яснее. И особенно твердо сознание, что наступили последние сроки. Война — это преддверие конца. Прислушаться, присмотреться, уже вестники гибели и преображения средь нас.

Брат мой воевал добровольцем где-то на Бзуре. Мать не хотела оставаться одна в Петербурге, — мне пришлось ехать к ней.

Поезд несся по финским болотам среди чахлой осины и облетевших берез. Небо темно. Впереди черная завеса копоти и дыма. Пригород. Казачьи казармы. И Николаевский вокзал.

Еду и думаю. К Блоку пока ни звонить не буду, не напишу и, уж конечно, не пойду. И вообще сейчас надо по своим путям в одиночку идти. Программа зимы — учиться, жить в норе, со старыми знакомыми по возможности не встречаться.

Приехали к завтраку. Родственные разговоры, расспросы. День тихий и серый. Некоторая неразбериха после дороги. А в три часа дня я уже звоню у блоковских дверей... Горничная спрашивает мое имя, уходит, возвращается, говорит, что дома нет, а будет в шесть часов.

Я думаю, что он дома. Значит, надо еще как-то подготовиться. С Офицерской иду в Исаакиевский собор, — это близко. Забиваюсь в самый темный угол. Передо мной проходят все мысли последнего времени, проверяю решения. Россия, ее Блок, последние сроки, — и надо всем Христос, единый, искупающий все.

В шесть часов опять звонюсь у его дверей. Да, дома, ждет. Комнаты его на верхнем этаже. Окна выходят на запад. Шторы не задернуты. На умирающем багровом небе видны дуги белесых и зеленоватых фонарей. Там уже порт, доки, корабли, Балтийское море [11]. Комната тихая, темно-зеленая. Низкий зеленый абажур над письменным столом. Вещей мало. Два больших зеленых дивана. Большой письменный стол. Шкаф с книгами.

Он не изменился. В комнате, в нем, в угольном небе за окнами, — тишина и молчание. Он говорит, что и в три часа был дома, но хотел, чтобы мы оба как-то подготовились к встрече, и поэтому дал еще три часа сроку. Говорим мы медленно и скупо. Минутами о самом главном, минутами о внешних вещах.

Он рассказывает, что теперь в литературном мире в моде общественность, добродетель и патриотизм. Что Мережковские или еще кто-то устраивают патриотические чтения стихов в закрытых винных магазинах Шитта, по углам больших улиц, для солдат и народа. Что его зовут читать, потому что это гражданский долг. Он недоумевает, у него чуть насмешливая и печальная улыбка.

— Одни кровь льют, другие стихи читают. Наверное, не пойду, — все это никому не нужно.

— И Брюсов сейчас говорит о добродетели.

— А вот Маковский оказался каким честным человеком. Они в «Аполлоне» издают к новому пятнадцатому году сборник патриотических стихов. Теперь и Сологуб воспевает барабаны. Северянин вопит: «Я, ваш душка, ваш единственный, поведу вас на Берлин» [12]. Меня просили послать. Послал. Кончаются так: «Будьте довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. Ах, если б знали, люди, вы холод и мрак грядущих дней» [13]. И представьте, какая честность, — вернули с извинениями, печатать не могут [14].

Потом мы опять молчим.

— Хорошо, когда окна на запад. Весь закат принимаешь в них. Смотрите на огни.

Потом я рассказываю, что предшествовало его прошлогоднему письму. Он удивлен.

— Ах, это Штейнер. С этим давно кончено. На этом многое оборвалось. У меня его портрет остался, Андрей Белый прислал.

Он подымается, открывает шкаф, из папки вынимает большой портрет. Острые глаза, тонкий извилистый рот. Есть что-то общее с Вячеславом Ивановым, но все резче, чернее, более сухое и волевое, менее лиричное. Блок улыбается.

— Хотите, разорвем?

Хочу. Он аккуратно складывает портрет вдвое, проводит по сгибу ногтем. Рвет. Опять складывает. Рвет. Портрет обращен в груду бумажек размером в почтовую марку. Всю груду сыпет в печь [15].

Моя очередь говорить. Сначала рассказываю о черноморских бурях, о диких утках и бакланах. Потом о том, что надо сейчас всей России в войне, в труде и в молчании искать своего Христа и в нем себя найти. Потом о нем, о его пути, о боли за него.

Мы сидим в самых дальних углах комнаты. Он у стола, я на диване у двери. В сумраке по близорукости я его почти не вижу. Только тихий и усталый голос иногда прерывает меня, — значит, он тут. Да еще весь воздух комнаты полон какого-то напряженного внимания, — слушает, значит.

Поздно, надо уходить. Часов пять утра. Блок серьезен и прост.

— Завтра вы опять приходите. И так каждый день, пока мы до чего-то не договоримся, пока не решим.

На улице дождь. Пустота. Быстро иду по сонному городу. Надо его весь пересечь. Господи, как огромен и страшен твой мир, и какую муку даешь ты твоим людям. На следующий день опять иду к Блоку.

У него опять такая же тишина. И так начинается изо дня в день [16]. Сейчас мне уже трудно различить, в какой раз что было сказано. Да и по существу это был единый разговор, единая встреча, прерванная случайными внешними часами пребыванья дома для сна, пищи, отдыха.

Иногда разговор принимал простой житейский характер. Он мне рассказывал о различных людях, об отношении к ним, о чужих стихах.

— Я вообще не очень люблю чужие стихи.

Однажды говорил о трагичности всяких людских отношений. Они трагичны, потому что менее долговечны, чем человеческая жизнь. И человек знает, что, добиваясь их развития, добивается их смерти. И все же ускоряет и ускоряет их ход. И легко заменить должный строй души, подменить его, легко дать дорогу страстям. Страсть — это казнь, в ней погибает все подлинное. Страсть и измена — близнецы, — их нельзя разорвать. И кончает неожиданно:

— Теперь давайте топить печь.

Топка печи у Блока — священнодействие. Он приносит ровные березовые поленья. Огонь вспыхивает. Мы садимся против печи и смотрим молча. Сначала длинные, веселые языки пламени маслянисто и ласково лижут сухую белесую кору березы и потухающими лентами исчезают вверху. Потом дрова пылают. Мы смотрим и смотрим, молчим и молчим. Вот с легким серебряным звоном распадаются багровые угольки., Вот сноп искр с дымом вместе уносится ввысь. И медленно слагаются и вновь распадаются огненные письмена, и опять бегут алые и черные знаки.

В мире тихо. Россия спит. За окнами зеленые дуги огней далекого порта. На улицах молчаливая ночь. Изредка внизу на набережной Пряжки одинокие шаги прохожего. Угли догорают. И начинается наш самый ответственный разговор.

— Кто вы, Александр Александрович? Если вы позовете, за вами пойдут многие. Но было бы страшной

ошибкой думать, что вы вождь. Ничего, ничего у вас нет такого, что бывает у вождя. Почему же пойдут? Вот и я пойду, куда угодно, до самого конца. Потому что сейчас — в вас как-то мы все, и вы — символ всей нашей жизни, даже всей России символ. Перед гибелью, перед смертью, Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи, — и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее сгораете. Что мы можем? Что могу я, любя вас? Потушить, — не можем, а если и могли бы, права не имеем: таково ваше высокое избрание, — гореть. Ничем, ничем помочь вам нельзя.

Он слушает молча. Потом говорит:

— Я все это принимаю, потому что знаю давно. Только дайте срок. Так оно все само собою и случится.

А у меня на душе все смешивается и спутывается. Я знаю, что все на волоске над какой-то пропастью. Наконец все становится ясным. В передней, перед моим уходом, говорим о последних каких-то подробностях. Он положил мне руки на плечи. Он принимает мое соучастие. Он предостерегает нас обоих, чтобы это всегда было именно так. Долго еще говорим. А за спокойными, уверенными словами мне чудится вдруг что-то нежданное, новое и по-новому страшное. Я напрягаю слух: откуда опасность? Как отражать ее?

На следующий день меня задержали дома. Прихожу позднее обыкновенного. Александр Александрович, оказывается, ушел. Вернется поздно. Мне оставил письмо.

«Простите меня. Мне сейчас весело и туманно. Ушел бродить. На время надо все кончить. *А. Б.*».

Дверь закрывается. Я спускаюсь этажом ниже. Останавливаюсь на площадке. Как же я уйду? Как я могу уйти? Подымаюсь назад. Стою долго у запертой двери. Потом решаюсь. Сажусь на верхней ступеньке. Я должна дождаться, чтобы еще что-то раз навсегда закрепить.

Идут не минуты, — идут часы. Уже далеко за полночь. Скоро, наверное, утро. Наконец долгий протяжный звонок внизу. Зажигается в пролете свет. Слышу, — этаж за этажом кто-то подымается, тяжело дышит от быстрой ходьбы. Это Блок. Встаю навстречу.

— Я решила дождаться вас, Александр Александрович.

Он не удивлен. Только говорит, что не хорошо вышло, потому что у соседей в квартире скарлатина. Как бы я домой не занесла.

Отворяет двери. Входим. Я начинаю сразу торопиться. Он слегка задерживает.

— Да, да, у меня просто никакого ответа нет сейчас. На душе пусто, туманно и весело, весело. Не знаю, может быть, оно и ненадолго. Но сейчас меня уносит куда-то. Я ни в чем не волен.

Я опять начинаю торопиться.

Александр Александрович неожиданно и застенчиво берет меня за руку.

— Знаете, у меня есть просьба к вам. Я хотел бы знать, что часто, часто, почти каждый день вы проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Пройдете, взглянете наверх. Это все.

Я соглашаюсь. Быстро прощаюсь. По существу, прощаюсь навсегда. Знаю, что в наших отношениях не играют роли пространство и время, но чувствую их очень мучительно.

Ухожу. Будто еще новая тяжесть на плечи упала[17].

А в это время мрачней и мрачней становилась петербургская ночь. Все уже, не только Блок, чуяли приближение конца. Одни думали, что конец будет, потому что на фронте не хватает снарядов, другие — потому что Россией распоряжается Распутин, третьи, как Блок, — может быть, и не имели никакого настоящего «потому что», а просто в ознаменование конца сами погибали медленно и неотвратимо.

И, наконец, летом 1916 года последнее письмо от Блока.

«Я теперь табельщик 13-й дружины Земско-Городского Союза. На войне оказалось только скучно. О Георгии и Надежде, — скоро кончится их искание. Какой ад напряженья. А ваша любовь, которая уже не ищет мне новых царств. *Александр Блок».* <...>

ВАСИЛИЙ ГИППИУС

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

Я не был — и по возрасту вряд ли мог быть — близок с Блоком. Но я встречался с Блоком, говорил с ним, помню многое, что он говорил, и об этом хочу рассказать.

В первый раз я увидел Блока в первую половину 1903 года или в самом конце 1902-го, когда Блоку было двадцать два года, а мне — всего двенадцать. Он пришел к моему брату Александру Васильевичу [1] и сидел за нашим семейным вечерним чаем, в серой, как тогда носили, студенческой тужурке. Из всего, что было в этот вечер, я помню только одно, но зато помню хорошо: чтение стихов Блока и разговор о них. Началось с того, что отец мой среди какого-то, кажется, безразличного разговора вдруг несколько напряженным тоном сказал, обратившись к Блоку: «Александр Александрович! Прочтите стихи». На это Блок совершенно спокойно и просто ответил: «Да, я с удовольствием прочту». Он читал «Царица смотрела заставки». Отец — почитатель и переводчик Данте и Петрарки — улыбнулся с легкой иронией. «Ну зачем вы пишете декадентские стихи? Зачем синие загадки? Почему загадки — синие?» Блок, немного задумавшись, ответил: «Потому что ночь *синяя*», — но тут же, засмеявшись, сказал: «Нет, конечно, не то». И, желая, быть может, отвести упрек в декадентстве, прочел: «Я и молод, и свеж, и *влюблен*». — «Вот это — совсем другое дело. Впрочем — ароматные слезы». Но Блок очень убежденно ответил: «Нет, у клена слезы — ароматные. Другой вопрос, могут ли быть слезы — у клена». На этом, кажется, спор закончился.

Я пропущу редкие встречи в последующие годы (в 1906—1909 годы нередко в театре Коммиссаржевской — на премьерах) и перейду к тому времени, когда я начал встречаться с Блоком вне семьи и вне отношений его с моим братом, а самостоятельно — как с писателем.

Первая такая встреча была в начале 1909 года[2]. Она произошла как бы символически для меня — почти буквально на пороге редакции «Нового журнала для всех» и «Новой жизни», куда я шел за одним из первых моих литературных гонораров. «Вы — в «Журнал для всех»? — спросил Блок. — Это ваши стихи были в журнале? Мне понравились»[3]. Эта скупая похвала была бы мне еще более дорога, если бы я мог тогда предвидеть его позднейшие и столь же скупые: «Мне не понравилось». Поднявшись в редакцию, я увидел на редакционном столе листок, написанный четким блоковский почерком. Мне бросились в глаза строки:

Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Я не задавал себе вопросов, почему плащ — синий. Блок со всей системой своих образов к тому времени прочно вошел в мое сознание, во всю мою жизнь.

В марте 1910 года я встретился с Блоком на 8-й линии Васильевского острова, где я тогда жил. Это было вскоре после смерти В. Ф. Коммиссаржевской. Я спросил, верно ли, что он будет читать свои стихи на вечере ее памяти. Блок ответил: «Да, мне заказали стихи. Я очень долго над ними работал и наконец написал». Признаюсь, в моем юношеском прекраснодушии меня покоробило от этих «заказали» и «долго работал», и только услышав чтение этих стихов на вечере, я получил урок по вопросу о том, что такое творческий труд *и что такое подлинное вдохновение.*

Я задал Блоку и другой вопрос. Незадолго до этого покойный ныне Вл. Ал. Пяст предложил мне и В. М. Жирмунскому рекомендовать нас в члены так называемой «поэтической академии» («Общества ревнителей художественного слова»). Я спросил Блока, знает ли он что-нибудь об этом (Блок был членом совета «академии»). Блок ничего не знал, но тут же предложил свою рекомендацию и пожалел, что не может упростить дело встречей на

очередном заседании. «Я не буду: там будет один человек, с которым я не могу встречаться». Всякий другой на месте Блока сослался бы на занятость или другую причину, но Блок, как я убедился позже не раз, или молчал, или говорил правду, даже в мелочах. Уже из посмертных публикаций — и, главным образом, из воспоминаний Андрея Белого — я узнал, кто был тот человек, с которым Блок не мог встречаться[4]. Условились, что перед заседанием я зайду к Блоку и возьму от него записку на имя кого-нибудь из членов совета. Затем Блок сказал: «Мне писала В<ера> В<асильевна> по другому делу. Вы знаете об этом деле?» Я знал об этом деле. В. В., моя сестра, писала об одном человеке, вернувшемся из ссылки, очень нуждавшемся и желавшем литературного заработка. Блок ответил на письмо, помнится, очень скоро. Он писал, что заработок в журналах неизвестному человеку найти почти невозможно. «Вы, вероятно, знаете, как теперь везде «свои». Но если можно помочь ему так, чтобы он не чувствовал себя никому обязанным, я прошу принять и мою долю — 10 рублей». Эти фразы я запомнил; самое письмо не сохранилось. Я ответил, что речь шла, насколько я понимаю, именно о заработке, а не о денежной помощи. Блок спросил, несколько задумчиво: «Он — самолюбивый?»

Выступлений Блока в «поэтической академии» на моей памяти было немного. На одном из заседаний читались стихи не бывшего на заседании А. Скалдина. Читал их Блок. Пренебрежительно-иронически отозвался о стихах Кузмин; упорно защищал их Вяч. Иванов; когда же обратились к Блоку с просьбой высказаться, он с обычным лаконизмом ответил: «Мне не *нравится*», — и отказался что-нибудь прибавить в объяснение своей оценки. В другой раз одно свое стихотворение прочитал я. Прочитал, конечно, то, которое казалось мне лучшим, и несколько трепетно ждал, скажет ли Блок «мне нравится» или «мне не нравится». Но Блок сказал только: «Это стихотворение, по-видимому, из тех, которые могут быть поняты не отдельно, а в связи с целым циклом стихов». И, помолчав, прибавил: «Или даже в связи с целым мировоззрением». По поводу выражения «Где ж твой меч?» кто-то заметил, что образ меча здесь вносит неуместный аллегоризм. Блок сказал: «Да, надо было сказать просто: где ж твоя воля?» Я понял, конечно, что речь шла не о буквальной замене.

В конце зимы 1910 года я однажды встретился с Блоком у С. М. Городецкого. Незадолго, до этого в одном семействе был домашний маскарад, на котором представлен был «Балаганчик»[5]. Постановка была задумана без сцены, среди публики, собрание мистиков происходило в углу у камина, а наверху камина сидел Пьеро; затем актеры выходили на середину комнаты, окруженные кольцом зрителей. Я рассказал Блоку об этом вечере, сказал, что пригласить его мы не решились, хотя и очень хотели. Блок был очень заинтересован и расспрашивал об исполнителях. Я сказал, что среди нас, дилетантов, выделился один. Я имел в виду исполнителя роли Пьеро В. С. Чернявского. Я сказал Блоку, что В. С. Чернявского он, может быть, знает как автора одной из статей в недавно вышедшем сборнике памяти Коммиссаржевской — «Алконост». Блок ответил, что в «Алконосте» ему запомнились две статьи: «одна с воспоминаниями, другая с обобщениями». Статья с «обобщениями» и была статьей Чернявского. Я спросил Блока, не думает ли он написать о Коммиссаржевской чего-нибудь большего, чем его краткие отклики на ее смерть[6]. Блок сказал на это: «Да, именно теперь я мог бы написать».

По настоянию С. М. Городецкого я прочел одно из последних своих стихотворений. На этот раз Блок сказал-таки «не нравится». «Те, что печатались в журнале, нравились, а это не нравится». В прочитанных стихах между прочим было выражение «озера бытия». «Как же быть с озерами бытия? — спросил Блок. — И какая же разница между озерами бытия и слонами раздумья?» Я знал, конечно, что Блок цитировал пародию Вл. Соловьева на «Русских символистов». «Я-то, — прибавил Блок, — очень хорошо знаю, как возникают такие образы».

Летом 1911 года я был вместе с В. М. Жирмунским в Венеции. Там все напоминало о Блоке, о его «Итальянских стихах». Я послал Блоку открытку с видом площади Святого Марка, написав на ней две строки, все эти дни бывшие в сознании:

Холодный ветер от лагуны,
Гондол безмолвные гроба...

Продолжение этих строк: «Я в эту ночь, больной и юный, простерт у львиного столба». И эти строки звучали в сознании так настойчиво, что, дойдя до «львиного

столба», захотелось исполнить блоковские строки буквально. Осуществить полушуточный, полусерьезный обряд оказалось совсем не трудно: то, что в Петербурге было бы немыслимым озорством, никого не могло удивить в теплый южный вечер, в окружении венецианцев, если не «простертых», то непринужденно сидевших тут же. При встрече с Блоком я рассказал ему о том, как «простирался» в его память. Он, улыбаясь, сказал: «А я не простирался».

20 октября 1911 года я снова встретил Блока у Городецкого — на этот раз на многолюдном вечере: это было первое собрание будущего «Цеха поэтов»[7]. Блок читал вариант «Незнакомки» («Там дамы щеголяют модами»), — тогда еще не напечатанный, но в прениях не участвовал и в «Цехе» с тех пор ни разу, кажется, не бывал.

Через месяц — 21 ноября (беру дату из дневника Блока) — я встретил его на публичной лекции моего брата, Вл. Вас. Гиппиуса. Эта лекция (первая из цикла публичных лекций по русской литературе) в печати никогда не появлялась[8]. Блок расспрашивал о «Цехе поэтов». Я, между прочим, иронически процитировал строчку одного поэта, которая показалась мне характерной — до впечатления пародийности — для модного тогда среди части поэтов эстетства: «Ты отдалась на дедовском диване». Блок засмеялся и сказал: «Это, кроме всего, еще и плагиат из Городецкого: «Ты отдалась мне, как ребенок». Речь зашла о только что напечатанной рецензии Городецкого на «Ночные часы»[9]. Мне казалось, что рецензия эта слишком элементарно выпрямляет путь Блока: мысль ее была, что образ «Прекрасной Дамы», обернувшись на время «Незнакомкой», теперь сливается с образом России. Но Блок отнесся иначе. «Хорошо уже то, — сказал он, — что об этом можно говорить популярно».

Вскоре после этого появилась моя рецензия на «Ночные часы» — в «Новой жизни»[10]. Блок прочел ее 27 ноября, о чем записано в его дневнике, но я получил номер журнала позже. Увидев рецензию в печати, я был в отчаянии. Все, что было написано о книге по существу, как об этапе творческого пути Блока, было выброшено, остались только замечания о стиле, иногда совсем мелкие. Я написал Блоку письмо, посетовав на все, что произошло, и, приложив самую рецензию, написал, что надеюсь все же высказаться о поэзии Блока по существу

в статье, работу над которой хочу начать, как только закончится начатое мусагетовское собрание. Блок ответил мне таким письмом:

Дорогой Василий Васильевич.

Благодарю Вас за рецензию, которую, впрочем, читал в журнале; мне были ценны отдельные замечания, но они действительно отрывочны, и я очень рад, что в этом виноваты не Вы, а редактор; тем более хочу узнать статью, но совсем не знаю, когда выйдут книги; я Вам их все с удовольствием подарю — от первой, если ее у Вас нет, и до третьей, куда войдут и «Ночные часы».

Ваш *Ал. Блок.*

14 XII

Издание закончилось через год; Блок не забыл своего обещания и прислал мне все три тома с надписью: «Василию Гиппиусу с приветом».

Осенью 1912 года я два раза был у Блока — 29 августа и 14 октября, о чем записано в его дневнике. Обе эти встречи начинались одинаково — и одинаково случайно. Одни из моих друзей жил в том самом доме на Офицерской, где жила мать Блока. Встретившись с Блоком у подъезда, я, продолжая разговор, проводил его до его дома — на той же Офицерской, и Блок пригласил меня зайти; то же было и в следующий раз; сам я не решился бы «вторгнуться» к Блоку.

Многое, к сожалению, забылось, а записать тогда — не приходило в голову.

В первый, кажется, раз Блок рассказывал о своем путешествии по Европе, и, между прочим, об Амстердаме, заметив, что слова Бальмонта «О, тихий Амстердам!» никак не соответствуют действительному впечатлению. Во второй раз зашла между прочим речь о том, как люди теряют себя, растрачиваясь на мелочи, на случайные дела и встречи. Я заметил, что это может начаться с законной потребности в новых впечатлениях. Блок улыбнулся: «Да. А впечатления всегда бывают вот какие». Он выдвинул ящик стола, вынул из него четвертку бумаги и протянул мне. Я прочитал:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала.
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Это всем теперь известное восьмистишие имеет дату 10 октября 1912 года; разговор был 14 октября. Стихотворение поразило меня своей мрачной иронией. Замечательным поэтическим достижением показалась сразу эта «аптека», только на первый взгляд случайная в ряду ночи, улицы и фонаря. Я сказал это Блоку и полушутя добавил, что буду тем более помнить эти стихи, что и около нашего дома есть аптека. Но Блок как-то очень серьезно сказал: «Около каждого дома есть аптека».

Блок сказал тогда же, что пишет драму из эпохи средневековья. В подробности он не входил, и я не расспрашивал, хотя, конечно, был заинтригован очень. Он спросил меня, не могу ли я помочь ему перевести одно место из старофранцузского лечебника — место, нужное ему для работы. Я взялся это сделать, хотя бы с чьей-нибудь помощью, и сделал — с помощью Д. К. Петрова. В ответ на посланный перевод я получил тотчас же (16 октября) открытку от Блока:

Дорогой Василий Васильевич, спасибо Вам, мне все, что Вы перевели, нужно.

Ваш *Ал. Блок.*

Я узнал потом знакомое место в реплике доктора в «Розе и Кресте»: «Ваша милость, супруга ваша подвержена меланхолии, которая холодна, суха и горька. Царство меланхолии длится от августовских до февральских ид...»

Осенью 1913 года я снова попал к Блоку — кажется, так же, как в оба предыдущие раза. Блок говорил на этот раз много и даже как-то взволнованно. Он говорил о всеобщем равнодушии. «Разве можно, например, относиться спокойно к тому, что царь пьет?» Говорил об одном, недавно выступившем поэте и читал места из его писем. «Ведь вот иногда в нем что-то словно ангельское, а иногда это просто хитрый мужичонка» [11]. Зашел разговор и об Игоре Северянине, к которому я относился тогда очень резко неприязненно (как к поэту, — лично я его не знал). Но Блок оценивал его иначе: ведь за несколько месяцев до того он записал в дневник: «Я преуменьшал его... это настоящий, свежий, детский та-

лант»[12]. И он указал мне на стихи, которые считал лучшими. Разве это не хорошо: «Она кусает платок, бледнея»? Ну, а если это принять, то нужно принять и все остальное, даже «демимонденка — и лесофея». Я заметил, что строчка «Когда ей сердце мечты отр*о*пили» двусмысленна, не ясно даже, от какого корня изобретенное им слово «отропили» — от троп*ы* или от тр*о*па. «Конечно, от т р *о* п а, — сказал Б л о к. — Тр*о*пы и фигуры». Он прибавил усмехаясь: «Мне тоже долго не нравился Северянин. Но как-то раз я был очень пьян и, вернувшись домой, стал его читать. Тогда я сразу его понял». Я сказал, что признаю, конечно, талант Северянина, но что меня отталкивает его мещанская сущность. Блок вдруг как-то особенно оживился: «Вот, вот — это и есть то, что я больше всего люблю. Мещанское житье» (я помнил, конечно, что так назывался цикл в «Земле в снегу»). «Вот, я часто хожу гулять по окраинам. Там бывают лавки, где продается все, что угодно: тут и открытки с красавицами, тут и соски. И кажется, что все это действительно нужно. Пока жених — нужна открытка; женится, пойдут дети — нужна соска»[13]. Было ясно, что Блок переосмыслял этого поэта в свете своих, совсем инородных настроений.

В начале декабря 1913 года один товарищ по «Цеху поэтов» пришел ко мне и стал звать на «вечер новой поэзии» (не помню уже, в каком помещении происходивший), где будто бы нам обоим необходимо было не только быть, но и выступить. Мы отправились. Там оказался и Блок. Он читал на этом вечере три стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе», «На железной дороге» и «В ресторане». В кулуарах Блок рассказывал о совсем недавнем «вечере футуристов» — это было представление трагедии «Владимир Маяковский» и «Победы над солнцем» Крученых[14]. Слушали трое или четверо; среди них был, кажется, С. М. Городецкий. На вечере футуристов никто из слушавших не был, и было любопытно, что скажет о футуристах Блок. Блок сказал: «Есть из них один замечательный: Маяковский». Это было неожиданно уже потому, что о футуристах принято было говорить огулом, не задумываясь над индивидуальными различиями. На вопрос, что же замечательного находит он в Маяковском, Блок ответил с обычным лаконизмом и меткостью — одним только словом: «Демократизм».

В январе 1914 года я неожиданно получил от Блока такое письмо:

18 января

Дорогой Василий Васильевич, боюсь, что письмо не дойдет — адрес прошлогодний, потому только прошу Вас, позвоните мне завтра, часов в 12, в 1 час, мне надо Вам сообщить много.

Ваш *Ал. Блок.*

Оказалось, что Блок заинтересовался моим переводом «Кота в сапогах» Тика и, еще не зная самого перевода, стал рассказывать о пьесе в театральных кругах. Возникла мысль о постановке пьесы, которая и вчуже соблазняла «романтической иронией», подчеркнутой театральностью. (Постановка эта не состоялась.) Понятен, конечно, интерес к Тику автора «Балаганчика», который сам в предисловии к «Лирическим драмам» признал свою близость к теории «романтической иронии».

Блок организовал чтение моего перевода и сам был на нем. Он много смеялся и остался особенно доволен характером кота у Тика. Это внимание именно к *характеру* в этой пьесе — по замыслу менее всего психологической — кажется мне очень симптоматичным в эволюции. Блока [15]. В тот же, кажется, вечер Блок рассказывал о спектакле «Гибель «Надежды» Гейерманса в студии Художественного театра. Он особенно отметил один эпизод, когда исполнитель роли Капса (если не ошибаюсь, Б. М. Сушкевич) в своей реплике на вопрос о корабле: «Известий нет?» — отвечал: «Нет», и при этом нервно и многозначительно ковырял конторку. В этом жесте Блок видел образец большого мастерства [16]. Я вспомнил тогда же похвалу северянинской строке «Она кусает платок, бледнея». А позже поставил в ту же связь такие стихи самого Блока, как «Превратила все в шутку сначала».

Около того же времени я, встретив как-то Блока на улице, помню, спросил его, пойдет ли он на вечер Поля Фора. Французский поэт Поль Фор, только что перед этим выбранный в Париже «королем поэтов», должен был выступать в небезызвестной «Бродячей собаке»; но Блок в «Бродячей собаке» бывать не любил [17], не собирался идти и в этот раз. «Мне, впрочем, звонили, — сказал он, улыбаясь, — передали: «Приходите, приехал французский король».

Весной 1914 года я как-то был неподалеку от Блока и решил попытаться зайти к нему. Блок был дома. Почти с первых слов он заговорил опять о Северянине. «Я теперь понял Северянина. Это — капитан Лебядкин. Я думаю даже написать статью «Игорь-Северянин и капитан Лебядкин» [18]. И он прибавил: «Ведь стихи капитана Лебядкина очень хорошие». Он прочитал:

Жил на свете таракан,
Таракан от детства.
И попал он раз в стакан,
Полный мухоедства.

Я понял, конечно, что я — отнюдь не победитель в споре и что образ Достоевского помогает Блоку не осудить Северянина, а найти ключ к его личности, обнаружив сквозь видимую пошлость более глубоко скрытые человеческие черты.

Блок спросил, читал ли я стихи его, напечатанные в «Сирине», и стал расспрашивать о впечатлении от каждого. Я назвал прежде всего «Когда ты загнан и забит», еще не зная, что это — отрывок из «Возмездия». Блок сказал об этом. Видно было, что он придает особое значение своей работе над поэмой и проверить впечатление от напечатанного отрывка ему важно. Из дальнейшего разговора я понял также, что больше всех стихотворений, напечатанных в «Сирине» [19], он ценит «Ты помнишь? В нашей бухте сонной», незадолго до того появившееся в «Русской мысли».

Тогда же в первый раз я решился попросить Блока прочесть стихи. Блок согласился и читал довольно много из своей записной книжки. Он прочел целиком «Жизнь моего приятеля», итальянские стихи (из ненапечатанных тогда) и другие.

Говорили опять о современной поэзии. Блок был уверен в цикличности литературных процессов: с этой точки зрения возрождение поэзии должно было наступить в двадцатые годы XX века.

Провожая меня, уже в дверях, Блок вдруг спросил: «А вы верите в «Цех»?» (т. е. в «Цех поэтов»). Я ответил: «Я верю в будущий Цех». Блок кивнул головой и сказал — словно о чем-то само собой разумеющемся: «Ну да. Двадцатых годов».

Это были последние слова Блока, которые мне пришлось слышать.

ПАВЕЛ СУХОТИН

ПАМЯТИ БЛОКА

Было жаркое лето в Москве. Я бродил по пустынным и вяло живущим улицам: замазанные мелом окна особняков Арбата, важные гудки курьерских дальних поездов, в лунные ночи загашенные фонари, открытки друзей с манящими заграничными штемпелями — все волновало сознанием некоторой покинутости и благодатной печалью, побуждающей к творчеству.

И вот, в душный июльский день, в кондитерской Эйнем на Петровке, куда я зашел с Борисом Зайцевым, я увидел А. А. Блока [1].

Александр Блок!

Дотоле для меня это было не имя, но обольстительный образ тех веяний, которыми я жил. Это был воздух, раздраженный неслыханными ритмами стихов и той напевностью, в которую гениально были облечены предчувствия и мысли многих из нас, пытающихся выразить себя словом. Блок — это была сама юность, с зорями и закатами, с тем весельем, на грани которого начиналось паденье, с радостью, мгновенно переходящей в глухие рыдания.

Таков был он, таковы были мы — питомцы «страшных лет России» [2].

Зайцев познакомил нас и осторожно спросил:

— А у вас, я слышал, несчастье?

Помнится, Блок не ответил на его вопрос, а перевел разговор на что-то другое и занялся покупкой конфект. «Вы дайте мне какие-нибудь позанятнее», — сказал он продавщице.

— Пастила, шоколад Миньон... — затараторила нарочито вежливая барышня, с поднятою над витриной рукой с оттопыренным мизинцем.

— Только уж не Миньон, — сказал Блок, выбрал какую-то коробку, заторопился и, простившись с нами, ушел.

Выходя вслед за ним, я спросил у Зайцева, о каком его несчастии говорил он.

— У Блока умер ребенок [3].

Блок, покупающий конфекты; Блок — отец, потерявший ребенка!

Я был как будто разочарован, — до того все мое представление о нем было наджизненно и нереально, потому что и я сам, и все, мне подобные, с нашими чувствами, мыслями, мечтами и вкусами были нежизненны, и пьедесталы нашим богам мы строили не на живой земле, а в воздушных пространствах или в редакциях — душных, прокуренных, шелестящих грудами рукописей, шумных беседами, на которых реже председательствовал разум или чистое литературное устремление, берущее начало в исконном брожении масс, чаще — затаенная литературная обида или напыщенная, тяжелая денежная сумка мецената, чрезмерно томимого жаждой приобщиться к лику восходящих литературных звезд.

Блок — не мечта, а человек — предстал передо мной впервые, и так мимолетно, что я даже не запомнил его фигуры, и только услыхал его твердый и уверенный шаг, которым он вынес свою гордую фигуру в толпу гуляющей Петровки.

Вторым звуком «человеческого голоса Блока», даже хочется сказать — «животного голоса» (лучше придумать не могу), я услыхал в его «Ночных часах»:

Я пригвожден к трактирной стойке,
Я пьян давно...

И для меня Блок стал облекаться плотью, но не тою разнеженной, подкрашенной и даже «трупной», в которую облек его художник Сомов, но в прекрасную плоть живого человека, с широкими плечами и сильной мускулатурой, каким я увидел его при нашей второй встрече в Петербурге и полюбил его крепко и навсегда.

Казалось бы, были причины не к любви, а к розни, так как перед этим мы обмелялись с ним письмами по

поводу моей книги стихов «Полынь», которую он назвал «непитательной»[4]. Значит, было задето за живое мое литературное самолюбие? Но нет! Именно от этого одного слова «непитательно» меня еще больше повлекло к Блоку. Какое чудесное слово было сказано им! Сколько в нем было скрыто мудрости и истинного понимания, — да, настоящая литература должна быть *питательной,* должна быть пищей, а не тем лимонадом, который высасывают из бокалов через соломинку в кофейнях и ночных американских барах. После он, правда, изменил мнение о моих стихах, но не это важно, а важно то, что с этого именно момента начались мои жнзнедейственные отношения с Блоком-поэтом. Он больше не отвлекал меня в сторону чрезмерной и губительной мечтательности, но сам стал для меня *питательным.* И, наконец, «Стихи о России» были крепким звеном нашего недолгого, но верного дружества.

Не забыть мне, как этот человек, на лице которого присутствовало золотое обрамление высоких наитий, сидя за своим столом, в квартире многоэтажного дома на Пряжке, говорил мне о будущей России.

— Знаете, — говорил он, — когда я подумаю и постараюсь только представить себе, сколько в России богатств, сколько так называемых недр и возможностей, то почти сумасшедшая мечта создается в моей голове, мечта о том, когда все эти недра задвигают машины и люди. Чем будем для мира мы — дикие скифы, русские посконные мужики! Это может быть и страшно, но — чудесно.

Это была ночь, и от слов его можно было поверить, что в окно к нам глядится

Америки новой звезда[5].

А потом еще встреча и совсем другое: мы в ночном притоне за кособоким столиком, на скатерти которого, по выражению Щедрина, «не то ели яичницу, не то сидело малое дитяти». И перед нами чайник с «запрещенной водкой». Улицы, по которым мы шли сюда, были все в мелком дожде. Продавцы газет на Невском кричали о «фронте», о «больших потерях германцев», о «подвигах казацкого атамана». И все это газетно, неверно, преувеличенно — ради тиража. На улицах холодно, сыро и мрачно. И мы — мрачны.

— Придется мне ехать на войну, — сказал Блок.

— А нельзя ли как-нибудь... — начал я, распытывая его взглядом.

— Об этой подлости и я подумывал, да решил, что не нужно. Ведь вот вы занимаетесь какими-то колесами военного образца, так почему же и мне не надо ехать что-нибудь делать на фронте. А по-моему, писатель должен идти прямо в рядовые, не ради патриотизма, а ради самого себя.

И тут же — глоток водки из грязной чашки.

А рядом навзрыд плакал опьяневший деревенский парень. И Блок его утешал ласково и любовно, а потом, обернувшись ко мне, сказал:

— Вот видите, плачет, а приедет домой и жену станет бить.

Мы расстались. Но как-то, именно в эту встречу, Блок сказал мне:

— А кончится эта страшная кутерьма, и кончится чем-то хорошим.

Русская интеллигенция вообще привыкла обольщать себя способностью к пророчеству, и это, конечно, неверно, но лучшие из нее, каким был Блок, на самом деле обладали предвидением, и он безусловно раньше всех нас заслышал грозные шаги грядущей революции, и потому, когда мы встретились еще раз[6], и в последний, раз, то мы не подивились друг перед другом тому, чему мы стали свидетелями, а нам хотелось только поскорее услыхать, кто из нас и о чем знает.

С величайшим интересом и вниманием и почти весело слушал он мои рассказы о том, что делается в глухой русской деревне, в Тульском медвежьем углу, из которого я попал в уплотненную квартиру Блока, за маленький стол с самоваром, черным хлебом, маслом и большой грудой папирос, которыми особенно старательно угощал меня Александр Александрович, говоря:

— Курите, курите, у меня их очень много, теперь я продаю книги, и вот, видите, и масло и папиросы. Я утешаюсь тем, что многое в наших библиотеках была лишним и заводилось так себе — по традиции.

И сказал он это без всякого раздражения или злобы, а тоже почти весело.

Выслушав мой рассказ о том, как мне пришлось по долгу моей службы, чтобы сохранить для детей молоко

в детских домах, спасать скот и менять на ситец сено и овес, Блок совершенно оживился и сказал:

— Это удивительно интересно! Вот где делается что-то настоящее, а не у нас на каком-нибудь литературном собрании. Удивителен, удивителен наш народ!

И не созвучны ли его слова с тем, что думал и делал в Кремле другой великий человек, обретавший для своих гениальных замыслов материалы в немного смешных маленьких уездных газетках, в которых писали люди, прежде никогда не писавшие даже писем, писали, не совсем умея держать перо, но писали без «бойкого стиля», без словесных фигур, а просто...

В последний раз я увидел Блока убиравшим на столе чайную посуду и остывший самовар. Он был в осеннем пальто с поднятым воротником. Он был мрачен. Он ничего не сказал, но я понял, что мне надо уходить. Я стал прощаться, и Александр Александрович не возражал, а, держа в руке какую-то бумажку, глухо процедил:

— А революция-то кончилась!

Я, любопытствуя, протянул руку за бумажкой, но он отбросил ее на свой письменный столик и сказал:

— Нет, это пустяки, это тут кое-что мое, а насчет этого я только сейчас думал. Тяжело, очень тяжело!

Это были последние слова, сказанные мне Блоком. Мы расстались.

И Блок умер.

Умер он, конечно, не от холода и голода, как творила легенда людей, пескарно злобствующих на революцию, а умер оттого, что приспело его время, он так же умер бы и без революции.

Неужели не ясно всем, как должен был умирать в старой России русский гений?

Г. АРЕЛЬСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. БЛОКЕ

Как о самом А. А. Блоке, так и об его творчестве писалось так много, что нет никакой необходимости говорить об этом еще раз. Я хочу коснуться здесь лишь одного эпизода из жизни А. А. Блока, о котором никто не упомянул в многочисленных, за последнее время, воспоминаниях, тем более, что этот эпизод имел, некоторым образом, отражение в его творчестве.

А. А. стал мне особенно близок в ноябре 1911 года, хотя и позже я встречался с ним и не прерывал знакомства, и только за период революции я совершенно потерял его из виду; об его неожиданной смерти я узнал в провинции, где жил все время.

В 1911 году А. А. жил на Петроградской стороне, на Монетной улице, в шестом этаже. Я никогда не забуду того ноябрьского вечера, когда я пришел к А. А. первый раз. Мы прошли в его кабинет — небольшую комнату с полукруглым окном, у которого стоял письменный стол. Почему-то в моей памяти до сих пор осталась лампа с белым бумажным, гофрированным абажуром, от которого струился мягкий, расплывчатый свет, и бювар из красной кожи на письменном столе. Из бювара А. А. вынимал исписанные своим размашистым четким почерком листки «верже» и читал свои последние стихи, собранные для сборника «Ночные часы» [1]. Он был задумчив и, говоря своим тихим спокойным голосом, словно прислушивался к чему-то и искал какого-то скрытого смысла в произносимых им словах.

Я был тогда студентом-астрономом, и мои фантазии о небесных мирах скоро оживили его лицо. Кто часто

виделся с А. А., тот знает, как редко оживлялось его лицо и изменяло свое обычное немного усталое, задумчивое и сосредоточенно-грустное выражение. В минуту же оживления лицо А. А. делалось неузнаваемым.

Он мне признался, что никогда не видел неба в астрономическую трубу. Этого было достаточно, чтобы на следующий день мы условились с А. А. пойти в обсерваторию Народного дома, где я часто дежурил, будучи членом общества «Русская Урания», которому и принадлежала обсерватория.

Мы нарочно выбрали позднее время, чтобы не было в обсерватории посторонних посетителей. Воздух был тогда достаточно прозрачен, и звезды ярко мерцали в индигово-темной глубине неба. Несмотря даже на восходящую луну, отчетливо, через все небо, маячил Млечный Путь. Желая пошутить над А. А., который, по моему мнению, слишком уж благоговейно и даже с некоторым страхом поглядывал на рефрактор, я задал ему вопрос: хочет ли он увидеть на небе ангела? Самого настоящего, без всякого обмана. Я навел рефрактор на ангела Петропавловского шпиля и пригласил А. А. взглянуть. Благодаря оптическому обману зрелище получилось поразительное. На темно-синем небе резким силуэтом вырисовался летящий ангел. Эффект был настолько силен, что А. А. долго не мог понять, в чем дело, и думал, что я положил в трубу изображение ангела.

Много мы объездили тогда звездных миров и, бродя среди скалистых гор на луне, порядком-таки продрогли.

Я предложил идти согреться.

Мы спустились во «второй этаж» обсерватории, где топилась чугунка, и выпили чаю с красным вином. Здесь, в маленькой круглой комнате, едва помещался полукруглый диван, письменный стол и шкаф с книгами; из этой же комнаты, через люк в полу, можно было спуститься по простой приставной лестнице в первый этаж обсерватории, где помещалось у нас «фотографическое отделение».

«Как здесь тихо и хорошо, — говорил А. А. — Только знаете, меня почему-то подавляет эта бесконечность миров; она вызывает у меня чувство какой-то мучительной тоски. *Я думаю, чтобы полюбить этот мир, нужно кого-нибудь полюбить в этом мире*».

С этого времени А. А. довольно часто заглядывал к нам в обсерваторию и оставался там иногда до рассве-

та. Под утро мы вместе возвращались домой, идя по пустынному, снежному Александровскому парку до Каменноостровского проспекта.

Некоторое время А. А. долго не заходил в обсерваторию, и я, послав ему письмо и свою новую книжку стихов[2], получил от него следующий ответ:

Дорогой С<тепан> С<тепанович>.

Не могу видеться с Вами сейчас (от усталости, от многих дел, от нервного расстройства), но давно имею потребность сказать Вам, что книжка Ваша (за исключением частностей, особенно псевдонима и заглавия) многим мне близка. Вас мучат также звездные миры, на которые Вы смотрите, и особенно хорошо говорите Вы о звездах.

Александр Блок.

Ноябрь 1911

Во время наших совместных наблюдений в обсерватории к нам присоединялись иногда два моих товарища по университету (оба теперь умершие; один из них — Эниш — автор книги «Комета Галлея»), и А. А. так к ним привык, что всегда справлялся о них, когда их не было в обсерватории.

А. А. во время своего увлечения небом интересовался вопросом о душе и никак не мог примириться с мыслью, что нами управляет, как и всей природой, «физический закон». Вот почему в это время этот «физический закон» так угнетал и подавлял индивидуализм А. А. Блока, взлелеянный им на романтических берегах поэзии Жуковского, Тютчева и В. Соловьева, и вызывал тоску одиночества, когда он смотрел в бездонные пучины неба, где «без руля и без ветрил»[3] в стройном порядке смыкали орбиты небесные светила.

АННА АХМАТОВА

О БЛОКЕ

В Петербурге, осенью 1913 года, в день чествования в каком-то ресторане приехавшего в Россию Верхарна, на Бестужевских курсах был большой закрытый (то есть только для курсисток) вечер. Кому-то из устроительниц пришло в голову пригласить меня. Мне предстояло чествовать Верхарна, которого я нежно любила не за его прославленный урбанизм, а за одно маленькое стихотворение «На деревянном мостике у края света».

Но я представила себе пышное петербургское ресторанное чествование, почему-то всегда похожее на поминки, фраки, хорошее шампанское, и плохой французский язык, и тосты — и предпочла курсисток.

На этот вечер приехали и дамы-патронессы, посвятившие свою жизнь борьбе за равноправие женщин. Одна из них, писательница Ариадна Владимировна Тыркова-Вергежская, знавшая меня с детства, сказала после моего выступления: «Вот Аничка для себя добилась равноправия».

В артистической я встретила Блока.

Я спросила его, почему он не на чествовании Верхарна. Поэт ответил с подкупающим прямодушием: «Оттого, что там будут просить выступать, а я не умею говорить по-французски».

К нам подошла курсистка со списком и сказала, что мое выступление — после блоковского. Я взмолилась: «Александр Александрович, я не могу читать после вас». Он — с упреком — в ответ: «Анна Андреевна, мы не тенора». В это время он уже был известнейшим поэтом России. Я уже два года довольно часто читала мои стихи в Цехе поэтов, и в Обществе ревнителей художественного слова, и на Башне Вячеслава Иванова, но здесь все было совершенно по-другому.

Насколько скрывает человека сцена, настолько его беспощадно обнажает эстрада. Эстрада — что-то вроде плахи. Может быть, тогда я почувствовала это в первый

раз. Все присутствующие начинают казаться выступающему какой-то многоголовой гидрой. Владеть залой очень трудно — гением этого дела был Зощенко. Хорош на эстраде был и Пастернак.

Меня никто не знал, и, когда я вышла, раздался возглас: «Кто это?» Блок посоветовал мне прочесть «Все мы бражники здесь...». Я стала отказываться: «Когда я читаю: «Я надела узкую юбку...», смеются». Он ответил: «Когда я читаю: «И пьяницы с глазами кроликов...» — тоже смеются».

Кажется, не там, но на каком-то литературном вечере Блок послушал Игоря Северянина, вернулся в артистическую и сказал: «У него жирный адвокатский голос» [1].

В одно из последних воскресений 1913 года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: «Ахматовой — Блок». А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: «Красота страшна» — Вам скажут...». У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу встречу, за кулисами Большого драматического театра весной 1921 года, Блок подошел и спросил меня: «А где испанская шаль?» Это — последние слова, которые я слышала от него.

В тот единственный раз, когда я была у Блока [2], я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой».

Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Киевом. В начале июля я поехала к себе домой, в деревню Слепнево, через Москву. В Москве сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то, у какой-то пустой платформы, паровоз тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: «Александр Александрович!» Он оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, спрашивает: «С кем вы едете?» Я успеваю ответить: «Одна». Поезд трогается.

Сегодня, через пятьдесят один год, открываю «Записные книжка» Блока и под 9 июля 1914 года читаю: «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. — Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом поезде».

Блок записывает в другом месте, что я вместе с Дельмас и Е. Ю. Кузьминой-Караваевой измучила его по телефону [3]. Кажется, я могу дать по этому поводу кое-какие показания.

Я позвонила Блоку. Александр Александрович со свойственной ему прямотой и манерой думать вслух спросил: «Вы, наверное, звоните, потому что Ариадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас?» Умирая от любопытства, я поехала к Ариадне Владимировне на какой-то ее приемный день и спросила, что сказал Блок. Но она была неумолима: «Аничка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие».

«Записная книжка» Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы, а я с моим спутником с ужасом глядим на это невиданное зрелище, и у этого дня есть дата — 11 июля 1916 года, отмеченная Блоком.

И снова я уже после Революции (21 января 1919 года) встречаю в театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, и он говорит мне: «Здесь все встречаются, как на том свете».

А вот мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 года) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме). Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

А через четверть века все в том же Драматическом театре — вечер памяти Блока (1946 год), и я читаю только что написанные мною стихи:

Он прав — опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит...
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

К. АРСЕНЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

Это было в ранней юности, в пору первых поэтических опытов.

Я только что приехала в Петербург и жила, вместе с подругой, на Средней Подъяческой. А неподалеку, за каналом, была Офицерская и квартира Блока.

Тогда магия его поэзии была связана для нас с фантастикой этого северного города. Мы часто бродили по Офицерской. Однажды вечером, проходя мимо его окон, мы видели сквозь прозрачную занавеску, как он стоял, прислонясь к стене, и читал. Тень его падала на дверь и казалась очень высокой.

Наискось от нашей квартиры была аптека. Нам казалось всегда, что та самая:

Ночь, улица, фонарь, аптека...

Помню вечер на Бестужевских курсах. Сначала читали Северянин и Ахматова. Молодежь очень тепло принимала их, особенно Анну Ахматову. Потом вышел он. Неожиданным было первое впечатление. Казалось по портретам, что он должен быть выше и красивее. Но как только зазвучал его голос (трудно забыть этот голос), лицо его стало прекрасным, и стихи уже владели нами:

О доблестях, о подвигах, о славе... 7

Помню еще вечер в Тенишевском: ставили «Балаганчик» и «Незнакомку». Арена, наподобие цирковой, была усыпана песком. На ней возвышался изогнутый крутой дугой мост, и над ним висела на длинном стебле электрическая звезда. Незнакомку играла Менделеева-

Блок [1]. А он? Он сидел в амфитеатре, и рядом с ним была его новая муза, воспетая им в цикле «Кармен». Его строгое лицо выражало и нежность.

Позднее я послала ему в рукописи на отзыв книгу своих стихов [2], указав телефон и адрес. Прошло десять дней. Однажды во время обеда меня позвали к телефону. Это был Блок. Он говорил со мной почти час. Не зная, кто это, родные недоумевали. Друзья не могли дозвониться. А я слушала о том, что его уже давно не волнует фантастика Петербурга, пусть даже в хороших лирических стихах. Он говорил об акмеизме, о том, что считает его формалистическим и ненужным течением. В заключение сказал несколько теплых слов о моих стихах и просил прислать ему книгу перед отдачей в печать.

В августе того же года [3] я шла по Фонтанке в типографию, где печаталась книга, и вдруг увидела его на углу. Он стоял в черном пальто и мягкой серой шляпе. Он не знал меня в лицо. Робость овладела мною, но так хотелось поговорить с ним, что я вдруг с отчаянной решимостью подошла к нему. Поняв, кто я, он ласково улыбнулся, спросил о книге, просил прислать ее, когда выйдет. Потом сказал, что сейчас не пишет стихов, потому что — война, и писать не хочется, что нужно быть на фронте и что он собирается ехать туда. Он говорил, что это долг каждого и что в тяжелое для родины время нужно быть не только поэтом, но и гражданином.

Несколько раз я порывалась проститься с ним, не зная, кого он ждет. Заметив это, он улыбнулся и сказал:

— Не торопитесь, я жду товарища: мы можем еще поговорить, пока он придет.

Он сказал еще, что судьба России важнее всех судеб поэзии.

Я навсегда запомнила этот короткий разговор.

А. МГЕБРОВ

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ В ТЕАТРЕ»

Однажды я навестил его в один из тех дней, когда в душе начинают пробуждаться первые, неясные, но светлые весенние зовы [1]. Я зашел к Блоку вечером, и мы просидели с ним всю ночь до утра. Это ночное бдение глубоко сохранилось в моей памяти...

Блок был тогда совсем один в квартире. Почему-то он был в ту ночь необыкновенно напряжен. Он сидел напротив меня, с полузакрытыми глазами, освещенный мягким светом настольной лампы, и лицо его было бледно, почти пергаментно. Чрезвычайно напряженно, очень медленно и долго он говорил, и казалось, какая-то упорная, большая мысль сверлила ему мозг...

Блок был вообще большим, если можно так выразиться, тугодумом, разумеется, в глубоком значении этого слова; мысль медленно работала в нем оттого, что родилась из самой глубины его существа, и вот отсюда — вся его напряженность и медлительность слов, как будто каждое слово, когда он говорил, тяжелыми каплями падало с его уст.

В этот раз Блок уговаривал меня стать клоуном. Он искренно и горячо уверял, что цирк — лучшая арена для художника-артиста. «Смех сквозь слезы...» — много раз повторял он и с необыкновенной любовью говорил именно о цирке, о клоуне как о народном шуте, могущем потрясать сквозь шутки и смех человеческие сердца, сердца масс [2].

Блок уверял, что во мне достаточно патетизма, чтобы стать настоящим клоуном в блоковском смысле слова. Он

был глубоко убежден, что с приходом в цирк художника-артиста можно превратить последний в самую замечательную арену возвышенных страстей, мыслей и чувств, идущих от свободного, широкого человеческого сердца.

Я слушал Блока с огромным увлечением, и меня он глубоко зажигал и увлекал. Все это так отвечало моим заветным думам о третьем царстве и о вечно свободном театре-балагане, где само шутовство, силой высокого духа, поднималось бы на высоту истинного энтузиазма и мудрой, широко-народной и детски-радостной, как жизнь, романтики.

К утру Блок страшно устал от всех этих мучительно обуревавших его дум и чувств. Казалось, совесть Блока требовала чего-то, разрешения каких-то очень сложных и больших вопросов, неотрывных от всего человечества в целом, от дум о людях, о массах, от которых так далеки мы, художники.

На рассвете Блок подвел меня к окну и, указав на огромные заводские трубы, в красновато-туманной заре, медленно и значительно проговорил: «Вы видите эти трубы? Видите, как они молчаливы? Они молчат еще, но скоро заговорят. Я чувствую это. Их голос будет грозен. Нам всем надо много думать об этом». Слово «надо» сорвалось с уст Блока с особенной душевностью и скорбью о тех и к тем, о ком он думал и для кого в тот миг говорил... Глубокое молчание охватило нас, и мы, тихие, после этого расстались.

Я ушел от Блока, упоенный беседой и моей встречею с ним, всегда действительно изумительно думающим по-своему, по-особенному человеком; совесть в нем никогда не засыпала, несмотря на всю его изысканность и огромный нежный эстетизм. Мне было радостно в ту ночь идти навстречу заре и рассвету.

Е. М. ТАГЕР

БЛОК В 1915 ГОДУ

Я не была с ним знакома, — не имела этой радости, этой высокой чести. Но, вместе со всем моим поколением, я постоянно ощущала его присутствие в нашей жизни. Я ведь принадлежала к тому поколению, на которое — по меткому слову К. И. Чуковского — Блок действовал как луна на лунатика. Шел первый год первой мировой войны. Со страниц книг и журналов к нам неслась «роковая о гибели весть» [1] — это был его, блоковский, голос. И реально, физически я его слышала, на литературных концертах, на вечерах в Тенишевском зале, в Певческой капелле... Ни с чем не сравнимый голос! Как будто глухой, почти монотонный — и преисполненный такой скрытой страсти, так глубоко залегающей силы. Как волновали нас — университетскую молодежь — эти мнимо-однообразные интонации! Мало сказать, — волновали. Как всякое приближение гения, это потрясало, сбивало с ног. «И была роковая отрада» [2] в том, чтобы все твое существо содрогалось, следуя подъемам — падениям этого колдовского ритма.

Раз только довелось мне приметить, как магический ритм надломился. Это было на расширенном писательском выступлении в зале петроградской Городской думы [3]. Блок прочитал «Река раскинулась...», прочитал «К Музе», прочитал «Грешить бесстыдно, непробудно...», — все прочитал, не изменяя своей антидекламаторской, антиактерской, своей священнодейственной манере, — и начал читать «На железной дороге»:

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая...

Он дочитывал уже последние слова:

Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена...

И вдруг что-то случилось: губы дрогнули, голос жалобно зазвенел. «Все больно...» — прошептал он потерянно — и, не поклонившись, быстро ушел с эстрады.

«Ему больно. Ему на самом деле больно», — говорила я про себя. Я что-то новое поняла в искусстве. А заодно — и в жизни; ибо искусство и жизнь тогда для меня не существовали раздельно. И вообще, я только еще собиралась начать что-нибудь понимать: мне ведь не было еще и двадцати лет.

Совсем по-другому выглядел Блок на литературном вечере в зале Тенишевского училища[4]. Прочитав стихи на эстраде, он перешел в публику и занял место рядом с Л. А. Андреевой-Дельмас. Она была ослепительна, в лиловом открытом вечернем платье. Как сияли ее мраморные плечи! Какой мягкой рыже-красной бронзой отливали и рдели ее волосы! Как задумчиво смотрел он в ее близкое-близкое лицо! Как доверчиво покоился ее белый локоть на черном рукаве его сюртука!

И опять по-другому я вижу его весной 1915 года в зале Географического общества в Демидовом переулке. В этом зале происходили заседания петроградского Религиозно-философского общества, представлявшего собою цитадель дореволюционного идеализма. Блок состоял в этом обществе действительным членом и был его постоянным посетителем[5]. С неизменным выражением вежливого внимания он выслушивал более или менее пространные доклады на гносеологические и психологические темы. Доклады эти не вызывали особого оживления в зале, да они на это и не претендовали; работа общества полностью протекала в области отвлеченных идей, высказывания чаще всего имели изысканный и бесстрастный характер. Но то заседание, о котором идет речь, было посвящено не совсем обычным занятиям: на повестке дня стоял вопрос о поведении В. В. Розанова — критика, философа и религиозно мыслящего публициста. Со свойственным этому деятелю глубоким презрением к нормам общественных приличий, он перешел все границы допустимого в своем злобном газетном выступлении, обращенном к русским политэмигрантам. Руководство Религиозно-философского общества предложило исключить

Розанова из состава членов [6]. Выступая по предложению, джентльмен и сноб Д. В. Философов отбросил свою отлично выделанную выдержку, отказался от привычных своих мягких полутонов. Он начал с силой: «Даже «Новое время», — само «Новое время»! — отступилось от Розанова! Ему пришлось перекочевать в татарскую орду «Земщины»!»

Бледнея от гнева, Философов не читал, а выкрикивал циничные сентенции Розанова по адресу русских революционеров: «Захотели могилки на родной стороне?! Нет для вас родной стороны, — волки, волки и волки!» И на каждое слово зал отвечал негодующим гулом.

Вслед за Философовым выступает корректнейший и скучноватый профессор — историк Карташев. Лектор превратился в трибуна: гремит, пророчествует: «Индивидуализм! Вот куда он ведет! Индивидуализм! Вот где зло, вот где общественная опасность!»

Но слышатся и другие голоса. Нет, не все согласны на исключение Розанова. Ни за что не согласен литературовед Е. В. Аничков, вся его небольшая, кругленькая фигурка бурлит и пышет гневом: «Недопустимо, чтобы судили писателя за его убеждения! Нельзя судить мыслителя за его мысли! Меня самого судили, — а я не могу и не буду никого судить!»

Как «рыцарь бедный» [7], стоит перед толпой худощавый, рыжеватый Е. П. Иванов; мольбой и рыданием звенит его тихий голос, отчаяние на его бледном, страдальческом лице: «Богом молю вас, — не изгоняйте Розанова! Да, он виновен, он низко пал, — и все-таки не отрекайтесь от него! Пусть Розанов болото, — но ведь на этом болоте ландыши растут!»

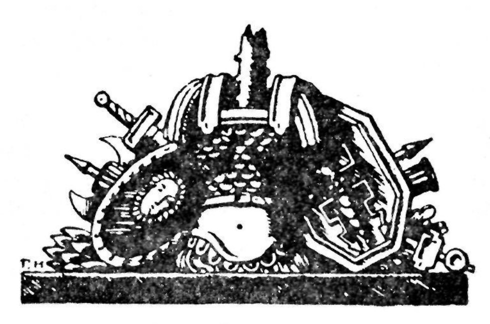
А Блок? Он непроницаем. Чем больше шумят и волнуются в зале, тем крепче замыкается он в себя. Неподвижны тонкие правильные черты. Он весь застыл. Это уже не лицо, а строгая античная маска. С кем он? За кого он?.. Ведь Аничковы его личные друзья. Е. П. Иванову он стихи посвящал... Убедили его эти люди? Согласен он с ними? Не понять.

Звонок председателя. Философов объявляет: ввиду важности вопроса — голосование тайное. Голосуют только действительные члены общества; каждый сдаст в президиум свою именную повестку. Те, кто против исключения Розанова — поставят на повестке знак минус; те, кто голосуют за исключение — поставят на повестке знак плюс.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ

СТИХИ О РОССІИ

ИЗДАНІЕ ЖУРНАЛА
„ОТЕЧЕСТВО“



1915

В напряженной тишине Философов вызывает поименно всех действительных членов. Блок пробирается меж рядов. У него в руке полусвернутая повестка. Он идет мимо меня,— я успеваю заглянуть в этот белый листок — и явственно вижу: карандашом поставлен крест... Плюс! Он за исключение! Он проницателен! «Ландыши» не соблазнили его...

Ничего, в сущности, не произошло,— а этот далекий, неприступный облик почему-то в моих глазах смягчился, стал живее и ближе. Я набираюсь храбрости. Из моей девичьей лирики отделяю то, что мне кажется законченное, совершеннее. Тщательно переписываю на машинке, придумываю сопроводительное письмо — и бух, как в воду головой...

От любимой подруги ничего не утаишь — и любимая подруга, волнуясь не меньше меня, ждет результата, а в ожидании ехидно цитирует:

Курсистка прислала
Рукопись с тучей эпиграфов
(Из Надсона и символистов)... [8]

Я со слезами клянусь, что эпиграфов из Надсона — не было. И вообще никаких эпиграфов — даже из символистов...

Проходит день-два,— и мне подают белый конверт. Мой адрес и имя поставлены неизвестной, уверенной рукой. Крупные буквы четки, изящны, закруглены. Я никогда не видела этого почерка, но у меня нет сомнения, что это тот, тот самый, единственный в мире. Почему-то я зажигаю электричество среди бела дня; иду к телефону, по пути опрокидывая стулья, читаю, читаю по телефону любимой подруге... Письмо — белый листок, сложенный пополам. По четырем страницам бегут редкие разгонистые строки. А в конце четвертой страницы — полная подпись без сокращений, два слова, которые звучат как музыка: «Александр Блок»...

«О, глупое сердце, смеющийся мальчик! Когда перестанешь ты биться?» [9]

Многоуважаемая Елена Михайловна!

Сейчас я просматривал Ваши стихи. Они не поразили меня особой оригинальностью и новизной, но они напевны, в них есть искренность и какая-то *мера.*

По-видимому, Вы много читали современных поэтов и они не всегда хорошо на Вас влияли.

Думаю, что Вы все сделаете сами, и никакие «ценители» тут не помогут.

Вы пишете, что я вначале тоже нуждался в чьем-то совете. Не думаю. Может быть, и был такой момент, но я его не заметил, не помню. Моих ранних стихов я никому не читал. Показывал только матери, с которой особенно близок.

Хочу Вам сказать одно: все, самое нужное в жизни, человек делает *сам,* через *себя* и через большее, чем он сам (любовь, вера).

Думаю, что Вы понимаете, потому что относитесь к жизни серьезно.

Александр Блок.

Если стихи Вам нужны, *я могу вернуть.*

Когда рассеялся туман первого восторга, я опять написала ему. Поблагодарила за внимание, поблагодарила «за урок» (при всей юной самонадеянности, я все же поняла, что дан мне урок нешуточный) и упомянула, что мне хотелось бы получить обратно стихи. Еще день-два — и опять письмо в белом конверте, на этот раз — заказное, полновесное. В письме — мои стихи; и почти на каждой странице — признак того, что их не «просматривали», а ответственно и внимательно читали. Кое-что обведено тонкой чертой, иное заключено в скобки, а в одном месте его карандаш сердито отчеркнул две строчки и против них четко написал: «Этого нельзя». Это — именно те строчки, где неуклюжий, неловкий оборот создавал, как я поняла позже, впечатление двусмысленности.

Как потом разглядывала, как изучала я эти его еле заметные черточки, скобки! Это был мой «литературный институт». Это был его отстоявшийся, проверенный опыт, который поэт с беспримерной добротой хотел передать незнакомой девчонке, полуребенку. И, наперекор собственному утверждению о том, что «никакие ценители тут не помогут», — он помог мне, как никто.

В стихи была вложена записка — на таком же белом листке, и с таким же учтивым обращением «Многоуважаемая Елена Михайловна!». Записка была недлинная. Она вся состояла из трех строчек:

«В каждом человеке несколько людей, и все они между собой борются. И не всегда достойнейший побеждает. Но часто жизнь сама разрешает то, что казалось всего неразрешимей».

Это как будто бы не имело прямого отношения ни к моему письму, ни к моим стихам. Я приняла это, как ответ на какой-то незаданный вопрос, — отклик на какие-то глубоко и скрыто зреющие полуосознанные мысли.

В дальнейшем моя судьба сложилась очень неровно. В прихотливых жизненных перипетиях я утратила драгоценные страницы, исписанные почерком Блока; и теперь письмена эти хранятся единственно в моей памяти. Но — «песня — песнью все пребудет...» [10]. А Песня Судьбы звучит многими голосами; в их числе и симфонический голос Блока, и мой тогдашний, — неуверенный, младенчески слабый, но все же озвученный временем голос.

ВС. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ИЗ КНИГИ «СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ»

*(Рассказ Сергея Есенина
в изложении Вс. Рождественского)*

В середине лета 1924 года случилось так, что нам с Есениным надо было ехать вместе в Детское Село. <...>

В вагоне мы много говорили о Москве, и меня удивило, что на этот раз он отзывался о многих своих московских приятелях с оттенком горечи и даже некоторого раздражения. Тем охотнее возвращался он к беспечальным временам юности, когда еще никому не ведомым парнем приехал в Петроград в поисках литературной славы.

Вот что рассказывал он мне о своей первой встрече с Александром Блоком.

Блока я знал уже давно, — но только по книгам. Был он для меня словно икона, и еще проездом через Москву я решил: доберусь до Петрограда и обязательно его увижу. Хоть и робок был тогда, а дал себе зарок: идти к нему прямо домой. Приду и скажу: вот я, Сергей Есенин, привез вам свои стихи. Вам только одному и верю. Как скажете, так и будет.

Ну, сошел я на Николаевском вокзале с сундучком за спиной, стою на площади и не знаю, куда идти дальше, — город незнакомый. А тут еще такая толпа, извозчики, трамваи — растерялся совсем. Вижу, широкая улица, и конца ей нет: Невский. Ладно, побрел потихонечку. А народ шумит, толкается, и все мой сундучок ругают. Остановил я прохожего, спрашиваю: «Где здесь

живет Александр Александрович Блок?» — «Не знаю, — отвечает, — а кто он такой будет?» Ну, я не стал ему объяснять, пошел дальше. Раза два еще спросил — и все неудача. Прохожу мост с конями и вижу — книжная лавка. Вот, думаю, здесь уж наверно знают. И что ж ты думаешь: действительно раздобылся там верным адресом. Блок у них часто книги отбирал, и ему их с мальчиком на дом посылали [1].

Тронулся я в путь, а идти далеко. С утра ничего не ел, ноша все плечи оттянула. Но иду и иду. Блока повидать — первое дело. Все остальное — потом. А назавтра, надо сказать, мне дальше ехать. Пробирался я тогда на заработки в Балтийский порт (есть такое место где-то около Либавы) и в Петрограде никак дольше суток оставаться не рассчитывал. Долго ли, коротко ли — дошел до дома, где живет Блок. Поднимаюсь по лестнице, а сердце стучит, и даже вспотел весь. Вот и дверь его квартиры. Стою и руки к звонку не могу поднять. Легко ли подумать, — а вдруг сам Александр Александрович двери откроет. Нет, думаю, так негоже. Сошел вниз, походил, походил около дома и решил наконец — будь что будет. Но на этот раз прошел со двора, по черному ходу. Поднимаюсь к его этажу, а у них дверь открыта, и чад из кухни так и валит.

Встречает меня кухарка. «Тебе чего, паренек?» — «Мне бы, — отвечаю, — Александра Александровича повидать». А сам жду, что она скажет «дома нет», и придется уходить несолоно хлебавши. Посмотрела она на меня, вытирает руки о передник и говорит: «Ну ладно, пойду скажу. Только ты, милый, выйди на лестницу и там постой. У меня тут, сам видишь, кастрюли, посуда, а ты человек неизвестный. Кто тебя знает!» [2]

Ушла и дверь на крючок прихлопнула. Стою. Жду. Наконец дверь опять настежь. «Проходи, — говорит, — только ноги вытри!»

Вхожу я в кухню, ставлю сундучок, шапку снял, а из комнаты идет мне навстречу сам Александр Александрович.

— Здравствуйте! Кто вы такой?

Объясняю, что я такой-то и принес ему стихи. Блок улыбается:

— А я думал, вы из Боблова. Ко мне иногда заходят земляки. Ну пойдемте! — и повел меня с собой.

Не помню сейчас, как мы тогда с ним разговор начали и как дело до стихов дошло. Памятно мне только, что я сижу, а пот с меня прямо градом, и я его платочком вытираю.

— Что вы? — спрашивает Александр Александрович. — Неужели так жарко?

— Нет, — отвечаю, — это я так. — Хотел было добавить, что в первый раз в жизни настоящего поэта вижу, но поперхнулся и замолчал.

Говорили мы с ним не так уж долго. И такой оказался хороший человек, что сразу меня понял. Почитал я ему кое-что, показал свою тетрадочку. Поговорили о том, о сем. Рассказал я ему о себе.

— Ну хорошо, — говорит Александр Александрович, — а чаю хотите?

Усадили меня за стол. Я к тому времени посвободнее стал себя чувствовать. Беседую с Александром Александровичем и между делом — не замечая как — всю у него белую булку съел. А Блок смеется.

— Может быть, и от яичницы не откажетесь?

— Да, не откажусь, — говорю и тоже смеюсь чему-то.

Так поговорили мы с ним еще с полчаса. Хотелось мне о многом спросить его, но я все же не смел. Ведь для Блока стихи — это вся жизнь, а как о жизни неведомому человеку, да еще в такое короткое время, расскажешь?

Прощаясь, Александр Александрович написал записочку и дает мне[3].

— Вот, идите с нею в редакцию (и адрес назвал), по-моему, ваши стихи надо напечатать. И вообще приходите ко мне, если что нужно будет.

Ушел я от Блока, ног под собою не чуя. С него да с Сергея Митрофановича Городецкого и началась моя литературная дорога. Так и остался я в Петрограде и не пожалел об этом. А все с легкой блоковской руки!

М. МУРАШОВ

А. БЛОК И С. ЕСЕНИН

(Страницы из воспоминаний)

Сергей Есенин появился в русской литературе внезапно, как появляются кометы в небе.

Каждая комета имеет своих спутников разной величины и разной светоизлучаемости; немало вокруг них песка и пыли. Так и Есенин имел вокруг себя спутников и сопровождающую литературную пыль и песок.

Мне, одному из первых свидетелей появления Есенина, пришлось с ним столкнуться вплотную и почти до конца жизни не выпускать его из поля зрения.

Известно из автобиографии Сергея Есенина, что первый, к кому он пришел в Петербурге, был А. Блок, а Блок с запиской прислал его к С. Городецкому и ко мне.

Я в то время близко стоял к некоторым редакциям журналов. Вот что писал мне А. Блок:

Дорогой Михаил Павлович.

Направляю к Вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и Вы лучше, чем кто-либо, поймете его.

Ваш *А. Блок.*

P. S. Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к С. М. <Городецкому>. Посмотрите и сделайте все, что возможно. *А. Б.*

С этого дня начинается мое знакомство с Сергеем, а впоследствии и совместная жизнь.

На первых днях вхождения Есенина в большую русскую литературу следует остановиться подробно, это я сделаю в книге. Теперь расскажу только о небольшом эпизоде — о встрече двух поэтов, Есенина и Блока.

Это было в июле 1916 года, спустя год, как появилась первая книга стихов Есенина «Радуница», и он работал над второй книгой «Голубень».

В то время я собирал материал для литературных альманахов. У меня собирались писатели по редактированию сборников. Главным редактором был А. А. Блок.

Литературное совещание было назначено на 3 июля. Я пригласил и Сергея Есенина.

Все собрались. Пришел Есенин. Ждали Блока, но он почему-то запаздывал.

Возвращаясь с концерта с Павловского вокзала, скрипач К. зашел ко мне. Вслед за ним пришел художник П., только что вернувшийся из-за границы, откуда привез мне в подарок репродукцию с картины Яна Стыки «Пожар Рима». Эта картина вызвала такие споры, что пришлось давать высказываться по очереди. Конечно, причиной споров была центральная фигура картины, стоящая на крыше дворца с лирой в руках, окруженная прекрасными женщинами и не менее красивыми мужчинами, любующаяся огненной стихией и прислушивающаяся к воплям и стонам своего народа. Горячо высказывались писатели, возмущенно клеймили того, кто совмещал поэзию с пытками.

Есенин молчал. Скрипач К. — тоже. Обратились к Есенину и попросили высказаться.

— Не найти слов ни для оправдания, ни для обвинения: судить трудно, — тихо сказал Есенин.

Потребовали мнения К.

— Господа! — произнес он. — Разрешите мне сказать музыкой.

Все разом проговорили: «Просим, просим!»

К. вынул скрипку и принялся за какую-то импровизацию. Его импровизация слушателей не удовлетворяла, он это почувствовал и, незаметно для нас, перешел на музыку Глинки — «Не искушай...» и «Сомнение». Эти звуки дополняли яркие краски картины.

В этот момент по телефону позвонил А. Блок. Услышав музыку, он спросил, что за концерт.

Я ему рассказал, в чем дело. Он изъявил желание послушать музыку.

К., зная, что его слушает А. Блок, сыграл еще раз «Не искушай...». Блок поблагодарил К., извинился перед собравшимися, что не может присутствовать на сегодняшнем совещании ввиду своей болезни, и просил отложить заседание на следующий день.

Сергей Есенин подошел к письменному столу, взял альбом и быстро, без помарок, написал следующее стихотворение:

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

16 г. 3 июль

Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в рукав лезвие.

Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.

Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мет*а*;
Если и есть что на свете —
Это одна пустота.

Примечание. Влияние «Сомнения» Глинки и рисунка «Нерон, поджигающий Рим». *С. Е.*

Я был поражен содержанием стихотворения. Мне казалось стихотворение страшным, и я тут же спросил его:

— Сергей, что это значит?

— То, что я чувствую, — ответил с лукавой улыбкой Есенин.

Это стихотворение написано было Есениным в то время, когда он еще не окунулся в гущу литературной богемы, в его поэзии цвела вера в себя и весело звучали трели рязанских жаворонков и шепот белоснежных берез и стройных тополей. Но написанное стихотворение предвещало в Сергее будущего автора «Кабацкой Москвы» и «Исповеди хулигана».

Через десять дней состоялось деловое редакционное совещание, на котором присутствовал А. Блок и также был Сергей Есенин.

Я Блоку рассказал о прошлом вечере, о наших спорах и показал стихотворение Есенина.

А. Блок медленно читал это стихотворение, очевидно, и не раз, а затем покачал головой, позвал к себе Сергея и спросил:

— Сергей Александрович, вы серьезно написали или под впечатлением музыки?

— Серьезно, — чуть слышно ответил Есенин.

— Тогда я вам отвечу, — вкрадчиво сказал Блок.

На другой странице этого же альбома Александр Александрович написал ответ Есенину — отрывок из поэмы «Возмездие» (над которой в то время А. Блок работал, и она еще нигде не была напечатана).

ИЗ ПОЭМЫ «ВОЗМЕЗДИЕ»

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий,
Иль ясность Божьего Лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты — знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты;
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Александр Блок

13 VII 1916

Есенин стоял позади кресла Блока, когда Александр Александрович писал. Есенин прочел написанный отрывок и задумался. Ни слова не сказали ни тот, ни другой поэт.

В двух вышеприведенных стихотворениях двух русских великих поэтов сказалась сущность каждого.

В первом — дерзание, вызов к жизни.

Во втором — эпическая спокойность мудреца.

О. В. ГЗОВСКАЯ

А. А. БЛОК В МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

В то время, когда я встретилась с Александром Александровичем Блоком, все мы, молодые актрисы МХАТа, очень увлекались поэзией и часто выступали с чтением стихов на концертах. Вечера поэтов вызывали тогда в Москве огромный интерес — публика награждала участников восторженными овациями, ожидала и провожала их у подъездов. Зал «Литературно-художественного кружка», где происходили беседы, лекции, концерты, бывал переполнен — особенно по вторникам, когда там на традиционных вечерах выступали знаменитые поэты и артисты. Кружок этот организовали представители передовой интеллигенции Москвы — известные артисты московских театров, адвокаты, светила медицинского мира. Они были членами, а некоторые из них и директорами этого кружка-клуба. Бывала здесь не только молодежь, но и люди зрелого возраста. Отдельные лекции-беседы, вызывавшие шумные прения, споры и приводившие к бурным столкновениям, особенно когда на них присутствовали представители нового течения (Каменский, Маяковский, Бурлюк и другие), были явлениями, которых ждали, к которым готовились и о которых много говорили. С интересом следили мы за тем, когда выйдут новые издания Брюсова, Бальмонта, Игоря Северянина, и торопились их приобрести, но не для того, чтобы поставить их на полку в своем книжном шкафу как украшение в красивом переплете, н е т , — мы спешили первыми подготовить, выучить и поскорее выступить со стихами на концерте, обновляя свою программу. Иногда просили

у поэтов их стихи еще до того, как они появятся в печати.

Позирующий, грассирующий и витиевато-эстетный, блестяще владевший стихом, особенно как переводчик, Бальмонт; несколько грубоватый и внешне совсем не похожий на поэта Брюсов (Бальмонт говорил о нем, что он обращается с поэзией, как ландскнехт с пленницей), внешне подражавший и отдаленно похожий на Оскара Уайльда Игорь Северянин, читавший все свои стихи на поэзоконцертах почти напевая, причем каждое стихотворение имело определенную, надолго запоминавшуюся мелодию.

От всех этих поэтов Блок стоял как-то в стороне. При чтении его стихов все мое существо охватывало такое чувство, точно от книги исходил какой-то свет. Эта поэзия звала к высокому и прекрасному. Не раз я черпала из этих строк вдохновение для своей актерской работы и мысленно воображала, какой же это человек, каков он в жизни, но самого Блока я еще не видала и, как он читал сам — не слыхала ни разу. Я только читала его стихи и много слышала о Блоке от Качалова, с которым он был очень дружен. Вскоре я узнала, что в Москве состоится вечер Блока и он сам будет выступать и читать свои стихи. Я стала внимательно следить за афишами, и вот ранней весной, если не ошибаюсь, — в марте месяце, я увидала желанную афишу — Блок выступает в аудитории Политехнического музея. Я пошла на этот вечер [1].

Зал переполнен... Вышел Александр Александрович, очень скромно и строго одетый. Никакой позы, никакой эстрадности, никакой рисовки на публику. Казалось, она для него не существует. И в тишине напряженного внимания зазвучал его голос, в каждом стихотворении разный. То мягкий и нежный, без всякой сладости, зовущий и пленяющий в лирике, которую он передавал с особым, ему свойственным «блоковским» темпераментом (стихотворения «Влюбленность», «На островах», «В ресторане», «Незнакомка»); то гневный и властный в таких стихах, как, например, «Демон» [2] (я до сих пор слышу:

Иди, иди за мной — покорной
И верною моей рабой.
Я на сверкнувший гребень горный
Взлечу уверенно с тобой.

Я пронесу тебя над бездной,
Ее бездонностью дразня.
Твой будет ужас бесполезный —
Лишь вдохновеньем для меня);

то глубоко проникавший в душу каким-то особым, металлическим звоном, словно колокол из серебра (в стихах о русской природе, о России). Чувствовалось, как он любит родину, как дорога ему эта «глухая песня ямщика», с какой верой обращается он к России:

Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

. . . .

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...

Блок совершенно особенно, по-новому освещал женскую душу с ее стремлениями и переживаниями. Стихотворение «На железной дороге» в его исполнении было не только повестью о трагедии женского сердца, погибшего от любви, — нет, у него это звучало гораздо глубже. Гневно загорались лучисто-серые глаза поэта, они становились черными и смотрели прямо в зал, когда оп говорил:

Не подходите к ней с вопросами,
Вам все равно, а ей — довольно;
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — все больно.

И воскресал в памяти ряд других образов женщин, которые погибали в глуши далеких городов и городков и тратили себя на мелкие, ничтожные дела, а могли бы делать большое и важное.

Пророчески звучало в исполнении Блока стихотворение «Новая Америка». Вся история России проходила перед нами, когда мы слушали это стихотворение. Мы думали о ее просторах и бесконечных возможностях, видели красоту и силу, что таилась на Руси, и рождалась огромная вера в будущее, которое придет. Взволнованно, почти восторженно произносил Блок заключительные строки:

То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!

Это ударение на слове «новой» звучало так, что верилось: не повторением, не подражанием Америке будет Россия, ей предназначена иная судьба.

Не преувеличивая, можно сказать словами Пушкина, что Блок в этот вечер «глаголом жег сердца людей». Выступление окончилось. Аплодисменты... вызовы... овации...

Качалов хотел познакомить меня с Блоком, звал за кулисы. Я не пошла. Побоялась. Я знала по рассказам, какие актрисы нравились ему. Я знала, что я совсем другая, не блоковская. Для меня этот вдохновенный человек — поэт с особенными, то серыми, то черными глазами, скромный и такой значительный, стоял где-то очень высоко, и я боялась, что в закулисном шуме восторгов и всяких, быть может и пошлых, похвал и пожиманий рук поэта поклонниками и поклонницами потеряется то, что я несла в своей душе.

Прошло немного времени, и как-то после репетиции ко мне подошел Владимир Иванович Немирович-Данченко и сказал, что хочет со мной говорить об одной пьесе, которую собирается ставить театр. Названия пьесы он не упомянул. Я спросила: «Какая это пьеса? Кто автор?» Владимир Иванович, как всегда, таинственно улыбнулся и ответил: «Пока секрет. Я хочу поговорить с вами. Вы мне почитайте стихи современных поэтов, а я послушаю вас, и мы поговорим». Мы тут же условились с ним о встрече у меня дома на следующий вечер.

Я очень взволнованно готовилась к этой встрече. Думала весь день, что же я буду ему читать, каких поэтов, что он хочет услышать от меня. Будучи ученицей Константина Сергеевича Станиславского, я играла в постановках Немировича несколько раз, но всегда работал со мной Константин Сергеевич. Он договаривался с Немировичем, по какому пути мне надо идти, чтобы я делала то, что как режиссер хотел получить от меня Немирович. Но подход к роли, работа над ней велась по системе Станиславского, с ним самим. А тут вдруг без Константина Сергеевича Владимир Иванович хочет меня слушать. Что же мне ему читать? Я подумала: раз Владимир Иванович выбрал пьесу, она будет серьезная, глубокая, тяжелая, решающая какие-нибудь очень сложные психологические проблемы. В работе с ним я всегда ощущала его как режиссера, идущего больше от ума, чем от сердца. Очень уж он своей манерой работать

отличался от Константина Сергеевича, который был весь действие, порыв, огонь, темперамент. Владимир Иванович, всегда спокойный и редко повышавший свой голос, объясняя самый горячий, страстный монолог или диалог, говорил с паузами, медленно произнося слова. Даже в такой сцене, как сцена Лауры и Дон Карлоса в «Каменном госте» Пушкина (я у него играла Лауру), он оставался в рамках спокойствия и был сдержан. Я решила, что надо читать что-то очень серьезное, публицистическое, что лирика — это не то, что может ему понравиться.

В восемь часов раздался звонок. Неторопливо, размеренными шагами вошел в комнату Владимир Иванович. Здороваясь со мной, очень внимательно посмотрел мне в глаза; он, конечно, видел, что я волнуюсь. «Ну, что же вы мне прочтете?» — сказал он. Я прочла «Девушка пела в церковном хоре», «Сольвейг», «На железной дороге» Блока и «Старый вопрос» Брюсова.

Владимир Иванович хитро улыбнулся и сказал: «Конечно, для Владимира Ивановича надо читать что-то очень умное. Но, видите ли, на этот раз мне надо увидеть, есть ли у вас то, что мне надо для героини этой пьесы. При скупости слов, в коротких сценах большая внутренняя насыщенность, наполненность и совсем особая горячая лирика. Прочтите мне еще что-нибудь Блока, но другого Блока». Я прочла «На островах» и «Незнакомку». Владимир Иванович подумал... отпил глоток чая... посмотрел в огонь камина, взял кусочек груши бере Александр (он их очень любил) и начал говорить: «Могла бы вас увлечь вот такая роль: образ: женский, совсем особенный. Графиня без дымок и вуалей, особенная графиня, средневековая без средневековья, без этикетов, девушка из народа (средние века тут ни при чем), живущая в замке, молодая. Жена старого ревнивца графа». И он рассказал мне содержание пьесы Блока «Роза и Крест». «Мы должны, — говорил он, — сказать исполнением, приемами игры, всей постановкой новое слово. Это пьеса необыкновенная. В ней много свежего, очень увлекательного. Она должна быть новым этапом для нашего театра. Блок автор особый. Без всякой сентиментальности. Об этом мы много говорили с Константином Сергеевичем Станиславским. Он очень увлечен пьесой, но между нами была большая борьба, пока Константин Сергеевич принял Блока и пьесу».

Действительно, Константин Сергеевич долго не признавал Блока, его пьесы не «доходили» до него[3]. Блок жил в Петербурге, Станиславский в Москве; встречи их были кратковременными, и, несмотря на большую любовь Блока к Станиславскому и преклонение перед ним как перед режиссером, достигнуть полного взаимопонимания им было трудно. В Художественном театре пьесы Блока актерам не читали. И вдруг появилась «Роза и Крест». Мысль о ее постановке возникла у Немировича. Сначала Константин Сергеевич принял ее несколько настороженно, требовал разных поправок и переделок; постановку пьесы взял себе Немирович, и только потом, услыхав чтение Блока, познакомившись с ним ближе, Станиславский принял в ней большое участие.

Я сидела и слушала Немировича, и передо мною возникал облик Блока и вспоминался Александр Александрович, выступавший в Политехническом музее. Я понимала, про какую горячую лирику говорил Владимир Иванович, чего он хотел от Изоры, боясь «голубых далеких спаленок»[4], которые так часто звучали в исполнении многих, неверно толковавших Блока, окрашивавших его поэзию в какие-то слезливо-сентиментальные тона, вовсе Блоку не свойственные. Эту ошибку допускают некоторые исполнители Блока, к сожалению, и теперь, придавая его поэзии неверную окраску.

Долго говорили мы об этой новой работе, и я была счастлива, что буду в ней занята. Прощаясь, Владимир Иванович сказал, что Блок скоро приедет и будет читать в труппе пьесу сам. А до этого Владимир Иванович пьесу не даст. Нужно услышать самого автора. На этом мы расстались. Я стала ждать дня читки и появления Блока в театре. Так же как многие ищущие люди тогдашней России, все мы жили в предчувствии, ожидании прихода чего-то нового, настоящего, что выведет нас из той темноты безысходности к свету, к радости, смутно сознавая, что эта радость придет через страдания. Театр переживал период поисков. После постановок «Осенних скрипок» Сургучева, «Будет радость» Мережковского, возобновления «Горя от ума» Грибоедова и начала репетиций «Села Степанчикова» Достоевского театр стал искать пьесу современного писателя, новую по форме и содержанию, с глубокими чувствами и значительными мыслями. Поэтому, когда Станиславский сообщил нам о том, что в репертуар включается «Роза и Крест», это

известие было принято с большой радостью и одобрением.

Наконец было объявлено, что Блок будет читать пьесу в театре. Роли распределялись так: граф Арчимбаут — А. Л. Вишневский, графиня Изора — О. В. Гзовская, Алиса — М. П. Лилина, Капеллан — В. В. Лужский, Гаэтан — В. И. Качалов, Бертран — Н. О. Массалитинов, Алискан — В. Г. Гайдаров.

Настал день встречи с автором. Очень немногие из нас знали его лично, поэтому понятно то волнение, с которым мы ждали его прихода, прихода любимого поэта. Вот мы увидим его, услышим его голос — настроение было приподнятое.

Раннее весеннее утро, ярко освещенное солнцем большое фойе Художественного театра. Вся труппа в сборе, ожидаем Блока. Он появился без минуты опоздания, такой скромный, приветливый. Очень тепло и ласково со всеми поздоровался. Блок не сразу приступил к чтению. Видно было, что он взволнован. Протокольно-сухо произнес название пьесы, перечислил действующих лиц и обстановку. Потом посмотрел как-то поверх всех нас, сидевших вокруг него за столом, и, точно унесясь куда-то далеко своими мыслями, прищурил глаза, будто вспоминая что-то, и, не заглядывая в лежащую перед ним раскрытую книгу, обрывочно произнес приглушенным голосом: «Двор замка. Сумерки». И зазвучал первый монолог Бертрана:

Всюду беда и утраты,
Чт*о* тебя ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы
Знаком креста на груди.

Характерна была музыкальная сторона его чтения. Глубокий, глуховатый голос Бертрана, резко-крикливый, вульгарный звук речи Алисы, сладкий тенор Алискана, деревянный, точно удары молотка об доску, лишенный всякой гибкости голос графа и мелодично-страстный — Изоры. Монолог Бертрана говорился как бы самому себе; он слегка напевал песню, точно припоминая мелодию и стараясь понять смысл слов... И переход на разговор почти вполголоса, очень просто и значительно, как будто человек разбирается в себе, прислушивается к чему-то новому, что его занимает. Это очень хорошо объясняло последующие слова Бертрана о том, что смысла песни

«не постигает рыцаря разум простой». Этот рыцарь в чтении автора был живой, земной, с благородной душой, сильный, непохожий на сладких и пошлых рыцарей в латах, с перьями на шлемах, вылощенных, но с пустой душой. Он был похож на ту яблоню, под которой он стоит на страже в замке, связанный с землей, с природой. И вдруг в окно — Алиса вульгарным, громким голосом нарушает мир Бертрана, отгоняя его резко от окна; и он робким голосом глухо отвечает: «Я отойду». Далее переход к сцене в замке — «дуэт» Алисы и Капеллана. Автор передавал его шепотом, и это был шепот двух пошляков, невольно вспоминались строки его стихотворения «Незнакомка»:

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

И на этот шепот — появление пажа Алискана, прекрасного своей юностью, растерянного от того, что его выбили из настроения Ромео, в котором он шел с лютней к Изоре, и, наконец, все эти подготовительные полутона переходили в покой Изоры — открытый звук голоса с оттенком радости, когда она поет песню и счастлива, что нашла ее. И сразу же радость сменяется отчаянием при словах: «Не помню дальше». В этой сцене автор и Изору, и Алису, и Алискана передавал полным, открытым голосом. В его чтении для Изоры были очень характерны быстрые смены настроений.

В фойе царила напряженная тишина. Глаза всех были устремлены на этого человека, стоявшего с поднятой головой, с лучистыми голубыми глазами, и какое-то особое внимание было на лицах всех слушающих. Мы боялись пропустить хоть одно слово, хоть одну интонацию, ловили, впитывали в себя, стремясь проникнуть в глубину произведения, понять поэта.

Блок стоял поодаль от большого стола, за которым мы сидели. Он читал наизусть, и каждое движение, взгляд его были значительны: Бертран — плечи и голова опущены, глаза смотрят исподлобья, точно что-то давит шею; Гаэтан — весь прямой, как стрела, готовый взлететь куда-то с высоко поднятой головой и лучистым, ясным взглядом. Эти два пластических образа очень хорошо запомнились мне. Так ярко и четко Блок их воплощал. При этом все было очень просто. Театральность,

декламация совершенно отсутствовали. Он точно переносился в мир своего произведения, где жило и действовали его герои, с их чувствами и страстями. Переходы от одного лица к другому были незаметны, не нарочиты, их разделяли паузы, во время которых без слов кончал жить один и начинал другой. Они рождались естественно и просто, так же, как переход от стиха к ритмической прозе. Блок не играл, а вызывал в них жизнь, и они жили. В чтении Блока все было так просто, правдиво, что нельзя было себе представить, как бы иначе могли говорить эти люди, уже виделось, как они ходят, какие у них голоса, какие у них глаза, вообще — какие они.

Блок окончил чтение. Некоторое время стояла какая-то особая тишина, точно все боялись нарушить ту атмосферу творческого вдохновения, которую принес с собой автор. Блок сел и опустил глаза, спокойно закрыв книгу, глухо произнес: «Конец». Казалось, точно он откуда-то сверху спустился к нам вниз. Он был взволнован чтением, молчание не нарушалось еще несколько минут. Потом начались восторженные высказывания, стали задаваться разные вопросы, актеры встали и окружили автора. Пьеса всех увлекла, понравилась — это было ясно. Блок, смущенный и радостный, принимал скромно и как-то сконфуженно высказываемые ему похвалы. Константин Сергеевич Станиславский крепко жал ему руку. Подошла и я к Александру Александровичу и сказала ему, что я счастлива, что меня назначили на роль Изоры. Он очень внимательно посмотрел на меня, точно желая убедиться, что это — просто любезность или я действительно говорю искренно, и ответил: «Да, да, я знаю». Я продолжала: «Я очень бы хотела о многом поговорить с вами, Александр Александрович. Боюсь я этой роли, но очень хочу ее *играть*». — «Что же вас пугает?» — спросил Блок. Я ответила: «Да вот она испанка, а я не знаю, не очень ли я северная. Чтение дало мне очень много, но все-таки хочется услыхать от автора более подробно о характере и чертах его героини».

Блок улыбнулся своей светлой улыбкой. Мы уже вышли из фойе и шли по коридору театра к выходу. Александр Александрович сказал: «Вы говорили — вас увлекает роль, так что же, давайте создавать этот образ. Я рад, что вам Изора нравится, а я боялся. Ведь сцены короткие, и слов не так много». Я ответила: «Да ведь дело не в словах, для актрисы-художника важнее то, что

между слов, по-моему, в этом жизнь роли. Вот, например, сегодня паузы во время вашего чтения очень много говорили». Мы вышли на улицу. Темой нашей беседы был взгляд Блока на живую Изору. В ней прежде всего надо искать волнение и порывы молодой женской души, которая томится в высоких стенах тяжелого средневекового замка, такого же четырехугольного и тупого, как сам граф Арчимбаут. Ревнивый дурак-муж ей чужд и далек. Изора — натура одаренная, она чувствует природу так, как ее может чувствовать дитя народа. Весна будит в ней стремление вырваться за стены замка, в поля и луга. Недаром она так любила, до того как услыхала песнь Гаэтана, играть и резвиться с пажом Алисканом на утренних прогулках. Подстриженный, разделанный парк для нее не та природа. Изора не любит ничего искусственного. Не надо думать о средневековом этикете, о стиле и эпохе. Мысли об этом могут засушить и сковать актрису в какие-то рамки, отнять живое. А главное — не думать, что это графиня. Недаром к Изоре приставлена для обучения ее этикету и светским манерам придворная дама, Алиса. Естественность, непосредственность — вот что свойственно Изоре. Ее раздражает, что окружающие не понимают, что с ней происходит. Она не умеет объяснить, что с ней случилось, после того как она услыхала песню Странника. Не меланхолией болеет она, как думают окружающие, и вообще она здорова. После песни в ней родились новые чувства. Но то, чего она ждет — радость, не придет так просто. Радость придет через страдание, а потому в этом страдании — радость. Песнь, слышанная ею на народном празднике Мая, разбудила новые чувства, но они отнюдь не сладки и не сентиментальны. Песни нежных теноров-трубадуров о любви ей не нравятся. Поэтому начало третьей сцены и пение Изоры не должны быть лирически тоскливыми. Глаза ее сверкают, щеки горят, она вся полна горячим воспоминанием о песне Странника.

Я внимательно слушала Блока и тут же спросила его о прошлом Изоры: «Как меня учит Константин Сергеевич, нельзя играть настоящего, не зная прошлого». Блок, не раздумывая, быстро ответил: «Изора — дочь швеи. Проезжая местечко Толозанские Муки, граф увидел в окне склоненную над работой женскую головку с прямым пробором волос. Мать Изоры уступила требованиям графа и выдала ее замуж». Александр Александрович и

потом часто упоминал о склоненной над работой женской голове. Ему нравились в Бельгии склоненные женские головы, когда девушки плели кружева. В этом он находил большую поэзию женственности.

Я пришла домой. Мысли роились в моей голове и тревожили сердце.

Позвонил Станиславский. Спросил о моих впечатлениях. Я сказала, что я в восторге от Блока и контакт с автором, как мне кажется, найден. По словам Константина Сергеевича, работа предстояла интересная, творческая и должна была дать мне, как актрисе, много нового. Станиславский сказал, что он долго не принимал Блока, но теперь Блок его увлекает.

Появление пьесы Блока в Художественном театре стало, конечно, большим событием. В первый раз мы приступали к работе над произведением большого русского поэта. До тех пор если и шли пьесы в стихах, то, как правило, — переводы. Блок для всех нас был настоящим современным русским поэтом, несшим в себе традиции Пушкина, достойным его преемником. Стихотворная форма у Блока была доведена до совершенства. Огромная глубина духа, ощущение больших человеческих страстей передавались им с большой силой.

На другой же день мы приступили к репетициям. Блок оставался в Москве неделю-полторы, потом снова уезжал в Петербург и вновь возвращался [5]. Он видел репетиции с промежутками, так что часть работы проходила в его отсутствие. Наши встречи во время его пребывания в Москве были очень частыми, причем обычно мы подолгу разговаривали не на репетициях, а гуляя часами, не замечая времени, по городу.

Во время наших прогулок мы много говорили о роли Изоры, о пьесе вообще и о других ролях. Блок очень любил московские старинные улицы и переулки. Проходя как-то по одному из них, Блок посмотрел на маленькую церковку; в церковном дворике играли мальчики, зеленые березы кивали ветвями с молодой листвой, на них весело щебетали птицы, и сквозь стекла церковных окон виднелись огоньки свечей. Блок улыбнулся и сказал: «Вот странно — ношу фамилию Блок, а весь я такой русский. Люблю эти маленькие сады около одноэтажных деревянных домишек, особенно когда их освещает заходящее весеннее солнце и у окон некоторых из них распускаются и цветут деревья вишен и яблонь».

Другой раз, помню, указав на одну из развесистых яблонь, покрытых белыми цветами, Блок сказал: «Вот, смотрите, под такой яблоней несет свою сторожевую службу верный Бертран, и под ней он умирает у окна Изоры». И столько любви и нежности вспыхнуло в его лучистых глазах, когда он произнес имя «верного Бертрана».

Меня очень захватило то, что сказал Блок. Я сама залюбовалась этой яблоней, но вдруг меня поразила мысль: а откуда же сорвет розу Изора и отдаст ее Страннику? Блок очень рассердился. «Розы вьются по стенам около окна Изоры, — возразил он, — а яблоневое дерево растет у стены замка». И он начал подробно рассказывать мне, какое окно у Изоры, где растет яблоня, как пробегают по небу тучки, когда она смотрит в окно. Казалось, он был в этом замке. Его раздражило мое уточнение, ему хотелось, чтобы я, как исполнительница роли Изоры, представляла так же, как и он, и замок, и яблоню, и все вокруг. Тогда же я сказала Блоку о том, что мне недостает для Изоры, в темнице перед появлением призрака, монолога призыва, ожидания, мольбы, чтобы Странник пришел. Молодая, земная Изора должна высказать свой порыв. Для нее Странник не призрак, а живой, чудесный певец, зовущий через страдание к радости, но не к беспредметной радости, а радости любви, которую она хочет познать. Ее пугает крест, и не молиться хочет она Страннику, не к молитве зовет ее его песня. Для нее его зов открывает новый мир ощущений чувств, порывов, которые до этого спали в ее душе. Моя мысль понравилась Блоку, и через две репетиции он написал монолог (после ухода Алисы в пятой сцене, в Башне Неутешной Вдовы) [6].

Александр Александрович был в восторге от атмосферы репетиций. Он говорил: «Я никогда, ни в одном театре не видел такой работы, актеры приходят как на праздник».

Во время одной из репетиций я получила от Блока только что вышедший томик его «Театра», где была напечатана «Роза и Крест», с трогательной надписью: «Ольге Владимировне Гзовской — Изоре — на память о прекрасных днях марта и апреля 1916 года».

Чтение Блока, его советы давали нам возможность почувствовать внутреннее зерно каждого действующего лица. Граф — ограниченный, глупый, откормленный

деспот, но не крупная фигура, а мелкий феодал, временами страшный в своей тупости и жестокости (сцена с Бертраном), временами бессмысленно-ревнивый и злой (сцена с Изорой), а временами не лишенный комизма, вызывавший улыбку своей тупостью (сцена с Доктором и Капелланом).

Раскрывая образ Изоры, автор избегал всякой сентиментальности, сладости. Настоящая, скрытая внутри страсть и стремление к познанию того, что радость есть страдание; но это страдание выражается для нее в жизни в том, что она не знает любви. Не воздушная, беспредметная мечта томит ее; она ясно видит образ того, кто поет ей песню, не дающую ей покоя ни днем, ни ночью; она знает — это не какой-то певец вообще, его зовут Странник, у него синие очи и кудри как лен. Она говорит о нем как о ком-то реально существующем и верит в него твердо и наивно, так, как верит ребенок, когда он держит палку и уверен, что это ружье. Попробуйте сказать ему, что это палка. Как он заплачет, и вы разрушите ему всю игру, являющуюся для него действительностью. Так же и Изора плачет и сердится, когда окружающие не верят ей и считают ее больной. Когда Изора посылает Бертрана на поиски Странника, она говорит ему:

Вы должны мне певца отыскать,
Хотя бы пришлось
Все страны снегов и туманов пройти!
«Странник» — имя ему...
Черной розой отмечена грудь...
Так открылось мне в вещем сне!

Это звучало как определенное имя и «адрес», последняя фраза произносилась Блоком так, как будто Изоре кто-то сказал это в действительности, а не во сне. Это не был беспредметный лепет избалованной мечтательницы, романтической обитательницы замка. Простота, с которой она говорила это, заставляла Бертрана с улыбкой отвечать на эти слова, он чуял правду в словах Изоры своей тоже наивной, чистой душой большого ребенка. Тут не было декламации ни у Изоры, ни у Бертрана, была жизненная правда. Графиня нашла человека, который не считает ее слова бредом, а ее — больной; он ее понял, и она награждает его, по ее мнению, высшей наградой, делая своим верным вассалом и рыцарем, что

вызывает досаду, недоумение и даже смех у Алисы, мелкой, похотливой мещанки

В чтении автора ясно чувствовалось, кто из героев им любим, кого он презирает и к кому относится со снисходительной иронией. Конечно, его любимец был Бертран; в него он вкладывал, если можно так сказать, всю свою большую душу поэта, а затем уже шел Гаэтан, и никому потом не удавалось так передать его, как передавал сам Блок. Когда он читал второе действие и произносил слова Гаэтана, лицо его преображалось, глаза становились синими и весь он делался точно выше ростом, а голос, сохраняя всю свою простоту, без всякого нажима и театральности звучал почти мощно, он точно пел. Вероятно, такими были те талантливые труверы и менестрели, о которых мы знаем из народных сказаний и древних саг.

Захватывали в чтении Блока необыкновенная эмоциональность, темперамент, тонкий рисунок образов, и этому совсем не мешал несколько глуховатый тембр голоса и не совсем чистое произношение буквы «с». Это ничуть не портило впечатления и даже придавало особую характерность роли Капеллана и графа Арчимбаута.

Очень интересно передавал Блок начало второй сце--ы второго действия. Она начинается с середины фразы, и получалось как бы продолжение сказки, которая началась задолго до поднятия занавеса, создавалось впечатление, что Гаэтан рассказывает ее Бертрану весь вечер, а теперь уже ночь, и мы в самом разгаре слышим ее. Становилось понятным увлечение Изоры песней такого человека, как Гаэтан: неотразимое обаяние, беспредельная фантазия влекли слушателей к нему, и все это было естественно и просто, образ был живой, а не театральный.

Немалые споры вызвала роль Алискана. Константин Сергеевич Станиславский и исполнитель роли Алискана Гайдаров стремились придать ему известную мужественность и как бы оправдать поведение Алискана при последнем свидании с Изорой настоящим проснувшимся в нем чувством к ней, и Гайдарову удалось убедить в этом автора.

Паж Алискан, похожий, по словам Блока, на благоуханный цветок нарцисса, с теноровыми нотами голоса, дышащий земной страстью, — полная противоположность Гаэтану, в своем роде тоже пленительный, в какой-то

мере оправдывал проснувшуюся к нему страсть Изоры. Очень хороша в пьесе ночь, которую проводит Алискан в капелле перед посвящением его в рыцари. Эта сцена очень удавалась Гайдарову, и Немирович и Блок были довольны. Актеру удалось найти соединение суеверия и веры без какого-либо фанатизма, все шло от молодого увлечения Алискана, от мысли, что он из пажа завтра превратится в рыцаря, из мальчика станет взрослым мужчиной; его увлекает и одежда, и головной убор, он всем этим любуется и гордится. Очень тонко передавал Блок в чтении сцену свидания Алискана и Изоры в окне, когда паж не знает, как попасть к ней, и верный, израненный Бертран подставляет ему свои плечи вместо лестницы, за что Алискан вежливо благодарит его (в такую минуту паж не забыл придворного этикета). Одно слово благодарности раскрывало замысел автора и его ироническое отношение к Алискану.

Глубоко трагически звучал монолог Бертрана перед смертью. Истекая кровью, он начинает понимать, как страдание может стать радостью, когда умираешь для любимого человека. Особенный смысл заключался также в том, что все это происходило на фоне пошлого свидания Алисы и Капеллана.

Один Бертран благороден и смел и понял песню Гаэтана по-настоящему, а все остальные применили ее к себе, как кому было удобно.

Смерть Бертрана так трогательна и величественна, что даже Изора, полная земной и страстной любви к Алискану, теперь поняла его, поняла, какого верного друга она потеряла, и плачет.

Основой пьесы «Роза и Крест» в передаче автора была драма Бертрана-человека. Этот «серый герой» жертвует жизнью ради настоящего большого чувства; он любит людей, он ждет и верит, что для них придет лучшая жизнь.

Частые встречи и беседы с Блоком помогали мне раскрыть образ Изоры; так родилась ее биография: испанка, дочь бедной швеи, росла без отца, волевая, крепкая натура, способная на борьбу, много выше окружающих ее людей, в ней живут настоящие чувства и, наряду с детской непосредственностью, есть своеобразная мудрость взрослого человека; она чувствует, что радость должна прийти через страдания, но как?

Исполнение этой роли не должно быть мечтательно-однотонным на голосе инженю. Нет, это героиня, она вся связана с природой, и силы ее просыпаются с приходом весны. Она не бредит в полусне, оттого ее так сердит, когда ее состояние называют меланхолией. Мы договорились с автором, что о сне, который Изора рассказывает Алисе, несмотря на такие слова, как «сплю я в лунном луче», следует говорить как об яви, весь монолог нужно произносить знойным, горячим голосом, чувствуя пряный воздух юга. В этом сне в ней просыпаются чувства женщины, которые приходят на смену девичьим мечтам. Этот монолог был несколько удлинен по сравнению с первым чтением автора.

Меня интересовало, как должна напевать Изора песню Гаэтана. По замыслу автора и Владимира Ивановича Немировича-Данченко, слова этой песни, которые часто повторяются Изорой и Бертраном, должны были звучать очень сильно, мужественно, как призыв. Если бы Гаэтан пел ее иначе, весь смысл пьесы был бы совсем иной. Порывистый и очень стремительный — таким Блок передавал Гаэтана; седые волосы и юное лицо, умудренный жизнью, но с молодой душой. Придворной даме Алисе не разобраться в смысле его песни. Она и характеризует ее примитивно и пошло, но Изора слышит ее по-другому. И она и Бертран глубоко понимают слова Гаэтана.

При наших встречах с Александром Александровичем мы говорили не только о его пьесе и о моей роли. Я помню его высказывания о других пьесах, шедших в Художественном театре. Например, о Чехове. Он находил, что исполнение чеховских пьес и постановка прекрасны, но Чехов не был в числе любимых его драматургов. Не знаю почему, Блок очень хотел, чтобы я познакомилась с Андреем Белым, и спрашивал меня, почему я не читаю его стихов. Я прямо ему ответила: «Я не люблю его, он мне не нравится, я его не чувствую». — «Вам надо узнать его поближе, и вы свое мнение перемените».

Моей работе Блок уделял очень много внимания. Помогал своими советами, писал мне очень интересные письма. Вот одно из них:

26 мая 1916

Ольга Владимировна, приехать мне весной не судьба; так и Лужской написал. Значит — до осени.

Вчера, идя по улице, вдруг вижу: «Мара Крамская». Я зашел. Жарко очень, смотрел только 3-ю и 4-ю картины; экран плохой, куски ленты, вероятно, вырезаны. Вижу Вас и на лошади, и в шарабане, и все — что-то не то; думаю — не буду писать Вам об этом; какая-то неуверенность, напряженность, нарочитость: играет Ольга Владимировна, но не вся, а в каждом отрывке играет только часть ее, другие — молчат. Есть кинематографическая неопытность. Только местами все та же *мера,* умеренность выражения чувств и строго *свое,* свои оттенки. Кончается чтение письма (прекрасна *мера* — только брови и шаг вперед мимо стола). И вдруг — эпилог в «притоне». Тут я вспомнил мгновенно слова Константина Сергеевича о том, что «шалость» и есть в Вас настоящее. Вспомнил и «аристократку», разговаривающую со знакомым молодым человеком о Художественном театре. Глубоко мудро сказать, что Вы — «характерная» актриса в лучшем смысле, т. е. в том смысле, что «характерность» есть как бы почва, земля, что-то душистое. Не знаю, так ли я сейчас скажу: «жизнь» (что-то случившееся) — «собрала», сделала «англичанкой», «суховатой» (Вы — утром на репетиции; Вы в большом обществе на экране); стоит «расшалиться» — и все по-другому («о, художница», замечаю я от себя, перескакивая через несколько мыслей, м. б., невнятно даже: «Вы сами не знаете, какую трагедию переживаете: все ту же, ту же, нашу общую, художническую: *играете...* говоря о жизни») *.

В притоне: это припухшее лицо, эти несмотрящие глаза, опустившиеся, жалкие веки; какая-то циничная фраза, грубо брошенная в сторону; как бросилась и заслонила, как упала на стол. Вот — почти совершенное создание *искусства.* Выдают руки до локтя (надо было замазать).

«Расшалитесь», придайте Изоре несколько «простонародных» черт; и все найдете тогда; найдете все испанские скачки из одного чувства в другое, все, что в конце концов психологией заполнить мудрено и скучно. И выйдет — земная, страстная, смуглая. Недаром же и образ Мары в притоне и даже простую шалость — имита-

---

* Понять ничего нельзя? Объясню когда-нибудь лучше! (*Примеч. А. А. Блока.*)

цию аристократки — можно углубить до бесконечности: такую богатую пищу воображению даете Вы несколькими незначащими штрихами.

Целую Вашу руку.

Преданный Вам

Ал. Блок.

Чтобы все в этом письме было понятно, я должна кое-что пояснить. Я тогда снималась в первый раз в кино, сочинила сценарий сама. Желая увидеть себя во всех положениях на экране, я вложила в сценарий все, что только вмещала моя фантазия. Здесь были «и черти, и любовь, и страхи, и цветы», как говорит Фамусов про сон Софьи. Беспечная, светская, юная девушка, дочка профессора, в поисках настоящей любви проходит очень бурно свой жизненный путь: то спортсменка, то актриса, то танцовщица, через ряд любовных историй и разочарований катится все ниже и ниже и, наконец, попадает в ночлежку, где, разнимая драку двух бродяг, она получает смертельную рану и умирает. Вот тут в письме — упрек за то, что я забыла загримировать руки, и они были слишком нежны и белы и мало походили на руки обитательницы «дна».

Чтобы было понятно, о каких шалостях говорит Блок, я должна рассказать о тех пародиях и имитациях, которые так любил покойный Константин Сергеевич Станиславский. Когда на основании виденного мною в жизни и подслушанных разговоров я сочиняла сценки, в них у меня была большая легкость и свобода перевоплощения и все было очень естественно. Так, я показывала аристократку, которая рассуждает о пушкинском спектакле на гастролях в Петербурге Художественного театра, или англичанку-туристку, осматривающую галерею Ватикана. Там все рождалось само собой; очень легки и незаметны были все переходы, и в этих пародиях меня не сковывало ничто. Показывала я их в интимном кругу, и публика их никогда не видала. Вот этой свободы и хотел от меня Блок в исполнении Изоры. Не «нажимать», не «играть», жить, как дети в игре, как в моих пародиях, импровизировать, верить в правду чувств, и тогда все получится. Эти указания очень помогли мне, например — в сцене в башне, где Изора и Алиса затевают любовную игру, точно Изора пришла в церковь

и там ее ждет влюбленный рыцарь и через слова молитвенника ведется объяснение в любви.

По поводу нашей дружбы с Александром Александровичем было много разговоров в театре, и однажды на репетиции Константин Сергеевич Станиславский, обращаясь к присутствующим, сказал: «Отгадайте одну загадку: что общего между Гзовской, Ольгой Владимировной, и Германией?» Константин Сергеевич, улыбаясь, оглядел присутствующих, глаза его лукаво заискрились, и он продолжал: «И та и другая блокированы». Присутствующие весело рассмеялись, а я была очень смущена.

Блок принадлежал к тем авторам, которые замечательно чувствуют театр, настоящий театр, большого вкуса. Оттого так легко было ему находить контакт с актером и заражать нас правдивыми, жизненными чувствами, убегая от излишней театральности. Все к нему относились с большой любовью и желали обрадовать его, хотя подчас это давалось нелегко. Пьеса была слишком сложная и трудная для того, чтобы понравиться публике партера и абонементов, приезжавшей нередко в театр показать свои бриллианты и меха. Но об этой публике мы не думали.

Владимир Иванович, как режиссер, очень увлекся постановкой. Работали мы много. Особенно старался Владимир Иванович по-новому поставить любовные сцены Изоры и Алискана. Здесь надо было избежать какого бы то ни было сходства с приемами игры Ромео и Джульетты. Часто в увлечении он бросал свое режиссерское место и бежал показывать Алискану — Гайдарову, как надо делать эту сцену. В те времена это было очень необычно потому, что показы режиссером актеру игры отошли в область предания. Мы должны были сами находить нужную выразительность и давать режиссеру материал, чтобы он только поправлял нас, если мы ошибались и делали неверно.

То, что писал Блок о своей встрече с Константином Сергеевичем Станиславским в 1913 году[7], не похоже на то, что было во время репетиций в 1916—1917 годах, когда Станиславский больше понимал Блока, хотя все же не до конца. Эти репетиции забыть нельзя. Два больших художника старались понять друг друга и создать настоящее произведение искусства. С одной стороны — поэт-драматург, человек огромной фантазии, живущий большими чувствами, чуждый всем мелким театральным

эффектам, с другой — режиссер, преобразователь искусства театра, гениальный К. С. Станиславский. Присутствовать при работе двух таких людей, самой участвовать в ней — значит сохранить в душе на всю жизнь впечатление того, что такое настоящее искусство и какими путями идти к его вершинам.

Несмотря на то что работа над пьесой шла успешно, в МХАТе она не пошла. Причиной этого были совсем неожиданные обстоятельства. Во-первых, из театра выбыли В. И. Качалов (Гаэтан), отрезанный от Москвы во время летних гастролей на юге деникинским фронтом, так же как и Бертран — Н. О. Массалитинов, и я — Изора, перешедшая в Малый театр на роль Саломеи. Кроме того, К. С. Станиславский был недоволен декорациями Добужинского, уехавшего тогда на родину, в Литву[8]. Константин Сергеевич решил ставить байроновского «Каина», считая, что эта пьеса более отвечает требованиям времени.

Узнав, что «Роза и Крест» не пойдет в МХАТе, Блок, очень огорченный, вынужден был передать пьесу в другой театр.

Великое счастье работать над произведением большого русского поэта, встречаться, дружить с ним, выпало на мою долю. Такие встречи редко бывают в жизни актрисы, и они оставили в моей душе неизгладимый след.

П. АНТОКОЛЬСКИЙ

ИЗ ОЧЕРКА «АЛЕКСАНДР БЛОК»

Была весна 1916 года. Пишущий эти строки очутился в Петрограде, на залитых светом площадях и проспектах славного города, среди пестрой толпы, в которой часто можно было услышать шипящую польскую речь. Я был студентом второго курса юридического факультета Московского университета, мне было двадцать лет, а поэзия мерещилась мне сказочной страной, войти в которую, может быть, и легко, но как это сделать, где эти золотые ворота в поэзию, я совершенно не догадывался. Однажды, бродя по Невскому, я натолкнулся на широковещательную афишу. В ней было сказано, что такого-то числа в Тенишевском училище, что на Моховой, в восемь часов вечера состоится выступление поэтов в пользу раненых *воинов*, — были названы имена, одно вслед за другим, хорошо известные и совсем неизвестные[1]. Их было много. И этот список показался мне чем-то вроде золотых ворот, о которых только что сказано. Конечно, я был в Тенишевском училище уже за четверть часа до начала.

Выступали все литературные корифеи. На эстраде стоял растрепанный, в сюртуке и белом, закапанном красным вином жилете Сергей Городецкий и шепелявил:

Славлю я, славлю племя славян... 6,5

Осип Мандельштам, повернувшись боком к аудитории и кося на нее настороженным глазом, напряженно закинув вверх голову, выпевал прекрасные строки:

Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта...

Так обращался он в трагические годы первой мировой войны к материку Европы.

Парад знаменитостей, поэтов и прозаиков, продолжался. Выступали Кузмин, Сологуб, Ауслендер, Потемкин. Аудитория реагировала сдержанно-благожелательно. Ни у кого не было явного успеха. Все было пристойно, обыденно, скучно. И слушатели, и выступавшие писатели совместно выполняли обряд посильного служения — чему? культуре? войне? общественности? обычаю? Скорее всего — последнее.

Александр Блок вышел незаметно. Момент его появления на эстраде был неуловим. Его встретила овация, первая за весь вечер. Он был затянут в черный сюртук, строен, тверд, спокоен. На овацию он никакого внимания не обратил и начал читать...

С первых же строк стало ясно, что речь идет не о шуточном. Даже ритма он не подчеркивал, скорее наоборот — убивал ритм вялым прозаизмом интонации. Чуть запинаясь, он докладывал слова и фразы в том порядке, в котором они почему-то кем-то напечатаны. Как будто и слова чужие для него, не им сочинены. А между тем аудитория слушала затаив дыхание, настороженная, еще до того, как он начал, прочно с ним связанная, во всяком случае загипнотизированная звуком его негибкого, тусклого, ровного голоса. Так велико было обаяние этого высокого, прямого человека с бледным лицом и шапкой золотых волос. Казалось, он отталкивает от себя собственную силу, считает ее чем-то ненужным, давно пережитым и исчерпанным, а она, эта сила, снова и снова дает о себе знать. Он читал многое: и «Перед судом», и «Утреет. С богом! по домам!», и «Унижение». Из зала кричали: «Незнакомку»!», но она и не вздумала появиться. Кончал он то или другое стихотворение, и аплодисменты вырастали плотной стеной, на короткий отрезок времени вырывая слушателей из недоуменного оцепенения. Блок равнодушно пережидал и начинал новое стихотворение. Он, единственный из всех выступавших, серьезно и искренне рассказывал, оценивал или переоценивал свою собственную жизнь и судьбу. В этом было все дело. Похоже было на то, что он действительно просил:

Спляши, цыганка, жизнь мою![2] 8

И вот смуглая цыганка в узком, плотно облегающем ее костлявое тело шелковом платье вьется и кружится

перед слушателями — «и долго длится пляс ужасный», так же долго длится, как сама жизнь. И короткое блоковское стихотворение, всего двадцать или двадцать четыре строки, кажется длинной поэмой, полной слишком большого содержания, чтобы его сразу можно было определить на слух.

И как бы слушатели ни были далеки, они инстинктивно чувствовали правду сказанного в стихах. Нет, это не «литератор модный», не «слов кощунственных творец»[3], — пускай он какой угодно, пускай не добр, замкнут и сух[4], пускай даже презирает большинство сидящих в зале, — пускай! Зато нет в нем надсады, нет суетного желания показать себя, понравиться, блеснуть. Спасибо и на том! Так можно растолковать внимание аудитории.

Последнее стихотворение, прочитанное Блоком, был его «Балаган»:

В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.

Это прозвучало как вывод из всего выступления. Читая последние две строки, Александр Блок особенно твердо и сурово посмотрел слушателям в глаза, круто, почти по-солдатски, повернулся на каблуках и ушел с эстрады. Только его и видели!

Был объявлен следующий поэт. Я понял, что после Блока мне слушать некого, и, наскоро взяв пальто с вешалки, вышел на улицу.

На набережной Фонтанки я заметил, что впереди, шагах в десяти, шагает Блок в широкополой фетровой черной шляпе, легкий, статный, беспечный — именно такой, каким испокон веков полагается быть великому поэту. В зубах у него дымилась папироса. Он кинул ее за парапет набережной в черную воду реки, и красноватая звездочка, пролетев параболой, чмокнула и потухла в воде.

Я шел сзади и старался остаться незамеченным. Он рассеянно обернулся, оглядел меня, ускорил шаги.

«Подойти или не подойти, окликнуть или не надо?» — эти сомнения буквально сотрясали все мое существо. Но я не подошел и не окликнул. Был ли прав в этом, — не знаю.

Уже перейдя мост, где-то около цирка, Блок вошел в пивную. Я следом за ним. Он сел за столик, продол-

жая курить, подперши кулаком тяжелый подбородок. За его головой было окно, и в окне — черный, весенний Петроград, желтые огни, затяжной дождь, — все, как нарочно, блоковское, туманное, даже сказочное. Против него сидел тоже нарочито питерский тип, с испитым, зеленым лицом, в фуражке с околышем казенного ведомства. В маленьком сводчатом зальце пивной народу набилось много: случайный городской люд возраста солидного, скорее пожилого, профессий разных и сомнительных, но с уклоном к прилавку. Циркачей не было. Женщина была только одна, уже совсем увядшая, с черными, пронзительными глазами, сильно подведенными. На ней была шикарная черная шляпа. Но никакие «траурные перья» не качались на шляпе. Вместо них свисало нечто вроде двух обглоданных селедочных скелетиков. Это была плачевная и зловещая карикатура на Незнакомку.

Она подошла к Блоку и сказала хриплым голосом с оттенком дикого шутовства:

— Вянет, пропадает красота моя!

Александр Блок и бровью не повел. В тот весенний вечер он был сосредоточен, как математик над формулой, которая ему не дается.

А во мне все пело: вот он, любимый поэт, кумир моего отрочества, — неужели я так и не подойду к нему, не назову «Александр Александрович», не расскажу ему, чем и почему он мне дорог?..

Какая шла в нем работа, с каким отчуждением смотрел он на окружающий его со всех сторон «страшный мир», — обо всем этом мы узнали гораздо позже, прочитали в его собственных стихах:

Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться...

Знание наше незаконченно, фрагментарно: куски впечатлений, разрозненные пятна наплывов, проступающие сквозь транспарант, освещенный сзади, противоречивые показания не слишком внимательных и точных свидетелей и очевидцев этой необычайной судьбы. Да ведь и сам Александр Блок был таким свидетелем и очевидцем в эпоху перед революцией.

И я ничего не могу прибавить к своему рассказу. И мрачная пивная около цирка сгинула где-то в далеком прошлом, как незаконченная строфа из черновиков

Блока — печальная примета времени, главным признаком которого было одиночество человеческой души.

Мне иногда кажется, что я сделал непоправимую ошибку, что не подошел к Блоку, а тогда я и подавно считал себя нерасторопным глупцом и трусом.

Прошло несколько лет, и они были решающими в каждой из человеческих судеб. Они были решающими для России и для всего мира.

Весной двадцатого года Александр Блок приехал в Москву. В Доме искусств, на Поварской — ныне улице Воровского, там, где помещается Союз писателей, — Блока представил слушателям хозяин этого дома, поэт Иван Рукавишников, худой как скелет, с русой бородкой, некая противоестественная помесь Дон-Кихота и козы. У него к тому же был дребезжащий блеющий дискант, так что оба они представляли из себя любопытное и знаменательное сочетание: высокого столичного духа и русской губернской провинции, обломок дворянской культуры и кусок нижегородского купечества.

Александр Блок читал прозаическое предисловие к «Возмездию». Читал сумрачно и веско, особенно веско и горестно прозвучало: «Нам, счастливейшим или несчастным детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для *нас*, — увы! — забыть их *нельзя*, — они окрашены слишком неизгладимо...» Читал он и третью, еще не напечатанную тогда главу поэмы. И здесь удивляло намеренно русское произнесение французских слов. «Эдюкасьон сантиманталь» он сказал, как человек, не знающий или презирающий законы французского языка, не по-дворянски, не по-петербургски, а жестко выговаривая каждую букву, без носового «эн», без дифтонгов, как семинарист или *Базаров*, — тот самый Блок, который русскую мебель произносил по-французски «мэбль», а «тротуар» в стихах считал двусложным словом, на этот раз намеренно щеголял обратным. Сидевшая рядом со мною тонкая ценительница дикции ахнула от негодования <...>

На следующий день мы слушали Александра Блока на Никитском бульваре, в Доме печати[5]. На этот раз он читал многое и разное, еще суше и сдержанней, чем в шестнадцатом году. Снова и снова слушатели требовали «Двенадцать», но он не откликнулся[6]. Он, видимо, уже сильно устал от выступлений. Когда Блок кончил, началось обсуждение.

Первым на трибуне появился лысый юноша в гимнастерке и черных брюках навыпуск. Высоким, раздраженным, петушиным голосом он сказал примерно следующее:

— Когда меня позвали на этот вечер, я прежде всего переспросил: как — Блок? Какой Блок? Автор «Незнакомки»? Да разве он не умер? И вот сейчас я убедился в том, что он действительно умер[7].

И тогда на трибуну вышел Сергей Бобров. Он даже не вышел, а выскочил, как черт из табакерки. Он был совершенно разъярен. Усищи у него торчали угрожающе, брови взлетели куда-то вверх, из-под очков горели желтые, как у кота, глаза с вертикальным зрачком. Сильно размахивая руками и с топотом шагая вдоль края эстрады, как пантера в клетке зоологического сада, он кричал:

— Смею вас уверить, товарищи, Александр Блок отнюдь не герой моего романа. Но когда его объявляет мертвецом этот, — и тут Бобров сильно ткнул кулаком в сторону предыдущего оратора, — этот, с позволения сказать, мужчина, мне обидно за поэта, понимаете, — вопил Бобров, потрясая кулачищами, — за по-э-та!..[8]

Я рассказал здесь о том, чему сам был свидетелем, рассказал бесхитростно и добросовестно, как полагается летописцу, и на этом мои личные воспоминания о живом Александре Блоке кончаются.

В. ЛЕХ

БЛОК В ПАРОХОНСКЕ

В КНЯЖЕСКОЙ УСАДЬБЕ

Княжеское жилище, называемое п а л а ц ц , — типичный старопольский помещичий дом с фронтоном, поддерживаемым белыми колоннами. Как заколдованные рыцари, стерегут его великолепные пирамидальные тополи. Но уже издали видны следы опустошения, произведенного войной.

Ведь это осень 1916 года, когда война стала повседневным явлением, и опустошительные следы ее виднелись повсюду, как знамения моровой заразы.

Поэтому окна в доме выбиты, клумбы запущены, дворня разбежалась. В сенях стоит деревенский, крепкий запах яблок. На винтовой лестнице следят за непрошеным гостем глаза рыцаря с таинственного двойного портрета: в какой-то момент рыцарь превращается в даму времен рококо.

В прежних княжеских залах царит хаос и запустение: потухшая гладь зеркал в золоченых, роскошной резьбы, рамах, немного отличающейся благородством линий мебели в стиле ампир, продырявленная историческая картина и тут же несколько походных кроватей и пожитки, принадлежащие командному составу дружины, штаб которой помещается в княжеской усадьбе.

За окнами опустошенного зала, превратившегося в подозрительную ночлежку, раскинулся густой сад. В открытую дверь балкона слышно, как гулко ударяются о землю падающие груши. Луна поднимается все выше. Вдруг в раскинутую, как сеть паука, тишину вонзается золотой стрелою протяжный, сладостный звук и струится непрерывной мелодией, наполненной рыданиями сердца,

приглушенными вздохами, едва слышными стенаниями, — пока не замолкнет, поглощенный потоком лунного света и тишиной.

— Кто же это играет? — спрашиваю старого слугу, одного из тех добрых духов усадьбы, которые не оставили ее в тяжелые минуты.

— Неизвестно. Каждый вечер играет в это время. Но кто — неизвестно, — отвечает он таким тоном, как будто в этих звуках, идущих неизвестно откуда, был скрыт намек на какую-то местную тайну.

Осматривая зал, нахожу на дверях листок с фамилиями его теперешних обитателей.

Среди других фамилий вижу — Александр Блок [1].

ФРОНТОВАЯ ЖИЗНЬ

Блока уже не было в штабе в Парохонске.

Когда по убийственной дороге через предательские болота я добрался ночью в деревню Колбы, — в низкой полесской хате при скудном свете керосиновой лампы была произнесена фамилия: Блок.

Был в военной форме дружины. Ничего, что могло бы отличать поэта. Волосы подстрижены, застегнут до последней пуговицы, молчаливый, с как бы окаменевшим лицом. Странные зеленоватые глаза, по-детски светлые, пушистые ресницы и сильная, широкоплечая, мужественная фигура. Трудно, однако, было бы найти более совершенный тип поэта, лицо, более отвечающее внутреннему содержанию личности. Печатью Аполлона отмечены черты его продолговатого лица.

Две высокие стрельчатые линии, поднимающиеся над бровями, являются выражением далеких, почти неземных мыслей.

Внутренняя жизнь горит только в глазах. Узкие, сжатые губы. Говорит «телеграфично», когда вспоминаю о княжеской усадьбе:

— Падающие груши... И свирель... И этот странный портрет...

С этого позднего вечера в заброшенном полесском селе один за другим потянулись дни, однообразные и необычные, потому что отмеченные войной.

Как большие жуки, жужжат русские и немецкие аэропланы, а вокруг них клубятся белые облачка разрываю-

щихся снарядов. По дорогам шныряют патрули, проходят воинские части. По ночам кровенеют зарева пожаров, на рассвете над дымкой тумана, стелющегося над болотами, как видение сказочного града, возносится силуэт Пинска. Безлюдная местность превратилась сейчас в сплошное царство размокших болот, и война барахтается в болоте, как кошмарное чудовище. Но, несмотря на все, осень так прекрасна, как только она может быть на Полесье, и каждое утро звенит, как золотой червонец.

Мы строим окопы, блиндажи — всю сложную систему большой оборонительной позиции. На работу выезжаем по нескольку человек, верхом. Блок ездит великолепно. В лесах, на краю болот, встречаем сотни оборванных, босых, продрогших от холода и сырости сартов и финнов, роющих, как кроты, новые линии окопов.

В это время в далекой северной столице есть женщина в золотистой короне волос, великая артистка с пламенным голосом, несравненная Кармен, вознесенная магией поэта выше всех женщин [2]. В это время в Москве Станиславский думает о постановке поэмы Блока «Роза и Крест».

Поэт об этом почти не вспоминает. В молчании переживает безумство человечества, влекущее за собой всех. Иногда где-то пропадает. Пишет ли? Вероятно, в одиночестве ищет душевного равновесия.

— Середина жизни самая трудная, — говорит он со вздохом.

О поэзии нет и речи. Только один раз Блок сдается на уговоры прочесть стихи. В полесской хате звучат вдохновенные слова, произносимые неровным, глухим голосом.

НАЧАЛЬСТВО И «ДАЧНИКИ»

Общество наше довольно странное: рядом с поэтом Блоком — молодой, симпатичный еврей-астроном [3], талантливый архитектор [4], потомок композитора Глинки [5] и обозник — рубаха-парень с настоящей лошадиной душой.

Мы вместе едим и спим, по вечерам выпиваем несметное количество чая и потчуем друг друга шоколадом.

Начальствуют над нами два инженера-поляка, самоотверженно выполняющие свои технические работы, не видящие ничего, кроме позиционных сооружений.

Они не видят нищеты рабочих, ютящихся в соседнем селе, поставленных почти на положение рабов «общественной» организации дружины.

Нескольких интеллигентов, которые входят в состав отряда, начальство считает «дачниками» и досаждает им, как может.

В связи с этим жизнь становится тихим адом.

И отряд распадается. Блок возвращается в штаб дружины в Парохонск.

В ШТАБЕ

В это время в усадьбе уже наладилась светская жизнь. Старый князь чудаковат. Своей маленькой коренастой фигурой он напоминает паука. Носит седые бакенбарды. Бесшумно проходит по дому, внезапно появляется на пороге комнаты, на повороте лестницы и исчезает. Тем, которые заслужили его доверие, показывает грамоты, рескрипты, подписанные польскими королями, Петром Первым, Екатериной Второй, и по секрету сообщает, что ему известна безошибочная система игры в рулетку. Поэтому он с нетерпением ожидает конца войны, чтобы разбить банк в Монте-Карло.

А княгиня, тридцатилетняя золотоволосая женщина, даже во время войны не представляет себе жизни без развлечений и общества. Поэтому она устраивает вечеринки, на которых Блок — почетный гость.

К сожалению, поэт не оправдывает возлагаемых на него надежд. Он с аппетитом пьет ароматный китайский чай и кушает какие-то затейливые пирожные, но когда княгиня обращается к нему с просьбой «написать ей что-нибудь», говорит с детской искренностью:

— Скорее Фрина напишет стихи, чем я.

Фрика — любимая собака княгини.

На службе Блок — образцовый чиновник. Он может теперь влиять на улучшение быта рабочих и делает это с усердием. Неслыханно аккуратен и систематичен. Когда это вызывает удивление, говорит:

— Поэт не должен терять носовых платков.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

ИЗ СТАТЬИ «ПАДШИЙ АНГЕЛ»

В январе 1917 года морозным утром я, прикомандированный Земгором к генералу М., объезжавшему с ревизией места работ Западного фронта, вылез из вагона на маленькой станции, в лесах и снегах, и пошел к городку фанерных бараков, где было управление дружины. Мне было поручено взять сведения о работавших в дружине башкирах. Меня провели в жарко натопленный домик, где стучали дактилографисты, и побежали за заведующим. Через несколько минут, запыхавшись, вошел заведующий, худой, красивый человек, с румяным от мороза лицом, с заиндевевшими ресницами. Все, что угодно, но я никак не мог ожидать, что этот заведующий окопными работами — Александр Блок. Он весело поздоровался и сейчас же раскрыл конторские книги. Когда сведения были отосланы генералу, мы пошли гулять. Блок рассказывал мне о том, как здесь славно жить, как оп из десятников дослужился до заведующего, сколько времени в сутки он проводит верхом на лошади; говорили о войне, о прекрасной зиме...

Когда я спросил — пишет ли он что-нибудь, он ответил равнодушно: «Нет, ничего не делаю». В сумерки мы пошли ужинать в старый, мрачный помещичий дом, где квартировал Блок. В длинном коридоре мы встретили хозяйку, увядшую женщину, — она посмотрела на Блока мрачным глубоким взором и гордо кивнула, проходя. Зажигая у себя лампу, Блок мне сказал: «По-моему, в этом доме будет преступление».

Это была моя последняя встреча с Блоком [1].

М. В. БАБЕНЧИКОВ

ОТВАЖНАЯ КРАСОТА

Я не спеша собрал бесстрастно
Воспоминанья и дела...

Ал. Блок

В жизни отдельных личностей, как и в жизни целых поколений, часто существенную роль играют встречи. Именно такое существенное значение для людей моего поколения имела наша встреча с Александром Блоком.

«Дети страсти, дети бурь» [1], мы непосредственно соприкоснулись с кругом тех же идей и настроений, которые несколько раньше волновали и поколение Блока.

Но десятилетняя разница в годах, отделявшая наш «младший» возраст от «старшего» — «блоковского», помогла нам менее болезненно воспринять многое из того, что столь мучило и терзало непосредственных сверстников самого поэта.

Мы не состояли в кружках, где процветала «зараза мистического анархизма», и нас, в сущности, даже едва коснулась тень крайнего декадентства.

Зато очень многим из нас выпало на долю рано стать непосредственными участниками «битвы за жизнь», уже в самом начале века принявшей гигантские размеры.

Тесный круг моих ближайших сверстников состоял в начале девятисотых годов из людей, только что окончивших университет и впервые соприкоснувшихся с искусством.

Будущие ученые, художники, артисты, они многим напоминали «архивных юношей» двадцатых — тридцатых годов прошлого века и вместе с тем были чем-то сродни гофмановскому Ансельму [2].

Эстетическая стихия являлась основой нашей тогдашней дружбы. Мы были чувствительно восприимчивы

к театру, поэзии, музыке. И, как часто бывает в подобных «романах дружбы», даже внешне подражали друг другу.

Все мы в равной мере любили торжественные прямые улицы нашего неповторимого города, гранитные набережные Невы, густую зелень Островов. Собираясь вместе, мы до исступления читали стихи, делились сокровенными мыслями или же страстно погружались в мир звуков.

Мы читали тогда запоем все, что попадало нам в руки: Шекспира и Хитченса, Данте и Стивенсона, Кальдерона и Гоцци, причем нашим кумиром долгое время был сказочный чародей Гофман. Но все же, даже в пору своей самой ранней «певучей юности», мы больше всего тяготели к Блоку.

Лично я оказался счастливее многих из своих сверстников, так как уже в самой ранней молодости имел возможность близко соприкасаться с Блоком.

Сейчас мне трудно припомнить, при каких именно обстоятельствах я впервые увидел его. Думаю, что это произошло либо в «Старинном театре», где в 1907 году шла блоковская переработка «Действа о Теофиле», либо на одном из многочисленных литературных вечеров, на которых Блок выступал тогда с чтением своих стихотворений.

Во всяком случае, в связи с этой первой встречей у меня осталось в памяти лишь самое беглое, мгновенное впечатление от внешнего облика поэта, подкрепленное, с одной стороны, известным сомовским портретом, а с другой — фотоснимками раннего Блока, снятыми фотографом Здобновым.

Собственно же знакомство мое с Ал. Ал. относится к более позднему времени — к зиме 1911—1912 годов.

Еще раньше, в гимназические годы, я подружился с двумя братьями Стааль, мать которых (по отцу — Качалова) была в дальнем родстве с Блоком. В семье Стааль я встречался со многими родственниками поэта. Здесь бывал иногда Петр Львович Блок — родной дядя Блока, его двоюродные братья и сестры.

Человек внешне хмурого вида, с густыми, насупленными бровями, дядя Блока обладал острым и живым умом, но казался мне мало общительным по характеру. В молодости военный, он одно время служил в министер-

стве финансов, а затем состоял присяжным поверенным петербургского судебного округа.

Двоюродные братья Александра Александровича только что окончили тогда высшие учебные заведения: один из них — «Никс» (Ник. Ник.) Качалов, ныне член-корреспондент Академии наук СССР, а другой — Г. П. Блок, литературовед.

Среди двоюродных сестер Блока своей характерной, чисто русской красотой обращала на себя внимание О. Н. Качалова, только что вышедшая тогда вторично замуж за издателя газеты «Петербургский листок» Владимирского.

Некоторые из членов этого семейного круга косвенно соприкасались с искусством. Петр Львович увлекался поэзией, театром, устраивал у себя литературные чтения и играл на скрипке. Ольга Николаевна, обладавшая сильным густым контральто, пела цыганские романсы. Серьезно занимался тогда пением и старший Стааль.

Александр Александрович в доме Стааль никогда не бывал, но его имя там часто вспоминали.

На почве общих артистических увлечений, зимой 1911 года, в семье Стааль возникла мысль устроить любительский спектакль, для чего на один вечер был снят театральный зал Павловой, на Троицкой улице. Шли «Романтики» Э. Ростана в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник, одноактная пьеса «Жан-Мари» и комедия «Женская чепуха». Играла исключительно одна молодежь, а режиссерами спектакля были (в первый и в последний раз в жизни) я и одна заправская старая актриса Е. Н. Ахматова.

Какими тусклыми кажутся сейчас все эти треволнения давних дней!

Черная пасть зрительного зала. Я стою у боковой кулисы и с затаенным дыханием слушаю мелодичный голос Персин*е*:

Все это сон, Сильвета,
О, будем тише говорить,
Чтоб не исчезла греза эта... [3]

Наша театральная затея окончилась полной удачей. Спектакль имел успех, а для многих из нас повлек за собой жизненные перемены, на что, между прочим, тогда же намекнул и кто-то из присутствовавших, не без ехидства сказав: «Здесь романтизма много. Спокойствие, навек прощай».

Слова эти оказались пророческими. «Романтика» юности надолго захлестнула нас, вызвав волну страстного увлечения мечтательной поэзией, и вскоре же породила ряд романтических эпизодов.

Лично для меня постановка «Романтиков» на Троицкой явилась особенно памятной и потому, что в тот самый вечер состоялась моя встреча с Ал. Ал. Блоком.

Статный, затянутый в черный сюртук, как в латы, стоял он среди нарядно одетой толпы и своей строгой, несколько чопорной фигурой производил впечатление крайне собранного и сдержанного человека. Блоку шел тогда тридцать первый год. Назвать его красивым в обычном смысле этого слова было нельзя, так как в нем отсутствовал малейший намек на избитую красивость. Но самый характер гордо посаженной головы Блока и черты его слегка удлиненного лица были столь правильны и столь превосходно вылеплены, что казались изваянными из мрамора.

Особенно прекрасен был ровный, высокий лоб Ал. Ал., мягко оттененный пышным нимбом курчавых каштановых волос.

Вместе с Ал. Ал. на вечере была его мать, отчим Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух и жена Любовь Дмитриевна (урожденная Менделеева).

Крупная, высокая, с румяным лицом и тяжелым узлом бронзовых волос, жена Блока резко характерными чертами наружности сильно напоминала своего знаменитого отца. У Л. Д. были узкие отцовские «монгольские» глаза, строгий, исподлобья взгляд которых соответствовал ее волевому складу, и «отцовская» сутулая посадка плеч.

Мать Блока не отличалась красотой. Маленькая, худенькая, с болезненно грустной улыбкой на блеклом лице, она привлекала лишь мягким выражением умных глаз и той нежностью, с которой смотрела на сына.

О чем в тот вечер говорил Блок, я уже сейчас не помню. Кажется, речь шла о спектакле. Ал. Ал. говорил мало и точно нехотя, причем лицо его сохраняло застывшее и холодное выражение. Только в улыбке Блока, обнажавшей ослепительно сверкавшие зубы, крылась столь поразившая меня застенчивая детскость.

Вспоминаю тот почти благоговейный трепет, с которым я перелистывал в книжном магазине Митюрникова на Литейном только что вышедшую в 1911 году сиреневую книжку стихов Блока о «Прекрасной Даме» [4].

Книжку эту я тут же подарил моему ныне покойному другу Н. Ф. Стаалю, надписав на ней «в назидание» блоковские строки:

Пусть светит месяц — ночь темна... — 7

очевидно, особенно нравившиеся мне тогда по заключенной в них теме «бурного ненастья».

* * *

После постановки «Романтиков» довольно долгое время мы встречались с Блоком почти всегда вскользь. Чаще всего на различных премьерах и вернисажах или на модных тогда литературных вечерах, которые сам Блок так метко окрестил «ячейками общественной реакции».

Зато я постоянно сталкивался в ту пору с окружавшими поэта сверстниками его по университету и литературной среде. По длинному университетскому коридору в мои студенческие годы вихрем проносился друг молодости Блока, неистовый Сергей Городецкий, а в дымной курилке маячила долговязая фигура вечного студента — поэта Петра Потемкина. Хотя я поступил в университет на четыре года позже окончания его Блоком, но из профессоров Ал. Ал. я застал еще читающими лекции Ивановского, Кауфмана и Ф. Ф. Зелинского. Кроме них, я хорошо знал в те годы гимназического товарища Блока, артиста Н. Ф. Икара (Барабанова), друзей поэта — В. Пяста, Е. и А. Ивановых, Ю. Верховского, Б. С. Мосолова, братьев Гиппиусов, Г. Чулкова, Н. П. Ге, С. М. Соловьева и других.

Из всех этих лиц, близких Блоку в разное время, как-то невольно хочется выделить А. П. Иванова и Н. П. Ге, симпатичный облик которых несправедливо забыт в наши дни.

А. П. Иванов — человек редкой гармонии ума и сердца, был братом блоковского Женечки Иванова и принадлежал к семье, с которой Ал. Ал. связывала давняя дружба.

Автор «Стереоскопа» и монографии о Врубеле, А. П. редко выступал в печати, но все написанное им свидетельствует об оригинальном уме и незаурядном критическом даровании.

«Добрый приятель» Блока, с которым Ал. Ал. вел «прекрасные долгие споры», Н. П. Ге, или Кика Ге, был

тогда еще молодым, но исключительно одаренным человеком.

Племянник Врубеля, он оставил о нем чуть ли не единственную свою печатную статью и умер раньше, чем успели развернуться его блестящие творческие способности.

Несколько позже я познакомился с родными Блока с материнской стороны — с его теткой М. А. Бекетовой и с его дядей, академиком архитектуры А. Н. Бекетовым.

Они были типичными представителями трудовой интеллигенции, правда, несколько старомодного, уже отживавшего тогда склада.

К тому же самому времени относится и начало моего близкого знакомства с женой поэта — Л. Д. Блок.

Чисто внешне и по крайне своеобразному складу своего характера Л. Д. была, очевидно, тем женским типом, который наиболее отвечал основным требованиям, предъявлявшимся Блоком к «спутнице жизни».

Для Л. Д. были характерны то же внешнее уверенное спокойствие и та же сдержанность, которые составляли свойства и самого Блока. У нее был упрямый, настойчивый характер, и она очень трезво и просто подходила к решению сложных жизненных вопросов. У Л. Д. были устойчивые, определенные взгляды, большая культура и живой интерес к искусству. Попав в полосу утверждения нового театра, с деятелями которого ее связывали узы дружбы, Л. Д. всю последующую жизнь упорно стремилась стать актрисой. Но ее достоинства в жизни — внушительность ее фигуры, размеренные, спокойные движения, яркая характерность *облика*, — все это как-то проигрывало на подмостках, и, сыграв две-три удачные роли, она была принуждена затем навсегда покинуть сцену.

Эти постоянные творческие неудачи сильно уязвляли ее, тем более что Л. Д. не хотела быть только «женой знаменитого поэта».

Всю жизнь она судорожно металась от одного дела к другому, чего-то искала и попеременно увлекалась то изучением старинных кружев, то балетом, то цирком, то чем-то еще, на что уходили не только ее силы и средства, но и ее несомненная природная даровитость. Подобная, крайне ненормальная семейная обстановка губи-

тельно отзывалась на самом Блоке. Его домашняя жизнь постепенно приобрела холостой и безбытный характер, и Ал. Ал. не раз затем с большой горечью отмечал образовавшуюся вокруг него роковую пустоту.

* * *

Вплотную я вновь встретился с самим Ал. Ал. лишь летом 1912 года. Произошло это в Финляндии, в Териоках, где тогда прочно обосновалась группа молодых актеров, поэтов, художников и музыкантов, в состав которой входили: жена Блока — Л. Д., художник Н. И. Кульбин, поэт М. А. Кузмин, братья А. и Ю. Бонди (артист и художник), актеры — А. А. Мгебров, В. П. Лачинов, В. П. Веригина, режиссер В. Н. Соловьев, художник Н. Н. Сапунов и ряд других, менее известных лиц.

Вся эта веселая и бурная компания жила дружной коммуной недалеко от взморья, на живописно расположенной даче Лепони.

Сам Блок не жил в Териоках, но принимал косвенное участие в данном театральном предприятии. Ал. Ал. нравился вольный дух этого молодого театра, и он часто бывал там — до тех пор, пока коммерческие интересы не взяли верх над искусством и териокские спектакли не начали ставиться с исключительным расчетом «на сбор».

В один из дней этого необычайно жаркого лета, а именно 3 июня, Ал. Ал., Люб. Дм., В. А. Пяст и я отправились вместе в Териоки на открытие театрального сезона. Приехав, мы узнали, что открытие отложено, но, несмотря на это, решили остаться в Териоках до вечера[5]. Проведя вместе с Блоком весь этот день, я совершенно по-новому узнал и оценил его.

Ал. Ал. любил северную природу и чувствовал себя среди нее особенно легко и свободно. Именно здесь, на фоне морского пейзажа, мне впервые бросились в глаза «негородские» черты Блока. Передо мной неожиданно предстал мужественный и жизнерадостный человек, с каким-то упоением отдававшийся вольной стихии.

В Териоках мы вместе со всей актерской компанией пили чай на просторной террасе «виллы Лепони», а затем там же смотрели репетицию готовившейся новой постановки.

Днем Блок, Пяст и я пошли гулять через сосновый парк к взморью, где белели паруса лодок и были раскиданы разбитые бурей кабинки.

— Вы *знаете*, — говорил Ал. Ал., когда мы шли с ним по хрустящему песчаному *пляжу*, — как это ни странно для человека, выросшего среди русских равнин, но я безумно люблю море, ветер, бурю... Они будят во мне какие-то смутные предчувствия близких перемен. Манят и привлекают, как неизвестная даль...

От всего нашего тогдашнего разговора у меня осталось лишь общее впечатление большой взволнованности Блока и его несколько лирически приподнятого состояния. Веселый и кудрявый,

Он говорил со мной о счастьи 9
На непонятном языке...[6]

И хотя мне во многом был неясен подземный ход его мыслей, я невольно ощущал их свежесть и новизну.

Блок шел совсем рядом со мной в своем светлом костюме и широкополой шляпе, и я невольно любовался скрытым ритмом его движений, его плавной походкой и той свободой, с какой он владел своим мускулистым телом. Было что-то радостное и певучее во всем его облике, и если бы я знал, что он пишет тогда «Розу и Крест», я, наверно бы, сопоставил образ самого поэта со светлыми образами его героев.

Поздно вечером мы вернулись на дачу Лепони, чтобы оттуда обратно ехать в Петербург. На станции пришлось долго ждать поезда. С моря дул холодный, резкий ветер, и мы основательно прозябли. После утомительной прогулки по свежему воздуху нам мучительно хотелось спать. Попав в теплый вагон, мы сперва с трудом боролись с одолевавшей нас дремотой, а затем, кое-как все же переборов сонное настроение, затеяли какую-то веселую игру. Ал. Ал. изощрялся больше всех, и его громкий, заразительный хохот покрывал собой голоса остальных. В. подобные минуты бурной веселости Блок бывал неузнаваем и своей безудержной резвостью становился похож на ребенка. Его лицо, обычно напоминавшее собой застывшую маску, мгновенно преображалось, и в холодных, стальных глазах начинали бегать задорные огоньки.

Как мало людей, даже близко знавших Блока, видели его таким. И как мало «веселый Блок» напоминал собой канонизированный, загадочно красивый и «неживой» образ модного поэта.

Когда мы подъехали к Петербургу, город был весь во власти белой северной ночи. Дома и улицы — все было

подернуто прозрачной серебряной дымкой. И на фоне этого волшебного марева еще четче выделялся черный силуэт Блока, певца «Незнакомки». Что-то пушкинское, петербургское чудилось в его облике, явственно мелькнув передо мной в ту далекую июньскую ночь, и затем кануло, чтоб уж никогда не возвращаться вновь.

* * *

Наступили страшные годы, в сумраке которых погасли радужные мечты многих поколений. Сознание ужасающего провала между двумя революциями — 1905 и 1917 годов — обострилось к этому времени до такой степени, что, как казалось большинству тогдашней интеллигенции, исчезла всякая возможность для выхода из образовавшегося тупика. Черная тень реакции и ее постоянных спутников — тупости, уныния и безразличной тоски — окутала собой всю жизнь. ,

Все мельчало, дробилось, тускнело, теряло ясность и четкость очертаний.

Тем сильнее и ярче на этом бесцветном фоне вспыхивали тогда огненные зарницы — предвестники новых грядущих бурь и потрясений.

На смену недавнего кумира учащейся молодежи, мятущейся и скорбной «Чайки» — Коммиссаржевской, пришел гордый и смелый «Сокол» — Горький.

Широкой волной уже катился по бескрайним родным просторам потрясающий людские сердца шаляпинский голос. И, словно вторя ему, откуда-то издалека впервые прогремел грозный смех юного Маяковского.

Как великаны, возвышались они над толпой, и по их могучему росту можно было судить об исполинском росте всего народа.

В этой цепи горных кряжей величавая фигура Александра Блока выделялась своей особенной, вызывающе-дерзкой красотой.

И эта красота его духовного облика, и огневые строки его стихов, сильно действуя на наше молодое поколение, невольно вовлекали нас в поток новых глубоких идей.

Наши прежние взгляды вступали в борьбу с новыми. Произошла переоценка духовных ценностей, в процессе которой, хотя и крайне медленно, нами изживался разлагавший нас эстетизм.

Поэт Блок был нашим «мудрым вожатым» во все эти тяжелые годы. И я не знаю, какой бы поистине трагический оборот приобрела наша судьба, если бы Блока тогда не было с нами.

Столкнувшись с суровой действительностью, мы смогли теперь оценить не только его огромное поэтическое мастерство, но и зоркость его видения — удивительную передачу им реального до осязаемости пейзажа петербургских окраин, прозаических, будничных сцен городской жизни и образов городской нищеты.

Этой *новой* для нас чертой своего поэтического дарования Блок вовремя поддержал в нас любовь к «России в целом» и ни с чем не сравнимой красоте «пышной и бедной» [7] северной столицы.

Было нечто еще, что особенно сильно волновало нас тогда в творчестве великого поэта. Это — тема *мужественного подвига.* Ибо Блок был первым из поэтов 900-х годов, громко и открыто заговорившим «о подвигах, о доблести, о славе».

Вчитываясь в стихи Блока, мы научились постигать их порой скрытую «отважную красоту». Его поэзия обострила наше внутреннее зрение и слух, приучила нас трезво оценивать мрачную действительность и копить силы для предстоящей борьбы. Стихи Блока пробудили в нас ничем неистребимую любовь к жизни. Звуча как заздравный тост, они перекликались с «Вакхической песнью» Пушкина, и их бодрый, мажорный тон роднил их с бетховенским «Гимном Радости».

Солнцу, дерзкому солнцу, пробившему путь,
Наши гимны и песни и сны без числа...

Это светлое певучее аполлоновское начало блоковской поэзии неизменно окрыляло нас в годы нашей духовной юности и осталось надолго основным источником всего нашего дальнейшего восприятия жизни.

* * *

В жизни самого Блока весь этот период 1912—1916 годов был одним из самых значительных и серьезных.

Круг людей, близких к Блоку, состоял в те годы из людей самых различных профессий, но Ал. Ал. все больше и больше привлекало «левое», не академическое крыло представителей тогдашнего искусства. Блок в ту пору

особенно резко порицал кружки столичных эстетов и тем охотнее вращался в близкой его жене молодой театральной среде.

Ал. Ал. заметно влекло к новым для него лицам. Он постоянно встречался с Н. И. Кульбиным, а через него одно время соприкасался и с В. В. Маяковским[8].

Н. И. Кульбин был слабогруд, худ и имел чахоточный румянец. Говорил он, как Блок, медленно и притом как бы скандируя слова. На Ал. Ал. Кульбин смотрел нежно-влюбленными глазами, но все же в спорах настойчиво отстаивал свои взгляды. Блок очень внимательно прислушивался ко многим высказываниям Кульбина, но Кульбин был максималистичнее Блока и к тому же, несмотря на свою обширную эрудицию, производил на Ал. Ал. впечатление одаренного дилетанта.

Вопреки существующему мнению, Блок отнюдь не был одним из самых популярных и любимых поэтов своего времени. В списке наиболее читавшихся из них его имя (в 1914 году) стояло на одиннадцатом месте, и стихи Блока никогда не раскупались с такой быстротой, как, например, произведения Бальмонта или же Мережковского.

Как поэт, Блок был *по-настоящему* признан только *после Октября,* когда его поэзия стала подлинным достоянием народа. До тех пор он был страстно любим одной только учащейся молодежью, и в этом отношении его слава в начале 1900-х годов очень напоминала аналогичную славу В. Ф. Коммиссаржевской.

* * *

После совместной поездки с Блоком в Териоки в наших встречах с ним наступил снова некоторый перерыв.

Постоянно слыша об Ал. Ал., я лишь изредка, и притом всегда мельком, виделся с ним.

Ранней весной 1914 года, кажется, на пасхальной неделе, в аудитории Тенишевского училища состоялось первое представление лирических драм А. Блока — «Незнакомки» и «Балаганчика»[9].

Я присутствовал на этом спектакле и встретил там самого автора и тогда еще молодого «мхатовца» Е. Б. Вахтангова.

В спектакле было много нарочито балаганного, начиная от гротесковой бутафории, экстравагантных костюмов

и слуг просцениума, вплоть до настоящих апельсинов, которые разбрасывались в публике. Но было в нем и кое-что пленявшее своей молодостью и новизной.

На самого Блока постановка его лирических драм произвела, как мне помнится, двойственное впечатление. Как автор, он остался не вполне удовлетворен виденным, но, в общем, все же признавал спектакль довольно интересным.

Летом в том же году, уже совсем на ходу, мы встретились с Блоком в Куоккала, где я принимал участие в одной из постановок местного театра и где тогда играла Л. Д. Блок.

После этого мы виделись с Ал. Ал. еще несколько раз, но мимолетно.

Так ясно встали эти миги,
Когда твой гений мне блистал,
Когда еще в закрытой книге
Я о грядущем не читал.

А. Блок

* * *

События 1917 года совпали со вторичным подъемом общего для моих сверстников увлечения Блоком.

Только что, в январе этого года, в номере первом «Русской мысли» появились пролог и первая глава «Возмездия», и мы наперебой зачитывались поэмой, заучивая ее отдельные, особенно поразившие нас строки.

«Возмездие» вышло как нельзя кстати. Накаленный воздух тех дней дышал предгрозовыми надеждами, и слово «месть» готово было вот-вот сорваться с народных уст.

Уже в самом начале января произошли массовые аресты рабочих вождей, в ответ на которые по всей стране прокатилась волна бурных митингов и забастовок.

Правительство окончательно потеряло почву и оказалось не в силах противостоять напору народного гнева.

В подобной политической обстановке «Возмездие» Блока, как поэма, «полная революционных предчувствий» и «пропитанная ненавистью к самодержавию» [10], естественно, должна была прозвучать с особенной силой.

Вместе с тем «Возмездие» поразило многих из нас своей свежестью и реализмом, невольно заставившими вспомнить бессмертные «онегинские» строфы.

Как поэт, Блок достиг в то время высот русской классики. Сама поэтическая речь его стала более веской, конкретной и осязаемой, его художественные образы приобрели еще бо́льшую выразительность, а язык — кристальную прозрачность и чистоту.

Восприняв Блока в эти предгрозовые дни в его «битвенном наряде», мы как бы заново для себя прочли многие из его прежних знакомых стихов, и я помню, что особенно рьяно скандировались тогда:

Клинок мой дьяволом отточен
Вам на погибель, вам на зло!
Залог побед за мной упрочен
Неотразимо и светло... [11]

Одновременно с чтением стихов Блока мы зачитывались тогда гершензоновской «Молодой Россией» и, мечтая о «полном преобразовании всей жизни», вслед за Владимиром Печериным готовы были принести в жертву все ради неизвестной цели, которая виднелась нам в «будущности туманной, сомнительной, но прелестной, но сияющей блеском всех земных величий» [12].

Как по-разному нами затем осуществлялась эта «мечта», показало время. Важно то, что в момент нашего вторичного острого соприкосновения с поэзией Блока мы рассматривали ее тогда как «евангелие борьбы».

Все это давно кануло в прошлое, и если еще хоть сколько-нибудь может интересовать в наши дни, то только как далекий и слабый отзвук запоздалого русского «абстрактного героизма». В моем личном общении с Блоком отзвуки только что приведенных настроений части тогдашней интеллигентской молодежи нашли затем некоторое отражение в наших позднейших с ним длительных собеседованиях.

Произошло это вскоре, осенью того же года [13].

Как-то, подойдя на прерывистый телефонный звонок, я услышал знакомый глухой голос Блока:

— Приходите, у меня есть к вам дело.

Блоки жили на Пряжке, на углу улицы Декабристов, почти у самих «морских ворот Невы» [14], недалеко от меня, и я в тот же вечер отправился к ним.

Дорога на Пряжку шла по набережной, и я, идя, любовался чудесным великолепием закатного неба, окрашенного кроваво-красным цветом вечерней зари. Мысль о встрече с Блоком волновала меня, и я недоумевал, что заставило его так неожиданно вспомнить обо мне.

Квартира Блоков помещалась в четвертом этаже большого серого дома. Ал. Ал., видимо, ждал меня и сам открыл дверь. Курчавые волосы его заметно поредели, а лицо слегка похудело, но в общем он посвежел, загорел и окреп. Одет Блок был в коричневый френч с узкими погонами и высокие сапоги. В военной форме, которая значительно молодила его, я видел Блока впервые, и он, очевидно заметив мое удивление, смущенно сказал:

— Вот, видите, и я, наконец, оказался годным, хотя и к нестроевой службе... Государство крепко сжало меня своими щупальцами, значит, я ему нужен. Был под Пинском, но теперь, кажется, снова засяду в Петербурге.

Кабинет Блока, куда он провел меня, представлял собой светлую и просторную комнату, поражавшую своей праздничной чистотой. В нем все было прибрано, аккуратно расставлено по местам и лежало, не нарушая заведенного порядка.

Возле окна стоял большой письменный стол, а напротив него, в глубине комнаты, — высокие книжные шкафы красного дерева.

Кожаный диван и несколько кресел, простой, но удобной формы, дополняли собой в общем неприхотливую, скромную обстановку.

На светлых стенах висело несколько оригиналов и хороших копий с любимых Блоком вещей, в том числе акварель Рейтерна «Жуковский на берегу Женевского озера», рисунок Н. Рериха к «Итальянским стихам», «Саломея» Квентин Массиса и «Мадонна» Джиамбатисто Сальви (Сассофератто), чем-то напоминавшая Любовь Дмитриевну[15].

На смену багряному костру северного вечера спустились сиреневые сумерки, окутав все мягкими трепетными тенями. Сквозь стекла бледных окон, выходивших на Пряжку, виднелись

Ледяная рябь канала.
Аптека. Улица. Фонарь...

Ал. Ал. был во всем доме один, отчего пустынность просторных, еле освещенных комнат приобретала еще более нежилой и малоуютный вид.

Когда мы сели, Блок за стол, а я — напротив него, Ал. Ал. сразу же заговорил о деле:

— Я просил вас зайти ко мне, так как больше месяца занят литературным редактированием стенографиче-

ских отчетов Чрезвычайной комиссии[16]. Работа эта слишком велика по объему, и мне трудно с ней справиться одному. Я уже пригласил Любовь Яковлевну Гуревич и очень рассчитываю на вашу помощь. Мысль о приглашении вас мне пришла давно, и я рад, что ее поддержали Давид Давидович (Гримм) и Любовь Дмитриевна. Правда, работа носит временный характер, но ее преимущество состоит в том, что вам придется иметь дело только со мной.

Говоря это, Ал. Ал. подробно ознакомил меня с отредактированными стенограммами и предложил взять что-либо «на пробу». Затем, продолжая начатый разговор, он обстоятельно изложил свои взгляды на дело. Как полагал Блок, основная задача предпринятой им работы состояла в широком литературном освещении исторических фактов, приведших к гибели трехсотлетнего режима.

— Подобное историческое полотно, — говорил о б - основанное на материале тщательного допроса самих царских приспешников, смогло бы сыграть значительную роль в будущем. Во всяком случае, лично я столкнулся с таким ужасающим бесправием и такой омерзительной гнусностью, о которых трудно подумать.

Как бы в подтверждение сказанного, Ал. Ал. тут же привел мне несколько ярких и убийственных примеров.

Говорил он скупо, без всяких литературных прикрас, веским и деловым тоном. Но в его лаконичных эпитетах сказывался большой художник, и перед моими глазами внезапно возникла длинная галерея самых разнообразных типов, от таких матерых главарей, как Вырубова и Распутин, и кончая бесконечной сворой всяческих жандармов, сыщиков и провокаторов.

Ровный, спокойный голос Блока и холодная невозмутимость его строгого, неподвижного лица странно контрастировали с общим содержанием его речи.

То, что говорил он, не было, в сущности, обвинением. Это напоминало скорее острую передачу какой-либо постановки «театра ужасов», где обыденное сплетается с фантастическим и где одновременно выступают жалкие простаки и самые отъявленные злодеи.

В комнате стало уже почти совсем темно, и мы с Блоком едва различали друг друга.

Ал. Ал. поднялся, чтобы зажечь свет. Затем, снова вернувшись к письменному столу, он брезгливым

движением отодвинул лежавшую на нем стопку стенограмм и с негодованием произнес:

— Нет, вы только подумайте, что за мразь столько лет правила Россией.

Постепенно наш разговор перешел на другие темы.

Вскоре вернулась Л. Д., и мы перешли в столовую, где беседа приняла еще более общий характер. Когда я собрался уходить, Блок крепко пожал мне руку.

— Ну, вот мы и договорились, жду вас на днях, — сказал он, прощаясь.

Дверь захлопнулась. Свежий ночной воздух пахнул мне в лицо. Я ничего не желал. Ни о чем не думал. Я был счастлив, как никогда.

* * *

Спустя несколько дней я опять пришел к Блокам, но Ал. Ал. на этот раз не было дома, и мне пришлось оставить отредактированную стенограмму Л. Д.

Как потом выяснилось, Блоку очень понравилось то, что я сделал, и это обстоятельство еще больше помогло нашему дальнейшему сближению с ним.

На свою работу в Комиссии Блок смотрел как на исполнение гражданского долга. Он старался привлечь к ней самых близких ему людей — мать, жену, друзей: Евг. Павл. Иванова, В. Пяста, В. Княжнина — и крайне добросовестно относился к собственной редакторской правке.

Как у редактора, у Блока были обширные планы на будущее, и ему хотелось, чтобы свод всех показаний в окончательном виде приобрел характер серьезного исследования. Ал. Ал. до мелочей продумывал, каков должен быть подготовлявшийся к печати сводный отчет [17]. Блока интересовала форма, язык и тип издания. Особенно много внимания он уделял языку и требовал от остальных редакторов, чтобы, выправляя стенограммы и сохраняя стилистические особенности каждого отдельного показания, они боролись за чистоту русской речи, лаконичной, спокойной, веской, понятной, но свободной от популяризаторства.

Материал для редактирования я получал всегда от самого Блока и притом каждый раз с соответствующими объяснениями. Ал. Ал. не только вводил меня в курс того, что мне предстояло сделать, но, кроме того, делил-

ся со мной обычно впечатлениями о допрашиваемых лицах.

Работать с Блоком было не трудно, хотя требовательность его была велика и распространялась даже на технику писания вплоть до почерка, каким редактор делал правку. Я помню, какое удовольствие именно в этом «каллиграфическом» отношении доставила Ал. Ал. одна из наиболее опрятно отредактированных мною стенограмм.

Свой письменный стол, книги и бумаги Блок содержал в безупречном порядке и чистоте. Оглядывая кабинет Блока, трудно было представить себе, что здесь протекает его работа. Всякое чужое вмешательство в эту работу было ему невыносимо, и пока он не доводил ее до конца, он тщательно прятал ее от посторонних глаз.

Его одежда была всегда безукоризненно опрятна, манеры неизменно вежливы. В писательском кругу Блок держался особняком и казался пришельцем.

В каждом деле Ал. Ал. любил *завершенность* мастерства, *тонкость* художественной отделки, *артистичность* исполнения.

Ему претил дилетантизм. Когда Блоку не нравилась чужая работа, он говорил об этом с жестокой откровенностью, резкостью и колкостью. Тон его речи становился при этом убийственно сух.

Но зато, если чья-либо работа нравилась ему, он не скупился на похвалы, искренне радуясь чужому успеху.

Председатель Комиссии Н. К. Муравьев, верный традициям старой адвокатуры, любил демонстрировать свое уважение к писательству и писателям. Одно время он поддерживал Блока, но отстаивать свои взгляды не умел. Его «непротивление злу» сильно мешало Ал. Ал. в редакторской работе.

* * *

Блок был мало общителен. Но в силу многих благоприятных причин между ним и мной возникла на некоторое время близость. Ал. Ал. подолгу беседовал со мной с глазу на глаз, и я оказался невольным свидетелем его затаенных раздумий.

К сожалению, очень многие высказывания Блока выпали из моей памяти, и только самая незначительная

часть их сохранилась в моих беглых записях того времени.

Встречаясь почти ежедневно с Ал. Ал., я имел возможность наблюдать его не только в часы нашей совместной работы, но и в часы отдыха.

Блок не любил говорить о литературе, но со мной беседовал иногда и на литературные темы.

У него было весьма возвышенное представление о литературном труде, как о высочайшей форме человеческой деятельности.

От писателя он требовал профессионального мастерства, постоянного совершенствования и строгого подчинения законам гармонии и красоты.

Он искал слов, «облеченных в невидимую броню», речи сжатой, почти поговорочной и «внутренне напоенной горячим жаром жизни», такой, чтобы каждая фраза могла быть «брошена в народ» [18].

Ал. Ал. любил основательно вынашивать свои литературные произведения, иногда выдерживая их годами. Сам Блок называл это «задумчивым» письмом. Лично же у меня сложилось впечатление, что творческий процесс протекал у Блока не столько за рабочим столом, сколько в часы отдыха — чтения, бесед, прогулок.

Ал. Ал. придавал большое «производственное» значение чтению и, как это ни странно, снам, содержание которых он часто запоминал и потом рассказывал близким.

У Ал. Ал. сохранялись многочисленные черновики, к которым он время от времени возвращался, но которых никогда не пускал в ход, если не считал их вполне доработанными.

Писал Ал. Ал. стихи чаще всего на небольших, квадратной формы, листах плотной бумаги, оставляя всегда кругом текста широкое поле.

Рукописи Блока, многократно переписанные набело, поражали своей исключительной чистотой и хранились им в образцовом порядке.

Свои ранние произведения Блок подвергал жесточайшей критике и отзывался более или менее снисходительно лишь о том, что вошло в третью книгу его стихов.

Из произведений этого периода Ал. Ал. охотно выделял, хотя тоже с большими оговорками, стихи о России. Ему было, видимо, приятно, когда я как-то раз восторженно отозвался о его цикле «Кармен».

Блок поразительно чувствовал русскую жизнь. Он был *до конца русским* по духовному складу своей натуры, по своей любви к русской природе, к великому прошлому родного народа и к его вечному стремлению вперед.

Блок любил выходцев из народной среды, с которыми всегда находил общий язык.

Блоку нравилась природная *мастеровитость* русского человека, его стремление доводить каждое дело до конца, и он справедливо видел в этом залог прочного будущего всего народа.

Вместе с тем, обладая широтой, свойственной именно русским людям, Ал. Ал. в своих беседах со мной охотно останавливался на духовной культуре других народов. Его интересовала армянская поэзия, и он с восхищением отзывался о таланте Аветика Исаакяна.

Блок любил северных писателей: Стриндберга, Ибсена. Он прекрасно знал и высоко ставил французских классиков. Его знание мировой литературы, фольклора и истории выходило за рамки обычных писательских познаний.

Что касалось современной ему литературы, то она мало удовлетворяла Блока. Он считал ее хилой, книжной и в значительной степени потакавшей грубым инстинктам пошлой, невежественной толпы.

Особенно возмущала его газетная «желтая пресса» и бездарные писания бесчисленных тогда мелких поэтов и прозаиков. Говоря о них, Ал. Ал. никогда не жалел уничтожающих эпитетов, и в его оценках этого, как он выражался, «литературного дна» звучали ненависть и презрение.

Блок много рассказывал мне о готовившейся постановке «Розы и Креста» в Художественном театре, передавал подробности своих переговоров с К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко и хвалил эскизы костюмов и декораций, выполненные М. В. Добужинским. С благодарностью отмечал Блок ту помощь, какую оказал ему при писании этой драмы М. И. Терещенко:

— Он помог мне не только обдумать ее сюжет и основные положения, но и фактически способствовал ее написанию, — говорил Блок.

Целый ряд бесед с Блоком касался творчества Аполлона Григорьева, которого Ал. Ал. очень ценил за его «русский голос» и причислял к людям, серьезно

искавшим правды. Блоку нравился в Григорьеве его дар проникаться «веяниями» времени, ощущать запах и цвет эпохи. Говоря о Григорьеве как о «рыцаре истины и свободы», Блок всегда отмечал роковую близость людей сороковых годов и людей нашего времени. Эту связь Ап. Григорьева с современной эпохой Блок отчетливо видел прежде всего в его основной творческой теме борьбы.

Очень близки Ал. Ал. были и театральные увлечения Григорьева, его восторги перед образом Гамлета, и его исключительное уменье передавать волнующую атмосферу театра.

Мне запомнились наши разговоры о Пушкине. Пушкина Блок любил не только за его полнозвучную гармонию, но и за его мудрое знание жизни и человека. Ал. Ал. говорил мне, что сравнительно поздно воспринял пушкинскую поэзию. Чаще всего поминал он его поэмы, особенно же «Онегина».

Из других писателей прошлого века Блок высоко ценил Грибоедова.

Блок говорил обычно короткими, отрывистыми фразами. Он любил «выпытывать» чужие мнения, задавая неожиданные «вопросы-молнии». Создавалось впечатление, будто он что-то усиленно продумывает и, не будучи уверен в своих выводах, хочет выведать мнение собеседника.

Подобные испытующие разговоры с заторможенным ритмом Блок способен был вести часами. Они утомляли, вероятно, и его, что же касается меня, то даже сейчас, спустя много лет, я вспоминаю о них с тяжелым чувством. И тем не менее меня всегда упорно тянуло «перебрасываться думами» с Блоком. Эту каменистую и сухую землю едва брала кирка, но под ее пластами мерцали слитки чистого золота.

Голос Блока был глухой и матовый, речь тягучая, часто с длительными перерывами. Казалось, что он всматривается в каждое слово, прежде чем произнести его, и с усилием подыскивает нужные выражения.

Блок не очень охотно читал свои стихи, но все же раз или два прочел мне кое-что из своего третьего тома.

Читал Ал. Ал. монотонно, чуть в нос, тем же тягучим, даже несколько унылым голосом, растягивая слова и точно с трудом отрывая один слог от другого:

Гре-шить бес-стыдно, непро-будно,
Счет по-те-рять но-чам и дням...

Но в этой манере чтения было что-то настолько властно впечатляющее, что звуки его голоса живы в моей памяти до сих дор.

* * *

Ни одно из существующих изображений Блока не передает полностью его настоящих черт.

Внешности Блока была свойственна спокойная и величавая монументальность. У него было несколько продолговатой формы тяжелое лицо с тяжело опущенными веками. Тяжелые складки в углах крупного рта. Высокий лоб с слегка приподнятыми под углом бровями. Волнистая, как на античных статуях, шапка волос и ровный, спокойный взгляд светлых глаз.

Несмотря на обычную свою неподвижность, лицо Блока обладало способностью резко и легко изменяться. Стоило только Ал. Ал. улыбнуться, как его характерный, точно застывший облик получал новое, крайне живое выражение. Холодная маска сразу исчезала, все мускулы лица приходили в движение, и обычные до того спокойно-невозмутимые черты озарялись внутренним светом.

Несмотря на то, что в наружности Ал. Ал. не было ничего подчеркнуто поэтического, он, казалось, был от рождения предопределен к высокой миссии поэта.

Самое размеренное спокойствие его движений, замедленность речи и, наконец, общее гордое выражение его величавой фигуры имели какие-то «жреческие» черты. И наряду со всем этим во внешнем облике Блока явственно сказывалась его подлинно *человеческая* простота.

* * *

До чрезвычайности сложная личность Блока поражала своими крайними и, казалось бы, несовместимыми противоречиями.

Творческая смелость уживалась в нем с консерватизмом домашних привязанностей и вкусов; крайняя замкнутость и холодность в обращении — с откровенным и ласковым дружелюбием; бережливость — с расточительностью.

Блок любил в театре Савину и Коммиссаржевскую, Шаляпина и Далматова, в литературе — Байрона и Апухтина.

В ранние годы Ал. Ал. пережил ряд сильных увлечений: сперва театром, затем французской борьбой, авиацией... Порой это захватывало его целиком, и было странно видеть, как этот уравновешенный человек, с такой, казалось бы, «холодной кровью», слушает, забыв все на свете, какого-нибудь куплетиста Савоярова или любуется борцом Ван-Рилем.

Крепкий и выносливый от природы, Ал. Ал. охотно предавался физическому труду. Он любил работу во всех ее видах, даже когда отдыхал от своих прямых обязанностей, был всегда чем-нибудь занят.

Когда на Блока находил веселый стих, он мог заразительно смеяться. Я помню, в какое «ребячье» настроение привело его рассматриванье подаренных мной старинных фотографий балетных артисток.

Ал. Ал. любил шутить, но все его шутки, пародии, каламбуры были насыщены жуткой иронией. Она распространялась не только на других, но и на него самого.

Мне помнится, как однажды, говоря о «бурной» и довольно-таки «земной» актрисе Тамаре Г., которую все называли «Тамочкой», Блок довольно мрачно сказал:

— Она вовсе не Тамочка, она Здесечка.

Блок всегда осуждал «уродливое пристрастие к малым делам» и противопоставлял им красоту великого подвига.

Я обязан Блоку не только тем, что он старался привить мне любовь к красивому труду, но и тем, что он вдохнул в меня крылатую веру в жизнь, в ее безмерные перспективы. Кажущийся пессимизм Блока был не чем иным, как следствием его упрямой оптимистической веры в будущее.

Блок не принимал того, что творилось вокруг, и с не покидавшей его мужественной твердостью упорного мастера отчаянно боролся за утерянную миром отважную красоту.

* * *

Настроение Блока в период его частых встреч со мной, летом 1917 года, не было ровным. Под тягостным впечатлением внешних событий он часто бывал в удрученном состоянии и лишь в очень редкие дни имел бодрый и свежий вид. Он угрюмо молчал или безучастно бросал отрывистые фразы.

В один из таких мрачных дней, молча меряя шагами свой кабинет, Блок вдруг внезапно остановился и, смотря на меня в упор, неожиданно спросил:

— Вы верите в прогресс?

И затем быстро, не дожидаясь, словно боясь моего ответа, сказал:

— А я уже не верю.

В другой раз он, нехотя вымолвив что-то, отошел к окну и стал пристально смотреть на пустынную улицу. Мы оба молчали. Ал. Ал., почти прильнув к стеклу, смотрел в окно, а я делал вид, будто что-то читаю.

Прошло несколько минут. Блок все стоял в той же неподвижной позе.

Но вот он обернулся и едва слышным голосом произнес:

— Я повис в воздухе...

Лицо его было сосредоточенно и грустно.

Подобные настроения порою настолько сильно овладевали Блоком, что он бросал работу и его начинала терзать упорная мысль о своей якобы ненужности как поэта.

— Писать стихи сейчас я не могу, — сказал он мне как-то, — не позволяет профессионализм. Ведь теперь пишут одни только Сологубы, Настасьи Чеботаревские, «Биржевка»... Больше никто не пишет и не будет писать еще долго.

Лицо и движения Блока выражали крайнее волнение. Он то ходил по комнате, то садился за письменный стол, и речи его носили отрывочный характер.

Чувствовалось, что керенщина буквально разъедает его. С каждым днем Ал. Ал. одолевала все большая усталость. Он хандрил, замыкался в себе, всячески избегая встреч с посторонними людьми.

— Мое окно выходит на запад, из него все видно, — не то грустно, не то шутя как-то заметил он мне и тут же пожаловался на постоянно преследовавший его все это время запах едкой гари.

Блоку казалось, что кругом все горит, рушится. По ночам его мучили страшные кошмары.

Лицо его приобрело в эту пору пепельно-землистый цвет, а под глазами и в углах рта набухли тяжелые складки.

* * *

По мере того как развертывались политические события, работа в Комиссии шла на убыль. Раскололось основное ядро ее членов, и начались обычные в таких случаях интриги. Что касается Блока, то его в эту пору влекло уже к *иным горизонтам* и к *иным временам*[19].

Ал. Ал. радовала быстрота и внезапность совершавшихся перемен.

— Поэт ничего не должен иметь — так надо, — решительно возразил оп мне, когда я попытался высказать ему свое сожаление по поводу гибели его шахматовской библиотеки и семейного архива[20].

— Все прошлое уже отошло, — сказал Ал. Ал. в другой раз.

Усиленная работа изнуряла Блока, но потеря жизненной энергии, усталость и недомогание не могли убить его веры в будущее.

С каждым днем я чувствовал, что Ал. Ал., все больше уходя в себя, копит силы для какой-то новой работы. Что это за работа, я тогда не знал, а только смутно догадывался о ней по его отрывочным замечаниям.

— Хоть я сейчас ничего не пишу, — говорил он мне, — но мысли идут, нить не прерывается.

— Я хорошо знаю, что *надо* писать, и *буду* писать. И когда я снова вернусь к литературе, то продолжу начатое в третьем томе, главное — тему «Новой Америки». Вот и поэма также на очереди (Блок имел в виду неоконченное «Возмездие»). Все это, конечно, вопросы далекого будущего. Так как эстетически мы еще очень долго будем бедны. Что же, надо ждать. Быть может, даже томительно долго. Но нельзя предупреждать событий.

* * *

Наши последние встречи с Блоком происходили в самые тревожные дни, тотчас же вслед за провалом корниловской авантюры.

В Петрограде было уныло и пусто. Город жил очередными слухами о налетах немецких цеппелинов, в ожидании которых каждую ночь по свинцовому петроградскому небу блуждали лучи прожекторов.

Повсюду поднималась мощная волна стачек, и чем больше нарастала ненависть к буржуазному правительству Керенского, тем настойчивее и определеннее раздавались могучие возгласы: «Вся власть Советам».

Стояли ясные, холодные осенние дни, и порой, когда город уставал от дневных забот, в его беспорядочной жизни наступала короткая передышка, по тревожной тишине напоминавшая затишье перед боем.

В отличие от большинства тогдашней хилой интеллигенции, поддававшейся все большему смятению и нерешительности, Блок заметно ободрялся и оживал.

В своей выцветшей, поношенной, но всегда опрятной и хорошо пригнанной гимнастерке он напоминал рядового бойца, только что приехавшего с фронта.

Он сильно похудел. В углах рта залегла горечь. Резко очерченный профиль обострился. Но взгляд стал тверже, движения четче и определеннее, а в его речах появились более мужественные, настойчивые ноты.

Основным импульсом жизни Блока в то время был долг.

Повинуясь велениям долга, Блок исполнял свою редакторскую работу.

Слова «долг», «надо» стали все чаще встречаться теперь в блоковском лексиконе.

— Я знаю, мне *надо*... Вы забыли, что *надо*... — изо дня в день твердил он с какой-то упрямой настойчивостью, за которой отчетливо чувствовалась непоколебимая твердость вновь принятых им решений.

Он охотно и подолгу говорил со мной о зреющих новых народных силах. Его любимой жизненной темой стала тема о мировом будущем промышленной молодой России.

— Россия не нищая. Россия — золото, у г о л ь, — негодующе бросил он мне как-то.

То, что говорил Блок, не заключало в себе особой новизны и часто напоминало мысли Герцена. Как Герцен, Блок придавал огромное значение науке и той исключительной роли, которая принадлежит в будущем отечественной индустрии. Но Блок необыкновенно художественно рисовал раскрывавшиеся перспективы и отчетливо ощущал формы своего участия в новой жизни.

* * *

Ал. Ал. не был политиком, но ему был присущ редкий дар — чувство истории.

Как большой художник, он обладал абсолютным внутренним слухом, счастливой способностью улавливать малейшие колебания событий. Эту способность Ал. Ал. настойчиво развивал, чутко прислушиваясь к окружающему, и постоянно связывал воедино самые разнородные факты. Он искал их в политике, в повседневном быту, в технике и научных открытиях, в спорте и в искусстве. Вот почему все, что он писал даже в самые ранние годы, могло бы иметь эпиграфом его же собственные слова: *«Я слушал, и я услыхал»*. Отсутствие этого внутреннего слуха у других всегда угнетало Блока.

— Вы только представьте себе, — сказал он в одно из наших последних свиданий, — встретился я только что с О. [21] и в разговоре с ним упомянул, между прочим, что народ против духовной культуры, которая дается ему как подачка, а отсюда против значительной части прошлого. О., обычно такой мягкий, вдруг рассердился на меня. Мне всегда стыдно своих незаслуженных удач, стыдно потому, что я принадлежу не к народу, которому все дается с трудом, а к интеллигенции, которой все это достается легче.

* * *

Когда я приходил к Блокам, Ал. Ал. почти всегда бывал один, и лишь изредка при наших беседах присутствовала Любовь Дмитриевна.

Из посторонних, и то в «именинные» дни, я встречал у них Е. П. Иванова, В. А. Пяста и Г. И. Чулкова. Очень часто бывали у Блоков его мать и тетка М. А. Бекетова.

Мне почему-то особенно запомнился день именин самого Блока, 30 августа, когда Л. А. Дельмас прислала цветы и Ал. Ал., сконфуженно читая ее письмо, старался, но не мог скрыть своего смущения.

Весь этот день Блок, хоть и усталый от ночной работы, был неузнаваем. Словно прежняя радость вернулась к нему. Он подтрунивал над Любовью Дмитриевной и очень мягко, в шутливой форме за что-то отчитывал «бедного» Женю Иванова. Когда гости ушли, Ал. Ал. возобновил уже ставший обычным для нас разговор, и я просидел у него до позднего часа.

Основную мысль нашей тогдашней беседы Ал. Ал. записал в своем дневнике, причем отметил в своей записи, что надо *обдумать* то, о чем я говорил ему[22].

Наш разговор касался некоторых настроений тогдашней молодежи, напоминавших отчасти, как мне казалось, настроения декабристской молодежи двадцатых годов прошлого столетия. Я считал, что в формировании этих настроений большую роль сыграла поэзия Блока, о чем как-то и сказал ему. Мои слова вызвали в нем тревогу. Сперва он как будто согласился со мной или, вернее, желая до конца выслушать мои доводы, не высказывал своего мнения открыто.

Но потом все-таки изложил свою точку зрения:

— Вы говорите, декабризм, романтика двадцатых годов... Вот и Купреянов * указывал мне на то же. Но у него это кастовое. А у вас? Пусть это, может быть, даже и типично для коллективного портрета определенных кругов... Все же, согласитесь сами, не слишком ли много здесь беспочвенного эстетизма? И, наконец, разве в этом состоит задача нашего времени? Нет, вы решительно не правы, и я обязан возразить вам.

Приближалась ночь. Я хотел спать, но Ал. Ал. все продолжал говорить, причем в его словах уже звучали резко осуждающие нотки. Чувствовалось, что Блок твердо сознает свою личную ответственность и ему хочется поэтому выговориться до конца.

Ссылка на Купреянова лишь подтверждала сказанное, так как Ал. Ал. его весьма ценил, рано почувствовал в нем подлинного художника и особенно внимательно прислушивался к его высказываниям о событиях, так как Купреянов в то время был на военной службе, а Блока особенно интересовали настроения именно в военных кругах.

Блок закурил, молча походил по комнате, а затем, остановившись, продолжал:

— Людям моего поколения, пережившим в сознательном возрасте то, что пришлось пережить и вам, не забыть многого... А все эти «уходы» — но что иное, как желание «забыться», закрывание глаз. И я думаю, нам следовало бы, перестав «по-барски» мечтать, смело и открыто взглянуть в глаза правде. Лично я уже не испытываю

---

* Купреянов Николай Николаевич, даровитый молодой художник, умерший в 1933 году. Блок был с ним в дальнем родстве (по отцу), о чем, вероятно, не подозревал. (*Примеч. М. Бабенчикова.*)

страха перед правдой и не боюсь торжества нового, так как хорошо знаю, что это новое, вы увидите, будет совершенно иным — не Романовым, не Пестелем, не Пугачевым[23]. Его создаст сам державный народ, *единственно* способный обеспечить себе действительно светлое будущее.

Весь этот ночной разговор настолько врезался в мою память, что я, вернувшись домой, тотчас же бегло записал его.

На следующее утро, когда мы встретились с Блоком, он заговорил со мной о совершенно посторонних вещах и только раз, язвительно усмехнувшись, спросил:

— А вас не очень задела моя вчерашняя жестокость?

Прошло еще несколько дней, в течение которых, беседуя с Ал. Ал., мы не касались нашей, ставшей уже основной, темы.

Наконец, 4 сентября, в тот самый день, когда Блок записал в своем дневнике: «Если что-нибудь вообще будет, то и я удалюсь в жизнь, не частную, а «художническую», умудренный опытом и «пообтесанный», — я был снова у Ал. Ал. Блок казался более утомленным, чем в предыдущие дни, но его все же тянуло к продолжению разговора.

— Ну, хорошо, декабризм, говорите вы, — начал он прерванную беседу, — а вот шестидесятые — семидесятые годы? Или вы их выкидываете совсем? Это большая ошибка. Без шестидесятых—семидесятых годов немыслима ни промышленность, ни «Новая Америка». Мне лично они не нужны, но упускать их из вида никак нельзя. Вообще я очень многое понял за последнее время. Понял то, что лишь смутно сознавал до сих пор. Так, для людей моего возраста, например, чрезвычайно важен еврейский вопрос. Собственно, даже не он, а тот ужас, который связан с ним. Между тем раньше я не придавал ему особенного значения и теперь отчетливо вижу свою ошибку. Я очень рад закрытию «Нового времени». Ведь вы не испытали многого. И вы не знаете, что это за темные, бесовские силы. Лично у меня с этой грязной и смрадной клоакой связаны самые тяжелые воспоминания. С ней следовало бы разделаться уже давно, и будь на то моя воля, я оцепил бы Эртелев переулок, сжег бы все это проклятое гнездо, Настасью[24] упрятал бы в публичный дом, а всех остальных заключил в Петропавловку.

— С каждым днем все происходящее вызывает у меня все большее отвращение. Мне претит лиризм Керен-

ского, его вечное «парение» в воздухе, беспочвенность и бессодержательность его истерических выступлений.

— Мне больно, горько и стыдно за теперешнюю судьбу умного народа, за его ничем не заслуженные унижения.

— Что касается корниловщины, то это уже совсем мрачная сила, и я не вижу большой разницы между ней и той гнусной и злой распутинщиной, которая, к сожалению, еще отравляет своим страшным зловонием разреженный воздух. Будущее бесконечно далеко от них. А жить надо для будущего.

Блок замолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль, и его гордый, чеканный профиль, напоминавший профиль Данте с флорентийской фрески в Барджелло, четко вырисовывался на светлом фоне стены.

Через несколько дней, когда я снова пришел к Блоку, Ал. Ал., бегло посмотрев мою работу и отложив ее в сторону, взволнованно заговорил:

— Все это время я очень много думал о наших беседах с вами... И вот мой окончательный ответ... Это не личное, это слова Владимира Соловьева. Они должны вам все объяснить... Возьмите, — Ал. Ал. вынул из ящика письменного стола и протянул мне томик своих пьес.

На белом листе, перед шмуцтитулом, его четким и ровным почерком было написано: «В холодный белый день дорогой одинокой» [25].

Я взял книгу. Блок помолчал, а затем снова продолжал, но более спокойным и ровным голосом:

— Холодный белый день — не мое состояние, не ваше, даже не России, а всего мира, эпохи, в которую мы вступили. Это не любовь, а нечто большее, чем любовь, потому что любовь (единственная любовь к миру) сама входит в понятие «холодного белого дня».

Говорил Ал. Ал. вполголоса, с большими паузами, полузакрыв глаза и, видимо, с усилием связывая разрозненные мысли.

В кабинете Блока было, как всегда, тихо. И эта тишина улицы, блоковских слов и тишина пустынного кабинета придавали всему особую торжественность.

В раскрытые окна глядело холодное, голубое, как лед, небо; свежий осенний ветер, поднимая вихрем уличную пыль, чуть теребил оконную занавеску. Блок встал, выпрямился и, привычным движением откинув голову, уже совсем твердо добавил:

— Наше несчастие в неверии. Один Ленин верит, и если его вера победит, мир снова выйдет на широкую дорогу. Один только Ленин[26].

* * *

Мы расстались с Блоком на самом пороге мятежных и высоких дней[27], накануне последней, ярчайшей вспышки его поэтического вдохновения.

Кругом с шумом ломались последние устои. Все рушилось и, как бывает в пору весеннего ледохода, казалось насыщенным предвестиями грозных и неотвратимых перемен.

Бесстрашие Блока именно в эти предоктябрьские дни всегда особенно поражало.

Было похоже на то, что он решительно и настойчиво идет по уже тонкому слою льда, который хрустит и разламывается под его ногами. А он все идет, не обращая внимания на опасность, вперив свой взор куда-то далеко, и уже всей грудью вдыхает с жадностью холодный ветер с моря.

Вскоре я совсем уехал из Петрограда, и моя редакторская работа прекратилась. Пресеклись и мои встречи с Блоком.

Живя в Москве, я не был непосредственным очевидцем происходивших с ним перемен, и до меня лишь издали долетали разноречивые и подчас нелепые слухи... Одни говорили, что Блок болен и уже не в силах работать. Другие упорно твердили, что он сильно «поправел», и этим объясняли его якобы вынужденное молчание.

На самом деле Блок был действительно тяжело и угрожающе болен. Но никакая, даже смертельная болезнь не могла изменить «сущности его дела».

Читая «Двенадцать», я понял многое из того, на что смутно намекал мне Блок и чего он не успел или не захотел договорить во время наших с ним длительных собеседований.

В дробном, прерывистом, торопливом и разорванном ритме поэмы я услышал его собственный голос. Ясно почувствовал, как, переполненный новыми для него звуками и, очевидно, не будучи в силах противостоять им, гениальный поэт спешил отдаться потоку нахлынувшей на него мощной стихии.

* * *

Как «витязь, павший на войне», Александр Блок покинул нас на самом восходе пламенной зари нового мирового дня, и поэтому в моем сознании его образ навсегда останется озаренным лучами утреннего восходящего солнца.

Таким он и был — этот «русский гений» XX века, подобный древнему богатырю, поставленному где-то над туманной Непрядвой, чтобы всю ночь напролет сторожить наш покой, чутко прислушиваясь к зловещим шорохам неприятельского стана.

Чудесная судьба была у этого вызывающе красивого человека, так явственно видевшего сквозь пелену мрака сияющие очертания далекого берега!

Александр Блок был не только великим поэтом дореволюционной России, гражданином и художником, но и той «вещей» личностью, чье творчество в значительной мере предопределило собой сложный путь дальнейшего духовного развития целого ряда последующих поколений.

Мне лично, близко соприкасавшемуся с ним, остается лишь с гордостью повторить его же собственные слова:

Я знаю твой победный лик,
Я знаю дальнее былое [28].

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ

...все узлы были завязаны туго — оставалось только рубить. Великий октябрь их и разрубил.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

УМЕР АЛЕКСАНДР БЛОК

Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха, эпоха недавнего прошлого.

Славнейший мастер-символист Блок оказал огромное влияние на всю современную поэзию.

Некоторые до сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк — взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают его на целые страницы, строя на нем все свое поэтическое богатство. Другие преодолели его романтику раннего периода, объявили ей поэтическую войну и, очистив души от обломков символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздят камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами — кладут героический труд, созидающий поэзию будущего. Но и тем и другим одинаково любовно памятен Блок.

Блок честно и восторженно подошел к нашей великой революции, но тонким, изящным словам символиста не под силу было выдержать и поднять ее тяжелые реальнейшие, грубейшие образы. В своей знаменитой, переведенной на многие языки поэме «Двенадцать» Блок надорвался.

Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?» — «Хорошо», — сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли» [1].

Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его

поэме «Двенадцать». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — славу ей.

Поэмой зачитывались белые, забыв, что «хорошо», поэмой зачитывались красные, забыв проклятие тому, что «библиотека сгорела». Символисту надо было разобраться, какое из этих ощущений сильнее в нем. Славить ли это «хорошо» или стенать над пожарищем, — Блок в своей поэзии не выбрал.

Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, — дальше дороги не было. Дальше смерть. И она пришла[2].

П. ЛЕБЕДЕВ-ПОЛЯНСКИЙ

ИЗ ВСТРЕЧ С А. БЛОКОМ

С ним я встречался всего два раза. Это было в Красном Петрограде. Кажется, в январе 1918 года, когда город жил трепетной жизнью, полный всяких тревожных слухов, ползущих то с фронта, то изнутри страны. Разъезды останавливали прохожих; ночные выстрелы, одиночные и частые, сменявшие друг друга, как будто догонявшие бегущих и искавшие прячущихся, не раз нарушали притаившуюся тишину.

Был ясный вечер. Морозно. С подъезда Смольного, среди колонн, весело поблескивали дула орудий, освещенные лунным светом и искрясь инеем. В верхнем этаже крыла, где помещался Совнарком, окна ярко освещены, вырисовывая силуэты установленных в них пулеметов. Вереницей, в Смольный и обратно, тянется народ. Молчаливый, сосредоточенный, на ходу бросающий скупые слова о новых событиях. Настроение боевое. Тревожные вести усиливают его, вливая в вас какую-то уверенную, спокойную силу и решительность бороться до конца. В городе известные группы уверены, что вот-вот, скоро, на этих днях, Петроград освободят от власти Смольного — и конец большевикам.

Еду в Зимний дворец. Там заседание комиссии литературно-издательского отдела Наркомпроса, правительственным комиссаром которого я тогда был назначен.

Улицы перекрещены резкими тенями, пустынны, визг полозьев отдается в морозном воздухе. Мысли в беспорядке кружатся, перебирая грозные события последних дней, — яркие, неожиданные, мучительные и радостные.

По узкой лестнице поднимаюсь в небольшую изящную комнату. Уже собрались, хотя и не все. Ал. Бенуа, П. Морозов, несколько художников, кажется Штеренберг, Альтман и Пунин, Л. Рейснер, еще кто-то и А. Блок.

Он был не таким, как я представлял его по портретам, по стихам о Прекрасной Даме. Защитного цвета костюм, русые волосы стушевывали выражение его лица. Он стоял у перил лестницы, с кем-то тихо разговаривал. И на фоне белой блестящей стены казался каким-то неподвижным и тусклым пятном.

Назначенный час заседания уже прошел, но А. Луначарского все еще не было. Ждем и беседуем.

Времена для государственной литературно-издательской работы были тяжелые. Интеллигенция саботажничала и сотрудничать с рабоче-крестьянской властью демонстративно не хотела. Из приглашенных к сотрудничеству в великом культурном деле откликнулись немногие, но и эти были для нас загадочным сфинксом. Сумеем ли сговориться, найдем ли общий язык — вот вопрос, с которым я подходил к каждому.

Я внимательно следил за Блоком. Торопясь кончить разговор с А. Бенуа, с этим высокообразованным, культурным европейцем с ног до головы, я не спускал с поэта взгляда. Прожив за границей десять лет, я не видел живых представителей новейших литературных течений и рассматривал его, ставя грани между ним и многими его современниками, шумливыми, но менее достойными и великими.

А он стоял подвижный. Прямой, в твердой позе, с еле склоненной набок головой, с рукой за бортом плотно застегнутого костюма. Собеседник что-то возражал, жестикулируя и берясь за голову, а он стоял невозмутимый, как изваянье, с устремленными глазами, с величавым спокойствием, и только было заметно, как двигались его губы.

Затем он резко повернулся и подошел прямо к нам.

— Кажется, товарищ Лебедев-Полянский. Ваше письмо я получил. Дело интересное. Посмотрим, как сговоримся. Все мы люди разные, по-разному расцениваем происходящее. Во всяком случае, попытаемся что-нибудь сделать. Вы не из Смольного? Есть тревожные новости?

— Да. Есть какие-то неприятности на фронте.

Он опять стоял какой-то вытянутый, аккуратный; Но не такой, как Бенуа. Русский, настоящий русский, с на-

шей душой, с нашими русскими мыслями. Приятная речь, мягкий выговор, излучающие теплоту задумчивые, несколько блуждающие глаза, — все располагало к нему. Он был прост, искренен и, быть может, задушевен. Временами какая-то тень отражалась во всем нем, — задумывался, морщины бороздили открытый лоб, и взор как бы ошаривал пространство. Усталость лежала в складках его губ.

— Пойдемте вот... туда, в угол. Сядем.

Ласковость куда-то исчезла. Он становился... не официальнее, а строже, суше; фразы приняли литературный склад. Промелькнула раздраженность.

Я насторожился.

— Садитесь. А я здесь, в мягком усядусь.

И из полутемного угла выглянуло усталое лицо, спокойнее стала речь, и ласковость вернулась.

— Как вы смотрите на все происходящее? — спросил его я.

Нехотя, растягивая слова, как бы выдавливая их из себя, он начал:

— Я... я думаю, что будущее будет хорошо. Но хватит ли у вас, у нас, у всего народа сил для такого большого дела?

Я начал было развивать мысль о ходе революции и ее силах.

— Я говорю о моральных, о духовных силах, — перебил он меня. — Культуры нет у нас. Беспомощны мы во многом. От жизни оторваны.

Минут пять говорил на эту тему. Но без увлечения, пожалуй, по-профессорски.

По паркетному полу косым лучом скользил блик луны. Через переплет окна виднелась белоснежная полоса Невы, а вдали виднелась Биржа и темнела с блестящим шпилем Петропавловка.

Временами он приподнимался в кресле, наклонялся вперед, и свет освещал одну половину его лица. Вперив взор прямо в мои глаза, он порывисто произнес:

— Вас интересует политика, интересы партии; я, мы, поэты, ищем душу революции. Она прекрасна. И тут мы все с вами.

Мне очень хотелось выяснить это «мы», но шумно вошел Луначарский.

— Никак не мог. Никак... Здравствуйте! Рвут на части! Сейчас только кончилось собрание.

Разговор прервался. Публика встала, задвигалась. Вскоре сели за длинный стол — и заседание открылось.

Вопрос, который вызвал длинные рассуждения, был вопрос о новой орфографии. Соответствующий декрет вошел уже в силу, но его не всегда можно было применять, особенно при перепечатке поэтических произведений. В отдельных случаях это может разрушить рифму и расстроить музыку стиха.

Большинство присутствовавших принципиально признало, что в целях педагогических и других надо перепечатывать классиков по новой орфографии, за исключением отдельных случаев, искажающих текст. Блок занял особую позицию в защиту буквы «ѣ» и даже «ъ».

— Я понимаю и ценю реформу с педагогической стороны,— говорил он.— Но здесь идет вопрос о поэзии. В ней нельзя менять орфографии. Когда поэт пишет, он живет не только музыкой, но и рисунком. Когда я мыслю «лес», соответствующее слово встает пред моим воображением написанным через «ѣ». Я мыслю и чувствую по старой орфографии; возможно, что многие из нас сумеют перестроиться, но мы не должны искажать душу умерших. Пусть будут они неприкосновенны.

Я сидел рядом и задал вопрос:

— Но ведь вы, наверное, пишете без «ъ».

— Пишу без него, но мыслю всегда с ним. А главное, я говорю не о себе, не о нас, живущих, а об умерших,— их души нельзя тревожить!

Так он и остался при своей точке зрения.

Странной и непонятной загадкой казался мне этот взгляд. Ценить реформу и не допускать «лес» печатать у старых классиков через «е». Устремление вперед с «душой революции», и вдруг защита «ѣ» и «ъ».

И говорил он об этом много и страстно. Во время заседания и после него он отыскивал новые аргументы в свою пользу.

Собрание кончилось поздно. Часть публики уже разошлась.

— На меня собрание произвело весьма благоприятное впечатление,— начал я, обращаясь к поэту.— Мне кажется, что есть не только простое желание работать, но и энтузиазм. Это самое главное, а некоторые разногласия, большею частью словесные, в практической работе исчезнут. Насколько же вы примете участие? Вы будете

украшением нашей комиссии и постоянным укором всем, к нам относящимся враждебно.

— Работать буду. Дело увлекательное. Но я чувствую себя несколько разбитым. Устал... И вряд ли сумею оказать существенную поддержку делу.

— Ну, что же, идем? Кто куда? — произнес он громко, оборачиваясь в сторону оставшихся.

Минут через пять мы шумно, остря и смеясь, вышли на набережную и разошлись в разные стороны.

Он быстро исчез за углом с кем-то вдвоем.

Непонятный, немного странный и как будто даже душевно больной человек прошел мимо меня. Русский, настоящий русский, с романтической душой, ищущий высшего смысла жизни и революции. Любящий их и шагающий через них в неведомую даль. Ушел, оставив впечатление нежности, ласки и искренней простоты.

Знаю, некоторые не согласятся с моими беглыми впечатлениями; местами они расходятся с тем, что писалось и говорилось о Блоке. Но я не хотел изменять того образа, который отложился в моем представлении. Может быть, он случаен, мимолетен, но он правдив.

Пусть будущий биограф поэта воспользуется и этими строками. Кто знает, может быть, и они помогут ему разобраться в тех или иных движениях мысли и чувства этого интересного человека, ушедшего в вечность раньше, чем революция успела полно раскрыть свою нежную, прекрасную, радостную душу.

А. СУМАРОКОВ

МОЯ ВСТРЕЧА С А. БЛОКОМ

Обстоятельства забросили меня надолго в Петербург. Это было в конце августа 1913 года. Как провинциала, на первых порах меня все интересовало в столице. Естественно, что я стал стремиться если не сблизиться с петроградскими писателями и поэтами, то хотя бы увидеть и услышать их издали.

Я стал посещать почти все петербургские литературные вечера. Многое увидел и услышал там, но оно не всегда оправдывало те представления, какие складываются о людях у нас, в недрах глухих и серых углов.

Среди «братьев писателей» есть «праздно болтающие» [1], болтающие и рисующиеся перед толпой для снискания себе жалкой общественной популярности.

Но среди такой литературной улицы я никогда не видал А. А. Блока. Я слышал от лиц, знавших его, что он живет замкнуто, что ему противны личные выступления на всякого рода зрелищах, и он всегда почти отказывается участвовать в них. Понятно, это меня еще более заинтересовало и, надо сказать, было первой побудительной причиной острого желания увидеть поэта. Предлогом к встрече могла служить лишь моя книга, мои стихи, которые мне хотелось показать любимому поэту, чтобы услышать от него личный отзыв о них.

Его поэзия влияла на меня, как и на многих других, в сильнейшей степени. Живя в Петербурге, этом призрачном, фантастическом городе из всех русских городов, я не мог не проникнуться и теми настроениями, какие навеваются темной и загадочной жизнью северной сто-

лицы. В часы черных вечерних туманов, когда и дома и люди кажутся не реальными предметами, а какими-то непонятными нашему сознанию призраками, поэзия Блока была как-то особенно близка и понятна мне.

Бродя этими глухими вечерами по Петербургу, я весь проникался тайными отравными очарованиями его, и тогда я чувствовал, как все непостижимее и ближе мне становились туманные, но яркие образы творческих переживаний поэта.

Во время этих одиноких блужданий мне часто думалось, что вот здесь, рядом со мной, на этой улице живет и сам создатель этих дивных образов, и тогда еще больше хотелось видеть и слышать его, как живое существо, именно сейчас, сию минуту. Но природная моя застенчивость и дикость моего характера мешали пойти к нему, и я все откладывал и откладывал, успокаивая себя рассуждениями, что, мол, много нас, таких, желающих отрывать поэта своими мелочными желаниями от его творческой работы. Так прошло несколько лет.

За это время произошла великая русская революция, восторженно прошедшая по всем сердцам от интеллигента до последнего рабочего. Затем постепенно началась классовая расслойка русского общества на два основных лагеря: левых и правых. В числе левых идеологов революции был и Блок. В то время он как-то оживился, стал выступать в печати с публицистическими статьями об интеллигенции и народе и принимать широкое участие в строительстве новой жизни. Эта черта, конечно, еще более привлекла к нему сердца многих ценителей его таланта.

Я в то время работал в канцелярии 146-го городского лазарета, находившегося на Александровском проспекте Петроградской стороны. И вот однажды в час или два пополудня (я не помню, какого числа, но хорошо знаю, что в октябре 1917 года[2]) я решил окончательно пойти к Александру Александровичу. Но как это сделать? Я решил предварительно позвонить к нему по телефону и узнать, дома ли он и может ли принять меня. Беру телефонную книжку, ищу телефон А. А. Блока. Но такого телефона там не было. Есть телефон Л. Д. Басаргиной-Блок, супруги поэта. Звоню. Довольно низкий баритон меня спрашивает:

— Что надо?

— Дома ли Александр Александрович?

— Я — Блок.

— Можете ли вы меня принять по литературному делу?

— А что у вас, повесть?

— Нет, стихи.

— Знаете, я занят; у меня нет ни одной свободной минуты. Принять вас не могу.

— Но, Александр Александрович, я к вам обращаюсь не с пустяками какими-нибудь. У меня десятилетний труд, и притом ведь я не начинающий юнец какой-нибудь, а почти ваш сверстник. Неужели вы мне откажете в своей нравственной поддержке?

— А, если так, то пожалуйста, пожалуйста, приходите сейчас! Побеседуем часик-другой. Жду вас.

Бросаю трубку, бегу на квартиру и, приодевшись как мог, сажусь на трамвай и еду на Офицерскую. Разыскиваю квартиру Александра Александровича. Не помню, в каком она была этаже, но кажется, что во втором. Заметил только, что на лестнице стояли какие-то мелкорослые цветы, не то гортензии, не то бегонии. Приготовил визитную карточку. Но воспользоваться ею мне не пришлось. Дверь открыл сам Александр Александрович и, поздоровавшись, спросил:

— Это вы звонили мне сегодня по телефону?

— Да, я.

— Идите сюда за мной и покажите мне, что у вас.

Беру с собой книгу, завернутую в газету. Приходим в комнату, по-видимому, в кабинет его. Я чувствую себя прекрасно, как будто бы всегда был хорошо знаком с хозяином. Оглядываю обстановку: самая оригинальная, какую я когда-либо видывал. В комнате абсолютно не было ничего лишнего: большой письменный стол зеленого сукна, два бархатных кресла, не помню, кажется, синего бархата; но помню лишь, что они не гармонировали с общим тоном комнаты. Затем какие-то базарные желтые глубокие березовые шкафы, наглухо закрытые; должно быть, с книгами. Мне почему-то показалось, что в таких шкафах держат церковные свечи, хотя сам я никогда этого не видывал. Ковер около стола, и еще ничего нет, и даже на столе нет ни письменного прибора, ни бумаги, ни книг, один лишь небольшой полированный закрытый ящичек, как оказалось потом, с газетами. Кто-то в соседней комнате играл на пианино.

Хозяин предложил мне кресло сбоку стола, а сам сел напротив меня, поодаль от стола. Я взглянул на него, и у меня навсегда осталось в памяти резкое и точное воспоминание об его внешности. Это был высокий мужественный человек, одетый в тужурку и брюки защитного цвета, военного покроя; на ногах были высокие офицерские сапоги. Его чудные кудрявые русоватые волосы были низко, по-военному же, подстрижены. Лицо темное, больное, изможденное, с кругами около глаз и складками возле губ. Он казался старше своих лет. Глаза голубые и смотрят серьезно-ласково. Мне подумалось почему-то, что он редко улыбается и не смеется совсем. Взгляд устремлен вдаль, в окна. Часто говорит как бы не собеседнику, а про себя. Голос низкий. Руки, по характерной для него привычке, скрещены, а иногда лежат на ручках кресла. Пальцы рук худосочные, длинные и тонкие. По рукам похож на музыканта.

Спросил, курю ли я. Я ответил утвердительно. Достал из стола коробку папирос в двести пятьдесят штук, начатую, и спички. Оттуда же вынул и пепельницу. Я помню еще, что у меня постоянно гасла папироса, и я все чиркал спичками, не успевая за разговором курить. Так и не докурил всей папиросы до самого своего ухода.

— Покажите вашу рукопись, — сказал Александр Александрович.

Я сдернул с нее газету и подал ему. Он, наскоро взглянув и перекинув несколько листов, заметил:

— Красиво написано; легко будет ее читать. Сколько же времени вы работали над ней?

— Да около десяти лет. Я пишу мало и лишь тогда, когда особенно неотвязно преследуют меня некоторые мысли и образы и хочется их зафиксировать на бумаге, чтобы отделаться от них. Иногда проходят целые месяцы, в которые ничего не пишу.

— Чем же вы живете?

— Я живу службой.

— Хорошо, что вы не живете исключительно литературой. Вы не поверите, сколько этот труд приносит в материальном отношении огорчений и неприятностей. Да в конце концов он и не обеспечивает. Все равно, приходится искать средств, чтобы жить, на стороне. Так я вот работаю по театральному делу, которое не всегда и не во всем меня удовлетворяет, между тем отрывает меня

от постоянной моей литературной работы. Где же вы служите?

— В городском лазарете.

— Врачом?

— Нет, в канцелярии.

— Скажите, вы печатались когда-нибудь?

— Печатался, но мало.

— Где именно?

— В «Новом журнале для всех» Гарязина, в «Дамском журнале», в «Весне» Шебуева. Но в первых двух я напечатан стараниями одного моего друга и также поэта, а в «Весне» меня напечатал Пимен Карпов.

— Пимен Карпов? Вы его знаете?

— Не только знаю, но считаю его близким другом и очень хорошим человеком.

— А какого вы мнения о нем как о писателе?

— Я считаю Карпова весьма талантливым писателем-самородком. Его «Пламень» — большое произведение, хотя в нем есть некоторые недостатки, свойственные всем произведениям начинающих. Главное, он не шаблонен, а сам по себе, свой.

— Вполне согласен с вами относительно «Пламени» [3]. Но мне кажется, Карпов принадлежит к категории таких писателей, которые высказываются как-то сразу, в одном произведении. Затем, после идут лишь повторения, другие варианты сказанного. Мне Карпов нравится еще как вечный бунтарь, с его резкой отповедью интеллигенции. А эту тему никогда не исчерпаешь вполне. Меня она занимает в особенности и именно сейчас. Вот прочтите дома мою статью.

Он взял из ящичка на столе газету и дал ее мне. Я не помню, какая это была газета, так как она у меня пропала на квартире. Помню лишь, что в статье Блока было приведено письмо какого-то рабочего, резко нападающего на интеллигентские писательские верхи [4].

— Я знаю еще Карпова, — начал он, — как драматурга. В нашу театральную комиссию поступила его пьеса «Сердце бытия» (не ручаюсь за точное название. — *А. С.*), и, несмотря на мою симпатию к автору этой пьесы, я принужден был высказаться за неприем ее. Карпов не обнаружил в ней драматического таланта. Идея пьесы туманна. Сценических условий он также не знает, а для успеха пьесы они имеют огромное значение [5].

Мы немного помолчали.

_ А скажите, к какой группе поэтов вы ближе всего примыкаете? — начал Блок.

— Я, Александр Александрович, не примыкаю ни к какой группе поэтов. Я жил и живу вдали от всяких литературных течений. Поэзию люблю независимо от группировок и школ, к которым принадлежат поэты. Мне близка вся поэзия, от Бунина до Рукавишникова включительно. Особенно же люблю А. Белого, изумительного поэта.

— Бунин мне чужд, — сказал Блок, — рационалистическим складом ума и дидактичностью своей поэзии. Вот А. Белый — он близок мне и как поэт и как человек. Когда-то мы были с ним большими друзьями, но потом как-то разошлись, редко видимся, хотя я люблю его по-прежнему. А как вы находите Клюева, Есенина?

— Клюева я люблю как единственного истинно народного поэта. Но, по моему мнению, «Сосен перезвон» — лучшее, что он дал. К сожалению, книга эта испорчена топорным предисловием В. Брюсова. Что же касается Есенина, то он еще молод и не определился вполне, хотя заставляет ожидать многого.

— Да, Клюев — большой поэт, но в смысле версификации Есенин выше его. Он владеет стихом значительно лучше Клюева.

Блок задумался, потом сказал:

— Вот вы говорите, что стоите в стороне от всяких литературных течений и направлений. Почему же вы обратились со своими стихами ко мне, а не к другому кому-нибудь?

— Потому обратился к вам, что верю вам больше и считаю вас лучшим, чем другие. Я знаю вас давно, когда еще вы печатали свои первые стихи о «Прекрасной Даме» в литературных приложениях журнала «Нивы». Ваше стихотворение «На Вас было черное закрытое платье...» было первое, запомненное мною навсегда. С тех пор я следил за развитием вашего таланта и всей душой полюбил его. Вот почему еще я хотел вас увидеть и узнать как человека.

— А что вам нравится у А. Белого?

— Я люблю его всего. Все из его стихотворений нравится, что мне попадает в руки. Несколько непонятны

для меня лишь его симфонии. Но лучше всего его «Урна», его философские стихи.

— Нет, «Урна» еще не лучшее. Вы знакомы с его «Пеплом»? Прекрасная вещь. Это весьма редкая теперь книга. Если разыщете, обязательно просмотрите!

— «Пепел» я знаю, но только в извлечениях; но в извлечениях он мне кажется слабее «Урны», хотя на этом не настаиваю, так как не знаю этого сборника целиком.

— Вы говорите, что знали меня как поэта давно. Но какие же стихи мои вам больше нравятся?

— Я, Александр Александрович, люблю ваши «Стихи о Прекрасной Даме». Они дороги мне еще тем, что, как сборник Бальмонта «Будем как Солнце», напоминают мне о прошлом, о молодых годах. Другие ваши стихи несомненно и глубже по содержанию, и художественнее, но они уже не так увлекают меня. Должно быть, в этом виноват объект восприятия, то есть я сам.

— А к Бальмонту как вы теперь относитесь?

— Я люблю Бальмонта и сейчас, несмотря на риторику его, характерную бальмонтовскую риторику. С этим недостатком Бальмонта как-то свыкаешься и уже не замечаешь его. Я сейчас читаю его «Сонеты Солнца» и считаю этот сборник лучшим из всего написанного им.

— Я бы не сказал этого. «Прекрасная Дама» и Бальмонт — это уже прошлое. Его бесконечные сонеты уже не увлекают.

— Ах, Александр Александрович, в этом я с вами не согласен. Возьмите его сонеты «Поэт», «Шаман» и некоторые другие. Изумительные стихи. Это лучшие создания Бальмонта.

— Не знаю. Я мельком просмотрел «Сонеты Солнца». В свободное время просмотрю еще раз. Эта книга у меня есть. Еще скажите мне: как это вы, не печатаясь, можете работать целые годы? Ведь так необходимо передать свои мысли и настроения другим. Без этого, по-моему, невозможно истинное творчество.

— Александр Александрович, на это у меня несколько иной взгляд... Был я, например, у Шебуева, после напечатания им моих стихов. Принял он меня покровительственно, похлопал по плечу и сказал: «Хорошо, брат, печатайтесь, где только можете. Нужно всегда делать так, чтобы везде и всюду слышали о вас. Не важно, что иные журналы плохи. Вон Куприн в каком-то, кажется, «Ве-

теринарном вестнике» печатается, а все-таки он не теряет ничего от этого. Был Куприн, Куприным и остался!» На меня это подействовало крайне неприятно.

Блок сказал на это:

— Вы странный человек! Ведь даже Чехову приходилось бегать по редакциям и терпеть подобные неприятности. Такова жизнь писателя.

С минуту мы помолчали. Я сказал Блоку:

— Александр Александрович! Почему вы никогда не выступаете на литературных вечерах? Как хотелось бы многим видеть и слышать вас. Я это заключаю по себе и своим знакомым, любящим ваши стихи. И я лично до настоящей минуты знал вас лишь по фотографиям да по портрету работы Сомова.

— Не люблю я эти вечера, — ответил Блок, — да и декламаторского таланта нет у меня. Портрет Сомова мне не нравится. Сомов в этом портрете отметил такие мои черты, которые мне самому в себе не нравятся. Между прочим, Сомов подарил этот портрет Рябушинскому, имение которого было разгромлено недавно, и там вместе с другими картинами был уничтожен и этот мой портрет [6].

Наконец я решил проститься.

На прощанье он сказал мне:

— Книгу вашу я просмотрю, но не скоро: недельки через две-три или через месяц. У вас есть в квартире телефон?

— Нет, но у меня есть телефон служебный.

Александр Александрович записал номер моего служебного телефона. Затем мы простились, и он проводил меня до дверей квартиры.

Прошло более месяца, а от Блока ответа не было. Тогда я написал ему письмо, в котором напомнил о себе и, между прочим, черкнул несколько строк об указанном выше письме рабочего, приведенном в статье Александра Александровича и полном нападок на писательские верхи. Я высказал мысль, что не все, вышедшие из низов, так относятся к писателям.

Спустя неделю после этого [7], однажды вечером, меня зовут к телефону в лазарете. Подхожу, беру трубку и слышу голос Блока:

— Это вы, Александр Дмитриевич?

— Я, Александр Александрович.

— Что вы мне хотели сказать об отношении рабочего к интеллигенции?

— Вот что, Александр Александрович: как я и писал вам, подобные явления единичные; большинство же народной интеллигенции относится не так к литературным верхам.

— Но доказательства?

— Доказательство — я сам. Я сам вышел из низов. Почему у меня нет подобного озлобления?

— Вы — не то. Вы — не народ в собственном смысле этого слова. Вы человек интеллигентный. Между нами нет неравенства духовного. Пользуясь случаем, разрешите мне сказать вам несколько слов о ваших стихах, тем более что у меня нет времени написать вам об этом. Да в письме как-то и не выскажешь всего, что скажется на словах. Разрешите мне сказать все, что я о вас думаю. Мы друг друга не знаем. Может быть, не встретимся больше никогда, и мне хотелось бы вам сказать правдивое слово.

— Пожалуйста!

— Вчера вечером я взял вашу книгу, и как-то сразу ваши стихи вошли в мою душу. Я удивился, как это вы, такой пожилой человек (мне было в то время лишь тридцать четыре года), могли так молодо, так проникновенно написать о природе. Но потом я обратил внимание на даты стихов и понял, что так пишут только в годы молодости и больше никогда. Мне кажется, что больше вы так не напишете уже. Мне родственны ваши мотивы, я сам люблю природу и тоже теперь по-прежнему не могу писать о ней. Но чем дальше я читал вашу книгу, тем более охватывало меня жуткое чувство какой-то беспросветности. Я говорю не о тех стихах, полных сухой и черствой схоластики: они чужды мне. Я говорю о стихах, отражающих ваши душевные переживания. Мне казалось, что вы утратили душу, и уже не душа у вас, в какие-то обрывки, лохмотья души[8]. Вы ужасно одинокий, безрадостный, беспросветный человек. Я таких не знаю в русской литературе. У Сологуба были падения, подобные вашим, но у него есть и душевные просветы, которые так опьяняют после душевных падений. У вас же их нет. Мне самому свойственны были душевные падения и разочарования, но всегда была надежда на духовное возрождение, а у вас ее нет. С тяжелым чувством я оставил вашу книгу. Некоторые страницы ее не нужно

никогда печатать; хорошо, что они не видали света. Но в вас подкупает искренность, и она примиряет с вами. Я прошу вас списать мне по вашему выбору несколько стихов, в том числе и посвященные мне стихи, которые мне нравятся и за которые вас благодарю. Ну, довольны ли вы сказанным мной?

— Спасибо вам, Александр Александрович! Не откажите и мне черкнуть на память о вас хотя бы одно из стихотворений ваших.

— Хорошо! До свиданья!

Больше я не встречался с Александром Александровичем. Я переслал ему по почте несколько своих стихотворений и в свою очередь получил от него стихотворение с надписью: «Александру Дмитриевичу Сумарокову на память об авторе этих строк»:

КОРШУН

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг. —
В избушке мать над сыном тужит:
«На хлеба, на, на грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты — все та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней. —
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

1916

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

АЛЕКСАНДР БЛОК

Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

Ал. Блок

В годы первой империалистической войны мы, зеленая молодежь, находились под особым влиянием неотразимой для нашего сознания поэзии Александра Блока. Нашим отзывчивым на все романтическое сердцам нравились пленительная певучесть и некоторая туманность блоковских стихов, потому что за ними ясно ощущали мы чистоту подлинно взволнованного лирического чувства.

Мы повторяли наизусть строфы любимого поэта, украшали цветами его фотографии, одевали в цветные матерчатые переплеты томики его стихов, и не существовало юноши или девушки, преданных поэзии, которые явно или тайно не были бы влюблены в портрет узколицего с белокурыми кудрями человека в черной блузе с белоснежным отложным воротничком. Его светлые и, как казалось, голубые глаза прямо и открыто смотрели в будущее. Чуть намеченная складка около губ и тяжелый рот говорили об угрюмой сосредоточенности, но открытый лоб дышал свежестью и прямотою мысли. Это было прекрасное человеческое лицо, подлинный «лик поэта», и нет ничего удивительного в том, что вокруг имени Блока возникали легенды, одна романтичнее другой.

Блок был неотделим от нашей юности, но он и рос в нашем сознании вместе с нею. От стихов Блока шло к нам тревожное ощущение современного города, страшного перекрестка всех изломов и противоречий капиталистической действительности. А за всем этим хаосом электрического света, ночных «лихачей» и ресторанных

цветов, за загадочным и греховным обликом «Незнакомки» проступала синеющая ширь родных русских полей, колокольчики тройки на проселочной дороге, «наши русские туманы, наши шелесты в овсе» [1]. Блок напоминал нам о родине, о всегда ему милой России, пусть в то время еще угнетенной и безмолвной, но готовой вот-вот проснуться для свершения великих дел.

Блок жил замкнуто, в тесном окружении близких ему людей, и редко появлялся среди публики. Холодность и корректность в обращении были ему свойственны, как и всегдашняя замкнутость. Он казался суровым и неприступным. Много прошло времени, прежде чем мне было суждено узнать его совсем другим и убедиться в том, что за внешним «угрюмством» в нем действительно скрывались начала «света» и «свободы».

13 мая 1918 года кружок поэтов «Арзамас» устраивал литературное утро в помещении бывшего Тенишевского училища на Моховой *. Это было привычное место всяких лекций и докладов. Полукруглые скамьи амфитеатра, прорезанные широкими поперечными ходами, хорошо были знакомы тогдашней петроградской интеллигенции.

Уже несколько дней висели в городе афиши, на которых в перечне участников я мог прочесть и свое имя — впервые в своей литературной жизни. Это переполняло меня чувством необычайного смущения и вполне простительной гордости. Сердце заранее сжималось от волнения, и мне казалось, что желанный день никогда не наступит. Но он все же наступил.

Амфитеатр медленно наполнялся все разрастающимся гулом. Зажгли круглые матовые шары, но их рассеянный свет не мог переспорить косых солнечных лучей, падавших откуда-то сверху, из высоких боковых окон. Стенные часы гулко отвесили два тяжелых удара, и «литературное утро» началось.

Общее внимание было приковано не столько к выходившим на эстраду поэтам, сколько к высокой фигуре артистки Л. Д. Менделеевой-Блок, жены поэта, которой предстояло читать недавно появившуюся, но уже широко известную поэму «Двенадцать» [2].

Эта поэма возбуждала самые различные и самые яростные толки. Она разделила литературный город на

* В наши дни — Театр юных зрителей (ТЮЗ). (*Примеч. Вс. Рождественского.*)

два враждебных и непримиримых лагеря. Люди узких литературных традиций называли ее «вульгарной», «уличной» и даже «хулиганской», злопыхатели на все новое, свежее в жизни с ужасом открещивались от нее, как от «большевистской заразы», а мракобесы и реакционеры ругали ее с пеной у рта и отказывали этому произведению в каких-либо поэтических достоинствах. Много словесной грязи и самой низкой клеветы было вылито тогда на гордо поднятую голову Блока. Прежние литературные единомышленники и друзья обходили его стороной и стыдливо отказывались протягивать ему руку. Казалось, он был подвергнут всеобщему остракизму, и буржуазная литература начисто отреклась от него.

Но передовое студенчество приветствовало поэму восторженно. Это было первое литературное произведение, талантливо и вдохновенно утверждавшее правду большевиков. И никого не смущал образ Христа, ведущего за собой революцию. В поэтике Блока это было привычным и всем понятным символом.

Чтение «Двенадцати» прошло триумфально. Острые слова поэмы яростно хлестали публику первых рядов и вызывали живейший отклик демократической галерки. Все в ней было русское, родное, сегодняшнее... Сквозь простую трагическую историю парня, загубившего душу «из-за Катькиной любви», проступала ненависть к сытым толстосумам, «святая злоба» революции, готовой в вихрях своей победоносной вьюги смести до основания старый мир насилия и несправедливости.

В маленькой комнатушке за кулисами, куда глухо доносились аплодисменты взволнованного зала, было тесно и шумно. Среди участников концерта и любителей литературы уже закипал и разгорался беспорядочный спор. Почтенный профессор словесности, известный «либерал», поблескивая золотыми очками и важно растягивая слова, доказывал своему собеседнику, что в поэме Блока нет ничего нового и интересного «с точки зрения развития литературных жанров».

— Это внешнее подражание Некрасову, милый мой, это почти его «Коробейники», только усложненные современной песней городских окраин и бытовой скороговоркой. Форма произведения мне совершенно ясна. Но идея... идея... что Блок хотел сказать своим Христом? Неужели

автору нужно было оправдать все происходящее? Не понимаю. Решительно отказываюсь понять.

— Профессор, революция не делается в белых перчатках.

— Знаю, любезнейший, знаю... Но при чем тут изящная словесность?

И вдруг все замолчали. В комнату вошел Блок. Перед ним расступились недоброжелательно. Кое-кто демонстративно повернулся спиной. Бородатый человек в узком форменном сюртуке отвел протянутую было руку и с деланным равнодушием принялся разглядывать что-то на противоположной стене.

Блок остановился посреди комнаты, как бы не решаясь идти дальше.

— Взгляните, — прошипел своему соседу профессор, — какая у него виноватая спина...

Этот довольно явственный шепот не мог не дойти до ушей Блока. Он резко повернулся и почти в упор взглянул на говорившего. И тут я впервые близко увидел его лицо. Оно было безмерно уставшим и, как мне показалось тогда, покрытым паутиной презрительного равнодушия. Не торопясь, холодно и несколько дерзко Блок обвел взглядом присутствующих. Все, потупившись, молчали. Молчал и он, видимо чего-то выжидая, готовый ко всему. Горько дрогнули уголки его тяжелого скорбного рта.

Тягостная тишина висела над еще минуту назад шумной комнатой.

В это мгновение меня словно что-то толкнуло. С юношески неловкой порывистостью я шагнул к Блоку и схватил его бессильно повисшую руку.

— Александр Александрович! Это замечательно! Это нельзя слушать без волнения... — прошептал я, чувствуя, что слова не повинуются мне и летят, опережая мысль. Я говорил уже не помню что, подчиняясь единственному стремлению — высказать все, все, что обуревало меня в то незабываемое мгновение. Блок слушал молча. И вдруг улыбнулся. Глаза его согрелись, и я узнал в них что-то от свежести его юношеских портретов. Моя ладонь почувствовала слабое, но горячее пожатие.

Вокруг нас зашумела, задвигалась толпа и заслонила от меня внешне спокойную и вместе с тем напряженную, как натянутая струна, фигуру Блока.

* * *

В ту же весну начало свою работу основанное А. М. Горьким издательство «Всемирная литература». Здесь я вторично встретился с Блоком[3]. Он узнал меня и первый подошел поздороваться.

— Ну как? Вам и в самом деле понравилась моя поэма?

Я начал говорить с прежней горячностью, по он остановил меня и перевел разговор на университетские дела. Он расспрашивал о филологическом факультете, о знакомых профессорах, о предметах курса. Все это, казалось, живо интересовало его. Говорил он просто, по-товарищески, без всякой тени снисхождения к моему юному виду. Помню, это произвело на меня сильнейшее впечатление.

Блоку вообще было в высшей степени свойственно то, что принято называть деликатностью, воспитанностью. Не помню случая, чтобы он дал понять собеседнику, что в каком-то отношении стоит выше его. И вместе с тем он никогда не поступался ни личным мнением, ни установившимся для него отношением к предмету беседы. Прямота и независимость суждений обнаруживали в нем искренность человека, но желающего ни в чем кривить душой. Он был естественным в каждом своем жесте и не боялся, что его смогут понять ложно или превратно.

Теперь мне часто приходилось видеть Блока — не реже двух-трех раз в неделю. Он был членом редколлегии издательства и неизменно приходил на все заседания, хотя это и давалось ему с трудом: его уже мучила болезнь сердца. Идти надо было пешком чуть ли не через весь город, с Пряжки на Моховую. Но блоковская аккуратность давно уже никого не удивляла. Ровно в час дня он поднимался по крутой лестнице и отдыхал на площадке, переживая теснившую грудь одышку.

Теперь он мало чем напоминал романтический портрет своей молодости. Глубокие морщины симметрично легли у плотно сжатых губ, волосы стали реже и заметно потускнели, но все так же готовы были виться упрямыми кольцами, оставляя свободным высокий и прекрасный лоб. Лицо было темным, как бы навсегда сохранившим коричневый оттенок неизгладимого загара. Сквозило в этих глазах что-то неугасимо светлое, не побежденное жизнью, и казалось, что этому суровому, мужественному лицу, несмотря на сумрачный отпечаток прожитых лет, свойственна вечная юность.

Говорил Блок медленно и затрудненно, как бы подыскивая слова, даже когда оживлялся в беседе. Все в его речи: интонации, построение фразы — дышало неповторимым своеобразием. Его затрудняла штампованная бойкость обычных речевых оборотов, и он избегал их, где только мог. Отсюда — впечатление исключительной свежести и искренности всего произносимого им. И еще одна бросавшаяся в глаза особенность: что бы Блок ни говорил, даже самые простые фразы, — всегда за его словами ощущалось больше, чем ему хотелось в эту минуту сказать. Беседовать с Блоком было нелегко. Он, казалось, взвешивал каждое слово и обязывал к этому других. Его интонации постепенно, незаметно и неуклонно втягивали в свой, особый тон, заставляли подчиняться если не тому же строю мыслей, то, во всяком случае, какой-то неуловимой, только им присущей «музыке».

И тут становилось понятным, что пресловутая сложность блоковской поэтической речи органически ему присуща даже во всех обычных движениях души. В ней ничего не было от позы, от литературной манеры. Просто он не мог мыслить и выражаться иначе.

И вместе с тем Блок не производил впечатления человека, болезненно отрешенного от мира. Напротив — все в его крепкой, коренастой фигуре дышало спокойствием и уверенностью.

Обветренная смугловатость, острые светлые глаза, светлые спутанные волосы, наконец белый свитер, который плотно обтягивал под пиджаком крепкую грудь, делали его похожим на моряка-скандинава или на человека, привыкшего к лыжам, к парусному спорту. Типично городского было в нем мало, и трудно мне представить его в озарении огней ночного ресторана или в табачном дыму цыганского кутежа. А между тем все это существовало когда-то в его жизни, и невеселые морщины, перерезывавшие опаленное былыми страстями лицо, говорили о многом.

К тому времени, когда я узнал его, Блок был уже потухшим или, лучше сказать, отгоревшим. Неторопливыми и точными были все его движения. Со стороны он мог показаться даже несколько суховатым — до того сковывала его сдержанность. Но стоило хотя бы на минуту встретиться с его очень внимательным и всегда немного грустным взглядом, чтобы сразу же понять, какой огонь тлел под этим, казалось бы, остывающим пеплом.

Я очень любил наблюдать за Блоком, когда он беседовал с кем-нибудь в сером полусвете сумерек у широкого окна. Александр Александрович слушал, изредка наклоняя голову в знак одобрения, или изумленно взглядывал на собеседника, но стоило только присмотреться, и становилось ясно, что беседу ведет он, сдержанный и молчаливый, что общие мысли текут по заранее им определенному руслу.

Особенно интересно было видеть его в разговоре с Н. Гумилевым. Они явно недолюбливали друг друга, но ничем не выказывали своей неприязни. Более того, каждый их разговор казался тонким поединком вежливости и безукоризненной любезности. Собеседник Блока рассыпался в изощренно иронических комплиментах. Блок слушал сурово и с особенно холодной ясностью, несколько чаще, чем нужно, произносил имя и отчество оппонента, отчеканивая каждую букву, что само по себе звучало чуть ли не оскорблением.

Однажды после долгого и бесплодного спора Гумилев отошел в сторону, явно чем-то раздраженный.

— Вот, смотрите, — сказал он. — Этот человек упрям необыкновенно. Мало того что он назвал мои стихи «стихами только двух измерений». Он не хочет понимать и самых очевидных истин. В этом разговоре он чуть не вывел меня из равновесия.

— Да, но вы беседовали с ним необычайно почтительно и ничего не могли ему возразить.

— А что бы я мог сделать? Вообразите, что вы разговариваете с живым Лермонтовым. Что могли бы вы ему сказать, о чем с ним спорить?

Как-то этот поэт подарил Блоку свою только что вышедшую книгу, тут же набросав на первой странице несколько строк почтительного посвящения. Блок поблагодарил его. На другой день он принес автору свой сборник «Седое утро». Поэт торжественно развернул его и с недоумением прочел следующую надпись: «Уважаемому такому-то, стихи которого я читаю только при дневном свете» [4].

Гумилев усмехнулся иронически и недоуменно развел руками. Он-то, конечно, не считал, что для стихов нужны сумерки или лунный свет, то есть такая обстановка, которая позволяет сосредоточиться, а не бездумно скользить по поверхности строк...

* * *

Жизнь молодого издательства постепенно развертывалась и крепла. По мысли Горького, оно должно было объединить наиболее талантливых и знающих переводчиков и литературоведов. В результате их общих усилий советский читатель должен был получить в хороших и точных переводах самые значительные произведения западной классической литературы. Был составлен обширнейший план изданий — главным образом, произведений XVIII—XIX веков.

Александру Александровичу Блоку поручили раздел немецкой литературы. Он взялся за это дело с большим жаром и на первых порах сосредоточил свое внимание на прозе и лирике Генриха Гейне. Под его руководством работал ряд поэтов-переводчиков. Блок переводил сам и тщательно редактировал чужие работы. Редактор он был требовательный и даже придирчивый, но старался передать не букву, а дух подлинника — полная противоположность практике школы формалистической, заботившейся прежде всего о точном воспроизведении внешних особенностей оригинала и часто оставлявшей в пренебрежении не только общую мысль автора, но и ее идейно-политическую окраску. Блок неоднократно вступал в спор с формалистами и отстаивал свое мнение очень последовательно и упорно. Но я не помню случая, когда Александр Александрович вышел бы из себя, решился на резкое слово. Он неизменно был суховат и корректен. Единственный «формализм», который он разрешал себе, заключался в точности и даже мелочном отношении к своим редакторским обязанностям. Готовясь к какому-нибудь докладу или сообщению в редколлегии, Блок исписывал десятки листков своим ровным и четким почерком, и столь же ровной и ясной была его медлительная речь. И тем более удивительной казалась на фоне общей деловитости его наивность или, лучше сказать, отрешенность во всех вопросах, относящихся к мелочам жизни.

На этой почве возникали иногда забавные случаи.

В нашем издательстве, как и в каждом советском учреждении той поры, существовал свой «хозяйственник», занимавшийся мелкими бытовыми вопросами — статьей, для полуголодных 1919—1920 годов немаловажной. Это место занимала многим памятная Роза Васильевна, существо неопределенного возраста и необъятных разме-

ров. Закутанная в добрый десяток платков, завязанных толстым узлом на пояснице, седая и краснощекая, торжественно восседала она за небольшим столиком, на котором были соблазнительно разложены папиросы, мелкая галантерея и немудреные сласти той поры. В своей частной торговой политике была она тверда и непреклонна, произвольно и неожиданно вздувая при этом и без того немалые цены. Она же выполняла по ею же самой установленной таксе мелкие поручения и выдавала небольшие ссуды, как правило — только за неделю до общеиздательского выплатного дня.

Впрочем, Роза Васильевна не была лишена и эстетических чувств. Она проявляла своеобразное уважение к литераторам и литературе. На всех литературных вечерах ее неизменно можно было видеть в первом ряду, в шуршащем шелковом платье с огромной мопсообразной брошью на груди. Блаженное и бессмысленное выражение не сходило с ее лица. Она терпеливо выслушивала длиннейшие доклады на темы, весьма далекие от ее привычного обихода. Мучительно зевая, она из скромности прикрывала рот кружевным платочком, но старалась не пропустить ни одного слова и начинала аплодировать раньше всех. Нет сомнения, пребывание на подобных лекциях было для нее делом весьма томительным, но она никогда не пропускала случая приобрести самый дорогой билет, руководствуясь, вероятно, чувством благодарности к питавшей ее литературе.

Эта Роза Васильевна упомянута Блоком в обширной «оде» с чрезвычайно искусно проведенной монорифмой — шуточных стихах о «предметах первой необходимости»:

Нет, клянусь, довольно Роза
Истощала кошелек!
Верь, безумный, он — не проза,
Свыше данный нам п а е к , —
Без него теперь и Поза
Прострелил бы свой висок,
Вялой прозой стала роза,
Соловьиный сад поблек...
Пропитанию угроза —
Уж железных нет дорог.
Даже (вследствие мороза?)
Прекращен трамвайный ток,
Ввоза, вывоза, подвоза —
Ни на юг, ни на восток...

И т. д.

Стихи имели большой успех в недрах издательства. Всем было известно, что к Блоку монументальная Роза питала особое расположение.

Однажды, как мне рассказали, в блаженный день получения гонорара она подозвала Александра Александровича к своей стойке, предусмотрительно расположенной рядом с кассой, и, потрясая каким-то свертком, произнесла торжественным басом:

— Александр Александрович, а я для вас приготовила сюрприз! Вы посмотрите только! Это чай! Самый настоящий чай, довоенного образца. Фирмы «Высоцкий и сыновья». И всего только двадцать тысяч на керенки! Отдаю себе в убыток. Только для вас...

Чай, а тем более настоящий, был в те времена исключительной редкостью. Александр Александрович проявил должный интерес к предназначенному для него сюрпризу и тотчас же приобрел его. Довольный своей покупкой, он все время вертел ее в руках, не расставаясь с ней даже на очередном заседании, томительном и скучном. Блок, прислушиваясь к журчанию какого-то профессорского доклада, не выдержал и с любопытством распечатал обложку плотного цибика. Под ней оказалась вторая, не менее яркая и пестрая. Он снял и ее. Под второй обложкой обнаружилась третья. Изумление отразилось на лице Блока. Поспешно он начал снимать одну обложку за другой. Пакетик чая оказался подобен кочану капусты. Уже образовалась на столе целая груда снятой бумаги, пока наконец не очутилась в руках Блока небольшая горсточка сухого рыжеватого чая, едва достаточная для единственной заварки.

С бумагами под мышкой и с этой жалкой горсточкой на ладони, покрасневший до кончика ушей, он ринулся к невозмутимо сидевшей за своей стойкой коварной обольстительнице.

— Роза Васильевна! Что же это такое?

Но Розу Васильевну смутить было нелегко. Она укоризненно покачала своей величественной головой и презрительно поджала толстые губы.

— Ай, ай, Александр Александрович! Такой ученый человек, и такой еще ребенок! Надо было смотреть, что покупаешь. Мыслимое ли это дело, чтобы настоящий чай продавался за двадцать тысяч осьмушка, когда ему на рынке твердая цена сто тысяч? Что же я, по-вашему, враг своему делу?

Блок растерялся и не сразу нашел, что сказать... Минуту спустя он произнес задумчиво:

— А ведь вы, пожалуй, правы, Роза Васильевна! Внешность обманчива. Не следует слишком верить своим, даже самым горячим, иллюзиям. И, во всяком случае, надо расплачиваться за них сполна.

И отошел от нее, уже улыбаясь.

* * *

Блок возвращался домой всегда пешком. Нам было по дороге, и я часто сопутствовал ему. Это вошло в привычку. Если кому-нибудь из нас приходилось задержаться в издательстве, мы поджидали друг друга на широком подоконнике лестницы.

Обычно мы шли молча, обмениваясь редкими репликами, и все же каждый раз я уносил впечатление содержательной беседы — до того меткими и своеобразными были эти краткие блоковские замечания. По природе своей, тем более в ту эпоху, Блок был молчалив и не любил длинных монологов.

Однажды — это было в холодный сентябрьский день — мы шли не спеша под старыми липами, мимо Инженерного замка. Тяжелая стынущая вода окованной в гранит Фонтанки чуть колыхала пустое синеватое небо. Полузатопленные баржи, давно уже брошенные без призора, преграждали ее сонное течение. Желтые листья медленно плыли мимо нас. Дикая трава буйно росла между булыжниками запущенной набережной. Выломанные местами звенья чугунной решетки лежали у нас на пути.

Блок остановился и снял шляпу. Вечернее солнце тронуло его выцветающие, но все еще вьющиеся волосы.

— Люблю я это м е с т о, — сказал он тихо, как бы самому с е б е. — Вот дичает город, скоро совсем зарастет травой, от этого будет у него какая-то особая красота. Сейчас за ним никто не смотрит, и развалины здесь на каждом шагу. Но разве вам грустно при виде этих руин? Вижу, что н е т, — и это совершенно справедливо. За руинами всегда новая жизнь. Старое должно зарасти травой. И будет на этом месте новый город. Как хотелось бы мне его увидеть!

Однажды он остановился возле каменного спуска к воде и долго следил за одним из уличных мальчуганов.

Мальчик поджидал проплывавшие мимо доски и ловким размахом кидал в них большой гвоздь, привязанный к длинной бечевке. Так ловил он посылаемые судьбой дрова.

— Никогда не думал, что это такое увлекательное занятие! Целый день на ветру, в сырости, а потом дома мать подкладывает в печурку эти щепки, и от них встает огонь, согревающий мысли и тело. Хорошо! — сказал Александр Александрович после долгой паузы. — Вообще хорошо уставать только после работы, после настоящего труда, за которым есть какая-то цель.

И добавил, опять помолчав:

— Люди будущего будут счастливее *нас*... — И усмехнулся ясно и просто, совершенно так же, как и взглянувший на нас мальчик.

Мы мало говорили на литературные темы. Блок, казалось, избегал их. Но одна беседа о поэзии мне запомнилась. Было это после какого-то очередного спора с поэтами-акмеистами. Александр Александрович вышел взволнованный и несколько раздраженный. По обыкновению, он старался не показать этого, но его настроение невольно прорывалось в жестах, в походке. Наконец он не выдержал.

— Неужели они и в самом деле думают, что стихотворение можно взвесить, расчленить, проверить химически?

— Они уверены в этом.

— Удивительно! Как удобно и просто жить с таким сознанием! А я вот никогда не мог после первых двух строк увидеть, что будет дальше... То есть, конечно, не совсем *так*, — добавил он тут же с непривычной *торопливостью*. — Когда меня неотступно преследует определенная мысль, я мучительно ищу того звучания, в которое она должна облечься. И в конце концов слышу определенную мелодию. И тогда только приходят слова. Нужно следить за тем, чтобы они точно ложились на интонацию, ничем не противоречили ей. Всякое стихотворение прежде всего — мысль. Без мысли нет творчества. И для меня она почему-то прежде всего воплощается в форме какого-то звучания[5]. Я, очевидно, неудавшийся музыкант. Но только моя музыка не в отвлеченных звуках, а в интонациях человеческого голоса. *А они*, — Блок кивнул куда-то в сторону резким поворотом *головы*, — они убеждены в том, что тему будущих стихов можно поставить перед

собой заранее и решить ее, как шахматную задачу. Нет, нет! Я не завидую им. Значит, от них навсегда закрыто то, что единственно и делает стихи стихами. Я сказал «делает». Это не так. Не то слово. Стихи нельзя «делать». Их надо прожить. Лучшее в них — от жизни, и только от нее. Остальное умирает, и его не жалко. Настоящие стихи идут только от того, что действительно было, прошло через сознание, сердце, печень, если хотите. И вообще надо писать только те стихи, которых нельзя не написать. Да и, конечно, возможно меньше говорить о них...

За два года моего общения с Александром Александровичем мы неоднократно возвращались к этой теме, и каждый раз он говорил примерно то же самое:

— Писать только о том, чего нельзя не написать. Простая истина. Но как трудно было дойти до нее! Если бы я когда-нибудь вернулся к стихам, я хотел бы говорить в них то, что понятно и что нужно другим, а не только мне самому.

— А разве вы сейчас не пишете стихов?

— Почти ничего. Я только слушаю их. В себе. Но они еще в каком-то неоформленном звуковом хаосе. И прежние, обычные ритмы для них уже не подходят. Очевидно, в муках, в смятении рождается сейчас новое ощущение мира, для которого тесны привычные наши чувства. Да и как могло быть иначе? Глухие еще плотнее затыкают уши. Но я не хочу, не могу быть глухим. Вот если бы быть моложе! Никогда еще так не завидовал молодости...

Некоторое время мы шли молча.

— Знаете, — начал опять Блок, и я подивился его необычной словоохотливости. — Знаете, я много думаю сейчас о революции. Для меня это не только коренные изменения всей внешней жизни, а нечто гораздо большее. Это прежде всего новый человек, такой, какого мы еще не знали на земле. И то, что я говорил сейчас о хаосе в сознании, я отношу исключительно к самому себе. Вы можете меня не слушать, но вы задали мне вопрос о стихах, и я должен вам ответить. Да, внутренним слухом я сейчас в каком-то грохоте и шуме, и это, пожалуй, единственная моя радость, хотя и мучительная, должен сказать. Видите ли, меня все же не покидает вера, что хаос превратится в звуки. Если не для меня, то для других. Из хаоса рождается космос — так говорили когда-то греки. Мне грустно, что у меня не хватает слов, чтобы сказать об этом так же ясно, как говорили они много

веков тому назад. Но у них была наивная детская душа. Мы же, в особенности люди моего поколения, перегружены сомнениями и тревогами. Сколько сил потрачено напрасно...

* * *

За плечами Блока стояла большая, сложная, высоким костром сгоревшая жизнь. В последние свои годы он, казалось, не любил вспоминать о ней. Кое-кому он мог показаться уже отошедшим от прежних своих тревог и волнений, замолчавшим, замкнутым навсегда. Но светлый умный взгляд, озарявший порою это недвижное, покрытое суровой смуглостью лицо, говорил о том, что в нем еще таится напряженная, сосредоточенная, ушедшая в себя страсть. И не в прошлое уходила она. Было в Блоке, несмотря на усталость от пережитого, что-то вечно молодое, обращенное не на тусклый закат. Прошлое не вызывало в нем и тени сожаления. Старый мир он сам назвал «страшным миром» и радовался его гибели. О революции он говорил охотнее, чем о чем-либо другом, и вглядывался в нее с пристальным дружеским вниманием. Но, неся в себе наследие своего «страшного мира», Блок еще не был способен окинуть совершающееся вокруг него единым, обобщающим взглядом. Он воспринимал революцию лирически, эмоционально, как долгожданную грозу, а как жить, как действовать в революции — еще не знал. И сознание этой своей «бесполезности» Блок переживал мучительно.

Когда кто-то упрекнул его за бездействие и созерцательность, он ответил с искренним и горьким сожалением:

— Не такие люди, как я, нужны для этого великого дела. Мы несем слишком большой груз воспоминаний и сожалений. Нам не дано ясности зрения. Наши глаза привыкли к сумеркам. А здесь все на беспощадном солнечном свету.

Не многие понимали Блока в этот период его жизни. В нем видели человека, лишенного трезвого чувства действительности. И это была большая ошибка. Поэма «Двенадцать» показала, что он видел много дальше и яснее, чем те, кто упрекал его за слепоту. И даже речь его, переполненная образами собственного мира, не всегда казалась точной, ясной в обычном значении слова.

* * *

Блок никогда не отличался общительностью и обычно был доступен лишь небольшому кружку друзей. Поэтому я был несказанно удивлен, когда однажды он пригласил меня к себе домой, на Пряжку. Это было вскоре после того, как я подарил ему свой первый стихотворный сборничек «Лето».

Меня поразили скромность и простота блоковской квартиры. Мы сидели в маленькой узкой комнатке у старого рабочего стола и бесчисленных связок какого-то «толстого» журнала на полу, возле книжного шкафа. Разговор шел о делах только что возникшего тогда Союза поэтов, где Блок был выбран председателем — к великой его неохоте. Помню, спорили о том, нужно ли поэтам вообще «объединяться» и нет ли в самом понятии Союз поэтов логической несообразности.

— Впрочем, — сказал Александр Александрович, — теперь многое мне стало понятным, чего я никак раньше и представить не мог. Вероятно, и поэты могут стать общественной организацией — и весьма полезной в новом мире [6].

Мы беседовали уже около часа, и лишь постепенно освобождался я от вполне понятной взволнованности: вот я сижу здесь, у Блока, кумира моей юности, и он говорит со мной и, чего доброго, заставит меня читать стихи, всю наивность которых я ощущал в эту минуту с мучительной для себя ясностью. Блок, вероятно, прекрасно понимал мое состояние и далеко не сразу завел речь о стихах. Это произошло только за чайным столом, когда я окончательно почувствовал себя освобожденным от первоначального смущения.

— Ну, а теперь почитайте из своей книжки, — сказал он, просто и уселся поудобнее в кресло. Он ни разу не перебил меня во время чтения, не сделал ни одного мелкого внешнего замечания, но по выражению его глаз я чувствовал, что слушает он чрезвычайно внимательно. И это окончательно подбодрило меня.

Чтение пришло к концу — оно и не было продолжительным. Александр Александрович, вопреки моим ожиданиям, не подверг мои опыты суровой критике. Он только улыбнулся и сказал:

— Такие стихи приятно слушать вот так, у вечерней лампы. Они чем-то напомнили мне Шахматово, юность, деревенские дни. Благодарю вас.

Прощаясь, Александр Александрович, уже в дверях, тронул рукой мое плечо и сказал все так же просто:

— Все хорошо, но вот стало мне грустно, что ничего не могу сейчас писать сам. Для этого нужно быть или очень несчастным, или очень счастливым. А я оглушен, у меня все время шум в ушах.

Я заходил к нему еще два-три раза и всегда уносил о собой ощущение иного Блока — не сумрачного, каким он обычно бывал на людях. Может быть, только несколько усталого и привыкшего к молчаливым думам...

За это время мне вообще приходилось видеть его часто, главным образом на заседаниях Союза поэтов. Начав так неохотно свое председательство, Блок со свойственной ему добросовестностью терпеливо нес свои нелегкие обязанности. Для Блока они действительно были нелегкими. У меня, тогдашнего секретаря, сохранились два-три протокола, из которых видно, что Александру Александровичу приходилось вникать в скучные хозяйственные мелочи нашей молодой организации — хлопотать о пайках, решать дровяные вопросы, улаживать мелкие конфликты. Немаловажную роль играл и вопрос приема в члены Союза. Как только стало известно, что появилась на свет подобная организация, тотчас же посыпались заявления. Их было такое количество, что пришлось организовать приемную комиссию. Блоку поручили стать во главе ее[7]. Он принял самое деятельное участие в этой работе: прочитывал десятки рукописей, чаще всего бесполезно теряя время, и писал отзывы. Изредка они, когда материал давал к этому основание, превращались в письма, обращенные к автору, с любопытными замечаниями, советами, а иногда и суждениями о поэзии вообще, о ее общественной роли и назначении в переживаемое нами время. В случаях явно безнадежных дело ограничивалось краткими, но выразительными сентенциями.

Передо мной лежат сейчас несколько таких листков, случайно уцелевших[8]. На каждом из них что-нибудь написано ясным крупным почерком Блока:

«И. К. нетверд в русском языке. Характерные ударения (спугн*у*тый, ввергн*у*л, пт*е*нцов) показывают, что язык наш ему не родной, и едва ли станут ему доступны те свойства языка, без которых стихов не напишешь. Поэтому я думаю, что принимать его не следует».

«Стихи К. совершенно неумелые, а местами и очень пошлые».

«Братья С. [9] — юные эгофутуристы из Шувалова. Первый из них был у меня и показывал мне много стихов. Они хотели попасть в союз поэтов. По-моему, несмотря на очень большую безграмотность, характерную, русскую, обывательскую, и на безвкусие, — оба далеко не бездарны. Есть строки просто очень хорошие».

Бывали случаи, когда комиссия становилась в тупик. С внешней стороны в представленном материале все, казалось, было в порядке. Стихи вполне культурные, все в них на своем месте. Но общая сглаженность и мысли и стиля совершенно не позволяла увидеть авторское лицо. При таких обстоятельствах Блок, даже соглашаясь с остальными членами комиссии, всегда особо оговаривал свое мнение. Вот что им написано по поводу двух поэтесс, представивших по объемистой тетради стихов, написанных с соблюдением всех модных канонов:

«Довольно умно, довольно тонко, любит стихи, по крайней мере современные, но, кажется, голос ее очень слаб, и поэта из нее не будет».

«Разумеется, и я согласен (на допущение в члены-соревнователи). Только что же будут делать они, собравшись вместе, — такие друг на друга похожие *бессодержательностью* (подчеркнуто Блоком. — *Вс. Р.*) своей поэзии, и такие различные как люди?»

Желающих получить оценку комиссии, во главе которой стоял Блок, было очень много, и одно время пришлось принять меры к тому, чтобы оградить его от этого наплыва. Но претенденты все же прорывались, и Александр Александрович со свойственной ему деликатностью не отказывался вступать с ними в длительные и по большей части бесполезные беседы. Бывало и так, что он сам заинтересовывался каким-нибудь посетителем, которого что-либо выделяло из общей массы. Однажды к нему явился человек в потрепанной шинели, сильно попахивающий спиртом, опустившийся и жалкий. С первых же слов обнаружилось, что у него «не все дома». Назвав Блока «дорогим собратом», он обрушил на Александра Александровича целый водопад стихов и, уходя, оставил толстую клеенчатую тетрадь, исписанную вдоль и поперек микроскопическим почерком. Александр Александрович прочел ее внимательно с начала до конца и прислал следующий отзыв:

«А. С. мне кажется не бездарным. В стихах есть меткие слова и образы. Но очень в нем все спутано. Я его

немного знаю лично, и, кроме того, в письме ко мне он пишет, что ему важно было бы вступить в литературную среду, в частности, в наш союз, который, может быть, «вернет ему «человеческий образ». После таких писем с достоевщиной (да и в стихах есть капитан Лебядкин) я не могу уже судить объективно, можно ли принимать нам в союз таких членов, и очень прошу товарищей судить об этом на основании *только* стихов, как нам и следует говорить» [10].

Среди поэтов той поры все время шумели творческие и общественные споры. Но бывали и мирные встречи. Мне запомнился вечер в неуютной сводчатой комнате у Чернышева моста, где помещался тогда Комиссариат народного просвещения, оказывавший нам гостеприимство. Обычное заседание кончалось круговым чтением стихов, причем было условлено — читать то, что ближе всего авторскому сердцу. Когда дошла очередь до Блока, он на минуту задумался и начал своим мерным глухим голосом:

Что же ты потупилась в смущеньи?
Погляди, как прежде, на меня...

Читал тихо, несколько замедляя течение фразы. И при этом ничуть не повышал голоса. Впечатление было такое, что он просто «говорил» свои стихи, сообщая им все богатство непринужденных разговорных интонаций. Любителям приподнятой актерской декламации его манера показалась бы несколько тусклой, матовой, приглушенной. Но монотонность блоковского голоса как-то удивительно шла к сдержанной страстности его трагической лирики. И все, что ни произносил он, дышало мрачной, непреодолимой убежденностью.

В этот раз Блок прочел не больше пяти-шести стихотворений. Все молчали, завороженные его голосом. И когда уже никто не ожидал, что он будет продолжать, Александр Александрович начал последнее: «Голос из хора». Лицо его, до тех пор спокойное, исказилось мучительной складкой у рта, слова звенели глухо, как бы надтреснуто. Он весь чуть подался вперед в своем кресле, на глаза его упали, наполовину их закрывая, тяжелые веки. Заключительные строки он произнес почти шепотом, с мучительным напряжением, словно пересиливая себя.

И всех нас охватило какое-то подавленное чувство. Никому не хотелось читать дальше. Но Блок первый улыбнулся и сказал обычным своим голосом:

— Очень неприятные стихи. Я не знаю, зачем я их написал. Лучше бы было этим словам остаться не сказанными. Но я должен был их сказать. Трудное надо преодолеть! За ним будет ясный день. А знаете, — добавил он, видя, что никто не хочет прервать молчание, — давайте-ка все прочитаем что-либо из Пушкина. Николай Степанович, теперь ваша очередь.

Гумилев ничуть не удивился этому предложению и после минутной паузы начал:

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Светлое имя Пушкина разрядило общее напряжение. В комнату словно заглянуло солнце. Читали и из «Онегина», и из «Медного всадника», и альбомные стихи, и лукавые эпиграммы. Но Блок и здесь остался верен себе. Когда дошла до него очередь, он тем же мерным и несколько тусклым голосом, со сдержанной страстностью прочел «Заклинание» и добавил потом, как бы извиняясь: «Я ничего не знаю прекраснее».

Заботы, связанные с Союзом поэтов, настолько утомили Блока, что он неоднократно высказывал желание уйти с поста председателя. И только дружный хор протеста заставлял его оставаться. И тяготило Блока не выполнение очередных, непривычных для него обязанностей, а гораздо более существенное: невозможность договориться с основной массой поэтов о целях и путях поэзии, о ее месте в строительстве новой, революционной культуры. У самого Блока не было точных представлений на этот счет, но он понимал, что нужно искать, в то время как другие довольствовались пребыванием на позициях внешнего эстетизма и, сами того не замечая, теряли самое ценное в существе поэта: его непосредственную связь с жизнью. Трудностью в положении Блока было и то, что он мог опираться только на небольшой круг единомышленников. В основном Союз состоял из эстетов и формалистов, которыми социальная значимость поэзии отрицалась начисто. Блок никак не мог примириться с таким положением вещей. Он спорил, защищал место поэта в общественном строю и все же оставался в меньшинстве. Кончилось дело тем, что Блока забаллотировали при новых перевыборах. И вместе с ним ушла

небольшая группа сочувствовавших ему поэтов. Мне приятно вспомнить, что и я был в их числе [11].

Отношения Блока с представителями формалистических течений обострились до предела. Он не вступал с ними больше в прямую полемику, но косвенно ответил им в своей пушкинской речи («О назначении поэта»), прочитанной в Доме литераторов 11 февраля 1921 года. В этом же году он написал горячую статью против акмеистов, озаглавив ее: «Без божества, без вдохновенья». Здесь все вещи названы своими именами, а тезис общественного служения искусства поставлен прямо и точно: «Когда начинают говорить об «искусстве для искусства».... это, может быть, иногда любопытно, но уже не питательно и не жизненно... Так и «чистая поэзия» лишь на минуту возбуждает интерес и споры среди «специалистов». Споры эти потухают так же быстро, как и вспыхнули, и после них остается одна оскомина...

«Акмеисты», несомненно даровитые, топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма; они спят непробудным сном без сновидений; они не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще; в своей поэзии (а следовательно, и в себе самих) они замалчивают самое главное, единственно ценное: *душу*».

* * *

1920 год был для Блока периодом очень оживленной литературной и общественной деятельности. Помимо «Всемирной литературы» и Большого драматического театра, где он вел сложную работу в репертуарной комиссии, Александр Александрович много переводил, редактировал, участвовал в заседаниях. Превозмогая болезнь, он никогда не запаздывал на деловые собрания и всякое порученное ему дело доводил до конца. Все знавшие нелегкие условия его жизни радостно наблюдали в нем подъем сил и пробуждение горячего интереса к жизни.

Однако усталость предшествующих лет брала верх над этим, к сожалению, временным оживлением. Все реже стал появляться Блок в издательстве. Некоторое время спустя долетели первые тревожные слухи о его болезни. Так прошел весь конец 1920 года, очень трудного для

всех петроградцев. Не было дров, ощущался недостаток питания. Александр Александрович разделял общую участь. Но со всех сторон шли к нему люди с предложением помощи, а советская общественность всемерно старалась облегчить его положение.

Весною 1921 года всех удивила весть о предстоящем выступлении А. А. Блока на литературном вечере, целиком посвященном его творчеству. Афиши известили город о том, что вечер этот состоится в Большом драматическом театре и что со вступительным словом выступит К. И. Чуковский. Билеты оказались разобранными задолго до назначенного дня. Театр был переполнен. Послушать Блока пришли люди различных литературных поколений, все его давние и новые друзья. И странное у всех было чувство, давшее общий тон этому вечеру. С беспощадной ясностью сознавал каждый, что это, быть может, последняя встреча с Блоком, последний раз, когда можно услышать его живой голос, обращенный к поколению революции. Увы, так это и было. Возможно, что такое же чувство владело и самим поэтом. После длительного, содержательного выступления Чуковского, охватившего все периоды литературной работы Блока, Александр Александрович заметил как бы вскользь, ни к кому не обращаясь:

— Как странно мне все это слышать... Неужели все это было, и именно со мной?

Антракт, предшествующий выступлению самого Блока, томительно затянулся. Чтобы несколько отвлечь Александра Александровича от внезапно овладевшей им мрачной задумчивости, друзья привели к нему известного в городе фотографа-портретиста М. С. Наппельбаума. Он должен был сделать снимок. Блок протестовал, но слабо и нерешительно.

— Может быть, это и в самом деле нужно, — недоуменно говорил он окружающим. — Но только не мне. Я не люблю своего лица. Я хотел бы видеть его иным.

Портрет все же был сделан и скоро стал широким достоянием всех друзей блоковской музы *. С него глядят прямо на зрителя светлые глаза, чуть подернутые

* Он приложен к однотомнику сочинений А. А. Блока под редакцией В. Н. Орлова (Гослитиздат, 1936). (*Примеч. Вс. Рождественского.*)

туманом усталости и грусти. Только где-то там, в глубине, светится ясная точка пытливого ума. Живое, но уже отгорающее лицо![12]

Таким Блок и вышел на сцену. Читал он слабым, тускловатым голосом и, казалось, без всякого воодушевления. Произносимые им слова падали мерно и тяжело. В зале стояла напряженная тишина. Ее не нарушали и аплодисменты. Они были не нужны. Каждое тихое слово Блока отчетливо, веско доходило до самых дальних рядов.

Блок остановился на мгновение, как бы что-то припоминая. И в ту минуту, слышно для всего зала, долетел до него с галерки чей-то юный, свежий голос:

— Александр Александрович, что-нибудь для нас!..

И хором поддержали его другие юные голоса.

Блок поднял лицо, впервые за весь вечер озарившееся улыбкой. Он сделал несколько шагов к рампе и теперь стоял на ярком свету. Он выпрямился, развернул плечи и словно стал выше. Теперь это был уже совсем другой человек. Голос его поднялся, и что-то упорное, даже властное зазвенело в его глуховатом тембре. Он читал «Скифы». Он читал, и за его плечами вставала героическая молодая страна, напрягавшая силы в неслыханной борьбе со всем миром капиталистического гнета и вековой несправедливости, страна, посмевшая бросить в лицо дряхлеющему Западу огненное слово своей юной, рожденной в боях правды:

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы,
   Попробуйте, сразитесь с нами!
. . . .
В последний раз — опомнись, старый мир!
   На братский пир труда и мира,
В последний раз — на светлый братский пир
   Сзывает варварская лира!

Зал театра гремел в рукоплесканиях. Блок стоял неподвижно, почти сурово, и вся его поза выражала твердую решимость.

А рукоплескания все гремели. Зал поднялся, как один человек. Блок тихо наклонил голову и медленно ушел за кулисы. На вызовы он не появлялся.

Это было в последний раз, когда я его видел. Несколько дней спустя он уехал с К. И. Чуковским в Москву для

дальнейших выступлений, но довольно скоро вернулся, уже больным, и с тех пор не выходил из дому. Его мучила тяжелая сердечная болезнь, которая и пресекла его жизнь в августе 1921 года.

* * *

Однажды в ясный летний вечер я зашел на Смоленское кладбище. Мне хотелось отыскать могилу Блока *. Найти ее удалось не без труда. Вся она заросла густой сорной травой. На ее холмике лежали увядшие стебли кем-то принесенных цветов.

Я присел на соседней плите. Тишина обступила меня. Но в ней не было ничего, что говорило бы о разрушении, о смерти. В ветках низко нависших берез неумолчно возились птицы. Тусклое солнце медленно опускалось где-то над Финским заливом. Вечерние мошки весело толклись в его последних лучах. Тянуло сыроватым туманом с соседнего луга. А над взморьем плыли облака, похожие на сказочную лебединую стаю.

Белый, чуть покосившийся крест весь был исписан именами посетителей и стихотворными строчками. Среди них нашел я цитату из юношеских стихов Блока. Постепенно припоминая, я восстановил в памяти все это стихотворение. И когда мысленно поставил в нем вместо романтического отвлеченного «ты» понятие «Родина», образ Блока-лирика озарился для меня, впервые, небывалым светом:

Когда я уйду на покой от времен,
Уйду от хулы и похвал,
Ты вспомни ту нежность, тот ласковый сон,
Которым я цвел и дышал.

Я знаю, не вспомнишь Ты, Светлая, зла,
Которое билось во мне,
Когда подходила Ты, стройно-бела,
Как лебедь, к моей глубине.

. . . .

Ты вспомнишь, когда я уйду на покой,
Исчезну за синей чертой, —
Одну только песню, что пел я с Тобой,
Что Ты повторяла за мной.

---

* Ныне прах А. А. Блока перенесен на Литераторские мостки Волкова кладбища в Ленинграде. (*Примеч. Вс. Рождественского.*)

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

АЛЕКСАНДР БЛОК

1

Всякий раз, когда я перелистываю его стихотворные сборники, у меня возникает множество мелких, стариковских, никому, должно быть, не нужных, бытовых воспоминаний о нем.

Читая, например, его знаменитые строки:

Ночь, улица, фонарь, аптека, —

я вспоминаю петербургскую аптеку, принадлежавшую провизору Винникову, на Офицерской улице, невдалеке от канала Пряжки. Мимо этой аптеки Александр Александрович проходил и проезжал каждый день, порою по нескольку раз. Она была по пути к его дому и в его «Плясках смерти» упоминается дважды.

Помню, что в тех же «Плясках смерти» под видом живого покойника частично выведен наш общий знакомый Аркадий Руманов, талантливо симулировавший надрывную искренность и размашистую поэтичность души.

Я помню, что тот «паноптикум печальный», который упоминается в блоковской «Клеопатре», находился на Невском, в доме № 86, близ Литейного, и что больше полувека назад, в декабре, я увидел там Александра Александровича, и меня удивило, как понуро и мрачно он стоит возле восковой полулежащей царицы с узенькой змейкой в руке — с черной резиновой змейкой, которая, подчиняясь незамысловатой пружине, снова и снова тысячу раз подряд жалит ее голую грудь, к удовольствию каких-то похабных картузников. Блок смотрел на нее оцепенело и скорбно.

Она лежит в гробу стеклянном,
И не мертва и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова.

Читая его пятистопные белые ямбы о северном море, которые по своей классической образности единственные в нашей поэзии могут сравниться с пушкинскими, я вспоминаю тогдашний Сестрорецкий курорт с большим рестораном у самого берега и ту пузатую, допотопную моторную лодку, которую сдавал напрокат какой-то полуголый татуированный грек и в которую уселись, пройдя по дощатым мосткам, писатель Георгий Чулков (насколько помню), Зиновий Гржебин (художник, впоследствии издатель «Шиповника») и неотразимо, неправдоподобно красивый, в широкой артистической шляпе, загорелый и стройный Блок.

В тот вечер он казался (на поверхностный взгляд) таким победоносно счастливым, в такой гармонии со всем окружающим, что меня и сейчас удивляют те гневные строки, которые написаны им под впечатлением этой поездки:

Чт*о* сделали из берега морского
Гуляющие модницы и франты?
Наставили столов, дымят, жуют,
Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу,
Угрюмо хохоча и заражая
Соленый воздух сплетнями...

Я вспоминаю изображенный в тех же стихах длинный, протянутый в море, изогнутый мол, на котором действительно были нацарапаны всевозможные надписи, в том числе и те, что воспроизводятся в блоковском «Северном море». Впоследствии я нередко причаливал к этому молу мою финскую шлюпку, приезжая в Сестрорецк из Куоккалы, и всякий раз вспоминал стихотворение Блока.

Я часто встречал Александра Александровича там, в Сестрорецке, а чаще всего в Озерках и в Шувалове, которые он увековечил в своей «Незнакомке» и в стихотворении «Над озером».

Когда я познакомился с ним, он казался несокрушимо здоровым — рослый, красногубый, спокойный; и даже меланхоличность его неторопливой походки, даже тяжелая грусть его зеленоватых, неподвижных, задумчивых глаз не разрушали впечатления юношеской победительной силы, которое в те далекие годы он всякий раз про-

изводил на меня. Буйное цветение молодости чувствовалось и в его великолепных кудрях, которые каштановыми короткими прядями окружали его лоб, как венок. Никогда ни раньше, ни потом я не видел, чтобы от какого-нибудь человека так явственно, ощутимо и зримо исходил магнетизм. Трудно было в ту пору представить себе, что на свете есть девушки, которые могут не влюбиться в него. Правда, печальным, обиженным и даже чуть-чуть презрительным голосом читал он свои стихи о любви. Казалось, что он жалуется на нее, как на какой-то невеселый обряд, который он вынужден исполнять против воли:

Влюбленность расцвела в кудрях
И в ранней грусти глаз,
И был я в розовых цепях
У женщин много *раз*, —

говорил он с тоской, словно о прискорбной повинности, к которой кто-то принуждает его. Один из знавших Блока очень верно сказал, что лицо у него было «страстно-бесстрастное».

И все же он был тогда в таком пышном расцвете всех жизненных сил, что казалось, они побеждают даже его, блоковскую, тоску и обиду.

Я помню ту ночь, перед самой зарей, когда он впервые прочитал «*Незнакомку*», — кажется, вскоре после того, как она была написана им. Читал он ее на крыше знаменитой Башни Вячеслава Иванова, поэта-символиста, у которого каждую среду собирался для всенощного бдения весь артистический Петербург. Из Башни был выход на пологую крышу, и в белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, опьяненные стихами и *вином*, — а стихами опьянялись тогда, как *вином*, — вышли под белесое небо, и Блок, медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый (он всегда загорал уже ранней весной), взобрался на большую железную раму, соединявшую провода телефонов, и по нашей неотступной мольбе уже в третий, в четвертый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом. И мы, впитывая в себя ее гениальную звукопись, уже заранее страдали, что сейчас ее очарование кончится, а нам хотелось, чтобы оно длилось часами, и вдруг, едва только произнес он последнее слово, из Таврического сада, который был тут же, внизу, какой-то воздушной волной донеслось до нас

многоголосое соловьиное пение. И теперь, всякий раз, когда, перелистывая сборники Блока, я встречаю там стихи о Незнакомке, мне видится: квадратная железная рама на фоне петербургского белесого неба, стоящий на ее перекладине молодой, загорелый, счастливый своим вдохновением поэт и эта внезапная волна соловьиного пения, в котором было столько родного ему.

Я хорошо помню ту дачную местность под Питером, которая изображена в «Незнакомке». Помню шлагбаумы Финляндской железной дороги, за которыми шла болотная топь, прорытая прямыми канавами:

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Помню ту нарядную булочную, над которой, по тогдашней традиции, красовался в дополнение к вывеске большой позолоченный крендель, видный из вагонного окна:

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной
И раздается детский плач.

Точно так же, читая стихотворение Блока:

Одна мне осталась надежда:
Смотреться в колодезь двора, —

я вспоминаю этот узкий и глубокий «колодезь двора» в сумрачном доме на Лахтинской улице, где поселился Александр Александрович осенью того самого года, когда он написал «Незнакомку». Окна его темноватой квартиры на четвертом или пятом этаже выходили во двор, который вспоминается мне со всеми своими чердаками, сараями, лестницами всякий раз, когда я читаю такие «лахтинские» стихотворения Блока, как «Холодный день», «Окна во двор», «В октябре». В самой квартире я был только раз или два, но по Лахтинской улице случалось мне проходить очень часто. Это улица на Петербургской стороне, невдалеке от фабрично-заводского района. Тогда она кишела беднотой. Стоило мне войти в эту улицу, и в памяти всегда возникали стихи, которые эта улица как бы продиктовала поэту:

Мы миновали все ворота
И в каждом видели окне,
Как тяжело лежит работа
На каждой согнутой спине.

И вот пошли туда, где будем
Мы жить под низким потолком,
Где прокляли друг друга люди,
Убитые своим трудом.

Словом, со многими стихотворениями Блока у меня, как у старика петербуржца, связано столько конкретных, жанровых, бытовых, реалистических образов, что эти стихотворения, представляющиеся многим такими туманно-загадочными, кажутся мне зачастую столь же точным воспроизведением действительности, как, например, стихотворения Некрасова.

В ту пору далекой юности поэзия Блока действовала на нас, как луна на лунатиков. Сладкозвучие его лирики часто бывало чрезмерно, и нам в ту пору казалось, что он не властен в своем даровании и слишком безвольно предается инерции звуков, которая сильнее его самого. В безвольном непротивлении звукам, в женственной покорности им и заключалось тогда очарование Блока для нас. Он был тогда не столько владеющий, сколько владеемый звуками, не жрец своего искусства, но жертва. В ту далекую раннюю пору, о которой я сейчас говорю, деспотическое засилие музыки в его стихах дошло до необычайных размеров. Казалось, стих сам собою течет, как бы независимо от воли поэта, по многократно повторяющимся звукам:

И приня*ла*, и обласка*ла*,
И обня*ла*,
И в вешних далях им кача*ла*
Ко*ло*ко*ла*...[1]

Каждое его стихотворение было полно многократными эхами, перекличками внутренних звуков, внутренних рифм, полурифм, рифмоидов. Каждый звук будил в его уме множество родственных отзвуков, которые словно жаждали возможно дольше остаться в стихе, то замирая, то возникая опять. Это опьянение звуками было главное условие его творчества. Даже в третьем его томе, когда его творчество стало строже и сдержаннее, он часто предавался этой инерции:

И напев заглуш*енны*й и юный
В зата*енно*й затронет тиши
Усыпл*енны*е жизнию стр*у*ны
Напряж*енно*й, как арфа, души.

В этой непрерывной, слишком сладкозвучной мелодике было что-то расслабляющее мускулы:

О, весн*а* без конц*а* и без кр*а*ю —
Вез конц*а* и без кр*а*ю мечт*а*!

И кто из нас не помнит того волнующего, переменяющего всю кровь впечатления, когда после сплошного *а* в незабвенной строке:

Дыш*а* дух*а*ми и тум*а*нами, —

вдруг это *а* переходило в *е*:

И в*е*ют др*е*вними пов*е*рьями...

И его манера читать свои стихи вслух еще сильнее в ту пору подчеркивала эту безвольную покорность своему вдохновению:

Что быть должно — то быть должно,
Так пела с детских лет
Шарманка в низкое окно,
И вот — я стал поэт...

И все, *как быть должно,* пошло:
Любовь, стихи, тоска;
Все приняла в свое русло
Спокойная река.

Эти опущенные безвольные руки, этот монотонный, певучий, трагический голос поэта, который как бы не виноват в своем творчестве и чувствует себя жертвою своей собственной лирики, — таков был Александр Блок больше полувека назад, когда я впервые познакомился с ним.

2

Потом наступила осенняя ясность тридцатилетнего, тридцатипятилетнего возраста. К тому времени Блок овладел всеми тайнами своего мастерства. Прежнее женственно-пассивное непротивление звукам сменилось мужественной твердостью мастера. Сравните, например, строгую композицию «Двенадцати» с бесформенной и рыхлой «Снежной маской». Почти прекратилось засилие гласных, слишком увлажняющих стих. В стихе появились суровые и трезвые звуки. Та влага, которая так вольно текла во втором его томе, теперь введена в берега и почти вполне подчинилась поэту. Но его тяжкая грусть стала еще более тяжкой и словно навсегда налегла на него. Губы

побледнели и сжались. Глаза сделались сумрачны, суровы и требовательны. Лицо стало казаться еще более неподвижным, застыло.

Все эти годы мы встречались с ним часто — у Ремизова, у Мережковских, у Коммиссаржевской, у Федора Сологуба, у того же Руманова, и в разных петербургских редакциях, и на выставках картин, и на театральных премьерах, но ни о какой близости между нами не могло быть и речи. Я был газетный писатель, литературный поденщик, плебей, и он явно меня не любил. Письма его ко мне, относящиеся к тому времени, — деловые и сдержанные, без всякой задушевной тональности *.

Но вот как-то раз, уже во время войны, мы вышли от общих знакомых; оказалось, что нам по пути, мы пошли зимней ночью по спящему городу и почему-то заговорили о старых журналах, и я сказал, какую огромную роль сыграла в моем детском воспитании «Нива» — еженедельный журнал с иллюстрациями, и что в этом журнале, я помню, было изумительное стихотворение Полонского, которое кончалось такими, вроде как бы неумелыми стихами:

К сердцу приласкается,
Промелькнет и скроется.

Такая неудавшаяся рифма для моего детского слуха еще более усиливала впечатление подлинности этих стихов. Блок был удивлен и обрадован. Оказалось, что и он помнит эти самые строки (ибо в детстве и он тоже был читателем «Нивы») и что нам обоим необходимо немедленно вспомнить остальные стихи, которые казались нам в ту пору такими прекрасными, каким может казаться лишь то, что было читано в детстве. Он как будто впервые увидел меня, как будто только что со мною познакомился, и долго стоял со мною невдалеке от аптеки, о которой я сейчас вспоминал, а потом позвал меня к себе и уже на пороге многозначительно сказал обо мне своей матери, Александре Андреевне:

— Представь себе, любит Полонского!

---

* Привожу для примера одно, относящееся к октябрю 1907 года: «Многоуважаемый Корней Иванович. Я почти до шести Вас ждал, но к шести должен был непременно уехать. Если зайдете около 4 часа дня, почти всегда буду дома... В Выборг сейчас не могу — завален делом, — перевожу мистерию для Стар[инного] театра[2]. Ваш *Ал. Блок*». (*Примеч. К. И. Чуковского.*)

И видно было, что любовь к Полонскому является для него как бы мерилом людей. Полонский, наравне с Владимиром Соловьевым и Фетом, сыграл в свое время немалую роль в формировании его творческой личности, и Александр Александрович всегда относился к нему с благодарным и почтительным чувством. Он достал из своего монументального книжного шкафа все пять томиков Полонского в издании Маркса, но мы так и не нашли этих строк[3]. Его кабинет, который я видел еще на Лахтинской улице, всегда был для меня неожиданностью: то был кабинет ученого. В кабинете преобладали иностранные и старинные книги; старые журналы, выходившие лет двадцать назад, казались у него на полках новехонькими. Теперь мне бросились в глаза Шахматов, Веселовский, Потебня, и я впервые вспомнил, что Блок по своему образованию филолог, что и дед и отец его были профессора и что отец его жены — Менделеев.

На столе у Блока был такой необыкновенный порядок, что какая-нибудь замусоленная, клочковатая рукопись была бы здесь совершенно немыслимой. Позднее я заметил, что все вещи его обихода никогда не располагались вокруг него беспорядочным ворохом, а, казалось, сами собою выстраивались по геометрически правильным линиям.

Вообще комната на первых порах поразила меня кричащим несходством с ее обитателем. В комнате был уют и покой устойчивой, размеренной, надолго загаданной жизни, а он, проживающий в ней, казался воплощением бездомности, неуюта, катастрофы и гибели.

Именно о катастрофе и гибели заговорил он в тот памятный вечер, когда мы сидели за чаем в его маленькой узкой столовой. Говорил он одушевленно, каким-то задумчивым голосом, какого я у него никогда не слыхал, мне хотелось отвечать ему с полною искренностью, но тут присутствовала его мать Александра Андреевна, и это очень стесняло меня, так как я чувствовал, что она относится ко мне настороженно и что я как бы держу перед нею экзамен. На этом экзамене я с первых же слов провалился, заметив по какому-то поводу, что никогда не мог полюбить Аполлона Григорьева, многословного, сумбурного критика, который, оказалось, в то время был Блоку особенно дорог как «один из самых катастрофических и неблагополучных писателей», о чем Александра Андреев-

на тут же сообщила мне именно в таких выражениях. Блок подхватил ее мысль, и тогда я впервые увидел, как велика была духовная связь между Блоком и его замечательной матерью. Они оба ценили Аполлона Григорьева именно за его неприкаянность — за гибельность его биографии, и чувствовали в нем своего.

Самое слово *гибель* Блок произносил тогда очень подчеркнуто, в его разговорах оно было заметнее всех остальных его слов, и наша беседа за чайным столом мало-помалу свелась к этому предчувствию завтрашней гибели. Было похоже, будто он внезапно узнал, что на всех, кто окружает его, вскоре будет брошена бомба, тогда как эти люди даже не подозревают о ней, по-прежнему веселятся, продают, покупают и лгут.

Он был тогда буквально одержим этой мыслью о нависшей над нами беде и, о чем бы ни зашел разговор, возвращался к ней снова и снова. Однажды — это было у Аничковых, — уже на рассвете, когда многие гости разъехались, а нас осталось человек пять или шесть и мы наполовину дремали, разомлев от скуки бесплодных ночных словопрений, Блок, промолчавший всю ночь, — в людных сборищах он был вообще молчалив, — неожиданно стал говорить утренним, бодрым голосом, ни к кому не обращаясь, словно сам для себя, что не сегодня-завтра над всеми нами разразится народная месть, месть за наше равнодушие и ложь — «вот за этот вечер, который провели мы сейчас»... и «за наши стихи... за мои и за ваши... которые чем лучше, тем хуже».

Он говорил долго, как всегда монотонно, с неподвижным и как будто бесстрастным лицом, то и дело сопровождая свою мрачную речь еле заметной, странно веселой усмешкой. Слова были пугающие, но слушали его равнодушно, даже как будто со скукой. Самой своей мелкотравчатой пошлостью эта (по выражению Некрасова) «безличная сволочь салонов»[4] была ограждена от его вещих предчувствий.

Когда мы уходили, хозяйка (Алла Митрофановна[5], образованная, светская женщина) сказала в прихожей, как бы извиняясь за допущенную Блоком бестактность:

— Александр Александрович опять о своем.

Гости сочувственно пожали плечами.

Теперь, когда стали известны многие его письма и отрывки из его дневника[6], мы видим, что такие предчувствия неотступно владели им чуть ли не с юности. Но,

пророча гибель, он долго не мог осознать до конца, кому же он пророчит ее. Его трагические, «гибельные» мысли долго оставались расплывчатыми, лирически смутными, зыбкими. То ему чудилось, что гибели обречена вся вселенная, то он считал, что «бомба истории» угрожает одной лишь России (тогда он писал своей матери: «...все люди, живущие в России, ведут ее и себя к гибели» [7]), то предрекал уничтожение псевдогуманистической европейской «культуры» и т. д. Вообще объекты гибели в то время очень часто менялись, но одно оставалось в его душе неизменным: ожидание беды, уверенность, что она непременно наступит.

Как-то ночью в промозглой и грязной пивной близ Финляндского вокзала, на Выборгской, сидя за бутылками в темном углу, он вдруг заговорил об этой своей излюбленной теме (обращаясь главным образом к Зоргенфрею и Пясту), и помню, мне тогда же подумалось, что, в сущности, он, несмотря ни на что, любит эту свою душевную боль, ценит ее в себе чрезвычайно и ни за что не согласился бы с нею расстаться. И вспомнилось мудрое пушкинское:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.

Какое-то тайное, неосознанное, глубоко подспудное «наслаждение» было и для Блока в его катастрофических мыслях.

Как узнал я впоследствии, он с обычной своей беспощадною честностью сам отметил в себе эту черту: «...со мной — моя погибель, и я несколько ей горжусь и кокетничаю...» — признавался он в письме к одному из друзей [8]. Но боль оставалась болью, и не для того ли, чтобы заглушить ее, Блок во время всего разговора снова и снова наполнял свой стакан.

В этой судорожной жажде опьянения чувствовалась та же «погибельность», что и во всей его речи. В те времена многим из нас, петербуржцев, случалось не раз с сокрушением видеть, как отчаянно он топит свое горе в вине. Именно отчаянно, с каким-то нарочитым безудержем. И когда в такие ночи и дни мы встречали его в каком-нибудь гнилом переулке, по которому он нетвердой походкой пробирался домой с окостенелым лицом и остановившимся взглядом, нам чудилось, что он действи-

тельно бесприютный скиталец, отверженец, от лица которого он пел в те времена свои песни:

Я пригвожден к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне все — равно.

Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала...

3

Этот его трагический облик поражал меня больше всего, когда я думал о его детстве и юности и вообще о его биографии, исполненной, казалось бы, такого чрезмерного счастья.

И в самом деле, его жизнь была на поверхностный взгляд (но, конечно, только на поверхностный взгляд) необыкновенно счастливой, безоблачной.

Русская действительность, казалось бы, давно уже никому не давала столько уюта и ласки, сколько дала она Блоку.

С самого раннего детства

Он был заботой женщин нежной
От грубой жизни огражден[9].

Так и стояли вокруг него теплой стеной прабабушка, бабушка, мама, няня, тетя Катя — не слишком ли много обожающих женщин? Вспоминая свое детство, он постоянно твердил, что то было детство дворянское — «золотое детство, елка, дворянское баловство», и называл себя в поэме «Возмездие» то «баловнем судеб», то «баловнем и любимцем семьи». Для своей семьи у него был единственный эпитет — дворянская. Настойчиво говорит он об этом в «Возмездии»:

В те дни под петербургским небом
Живет дворянская семья.

Свою мать он именует в этой поэме «нежной дворянской девушкой», в отце отмечает «дворянский склад старинный», а гостеприимство деда и бабки называет «стародворянским».

И не просто дворянской, а стародворянской ощущал он свою семью — «в ней старина еще дышала и жить по-новому мешала». Он даже писал о ней старинным слогом, на старинный лад:

Сия старинная ладья.

Рядом с ним мы, все *остальные*, — подкидыши без предков и уюта. У нас не было подмосковной усадьбы, где под столетними дворянскими липами варилось бесконечное варенье; у нас не было таких локонов, таких дедов и прадедов, такой кучи игрушек, такого белого и статного коня... Блок был последний поэт-дворянин, последний из русских поэтов, кто мог бы украсить свой дом портретами дедов и прадедов.

Барские навыки его стародворянской семьи были облагорожены высокой культурностью всех ее членов, которые из поколения в поколение труженически служили наукам, но самая эта преемственность духовной культуры была в ту пору привилегией дворянских семейств — таких, как Аксаковы, Бекетовы, Майковы. Разночинец подростком уйдет из семьи, да так и не оглянется ни разу, а Блок до самой смерти дружил со своей матерью Александрой Андреевной, переживал вместе с нею почти все события своей внутренней жизни. Трогательно было слышать, как он, уже сорокалетний мужчина, постоянно говорит *мама* и *тетя* даже среди малознакомых людей. Когда по просьбе проф. С. А. Венгерова он написал краткий автобиографический очерк, он счел необходимым написать не столько о себе, сколько о литературных трудах своих предков. Я шутя сказал ему, что вместо своей биографии он представил биографию родственников. Он, не улыбаясь, ответил:

— Очень большую роль они играли в моей жизни.

И обличье у него было барское: чинный, истовый, немного надменный. Даже в последние годы — без воротника и в картузе — он казался переодетым патрицием. Произношение слов у него было старинное, книжное: он говорил, например, не «на балу», а «на бале». Слова, которые обрусели недавно, он произносил на иностранный манер: не мебель, но мэбль (meuble), не тротуар, но trottoir * (последние две гласные сливал он в одну). Однажды я сказал ему, что в знаменитом стихотворении «Осенний вечер был» слово «сэр» написано неверно, что нельзя рифмовать это слово со словом «ковёр». Он ответил после долгого молчания:

— Вы правы, но для меня это слово звучало турге-

---

* И, вводя это слово в стихи, считал его — по-французски — двусложным: «И сел бы прямо на троттуар». Слово «шлагбаум» было для него тоже двусложным (см. «Незнакомку»). (*Примеч. К. И. Чуковского.*)

невским звуком, вот как если бы мой дед произнес его — с французским оттенком.

Его дед был до такой степени старосветским барином, что при встрече с мужиком говорил:

— Eh bien, mon petit! *

Блок написал о нем в поэме «Возмездие», что «язык французский и Париж ему своих, пожалуй, ближе».

Блока с детства называли царевичем. Отец его будущей жены так и говорил его няне:

— Ваш принц что делает? А наша принцесса уже пошла гулять.

Свадьба его была барская — не в приходской церкви, но в старинной, усадебной. По выходе молодых из церкви их, как помещиков, встретили крестьяне, поднесшие им по-старинному белых гусей и хлеб-соль. Разряженные бабы и девки собрались во дворе и во время свадебного пира величали жениха и невесту, за что им, как на всякой помещичьей свадьбе, высылали деньги и гостинцы.

Женитьба Блока положила конец его «Стихам о Прекрасной Даме»: женился он в августе 1903 года, а последнее его стихотворение, входящее в этот цикл, помечено декабрем того же года. «Стихи о Прекрасной Даме» могли создаваться только в барской семье: нельзя представить себе, чтобы у разночинца, задавленного нуждой и подневольной работой, предбрачная влюбленность была таким длительным, отрешенным от быта, нечеловечески возвышенным чувством.

После женитьбы жизнь Блока потекла почти без событий. Как многие представители дворянского периода нашей словесности — как Боткин, Анненков, Тургенев, Майков, — Блок часто бывал за границей, на немецких и французских курортах, в Испании, скитался по итальянским и нидерландским музеям — посещал Европу, как образованный русский барин, человек сороковых годов XIX века.

4

Такова была внешняя биография Блока: идиллическая, мирная, счастливая, светлая. Но на самом-то деле, как мы только что видели, подлинная его жизнь была совершенно иной: стоит только вместо благополучных «биографических данных» прочесть любое из его сти-

* Ну, малыш! (*фр.*)

хотворений, как идиллия рассыплется вдребезги и благополучие обернется бедой. Куда денется весь этот дворянский уют со всеми своими флердоранжами, форелями, французскими фразами! <...>

Он великолепно умел ощущать свой уют неуютом. И когда наконец его дом был и вправду разрушен, когда во время революции было разгромлено его имение Шахматово, он словно и не заметил утраты. Помню, рассказывая об этом разгроме, он махнул рукой и с улыбкой сказал: «Туда ему и дорога». В душе у него его дом давно уже был грудой развалин.

Это свое имение он смолоду очень любил. «Много места, жить удобно, тишина и благоухание», — писал он когда-то о Шахматове, приглашая туда одного из друзей [10].

И вот вскоре после Октября он ликует, что революционный народ вместе с другими дворянскими гнездами уничтожил и это гнездо.

— Хорошо, — сказал он при мне Зоргенфрею и улыбнулся счастливой улыбкой [11].

Здесь не было ни малейшей рисовки, так как ни к какой позе он органически был не способен. Я за всю жизнь не встречал человека, до такой степени чуждого лжи и притворству. Пожалуй, это было главной чертой его личности — необыкновенное бесстрашие правды. Он как будто сказал себе раз навсегда, что нельзя же бороться за всенародную, всемирную правду, — и при этом лгать хоть в какой-нибудь мелочи. Совесть общественная сильна лишь тогда, если она опирается на личную совесть, — об этом говорил он не раз.

Эту беспощадную правдивость Александра Александровича мне пришлось испытать на себе. В 1921 году в одном из ленинградских театров был устроен его торжественный вечер [12]. Публики набилось несметное множество. Мне было поручено сказать краткое слово о нем. Я же был расстроен, утомлен, нездоров, и моя речь провалилась. Я говорил и при каждом слове мучительно чувствовал, что не то, не так, не о том. Блок стоял за кулисой и слушал, и это еще больше угнетало меня. Он почему-то верил в эту лекцию и многого ждал от нее. Скомкав ее кое-как, я, чтобы не попасться ему на глаза, убежал во тьму, за кулисы.

Он разыскал меня там и утешал, как опасно больного.

Сам он имел грандиозный успех, но всею душою участвовал в моем неуспехе: подарил мне цветок из под-

несенных ему и предложил сняться на одной фотографии. Так мы и вышли на снимке — я с убитым лицом, а он — с добрым, очень сочувственным: врач у постели больного.

Когда мы шли домой, он утешал меня очень, но замечательно — и не думал скрывать, что лекция ему не понравилась.

— Вы сегодня говорили *нехорошо*, — сказал *он*, — очень слабо, невнятно... совсем не то, что прочли мне вчера.

Потом помолчал и прибавил:

— Любе тоже не понравилось. И маме...

Верно сказала о нем артистка Веригина: «У Блока совершенно отсутствовала манера золотить пилюлю»[13].

Даже из сострадания, из жалости он не счел себя вправе отклониться от истины. Говорил ее с трудом, как принуждаемый кем-то, но всегда без обиняков, откровенно.

И мне тогда же вспомнился один давний его разговор с Леонидом Андреевым. Леонид Андреев был почитателем Блока и любил его поэзию до слез. Как-то в Ваммельсуу я пошел с Андреевым на лыжах, и он неподалеку от станции Райвола рухнул в снег и не встал, а когда я попробовал помочь ему встать, оттолкнул мою руку и повторил со слезами:

И матрос, на борт не принятый,
Идет, шатаясь, сквозь буран.
Все потеряно, все выпито!
Довольно — больше не могу...[14]

И назвал эти стихи гениальнейшими. Блок знал о пылкой любви Леонида Андреева, и все же, когда Андреев, еще раз выразив ему свои восторги пред ним, спросил его при мне на премьере одной своей пьесы[15], нравится ли ему эта пьеса, Блок потупился и долго молчал, потом поднял глаза и произнес сокрушенно:

— Не нравится.

И через несколько времени еще сокрушеннее:

— Очень не нравится.

Как будто чувствовал себя виноватым, что пьеса оказалась плохой.

И всегда он говорил свою правду напрямик, не считаясь ни с чем. <...>

Может быть, все это мелочи, но нельзя же делить правду на большую и маленькую. Именно потому, что Блок привык повседневно служить самой маленькой, житейской, скромной правде, он и мог, когда настало время, встать за правду большую.

Много нужно было героического правдолюбия ему, аристократу, эстету, чтобы в том кругу, где он жил, заявить себя приверженцем нового строя. Он знал, что это значит для него — отречься от старых друзей, остаться одиноким, быть оплеванным теми, кого он любил, отдать себя на растерзание своре бешеных газетных борзых, которые еще вчера так угодливо виляли хвостами, но я никогда не забуду, какой счастливый и верующий он стоял под этим ураганом проклятий. Сбылось долгожданное, то, о чем пророчествовали ему кровавые зори. В те дни мы встречались с ним особенно часто. Он буквально помолодел и расцвел. Оказалось, что он, которого многие тогдашние люди издавна привыкли считать декадентом, упадочником, словно создан для борьбы за социальную правду.

«Слов неправды говорить мне не приходилось», — писал он Монахову в год своей смерти; [16] и кто из писателей его поколения, оглядываясь на свой жизненный путь, мог бы то же самое сказать о себе?

Многие долгое время не замечали в нем этого бесстрашия правды. Любили в нем другое, а этого почему-то не видели. Увидели только тогда, когда он мужественно встал один против всех своих близких с поэмой «Двенадцать», с беспощадно-правдивой статьей «Интеллигенция и Революция», а между тем такое мужество борца и воителя было свойственно ему в течение всей его жизни. <...>

5

Осенью восемнадцатого года Горький основал в Ленинграде издательство «Всемирная литература» и пригласил Блока участвовать в ученой коллегии издательства. Александр Александрович вошел в эту коллегию не сразу — насколько я помню, с зимы [17]. В коллегии работал и я. Работа велась под председательством Горького и горячо захватила всех нас.

С каждым днем я взволнованно чувствовал, что доброе расположение Блока ко мне возрастает. В то время я по поручению нашей коллегии пытался составить брошюру «Принципы художественного перевода» (в качестве руководства для молодых переводчиков), и Блок сильно обрадовал меня той неожиданной помощью, какую он с самого начала стал оказывать мне в этом деле. У меня до сих пор уцелели листочки с его собственноручными

заметками, помогавшими мне разобраться в сложной и трудной теме.

Такое же большое участие принял он в моих тогдашних, еще неумелых трудах по изучению поэзии Некрасова, что опять-таки видно из некоторых уцелевших листков с его записями.

На одном из заседаний «Всемирной» мы разговорились с ним об этой поэзии, и я тогда же попросил его ответить на составленный мною «вопросник», на который в свое время уже ответили мне Горький, Маяковский, Брюсов, Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, Гумилев, Анна Ахматова, Максимилиан Волошин, Сергей Городецкий и многие другие.

Воспроизвожу ответы Блока по подлинной рукописи.

— *Любите ли Вы стихи Некрасова?* — Да.

— *Какие стихи Некрасова Вы считаете лучшими?* — «Еду ли ночью по улице темной», «Умолкни, Муза», «Рыцарь на час». И многие другие. «Внимая ужасам».

— *Как вы относитесь к стихотворной технике Некрасова?* — Не занимался ей. Люблю.

— *Не было ли в Вашей жизни периода, когда его поэзия была для вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова?* — Нет.

— *Как относились Вы к Некрасову в детстве?* — Очень большую роль он играл.

— *Как относились Вы к Некрасову в юности?* — Безразличнее, чем в детстве и «старости».

— *Не оказал ли Некрасов влияния на Ваше творчество?* — Кажется, да.

— *Как вы относитесь к известному утверждению Тургенева, что в стихах Некрасова «поэзия и не ночевала»?* — Тургенев относился к стихам, как иногда относились старые тетушки. А сам, однако, сочинил «Утро туманное».

— *Каково Ваше мнение о народолюбии Некрасова?* — Оно было неподдельное и настоящее, то есть двойственное (любовь — вражда). Эпоха заставляла иногда быть сентиментальнее, чем был Некрасов на самом деле.

— *Как Вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был человек безнравственный?* — Он был страстный человек... этим все сказано.

Ал. Блок.

27 июня 1919 г.

Зная, что я пишу о Некрасове книгу, он по пути домой, — а мы все чаще стали уходить с заседаний вдвоем, — нередко заводил разговор о поэте, и я хорошо помню то место на Невском, где среди непроходимых сугробов, под сильной метелью, во мгле, он заговорил о «Коробейниках», как об одном из самых *магических* произведений поэзии, в котором он всегда чувствует буйную вьюгу, разыгравшуюся на русских просторах.

Ой, полна, полна, коробушка, —

проговорил он влюбленно, и я впервые ощутил всеми нервами, какая у Блока с Некрасовым кровная (а не только литературная) связь и какие для него родные стихии: русская вьюга и — поэзия Некрасова.

В ту незабвенную зиму весь Питер был завален снегами, которые громоздились на тротуарах, как горы, так как их некому было убрать. Среди этих гор на мостовой пролегала неширокая тропа для пешеходов, протоптанная тысячами ног. Это был тот зимний Петроград, который Блок увековечил в «Двенадцати».

Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой вьюга, ой вьюга!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!

Когда в одном из юмористических стихов того времени [18] он говорил о себе и о девушке, которую он встретил на улице: «Скользили мы путем трамвайным», это вовсе не значило, что оба они ехали в трамвае, как может подумать современный читатель. Это значило, что они шли по пешеходной тропе, проложенной в снегах вдоль рельсов трамвая.

И теперь стоит мне услышать или прочитать «Коробейников», мне тотчас же привидится Блок на этой пешеходной тропе под разгулявшейся вьюгой, окруженный сугробами той многоснежной зимы, которая — как ощутил я тогда — так чудесно гармонировала со всем его поэтическим обликом.

Здесь мои воспоминания о нем становятся клочковаты и мелки. Но едва ли существует такая деталь, которая могла бы показаться ничтожной, когда дело идет о таком человеке, как Блок. Поэтому я считаю себя обязанным записать на дальнейших страницах всякие — даже мик-

роскопически малые — памятки о наших тогдашних разговорах и встречах.

Раньше всего я должен с благодарностью вспомнить о его неутомимом сотрудничестве в моем рукописном альманахе «Чукоккала». Я счастлив, что у меня осталось от него такое наследство: стихотворные экспромты, послания, отрывки из дневника и даже шуточные протоколы заседаний.

Началось его сотрудничество так: Д. С. Левин, хозяйственник, работавший у нас во «Всемирной», очень милый молодой человек, каким-то чудом добывший для нас, «всемирных литераторов», дрова, однажды обратился к Александру Александровичу с просьбой вписать в его альбом какой-нибудь стихотворный экспромт. Блок тотчас же исполнил его просьбу [19]. С такой же просьбой Левин обратился к Гумилеву. Гумилев тоже написал ему несколько строк. Очередь дошла до меня, и я, разыгрывая из себя моралиста, обратился к поэтам с шутливым посланием, исполненным наигранного гражданского пафоса:

За жалкие корявые поленья,
За глупые сосновые дрова
Вы отдали восторги вдохновенья
И вещие бессмертные слова.

Ты ль это, Блок? Стыдись! уже не роза,
Не Соловьиный сад,
А скудные дары из Совнархоза
Тебя манят.

Поверят ли влюбленные потомки,
Что наш магический, наш светозарный Блок
Мог променять объятья Незнакомки
На дровяной паек.

А ты, мой Гумилев, наследник Лаперуза,
Куда, куда мечтою ты влеком?
Не Суза знойная, не буйная Нефуза, —
Заплеванная дверь Петросоюза
Тебя манит: не рай, но Райлеском.
И барышня из домотопа
Тебе дороже эфиопа!

Гумилев немедленно — тут же на заседании — написал мне стихотворный ответ:

Чуковский, ты не прав, обрушась на поленья,
Обломки божества — дрова.
Когда-то деревам — близки им вдохновенья,
Тепла и пламени слова.

И т. д.

А Блок отозвался через несколько дней. Его стихи представляют собою ответ на мои ламентации по поводу мнимой измены «Незнакомке» и «Соловьиному саду». Уже в первой строке своего стихотворения он самым причудливым образом подменяет романтическую розу, упомянутую в моем обращении к нему, другой Розой, чрезвычайно реальной: Розой Васильевной, тучной торговкой, постоянно сидевшей на мраморной лестнице нашей «Всемирной» с папиросами и хлебными лепешками, которые она продавала нам по безбожной цене. Это была пожилая молчаливая женщина, и кто мог в те времена предсказать, что ей будет обеспечена долгая жизнь в поэтическом наследии Блока?

Стихотворение начинается так:

Нет, клянусь, довольно Роза
Истощала кошелек!
Верь, безумный, он — не проза,
Свыше данный нам паек!
Без него теперь и Поза
Прострелил бы свой висок.
Вялой прозой стала роза,
Соловьиный сад поблек.
Пропитанию угроза —
Уж железных нет дорог.
Даже (вследствие мороза?)
Прекращен трамвайный ток.
Ввоза, вывоза, подвоза —
Ни на юг, ни на восток,
В свалку всякого навоза
Превратился городок...

И т. д.

В стихотворении перечисляются те тяготы тогдашнего многотрудного быта, которые в настоящее время стали уже древней историей. Отдавая мне эти стихи для «Чукоккалы», Блок сказал, что он сочинил их по пути из «Всемирной», но когда стал записывать их, многое успел позабыть и теперь уже не может припомнить.

Заканчивалось стихотворение бодрыми, мажорными строчками, в которых Блок весело отметал от себя мою шутливую апелляцию к потомкам:

А далекие потомки
И за то похвалят нас,
Что не хрупки мы, не ломки,
Здравствуем и посейчас
(Да-с!).

Иль стихи мои не громки?
Или плохо рвет постромки
Романтический Пегас,
Запряженный в тарантас? [20]

Стихи чеканные, крепкие, звонкие. Самое совершенство их формы говорило, казалось бы, о душевном здоровье Блока, о том, что он и вправду «не хрупок и не ломок».

Еще больше радости доставило мне другое блоковское стихотворение, написанное для той же «Чукоккалы». Оно вызвано моей нерадивостью. Однажды нашей коллегией было поручено мне написать (для редактируемого Блоком собрания сочинений Гейне) статью «Гейне в Англии». За недосугом я не исполнил своего обещания. Блок напоминал раза два, но я хворал и был завален другими работами. Тогда он прибег к последнему средству — к стихам. Эти стихи — вернее, небольшая театральная пьеска — представляют собой единственный поэтический памятник нашей «Всемирной». Пьеска озаглавлена «Сцена из исторической картины „Всемирная литература"», и в ней изображается то заседание, па котором было предложено мне написать эту злополучную статейку о Гейне. В начале пьески я на все уговоры отвечаю отказом, причем Блок с удивительной точностью (нисколько не утрируя) перечисляет те до смешного разнообразные темы, над которыми мне, как и многим из нас, приходилось в ту пору работать:

Чуковский
(с воплем)

Мне некогда! Я «Принципы» пишу! *
Я гржебинские списки составляю! **
«Персея» инсценирую! Некрасов
Еще не сдан! Введенский, Диккенс, Уитмен
Еще загромождают стол. Шевченко,
Воздухоплаванье...

Блок

Корней Иваныч!
Не вы один! Иль не в подъем? Натужьтесь!
Кому же, как не вам?

---

* «Принципы художественного перевода» — брошюра о которой было сказано выше. (*Примеч. К. И. Чуковского.*)

** Списки лучших книг для издательства З. И. Гржебина руководимого Горьким. (*Примеч. К. И. Чуковского.*)

З а м я т и н

Ему! Вестимо —
Чуковскому!

Б р а у д о

Корней Иваныч, просим!

В о л ы н с к и й

Чуковский сочинит свежо и нервно!

И так дальше — несколько страниц. В приведенном отрывке встречаются такие слова, чуждые стилистике Блока, как: «натужьтесь», «не в подъем», «вестимо». Все это отзвуки того псевдорусского стиля, с каким мы столкнулись незадолго до этого в пьесе Александра Амфитеатрова «Васька Буслаев». Амфитеатров читал эту пьесу у нас во «Всемирной», и я тогда же заметил, как коробила Блока ее словесная ткань.

Реплики всех персонажей, изображенных в блоковских «Сценах», чрезвычайно типичны для этих людей: Аким Волынский, например, очень любил слово «нервно» (в его произношении: «негвно»), охотно применял это слово к написанным мною статьям, причем по его интонации можно было понять, что моя «нервность» — равно как и «свежесть» — не вызывает в нем большого сочувствия.

Браудо, медоточиво-любезный профессор, всегда интенсивно поддакивал тому, что говорили другие, и присоединялся ко всякому большинству голосов:

Корней Иваныч, просим!

Столь же тонко был охарактеризован своей речевой манерой директор нашего издательства Александр Николаевич Тихонов (Серебров), единственный среди нас деловой человек, очень властный и требовательный. На заседаниях нашей коллегии он всегда говорил сжато, отрывисто — и только о деле. Блок чудесно отразил его характер в ритмическом рисунке его фраз.

«Реплики этого л и ц а, — указал он в примечании к п ь е с к е, — имеют только мужские окончания».

И придал каждой реплике сухую обрывчатость:

Кому ж такую поручить статью?
. . . .
Итак, Корней Иваныч, сдайте нам
Статью в готовом виде не поздней,
Чем к рождеству.

Читая теперь эти краткие реплики, я слышу голос покойного «Тихоныча», вижу его строгое лицо. Даже в домашней, непритязательной шутке Блок оставался художником [21].

В большинстве чукоккальских записей Блока нередко отражается его малоизвестное качество — юмор. Люди, знавшие его лишь по его лирическим книгам, не могут даже представить себе, сколько мальчишеского смеха было в этом вечно печальном поэте. Он любил всякие литературные игры, шарады, буриме, пародии, эпиграммы и т. д. и сам охотно принимал в них участие. <...>

Самое позднее из его стихотворений, написанных для «Чукоккалы» («Как всегда, были смешаны чувства»), возникло у меня на глазах. Оно было создано в 1921 году на заседании «Всемирной», во время нудного, витиеватого доклада, который явно угнетал его своим претенциозным пустословием. Чтобы дать ему возможность отвлечься от слушания этих ученых банальностей, я пододвинул к нему свой альманах и сказал: «Напишите стихи». Он тихо спросил: «О чем?» Я сказал: «Хотя бы о вчерашнем». Накануне мы блуждали по весеннему Питеру и встретили в одном из учреждений дочь знаменитого анархиста Кропоткина, с которой я был издавна знаком. Об этой встрече Блок написал в своем последнем экспромте, закончив его такими стихами, которые передают впечатление, произведенное на него Александрой Кропоткиной:

Как всегда, были смешаны чувства,
Таял снег, и Кронштадт палил.
Мы из лавки Дома искусства
На Дворцовую площадь брели...

Вдруг — среди приемной советской,
Где «все могут быть сожжены» *, —
Смех, и брови, и говор светский
Этой древней Рюриковны [22].

В то трехлетие (1919—1921) мы встречались с ним очень часто — и почти всегда на заседаниях: в Союзе деятелей художественной литературы, в Правлении Союза писателей, в редакционной коллегии издательства

* В приемной висело объявление, что каждый из умерших граждан Петрокоммуны «имеет право быть сожженным» в Ленинградском государственном крематории, который к тому времени не был построен. (*Примеч. К. И. Чуковского.*)

Гржебина, в коллегии «Всемирной литературы», в Высшем совете Дома искусств, в Секции исторических картин и др.

Через несколько месяцев нашей совместной работы у него мало-помалу сложилась привычка садиться со мною рядом и изредка (всегда неожиданно) обращаться ко мне с односложными фразами, не требующими никакого ответа.

Перелистывает, например, сочинения Лермонтова и долго рассматривает помещенный там карандашный набросок Д. Палена, изображающий поэта «очень русским», простым офицером в измятой походной фуражке, и, придвигая книгу ко мне, говорит:

— Не правда ли, Лермонтов только такой? Только на этом портрете? На остальных — не он.

И умолкает, будто и не говорил ничего.

Вот он с такой же внезапностью рассказывает, тихо улыбаясь, что на днях, когда он дежурил у ворот своего дома на Пряжке, какой-то насмешливый прохожий поглядел на него и громко, нараспев процитировал строки из его «Незнакомки»:

И каждый вечер в час назначенный
(Иль это только снится мне?)...

И опять надолго умолкает. Видно, что ирония прохожего ему по душе.

Вообще чужая ирония никогда не уязвляла его. Он, например, не только не обижался на тех, кто высмеивал его «декадентщину», но часто и сам как бы присоединялся к смеющимся. Помню, как смешили его пародии Измайлова и даже грубияна Буренина, беспардонно глумившихся над теми из его стихотворений, которые носили отпечаток высоких и мучительных чувств.

В последнее время он очень тяготился заседаниями, так как те, с кем он заседал (особенно двое из них), возбуждали в нем чувство вражды. Началось это с весны 1920 года, когда он редактировал сочинения Лермонтова.

Он исполнил эту работу по-своему и написал такое предисловие, какое мог написать только Блок.

Помню, он был очень доволен, что привелось поработать над любимым поэтом, и вдруг ему сказали на одном заседании, что его предисловие не годится, что в Лермонтове важно не то, что он видел какие-то сны, а то, что он был «деятель прогресса», «большая культурная сила»,

и предложили написать по-другому, в более популярном, «культурно-просветительном» тоне.

Блок не сказал ничего, но я видел, что он оскорблен. Чем больше Блоку доказывали, что надо писать иначе («дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал «На смерть Пушкина»), тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось его лицо.

С тех пор и началось его отчуждение от тех, с кем он был принужден заседать. Это отчуждение с каждой неделей росло. Он отстранился от всякого участия в нашей работе, только заседал и молчал.

Чаще всего Блок говорил с Гумилевым. У обоих поэтов шел нескончаемый спор о поэзии. Гумилев со своим обычным бесстрашием нападал на символизм Блока:

— Символисты — просто аферисты. Взяли гирю, написали на ней: десять пудов, но выдолбили середину, швыряют гирю и так и сяк, а она — пустая.

Блок однотонно отвечал:

— Но ведь это делают все последователи и подражатели — во всяком течении. Символизм здесь ни при чем. Вообще же то, что вы говорите, для меня не русское. Это можно очень хорошо сказать по-французски...

Их откровенные споры завершились статьею Блока об акмеизме, где было сказано много язвительного о теориях Н. Гумилева. Статья была предназначена для затеваемой нами «Литературной газеты». Но статье не суждено было увидеть свет, так как «Литературная газета» не вышла[23].

Спорщики не докончили спора...

Помню также разговоры Александра Александровича и с другим нашим товарищем по работе — замечательным востоковедом, академиком Игнатием Юлиановичем Крачковским, человеком колоссальной учености, очень замкнутым, обаятельно скромным. Блок много расспрашивал его о египтянах — для своей исторической картины «Рамзес». Особенно запомнился мне один из их разговоров весною двадцатого года, когда вдруг обнаружилось, что два профессора, которые всю зиму работали с нами, тайно покинули Питер, ушли в эмиграцию и (по слухам, почти достоверным) стали в эмигрантских газетных листках клеветать на оставшихся.

И Блок и Крачковский говорили о них не то чтобы со злобой, но с брезгливостью. Мне и в голову не приходило,

что уравновешенный, тихий Крачковский может так горячо волноваться.

Позже, в 1921 году, Блок затвердил наизусть стихотворение Анны Ахматовой, где выражено такое же осуждение ушедшим:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда...

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Он прочитал это стихотворение мне и ныне здравствующему С. М. Алянскому и сказал:

— Ахматова права. Это недостойная речь. Убежать от русской революции — позор.

Когда весной 1921 года возникла мысль об издании «Литературной газеты», Блок написал небольшую статью об эмигрантской печати и предложил мне, как одному из редакторов, поместить ее в газете без подписи, в качестве редакционной статьи[24].

Вот эта статья (цитирую по рукописи):

«Зарубежная русская печать разрастается. Следует отметить значительное изменение ее тона по отношению к России и к литературным собратьям, которые предпочли остаться у себя на родине. Впрочем, это естественно. Первые бежавшие за границу были из тех, кто совсем не вынес ударов исторического молота; когда им удалось ускользнуть (удалось ли еще? Не настигнет ли их и там история? Ведь спрятаться от нее невозможно), они унесли с собой самые сливки первого озлобления; они стали визгливо лаять, как мелкие шавки из-за забора; разносить вместе с обрывками правды самые грязные сплетни и небылицы. Теперь голоса этих господ и госпож Даманских всякого рода замолкают; разумеется, отдельные сплетники еще не унимаются, но их болтовня — обыкновенный уличный шум; появляется все больше настоящих литературных органов, сотрудникам которых понятно, что с Россией и со всем миром случилось нечто гораздо более важное и значительное, чем то, что г-жам Даманским приходилось читать лекции проституткам, есть капусту и т. и.[25]. Русские за рубежом понимают все яснее, что

одним «скверным анекдотом» ничего не объяснишь, что» жалобы, вздохи и подвизгивания ничему не помогут... «Литературная газета» намерена в будущем, по море возможности, освещать этот перелом, наступивший в области русской мысли. Она радуется тому, что в Европе раздались наконец настоящие русские голоса, что с людьми можно наконец спорить или соглашаться серьезно. Возражать всякой литературной швали, на которой налипла, кроме всех природных пошлостей, еще и пошлость обывательской эмигрантщины, у нас никогда не было потребности, но разговаривать свободно, насколько мы сможем, с людьми, говорящими по-человечески, мы хотим...»

Я забыл сказать, что в последние годы жизни — с 1919 года — Блок был одним из директоров петроградского Большого театра, председателем его управления. Всей душой он прилепился к театру, радостно работал для него: объяснял исполнителям их роли, истолковывал готовящиеся к постановке пьесы, произносил вступительные речи перед началом спектаклей, неизменно возвышал и облагораживал работу актеров, призывал их не тратить себя на неврастенические «искания» и дешевые «новшества», а учиться у Шекспира и Шиллера.

«В сладострастии «исканий», — говорил он им в, одной из своих речей (5 мая 1920 года), — нельзя не устать; горный воздух, напротив, сберегает силы. Дышите же, дышите им, пока можно; в нем — наша защита... Вы вашим скромным служением великому бережете это великое; вы, как ни страшно это сказать, вашей самоотверженной работой спасаете то немногое, что должно быть и будет спасено в человеческой культуре».

Актеры любили своего вдохновителя. «Блок — наша совесть», — говорил мне режиссер А. Н. Лаврентьев. «Мы чтили его по третьей заповеди», — сказал знаменитый артист Н. Ф. Монахов. Блок чувствовал, что эта любовь непритворная, и предпочитал среду актеров литературной среде. Особенно любил он Монахова. «Это великий художник, — сказал он мне во время поездки в Москву (в устах Блока то была величайшая похвала, какую может воздать человек человеку). — Монахов — железная воля. Монахов — это — вот» (и он показал крепко сжатый кулак). Я помню его тихое восхищение игрою Монахова в «Царевиче Алексее» и в «Слуге двух господ». Мы сидели в его директорской ложе, и он простодушно оглядывался: нравится ли и нам? понимаем ли? — и, видя,

что мы тоже в восторге, успокоенно и даже благодарно кивал нам. Успехи актеров он принимал очень близко к сердцу и так радовался, когда им аплодировали, словно аплодируют ему.

6

Тогда об этом никто не догадывался, да и мне это было в те годы неясно, — но теперь, когда его жизнь отодвинулась в далекое прошлое, я, вспоминая многие подробности тогдашних наших встреч и бесед, прихожу к убеждению, что с самого начала 1920 года его силы стал подтачивать какой-то загадочный, неизлечимый недуг, который и свел его так скоро в могилу. Мы видели его глубокую скорбь и не понимали, что это скорбь умирающего. Когда в последний раз он был в Москве и выступил в Доме печати с циклом своих стихов, на подмостки взошел вслед за ним какой-то ожесточенный «вития» и стал доказывать собравшейся публике, что Блок, как поэт, уже умер [26].

— Я вас спрашиваю, где здесь динамика? Это стихи мертвеца, и написал их мертвец.

Блок наклонился ко мне и сказал:

— Это правда.

И хотя я не видел его, я всею спиною почувствовал, что он улыбается.

— Он говорит правду: я умер.

Тогда я возражал ему, но теперь вижу, что все эти последние годы, когда я встречался с ним особенно часто и наблюдал его изо дня в день, были годами его умирания. Болезнь долго оставалась незаметной. У него еще хватало силы таскать на спине из дальних кооперативов капусту, рубить обледенелые дрова, но даже походка его стала похоронная, как будто он шел за своим собственным гробом. Нельзя было без боли смотреть на эту страшную неторопливую походку, такую величавую и такую печальную.

Его творческие силы иссякли. Великий поэт, воплощавший чаяния и страсти эпохи, он превратился в рядового поденщика: то составлял вместе с нами каталоги для издательства Гржебина, то с головой уходил в редактирование переводов из Гейне, то по заказу редакционной коллегии деятелей художественного слова писал рецензии о мельчайших поэтах, которых не увидишь ни в какой

микроскоп, и таких рецензий было много, и работал он над ними усидчиво, но творческий подъем, всегда одушевлявший его, сменился глубочайшей депрессией.

Особенно томило его то, что он не может найти в себе силы закончить работу над своей поэмой «Возмездие»; вторая глава так и осталась неоконченной, а четвертая даже не была начата[27].

И это не потому, что у него не было времени, и не потому, что условия его жизни стали чересчур тяжелы, а по другой, более грозной причине. Конечно, его жизнь была тяжела: у него даже не было отдельной комнаты для занятий; часто из-за отсутствия света он по неделям не прикасался к перу. И едва ли ему было полезно ходить почти ежедневно пешком такую страшную даль — с самого конца Офицерской на Моховую, во «Всемирную литературу». Но не это тяготило его. Этого он даже не заметил бы, если бы не та жестокая тоска, которая исподволь подкралась к нему.

Я спрашивал у него, почему он не пишет стихов. Он постоянно отвечал одно и то же:

— Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?

«Новых звуков давно не слышно, — говорил он в письме ко мне. — Все они притушены для меня, как, вероятно, для всех нас... Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве».

Прежде пространство звучало для него так или иначе, и у него была привычка говорить о предметах: «Это музыкальный предмет», или: «Это немузыкальный предмет». О юбилее Горького он написал мне в «Чукоккалу», что этот день был «не пустой, а музыкальный»[28].

Он всегда не только ушами, но всей кожей, всем существом ощущал окружавшую его «музыку мира». В предисловии к поэме «Возмездие» он пишет, что в каждую эпоху его жизни все проявления этой эпохи имели для него один музыкальный смысл, создавали единый музыкальный напор. Вслушиваться в эту музыку он умел, как никто. Поистине, у него был сейсмографический слух: задолго до войны и революции он уже слышал их музыку.

Эта-то музыка и прекратилась теперь, хотя перед тем, как затихнуть, он был весь переполнен музыкой, — один из тех баловней музыки, для которых творить — значит

вслушиваться, которые не знают ни натуги, ни напряжения в творчестве.

Написать в один день два, три, четыре, пять стихотворений подряд было для него делом обычным. За десять лет до того января, когда он написал свои «Двенадцать», выдался другой такой январь, когда в пять дней он создал *двадцать шесть* стихотворений — почти всю свою «Снежную маску»: 3 января 1907 года он написал шесть стихотворений, четвертого — пять, восьмого — три, девятого — шесть, тринадцатого — шесть. В сущности, не было отдельных стихотворений Блока, а было одно, сплошное, неделимое стихотворение всей его жизни; его жизнь и была стихотворением, которое лилось непрерывно, изо дня в день, двадцать лет, с 1898-го по 1918-й.

Оттого так огромен и многознаменателен факт, что это стихотворение вдруг прекратилось. Никогда не прекращалось, а теперь прекратилось. Человек, который мог написать об одной только Прекрасной Даме, на одну только тему 687 стихотворений подряд, 687 любовных гимнов одной женщине, — невероятный молитвенник! — вдруг замолчал совсем и в течение нескольких лет не может написать ни строки!

7

Мне часто приходилось читать, что лицо у Блока было неподвижное. Многим оно казалось окаменелым, похожим на маску, но я, вглядываясь в него изо дня в день, не мог не заметить, что, напротив, оно всегда было в сильном, еле уловимом движении. Что-то вечно зыбилось и дрожало возле рта, под глазами, как бы втягивало в себя впечатления. Его спокойствие было кажущимся. Тому, кто долго и любовно всматривался в его лицо, становилось ясно, что это лицо человека чрезмерно впечатлительного, переживающего каждое впечатление, как боль или радость. Бывало, скажешь какое-нибудь случайное слово и сейчас же забудешь, а он придет домой и спустя час или два звонит по телефону.

— Я всю дорогу думал о том, что вы сказали сегодня. И потому хочу вас спросить... — и т. д.

В присутствии людей, которых он не любил, он был мучеником, потому что всем телом своим ощущал их

присутствие: оно причиняло ему физическую боль. По крайней мере, так было тогда — в последние годы его жизни. Стоило войти такому нелюбимому в комнату, и на лицо Блока ложились смертные тени. Казалось, что от каждого предмета, от каждого человека к нему идут невидимые руки, которые царапают его.

Когда мы были в Москве и он должен был выступать перед публикой со своими стихами, он вдруг заметил в толпе одного неприятного слушателя, который стоял в большой шапке-ушанке неподалеку от кафедры. Блок, через силу прочитав два-три стихотворения, ушел из залы и сказал мне, что больше не будет читать. Я умолял его вернуться на эстраду, я говорил, что этот в шапке — один, но глянул в лицо Блока и умолк. Все лицо дрожало мелкой дрожью, глаза выцвели, морщины углубились.

— И совсем он не один, — говорил Блок. — Там все до одного в таких же шапках!

Его все-таки уговорили выйти. Он вышел хмурый и вместо своих стихов прочел, к великому смущению собравшихся, латинские стихи Полициана:

Кондитус хик эг*о* сум п*и*ктуре ф*а*ма Филиппус,
Нулль игнот*а* меэ гр*а*циа мира ман*у*с...[29]

И т. д.

Именно эта гипертрофия чувствительности сделала его великим поэтом.

Поехал он в Москву против воли. Как-то в разговоре он сказал мне с печальной усмешкой, что стены его дома отравлены ядом[30], и я подумал, что, может быть, поездка в Москву отвлечет его от домашних печалей. Ехать ему очень не хотелось, но я настаивал, надеясь, что московские триумфы подействуют на него благотворно. В вагоне, когда мы ехали туда (вместе с Алянским), он был весел, разговорчив, читал свои и чужие стихи, угощал куличом и только иногда вставал с места, расправлял больную ногу и, улыбаясь, говорил: *болит!* (Он думал, что у него подагра.)

В Москве болезнь усилилась, ему захотелось домой, но надо было каждый вечер выступать на эстраде. Это угнетало его. «Какого черта я поехал?» — было постоянным рефреном всех его московских разговоров. Когда из Дома печати, где ему сказали, что он уже умер, он на-

правился в Итальянское общество, в Мерзляковский переулок, часть публики пошла вслед за ним. Была Пасха, был май, погода была южная, пахло черемухой. Блок шел в стороне от всех, вспоминая свои «Итальянские стихотворения», которые ему предстояло читать. Никто не решался подойти к нему, чтобы не помешать ему думать. В этом было много волнующего: по озаренным луной переулкам молча идет одинокий печальный поэт, а за ним, на большом расстоянии, с цветами в руках, благоговейные *любящие,* которые словно чувствуют, что это последние проводы. В Итальянском обществе Блока встретили с необычайным радушием, и он читал свои стихи упоительно, как еще ни разу не читал их в Москве: медленно, певучим, густым, страдальческим голосом. На следующий день произошло одно печальное событие, которое и показало мне, что болезнь его тяжела и опасна. Он читал свои стихи в Союзе писателей, потом мы пошли в ту тесную квартиру, где он жил (к проф. П. С. Когану), сели нить чай, а он ушел в свою комнату и, вернувшись через минуту, сказал:

— Как странно! До чего все у меня перепуталось. Я совсем забыл, что мы были в Союзе писателей, и вот сейчас хотел сесть писать туда письмо, извиниться, что не могу прийти.

Это испугало меня: в Союзе писателей он был не вчера, не третьего дня, а сегодня, десять минут н а з а д , — как же мог он забыть об этом — он, такой внимательный и памятливый! А на следующий день произошло нечто, еще больше испугавшее меня. Мы сидели вечером за чайным столом и беседовали. Я что-то говорил, не глядя на него, и вдруг, нечаянно подняв глаза, чуть не крикнул: передо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно непохожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие. И главное: он был явно отрезан от всех, слеп и глух ко всему человеческому.

— Вы ли это, Александр Александрович? — крикнул я, но он даже не посмотрел на меня.

Я и теперь, как ни напрягаюсь, не могу представить себе, что это был тот самый человек, которого я знал двенадцать лет. Я взял шляпу и тихо вышел. Это было мое последнее свидание с ним.

Из Москвы он воротился в Петербург — умирать. Умирал он долго и мучительно.

Я написал ему несколько сочувственных слов. Он отозвался в тот же день:

«На Ваше необыкновенно милое и доброе письмо я хотел ответить как следует. Но сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается и все всегда болит... Итак, «здравствуем и посейчас» сказать уже нельзя... В Вас еще много сил, но есть и в голосе, и в манере, и в отношении к внешнему миру, и даже в последнем письме — надорванная струна.

«Объективно» говоря, может быть, еще поправимся.

Ваш *Ал. Блок»* [31].

Летом я был вынужден уехать в деревню и там получил письмо, причинившее мне тоскливую боль. Писала одна знакомая Блока, близкий его семье человек:

«Болезнь развивалась как-то скачками, бывали периоды улучшения, в начале июля стало казаться, что он поправляется. Он не мог уловить и продумать ни одной мысли, а сердце причиняло все время ужасные страдания, он все время задыхался. Числа с двадцать пятого наступило резкое ухудшение, думали его увезти за город,. но доктор сказал, что он слишком слаб и переезда не выдержит. К началу августа он уже почти все время был в забытьи, ночью бредил и кричал страшным криком, которого во всю жизнь не забуду. Ему впрыскивали морфий, но это мало помогало... Перед отъездом я по телефону узнала о смерти и побежала на Офицерскую... В первую минуту я не узнала его. Волосы черные, короткие, седые виски; усы, маленькая бородка; нос орлиный. Александра Андреевна сидела у постели и гладила его руки... Когда Александру Андреевну вызывали посетители, она мне говорила: «Пойдите к Сашеньке», и эти слова, которые столько раз говорились при жизни, отнимали веру в смерть... Место на кладбище я выбрала сама — на Смоленском, возле могилы деда, под старым кленом... Гроб несли на руках, открытый, цветов было очень много».

ЛЕОНИД БОРИСОВ

О БЛОКЕ

1

Голос Блока звучал людям моего поколения, мы читали его стихи с чувством, близким к восторгу, и мысль, что любимый нами человек жив и что квартира его в каких-нибудь сорока минутах ходьбы от наших домов, казалась порою невероятной. Происходило это потому, что музыка его стихов, легкая прелесть его речи, очарование его строф воспринимались нами скорее как создание получившей дар слова природы, но никак не результат работы, усилий человека, который держит в руках перо. Даже не «лучшие слова в лучшем порядке», а самые необходимые слова в роковые минуты.

В конце 1919 года я увидел Блока в Доме искусств на Мойке.

Там собирались молодые и старые поэты, они читали стихи. Это был не столько Дом искусств, сколько Дом искусства писать стихи. Этому там учил один большой русский поэт [1], но ни одного ученика не оставил нам на память: кто был поэтом, тот и без помощи учителя остался бы им, кто был версификатором только, тот научился писать «под своего учителя». Из студии при Доме искусств вышла группа стихотворцев «Звучащая раковина» [2]. Но в ней по-настоящему звучал лишь один Константин Вагинов. Стихи на вечерах читались не просто, а по-особенному, с каким-то сладострастным воем и сюсюканьем, нараспев и не в полную силу голоса.

Однажды я по наивности и малому опыту своему прочитал свои стихи, и мне потом сказали:

— Ваши стихи очень старинного склада, они какие-то не то плещеевские, не то полонские. В следующий раз

вы будете читать в конце вечера, а то никто не хочет выступать после ваших таких нивских, таких огоньковских стихов...

И ни в конце, и ни в начале не выпускали меня на вечерах, ибо я портил антураж, читал так, как я говорю, и руками не отсчитывал стопы, и делать фокусов с пеонами не умел. Изысканная публика немедленно же причислила меня к разряду глубоких провинциалов.

Вагинов сказал мне однажды:

— Блок пришел.

— Где он?

Блок стоял за моей спиной. Он был окружен толпою студистов, его спрашивали, в него вглядывались. Блок кому-то отвечал:

— Неверно, не согласен! Так не бывает. «Сочинитель» — слово не без иронии, а слово «поэт» употреблять в стихах можно, как и всякое другое, но не следует делать упор на него, — нужно поставить его так, чтобы смысл заключался в целой фразе, из которой слово «поэт» возможно выключить. И без него осязаешь, в чем суть.

Девица в атласном платье спросила:

— А каким размером лучше всего писать?

Блок рассмеялся, пожал плечами. Девица ожидала ответа. И Блок удостоил ее сентенцией:

— Все размеры хороши, берите тот, в котором вы наиболее непосредственны!

Девица запомнила совет и, надо думать, помнит его до сих пор, рассказывая знакомым, как она когда-то приобщалась тайнам искусства. На одном из вечеров девица эта читала стихи. Там имелись такие строки:

О, сколько встреч, таких неясных,
И чуть припудренный висок!

От искусственно сделанных стихов (а их делали, приготовляли, вышивали, мочили и подкрашивали) можно было серьезно заболеть и самому задекламировать о фиалках и хризантемах. Беда всех этих версификаторов заключалась в том, что их стихи были безупречны по форме и пусты по содержанию своему, — в них ровно ничего не было, они и на грош ничего не значили.

Блок говорил, что у подлинного поэта из десяти написанных им стихов шесть могут быть слабыми, только удовлетворительными. Блок ненавидел виршеплетство, лишенную мысли гибкость — за нею он укладывал приспо-

собляемость, фальшь, лицемерие. Он сказал как-то, что способны вообще все люди, но талантливы далеко не все. Молодому, начинающему стихотворцу Блок прощал и техническую вялость, и недочеты, и длинноты, и погрешности в размере — прощал весьма многое, но лишь в том случае, если в стихах присутствовала мысль, подлинное чувство.

Георгий Иванов в присутствии Блока заявил однажды, что поэзия представляет собою забаву, искусство веселое и приятное. Блок заметил на это:

— Н-да. Не за это ли убили Пушкина и Лермонтова?

Встал и ушел. Георгий Иванов продолжал шепелявить о Готье и Малларме. По мнению Георгия Иванова, поэтом можно всегда сделаться — достаточно изучить искусство версификации, знать французский язык, из всех знаний вытянуть по грошику...

Необходимо помнить: после того как Блок написал «Двенадцать», его нарочно злили, раздражали, не подавали ему руки, делали вид, что не замечают его, замечая в то же время подчеркнуто и нагло. Я наблюдал, как некий литературный хам толкнул Блока в столовой Дома искусств и, подумав, толкнул еще раз. Переводчица Анна Васильевна Ганзен, старая почтенная женщина, сказала хаму:

— Что ж это вы озорничаете?

И получила в ответ:

— Черт с вами со всеми! Работайте с ними...

За этим грубым и лишенным подтекста ответом стояла большая группа литераторов, ставших вскоре эмигрантами. Уверен, что Блок превосходно провидел будущее каждого из этой группы. Блок был из тех редких людей, которые обладали даром предвидения, предчувствия, — вся поэзия его такова. И не только одни стихи его есть *Блок,* — именем этим сегодня мы обозначаем эпоху, время, атмосферу и целый мир.

Близкий к Блоку человек рассказывал: зашел разговор о зависти. Вспомнили Сальери, завистников по службе, по литературе.

— Что такое зависть? — спросили спорящие. — Как определить ее, какими словами пояснить ее и себе и людям? И чувствует ли завистник, что он завидует?

— Нет, не чувствует, — сказал Блок. — Он, завидующий, предполагает наличие несправедливости, учиненной по отношению к нему, завидующему. Дайте и ему то же самое, что и у других, и он перестанет завидовать. Сле-

довательно, зависть — это самомнение. Он думает: то, что сделал мой сосед, могу сделать и я.

— А если он, завидующий, и в самом деле может? — спросили Блока.

— Нет, не может. Может тот, кто не завидует. Наиболее безупречная форма зависти — это завидовать потомкам. Мы, мол, нечто сделали, — вот какие мы, а потомки будут пользоваться! Потомкам всегда завидовали. Все русские писатели завидовали им. Пимен у Пушкина работает ради потомков. Но это, конечно, уже не просто и не только зависть, то есть не одно лишь самомнение...

На одном из вечеров в Доме литераторов читал свои стихи Федор Сологуб. Длинноволосый юноша воскликнул:

— Ничего особенного, чепуха!

Блок, сидевший неподалеку, беззлобно заметил:

— Не завидуйте, молодой человек!

Молодой человек смутился, захлопал глазами, спросил соседа:

— Кто это?

Ему сказали. Молодой человек пересел на другое место. Недели через две этот длинноволосый читал свои стихи в Доме искусств, ему сделали замечание:

— В ваших стихах, товарищ, несомненно влияние Федора Сологуба и Блока. Своего у вас очень мало...

2

...Слева от Блока шел Константин Вагинов, поэт несправедливо забытый, закрытый от молодежи нашей, справа — поэт и прозаик Сергей Колбасьев, позади Блока шагали я и Валентин Стэнич — настоящая его фамилия Сметанич. Это о нем писал Блок в своем очерке «Русские дэнди». И потому, наверное, думая, что он может быть узнан, Стэнич высоко поднял воротник осеннего пальто, на глаза нахлобучил шляпу.

Это я придумал провожать Блока до его дома на углу Пряжки и Офицерской, еще не получившей нового названия улицы Декабристов. В Доме искусств был литературный вечер, читали стихи Блок, Пяст, Оцуп, Рождественский. Наша компания слушала только Блока[3].

— Блок уже одевается, — сообщил я своим приятелям (мы торчали в артистической — большой комнате, в ней хоть на велосипеде катайся). — Сейчас попрошу у него позволения, хорошо?

— Оп в дурном настроении, не разрешит, — сказал маленький, щупленький, печальноглазый Вагинов. — Ты его особенно не беспокой, будь повежливее, не напрашивайся на проводы...

Я даже ногой шаркнул, подходя к Блоку.

— Александр Александрович, мы хотим проводить вас до дому, — разрешите, пожалуйста! Мы постараемся ничем не потревожить вас...

— Пожалуйста, — пожав плечами, невыразительно, тусклым голосом ответил Блок.

Я побежал вниз, в раздевалку, за мною на манер тринадцатилетних школьников кинулись Стэнич, Колбасьев, Вагинов. Спустя две-три минуты мы шли по хрустящему, поющему снегу; был январь двадцатого года, метель репетировала ночную вьюгу в лирической постановке блоковских строф. Стэнич шепнул мне:

— Погода блоковская, — люблю!

Колбасьев начал разговор. Он стал расспрашивать нашего высокого спутника о его новых стихах, почему их не читает на вечерах.

— Вон, смотрите, Александр Александрович, все старые стихи читают по требованию, только по требованию, а вы...

— У меня нет новых стихов, — тягуче, с трудом произнося каждое слово, ответил Блок. — Я уже не пишу стихов...

И добавил так тихо, что я, шагавший позади него, едва услыхал:

— Очень устал я...

Все молчали. Снег отчаянно визжал и стонал под нашими ногами. Мы переходили площадь с памятником Николаю в центре.

Ближе к решетке Мойки потрескивал костер, искры взлетали невысоко и гасли. У костра никого не было. Блок прибавил шагу, дважды оглянулся, улыбкой приглашая нас следовать за ним. Минуты три спустя он сидел на деревянном обрубке и грел руки, довольно щурясь. Я внимательно оглядел его лицо: усталое, больное, с глазами, обведенными темно-коричневыми кругами, но хорошо выбритое, красивое. Не только потому, что я всегда соединяю внешность поэта с его стихами, и если люблю чьи-либо стихи, то для меня всегда прекрасно и лицо автора их... Блок воистину был красив, интере-

с е н, — лучшим определением его внешности будет слово «неотразим».

Мои приятели залюбовались Блоком. Они сидели на корточках и руки держали над огнем, не отводя в то же время взгляда от Блока. Он это заметил, ему это, несомненно, польстило, он благодарно оглядел каждого, сказал:

— Какая великая вещь огонь! Приходила ли кому из вас в голову мысль написать стихи про печку? Я не говорю о к а м и н е, — это уже другая тема, это уже не огонь это место встреч, р а з л у к и, — нет, я имею в виду огонь — гнездо тепла, жара, очищения...

Мы молча несколько раз согласно кивнули головами, ожидая продолжения столь блестяще начатого собеседования. Кто-то — кажется, Вагинов — заметил, что камин даже и вовсе не о г о н ь, — камин всего лишь материал для романсов... Впрочем, и то хорошо!

— А вот романс «Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской, как печально камин догорает...» Этот романс я очень л ю б л ю, — сказал Блок и полупропел, полупродекламировал: — «Как в нем яркое пламя то вспыхнет порой, то...» Тут я, наверное, буду путать. Забыл...

— С т р а н н о, — опуская голову, сказал С т э н и ч, — чем глупее, чем пошлее романс, тем он почему-то больше, сильнее воздействует на человека. Я тоже люблю эту чепуху про камин...

Блок сказал:

— И совсем не чепуха и не пошлость! Пошлость — это когда говорят о презираемых порядочным человеком ощущениях. А камин... он что же... конечно, он не печка, он... как бы это сказать... он вовсе и не русская штука, это Англия, Запад. Камин — синоним уюта. И в романсе неверно то, что там сидят в одиночестве. В одиночестве не сидят у камина, разве что ждут кого-то. А романс превосходный...

К костру подошли мужчины и женщины — им нужна было не погреться, а постоять и послушать, они окинули Блока и всех нас прощупывающим взглядом и вскоре ушли. И когда мы снова остались одни, Блок сказал:

— Они нас за артистов приняли, думали, что им представление устроим, споем что-нибудь...

От огня шло тепло, костер был сложен из огромных, толстых плах, они хорошо горели. Искры летели изобильным фейерверком, и я обратил внимание на то, что

Блок любуется полетом искр, подымает взгляд вслед исчезающим, тающим, сливающимся с мраком золотым точкам, затем он опускает глаза, пытаясь подсмотреть зарождение, вылет огненных струй. Взгляд Блока чуточку ироничен, и мне становится хорошо и покойно оттого, что я сижу рядом с большим русским поэтом, смотрю на него, и мне дается даже нечто большее: я являюсь свидетелем внутреннего распорядка его души, вот сию минуту, ибо его заинтересованность искрами не есть только обычное любопытство.

Кто-то привстал, переменил позу. Блок мельком взглянул в ту сторону и, также привстав, чуть отодвинулся от огня. Стэнич вынул из кармана пальто пачку папирос и протянул ее Блоку:

— Курите, Александр Александрович, пожалуйста!

Блок растроганно-благодарно посмотрел на Стэнича, на секунду посерьезнел, затем вытащил из пачки одну папиросу и на предложение взять еще отрицательно покачал головой.

— Страшная это вещь — табак, — сказал он, носком ботинка выковыривая из костра уголек и нагибаясь, чтобы закурить папиросу. — Табак, вино, книги...

— И женщины, — добавил Стэнич.

— Да, но не в этом ряду, это совсем другая тема, — строго отозвался Блок.

Резко поднялся и порывистым шагом отошел от огня. Постоял немного, повернувшись к костру спиной, а затем пошел по набережной. За ним поплелся я, почти рядом со мною засеменил Вагинов, за ним Колбасьев и далеко от нас Стэнич. Мы молча шли до Мариинского театра. Здесь я ненароком, сам того не желая, перегнал Блока и, сконфуженно поглядев на него, задержал шаг, чтобы снова быть позади него.

— Что же у вас со стихами? — спросил он, приноравливаясь к моему шагу.

Голос у него глухой, усталый. Я что-то ответил. Блок сказал: «Хорошо, хорошо», — и уже молчал до самого дома. Подле ворот на набережной Пряжки он снял перчатки, каждому подал руку, пожатие было крепкое, горячее, сухое. Сказал: «До свидания, товарищи!» — и пошел не к себе, в дом, а по тротуару, в сторону Мойки. Видимо, ему надобно было побыть одному, что-то обдумать, отдохнуть от людей...

С. АЛЯНСКИЙ

ВСТРЕЧИ С АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С АЛЕКСАНДРОМ БЛОКОМ [1]

Дверь открыла высокая белокурая женщина. Она с любопытством рассматривала меня умными, улыбающимися, слегка прищуренными глазами.

Позднее я узнал, что это была жена поэта, Любовь Дмитриевна.

Она провела меня в большую комнату, примыкавшую к передней, в кабинет Александра Александровича.

По дороге на Офицерскую я пытался представить себе внешность Александра Блока. Мне была известна лишь одна широко распространенная его фотография 1907 года. Молодой, двадцатисемилетний поэт, с длинными кудрявыми волосами, снят на ней в черной рубахе, с большим белым отложным воротником, какие тогда носили художники.

Какой он сейчас, через одиннадцать лет?..

Был светлый летний петербургский вечер. В просторной комнате было пустовато. В глубине, у окна, стоял небольшой письменный стол и на некотором расстоянии от него — диван. В другом конце кабинета, против входа из передней, в углу стоял другой, небольшой круглый стол, покрытый плюшевой скатертью. Вокруг стола было несколько простых ореховых кресел. У стены, против окон, стоял книжный шкаф.

Такую обстановку можно было встретить в квартире людей со средним достатком.

Не успел я как следует осмотреться, как справа, из другой двери, легкой походкой вышел стройный, красивый человек с немного откинутой назад головой Аполлона.

Он был выше среднего роста, хорошо сложен. Вьющиеся волосы светло-пепельного цвета были коротко подстрижены. Запомнилось еще, что края губ были чуть опущены. На нем был обыкновенный светло-серый костюм.

Человек, которого я увидел, мало чем напоминал известную фотографию поэта. Я не сразу узнал его. Он подошел ко мне, улыбнулся, протянул руку и глуховатым голосом назвал себя.

Заметив мою растерянность, Блок сам заговорил о цели моего прихода.

— Вам нужны мои книги?.. Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе подробнее. Кто вы? Где учились? Где вы служили в армии? (Я был в солдатской одежде.) Что у вас за книжная лавка? Какие из моих книг вам нужны? Жена рассказала про ваш телефонный звонок, и мне захотелось познакомиться с вами. Расскажите о себе подробнее, — повторил он, тепло и дружески улыбаясь.

Я начал рассказ о себе с того, что первые три класса учился во Введенской гимназии, а с четвертого перешел в гимназию Столбцова.

Вдруг Блок остановил меня вопросом:

— Вы учились во Введенской гимназии? Ведь я тоже там учился, я окончил Введенскую. Скажите, каких преподавателей вы там запомнили?

Я назвал несколько фамилий и среди них преподавателя русского языка Ивана Яковлевича Киприяновича и латиниста, фамилию которого никто из гимназистов не знал, все звали его просто Арноштом; было ли это имя или прозвище, не помню.

Александр Александрович оживился, улыбнулся и сказал:

— Очень интересно. Ведь я тоже учился у Киприяновича и Арношта очень хорошо помню. Киприянович, должно быть, при вас совсем уже старенький был, при мне уже он был седым. Знаете, я у него по русскому языку никогда больше четверки получить не мог. А у вас какая отметка была по русскому?

И дернуло меня сказать, что у меня была пятерка! Но тут же, спохватившись и поняв всю чудовищную нелепость моей пятерки по русскому рядом с четверкой поэта Блока, я сконфузился и поспешил добавить, что моя пятерка была не за грамоту, а за хороший почерк, который Киприянович высоко ценил. Но

этого мне показалось недостаточным, и, чтобы укрепить свое объяснение пятерки хорошим почерком, добавил еще, что только благодаря почерку я попал в гимназию, несмотря на процентную норму.

Все это было чистой правдой, но в голове мелькнуло, что со стороны моя настойчивая ссылка на почерк могла показаться неубедительной и даже подозрительной. И вот, чтобы окончательно оправдаться в моей злосчастной пятерке и чтобы подчеркнуть, какое значение в моей жизни имел хороший почерк, я вспомнил, что первый мой заработок я принес домой из газеты «Речь» и что он тоже был связан с моим хорошим почерком. Тут Блок остановил меня.

— Как из газеты «Речь»? Что вы там делали? — изумился он.

Я рассказал, что в «Речи» после подписной кампании в продолжение целого месяца каждый вечер писал адреса провинциальных подписчиков газеты. Это было, когда я учился во втором классе гимназии. Блок просил рассказать об этом подробнее, и я рассказал, как я попал на эту работу и какова была ее техника.

Блок слушал меня внимательно и продолжал расспрашивать: спросил о родителях, братьях, сестре, а когда и эта тема была исчерпана, он опять, заговорив о Введенской гимназии, вдруг задал вопрос: куда выходили окна моего класса.

Узнав, что классы у нас были разные, Блок рассказал, что в его классе окна выходили на Большой проспект и что в нем однажды произошел случай, прошумевший на всю гимназию. Это было в шестом классе. Как-то на перемене одноклассник Блока, славившийся большой силой и ловкостью, разыгрался со стулом учителя, манипулировал им, подбрасывая и ловя его на лету то за ножку, то за спинку. Товарищи, следившие за этой эквилибристикой, вдруг ахнули, увидев, как стул бесшумно вылетел в открытое окно, не задев, к счастью, ни стекла, ни рамы.

Хорошо, что под окном был небольшой палисадник и стул упал прямо на кусты.

И надо же, как раз в этот момент директор входил с улицы в гимназию и увидел, как летит стул из окна. Класс оставили после уроков. Директор два часа трудился, пытаясь выведать, кто был виновником шалости, но ничего не добился. На следующий день инспектор

вызывал каждого гимназиста в отдельности в учительскую, но тоже ничего не узнал.

После этого в четверти всему классу была выставлена отметка за поведение — четверка.

Блок увлекся, вспомнил еще несколько застрявших в памяти историй из гимназической жизни. Потом удачно спародировал латиниста Арношта, который очень смешно коверкал русскую речь.

И, как бы соревнуясь с Блоком, я тоже пустился в воспоминания детства.

Александр Александрович был старше меня на одиннадцать лет, но эта разница в возрасте и в положении совсем стерлась. Мы делились воспоминаниями, как ровесники, как однокашники, как старые друзья, встретившиеся после долгой разлуки.

Думаю, что, будь я знаком с Блоком до того много лет, мы не могли бы сблизиться с ним так, как это произошло за несколько часов нашей первой встречи.

Увлекшись беседой со «старым гимназическим товарищем», «старым другом», я забыл все наставления Васильева, забыл, что «Блок — крупнейший поэт нашего времени», забыл, что должен в чем-то извиняться, забыл, про все на свете. Рядом со мной сидел друг, товарищ, с которым было легко говорить, и я свободно, как близкому, отвечал на вопросы о службе в армии, о Васильеве, о Жевержееве, о нашей книжной лавке и о том, как она возникла, и даже сам задавал вопросы поэту.

Рассказывая о лавке, о моих поездках в Москву за новинками, я вспомнил о случайной встрече в лавке писателей с Сергеем Есениным, о его укоризненных вопросах о Блоке, о том, что в Москве ничего не известно о петербургских писателях, о том, что книг наших там нет. Рассказал, что был в издательстве «Мусагет» — искал там книги Блока, но ничего не нашел.

Заканчивая рассказ о наших безуспешных поисках книг Блока, я наконец вспомнил, зачем пришел, и сказал, что нам с Васильевым пришло в голову обратиться к поэту с просьбой продать нам остатки авторских экземпляров, если такие имеются у автора. И, не дождавшись ответа, я неожиданно выпалил свое сожаление, что группа символистов распалась. По-моему, заявил я, им следует вновь объединиться.

Александр Александрович слушал меня внимательно, пока я рассказывал о себе, но, когда я высказал свои

суждения насчет объединения символистов, он посмотрел на меня с удивлением и спросил:

— Вы думаете?

Этот вопрос еще больше подбодрил меня, и я безудержно понесся развивать свою идею-импровизацию, над которой, признаюсь, до того и не думал.

Продолжая фантазировать, я заговорил о том, что символистам хорошо бы объединиться вокруг своего журнала, организовать свое издательство.

Мои практические предложения вызвали в Блоке еще большее удивление и интерес; он задавал мне все новые и новые вопросы, желая поглубже проникнуть в мой замысел, добраться до его корней.

Я говорил долго, говорил горячо, будто делился своими заветными мыслями с Васильевым.

Не помню, на чем я остановился, чем исчерпал поток своих «идей».

Впервые я встретил человека, который умел так внимательно, так уважительно, так увлеченно и заинтересованно слушать своего собеседника. Блок слушал так, будто ваш рассказ открывал ему новые увлекательные миры.

Вопрос «вы думаете?» произносился с искренним удивлением. И чтобы подчеркнуть свой интерес к тому, что говорит собеседник, чтобы поощрить его, Блок придвигался к нему поближе и как бы говорил: «Я слушаю вас внимательно, понимаю, сомневаюсь, но все, что вы говорите, необыкновенно интересно, продолжайте, пожалуйста».

Когда я закончил свою импровизацию об объединении символистов, Блок не стал возражать мне, он только мягко выразил сомнение в реальности моих проектов.

...Разговор с Блоком происходил в то время, когда в среде литераторов еще не утихли страсти, вызванные появлением поэмы «Двенадцать».

Я не знал, что от Блока отвернулись многие писатели, среди которых были и его друзья. Не знал, что совсем на днях близкий друг поэта, Владимир Пяст, в каком-то общественном месте отказался пожать протянутую Блоком руку.

Не знал и того, что Александра Александровича все это глубоко волнует.

И только позднее, когда я услышал об этом от самого Блока, я понял, до чего несвоевременны и несуразны были мои «идеи».

Мой первый визит на Офицерскую затянулся. Я был так взволнован, так увлечен своими речами и так поощрен Блоком, что не заметил, как пролетело время, и опять забыл, зачем пришел.

Прощаясь, Блок сказал, что будет думать о нашем разговоре, просил позвонить ему и непременно зайти еще.

Я уже повернулся, чтобы идти в переднюю, но Александр Александрович остановил меня и напомнил о книгах, за которыми я пришел. Он на минуту вышел и тут же вернулся с аккуратно завязанным пакетом, который, как видно, был приготовлен до моего прихода. Он сказал, что в пакете пять трехтомников стихотворений в издании «Мусагет», что это пока все, что ему удалось найти, но что где-то должны быть еще книги, которые он постарается разыскать к моему следующему приходу.

Надо было заплатить за книги. Вспомнился Васильев со своими рассуждениями. Сколько надо заплатить? Как заплатить? А вдруг денег не хватит? Ведь мы не рассчитывали на такое количество — целых пятнадцать книг! По нашим масштабам это было много. Что делать? Все эти вопросы молнией пронеслись в голове.

Но не успел я закончить свои тревожные размышления, как Блок прервал их и, как бы читая мои мысли, сказал:

— Деньги вы можете принести в другой раз, когда книги продадутся, пусть для меня будут такие же условия, как и для Жевержеева. К тому же у вас будет повод прийти еще раз, и тогда мы подробнее поговорим о ваших планах. И я о них подумаю.

Я все же настоял, чтобы Блок взял деньги, которые я принес с собой, и обещал остальные принести после того, как книги будут проданы.

Трудно передать, что и испытывал, возвращаясь домой!

Я был весел и всю дорогу старался вспомнить, что говорил Блок. Как случилось, что мы оказались старыми друзьями? И какой он внимательный, от него не ускользнули даже мелочи, вроде условий, на которых мы получали книги у Жевержеева. Удивительна была его щед-

рость, с которой он дарил мне время и внимание. Особенно поразила способность Блока читать чужие мысли: только подумаешь, еще не скажешь, а он уже отвечает.

Дома меня ждал Васильев. Он выслушал мой подробный рассказ и заметил, что он скептически относится к моей «фантастической поэме» (так он назвал мои издательские планы) и что очень рад книгам Блока.

— Вот эти книги — реальность, ты даже не понимаешь, какую редкость, какое сокровище ты принес. Что же касается твоих издательских проектов, они — беспредметная м е ч т а. — И пояснил, что для издательства нужны: во-первых, деньги на бумагу, во-вторых, деньги за типографские работы, в-третьих, деньги на гонорар, а главное — нужны рукописи, и при этом только хорошие.

Со всем этим трудно было не согласиться: денег у нас вовсе не было.

Васильев был человеком тонкой поэтической души, но он был еще и трезвым человеком.

КАК ВОЗНИКЛО ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛКОНОСТ»

Спустя три дня я позвонил Блоку. На этот раз Александр Александрович сам подошел к телефону. Он сказал, что думал о нашем разговоре, что хочет еще кое о чем расспросить меня, и просил прийти к нему на следующий день вечером.

Когда я во второй раз пришел на Офицерскую, Блок встретил меня дружески, как старого знакомого. Он подробно рассказал, в каком положении находится дело с новым изданием его сочинений; он продал их издательству «Земля». Уже набираются первые два тома стихотворений, а с дальнейшими томами происходит какая-то задержка, но так как он связан договором, то должен ждать.

Перейдя потом к моим планам, Блок выразил сомнение в возможности объединить символистов и сказал:

— И не знаю, нужно ли вообще их объединять. Разрыв, должно быть, произошел не случайно. И все это гораздо сложнее и глубже, чем кажется.

Блок подробно рассказал о том, как отнеслись к нему товарищи-писатели после появления в газете поэмы «Двенадцать».

— Поэма «Двенадцать» создала такую брешь в моих отношениях с большинством писателей, что вряд ли сейчас мыслимо какое-либо объединение.

В рассказе Блока чувствовались досада и горечь по поводу разрыва с друзьями. Видно, нелегко переживал он этот разрыв.

Меня и удивило и тронуло то дружеское доверие, с которым Александр Александрович поведал мне свои грустные мысли. И опять — чувство, будто мы действительно были старыми друзьями, которые увиделись после долгой разлуки.

Я задал вопрос о том, как была написана поэма «Двенадцать», и Александр Александрович охотно рассказал:

— Поэма писалась довольно быстро. Стояли необыкновенно вьюжные дни. Сначала были написаны отдельные строфы, но не в том порядке, в каком они оказались в окончательной редакции.

Блок тут же достал черновую рукопись. Я заметил, что в ней мало зачеркнутых строк, а на полях написаны варианты.

— Слова «Шоколад Миньон жрала» принадлежат Любови Дмитриевне, — сообщил Блок. — У меня было «Юбкой улицу мела», а юбки теперь носят короткие.

На мою просьбу прочитать поэму вслух Александр Александрович сказал, что ни разу вслух «Двенадцать» не читал и прочитать не сумеет. Поэтому читает его жена, Любовь Дмитриевна, она актриса.

— Послушайте ее как-нибудь, интересно, понравится ли вам ее чтение, — добавил Александр Александрович.

В этот вечер я был приглашен в столовую к чаю.

Небольшая, соседняя с кабинетом комната была меблирована очень скромно: посередине комнаты, под лампой с большим абажуром, стоял прямоугольный стол, а вокруг него несколько венских стульев да вблизи, у стенки, — простенький буфет. Вот и вся обстановка, которую я заметил в столовой. В этом доме, подумал я, как видно, к изысканным вещам склонности нет.

За столом сидели знакомая мне Любовь Дмитриевна и незнакомая маленькая седенькая старушка, которой Блок представил меня: это была Александра Андреевна, мать поэта.

Любовь Дмитриевна сидела за самоваром и разливала чай. Она задала веселый тон общему разговору, ко-

торый вертелся вначале вокруг всяких городских новостей, всевозможных слухов, носившихся по городу, анекдотов и шуток.

Потом разговор зашел о театре, о постановках Всеволода Эмильевича Мейерхольда.

Александр Александрович очень высоко ценил дарование Мейерхольда, питал к нему искреннюю симпатию и дружил с ним, но к его ранним работам относился критически. Завязался спор, в котором Любовь Дмитриевна оказалась на моей стороне, что меня очень порадовало. (Позднее я узнал, что Любовь Дмитриевна вместе с актрисами В. П. Веригиной и Н. Н. Волоховой работала в давние времена в театре под руководством Мейерхольда.)

Когда за потухшим самоваром мы остались вдвоем, Александр Александрович снова спросил меня о моих планах. Выслушав меня, он сказал:

— Мне хочется помочь вашим издательским планам, но я не могу нарушить договор с издательством «Земля». Так вот что я придумал. Есть у меня мало кому известная поэма «Соловьиный сад». Она была напечатана только в газете и не вошла в собрание стихотворений. Эта поэма у меня свободна. Может быть, ее можно и стоит издать маленькой книжечкой. Я приготовил ее для вас. Возьмите, почитайте и, если она понравится вам, попробуйте ее издать для начала. Больших затрат это издание не потребует.

Блок передал мне несколько листиков бумаги, на которых аккуратно были наклеены вырезанные из газеты столбцы набора поэмы «Соловьиный сад».

От неожиданности я растерялся и онемел. Пока разговоры касались проектов и планов *вообще,* я довольно бойко и даже горячо рассуждал, но что я могу сделать практически? Блок предлагает вполне конкретное дело: надо вот эти несколько листиков превратить в книгу. Что делать? Как быть? Что-то надо ответить, а что — не знаю. Быть может, надо сказать спасибо, а может быть, спросить про гонорар, или о корректуре, или еще о чем-нибудь.

Откуда я мог знать, что нужно в этом случае говорить или делать?

Замешательство и страдание, должно быть, отразились на моем лице, и Блок опять прочитал мои мысля, мою тревогу и опять поспешил мне на помощь:

— Не надо давать мне сейчас никакого ответа, прочитайте поэму дома, спокойно подумайте, посоветуйтесь с вашим другом Васильевым и решите, стоит ли печатать ее отдельно. К сожалению, у меня ничего другого нет, а мне хочется поддержать вас. Я верю в вас.

Смущенный, взволнованный и тронутый расположением Блока, я отправился домой. По дороге я вспомнил все резонные соображения Васильева о предстоящих трудностях. Но могу ли я обмануть доверие Блока? Нет, я твердо решил, что эту книжечку обязательно издам. Как это будет сделано, я еще не знал.

Меня мучил один вопрос: где я могу прочитать или у кого узнать, как издаются книги?

Я пришел домой поздно. Васильев меня не дождался. Я развернул драгоценные листки и начал читать. Глазами я читал поэму, а в мозгу копошилась одна тревожная мысль: что делать, как быть?

Когда наутро я рассказал обо всем Васильеву и дал ему рукопись, он жадно прочитал поэму и воскликнул:

— Да ведь это замечательный Блок! И как это я прозевал поэму в газете?

Он начал второй раз читать «Соловьиный сад», на этот раз вслух. И тут только до меня дошла поэма — одно из лучших произведений Блока.

Васильев обладал редкой способностью буйно радоваться новому, поразившему его стихотворению. Я переждал, пока он еще два раза вслух перечитал поэму, и спросил его:

— Что же мы будем делать? Надо дать ответ Блоку.

— Что делать? Откуда я знаю? Знаю только, что это блестящая блоковская поэма. Знаю еще, что на издание ее нужны деньги, что в лавке ничего не возьмешь, сам знаешь — и так еле крутимся. Сходи в типографию на Невский против Николаевской, там есть у меня знакомый, попроси его подсчитать, сколько нужно денег. Потом сходишь к Жевержееву — быть может, он заинтересуется. Только об одном прошу тебя: на меня в этом деле не рассчитывай. Я готов помогать тебе, но рисковать не буду. В тебе сидит авантюрист, быть может, тебе и повезет. Действуй сам.

Типографщик взял рукопись и начал ее читать. Не знаю, кем он был в типографии, какую должность занимал, но он оказался поклонником поэзии Блока. Он. высоко оценил поэму и сочувственно отнесся к моей за-

тее. Он подсчитал расходы на типографские работы и бумагу в назвал цифру, по моим понятиям значительную. Узнав о моих денежных затруднениях, типографщик сказал:

— Вот что я могу вам предложить: дадим вам на две недели кредит, подождем с оплатой за бумагу и за типографские расходы. Сумеете за этот срок обернуться, продать книги — тогда начинайте.

Я был уверен, что обернусь. И начал.

Трудности обступили меня со всех сторон. Как назвать издательство? Кому заказать марку? Как оформить первую книгу?

Название «Алконост» придумали вместе с Васильевым, художника для марки решили пригласить Юрия Анненкова, нашего товарища по гимназии.

Я отправился в библиотеку Жевержеева и там стал перебирать самые любимые книги, на этот раз не для того, чтобы еще раз ими полюбоваться, по чтобы поучиться чудесному искусству оформления книг.

Через несколько дней я пришел на Офицерскую уже в качестве издателя, принес корректуру и рассказал Блоку начистоту обо всех моих затруднениях. Выбранные типографские украшения, шрифт для набора поэмы, марка издательства — все это получило одобрение Александра Александровича. Теперь со всеми, даже мелкими вопросами, такими, как выбор шрифтов для титула, выбор формата книги, я обращался к Блоку, охотно и внимательно вникавшему в них. Он часами обсуждал со мной все и давал свои советы.

Теперь я бывал на Офицерской очень часто. Отныне предметом наших бесед стали: заголовки, шрифты, линейки, спуски, отступы, поля и пр. Блок научил меня корректорским знакам и старательно знакомил с начатками наборного и печатного дела. Терпеливо, с любопытством и сочувствием смотрел Блок на мои первые неловкие шаги и бережно помогал мне обходить острые и опасные углы.

Это был мой первый университет, вернее, начальная школа издательского дела.

Увлекшись издательскими делами и новыми заботами, я начал манкировать своими обязанностями в лавке и на целую неделю задержал очередную поездку в Москву за книгами. Я чувствовал, что Васильев недоволен,

но он молча терпел; он надеялся, как впоследствии при-нался, что мое увлечение издательством пройдет.

Через две недели три тысячи экземпляров поэмы «Соловьиный сад» были готовы. Я нагрузил мешок книгами, пристроил его за спину, уселся на велосипед и развез тираж «Соловьиного сада» по книжным магазинам Литейного проспекта. А еще неделю спустя я расплатился с типографией [2].

Наступил щекотливый момент — надо было рассчитаться с автором. Блок долго отказывался от гонорара и наконец назвал ничтожную сумму. После долгих споров мы помирились на том, что чистую прибыль поделим поровну. Сумма получилась небольшая, но этим заработком я долго гордился.

Выпуск первой книги «Алконоста» был отпразднован на Офицерской за чайным столом.

После выхода поэмы «Соловьиный сад» встречи мои с Александром Александровичем стали почти ежедневными. Мы еще больше сблизились, когда начали обсуждать планы новых изданий.

В голове у меня прочно засела мысль: вслед за «Соловьиным садом» издать небольшие книжечки московских поэтов — Андрея Белого и Вячеслава Иванова, наиболее близких по духу и творчеству Блоку.

В то время я ничего еще не знал о личных отношениях этих поэтов, и моя настойчивость не вызвала в Александре Александровиче подозрений. Но всякий раз, когда я поднимал этот вопрос, я замечал странное замешательство и волнение Блока.

Александр Александрович предупреждал меня, что привлечь Вячеслава Иванова будет очень трудно и вряд ли мне это удастся.

Однако, окрыленный успехом с «Соловьиным садом», я считал, что самое трудное позади, и если мне удалось получить рукопись Блока, нашего первого поэта, и в короткий срок издать ее, то от московских поэтов я, конечно, легко получу рукописи.

Я был самонадеян.

Мне показалось, что моя уверенность поколебала Блока: выражая сомнение, он не только не противился моим планам, но я почувствовал, что втайне он был бы рад их осуществлению, потому что для него это означало встречу с друзьями.

Решив ехать в Москву, я просил Блока разрешить мне подарить Белому и Вячеславу Иванову «Соловьиный сад». Блок охотно тут же сделал дружеские надписи на книжечках и, передавая их мне, опять засомневался:

— Не знаю, как встретит вас Вячеслав Иванов. Не знаю, примет ли он этот подарок.

Повторяю, я тогда многого не знал.

Я ничего не знал о бывшей братской близости Блока с Белым, не знал и об их разрыве. Не знал я и о личных отношениях Блока с Вячеславом Ивановым до революции.

И только много позднее я узнал, что Иванов любил. Блока — человека и поэта и, приезжая из Москвы в Петербург, с вокзала шел в цветочный магазин, посылал Александру Александровичу букет цветов, как первый привет.

Блок же рассказал о Вячеславе Иванове перед моим отъездом в Москву только то, что сразу после революции Вячеслав Иванов оказался во враждебном лагере, писал резкие стихи против революции, а после появления в печати поэмы «Двенадцать» порвал отношения с Блоком.

Но все это было в прошлом, и отношение Вячеслава Иванова к революции и к Блоку могло теперь измениться. Я очень этого хотел, и, кроме того, я поверил в свою «звезду». Словом, предупреждения Александра Александровича не остановили меня.

В предыдущие мои поездки в Москву я успевал только обегать книжные магазины на Моховой и Большой Никитской. Нагруженный тяжелыми пакетами, я спешил в тот же день уехать обратно. В Москве я завел знакомство с издательскими и книжными работниками, связанными с современной книгой: с издателем «Альциона» А. М. Кожебаткиным, секретарем «Московского товарищества писателей» А. И. Чеботаревской, заведующим лавкой писателей Д. С. Айзенштатом и Сергеем Есениным, который в то время постоянно работал в лавке писателей.

Теперь мне предстояло ехать в Москву в качестве издателя и выполнить «миссию» собирателя символистов. Но прежде чем отправиться по издательским делам, я забежал в лавку писателей: мне хотелось повидать там

Сергея Есенина и рассказать ему о Блоке, чего не смог сделать при первой встрече. Но Есенина я не застал и ответил на его вопрос лишь несколько месяцев спустя. <...>

В ТЕАТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ НАРКОМПРОСА

Трудно перечислить все государственные и общественные организации, коллегии, комитеты и комиссии по вопросам культуры, в работе которых принимал участие Александр Александрович Блок.

С первых дней революции и до последних дней жизни Блок отдавал все свое время творческой и общественной работе.

Весь шестой том, дневники и записные книжки последнего собрания сочинений Александра Блока — свидетельство и творческий отчет об этой работе самого поэта.

Мне посчастливилось работать рядом с Александром Александровичем в Издательском бюро Театрального отдела Наркомпроса, и об этом пойдет мой рассказ.

С первого дня знакомства с Блоком я знал, что почти все дневные часы Александр Александрович проводит в Театральном отделе. Там он иногда назначал свидания и мне. Блок был членом коллегии Театрального отдела и председателем Репертуарной секции.

Репертуарная секция занималась отбором лучших пьес мирового театра от времен глубокой древности до современных и готовила их к печати для театров страны и для чтения. Предполагалось, что к пьесам будут даваться вступительные статьи и режиссерские указания о том, как поставить пьесу в условиях скромных возможностей и небольших средств.

Найти старые пьесы в книжных магазинах было трудно, их почти не было. Пьесы приходилось искать на развалах у букинистов и в антикварных книжных магазинах.

Блок сам ходил на книжные склады издательств Вольфа и Карбасникова, в театральные агентства, и часами занимался поисками старых, редких изданий пьес.

Месяца через два после нашего знакомства Александр Александрович среди разговора вдруг предложил мне взять на себя заведование Издательским бюро Театрального отдела Наркомпроса.

Предложение было так неожиданно и так удивительно, что я растерялся, не нашелся что сказать, потом мелькнуло: уж не шутит ли Блок? Попробовал ответить шуткой. Но Александр Александрович стал уверять меня, что предложение сделано всерьез и что он уже говорил обо мне с Мейерхольдом, заместителем заведующего Театральным отделом, и что тот поддерживает это предложение.

Блок подробно рассказал о работе Репертуарной секция и об ученых и литераторах, работающих с ним. Рассказал о репертуаре провинциальных театров и о том, как важно быстро издать для них хорошие и разные пьесы.

— Я хорошо знаю, какими пьесами питают народ небольшие, да и большие провинциальные театры. Дельцы из театрального агентства Рассохина и другие агентства печатают и до сих пор снабжают все провинциальные театры глупыми и пошлыми пьесами. Делают эти пьесы обычно люди малограмотные, но знающие театр, ловкие люди. Необходимо как можно скорее вытеснить эту макулатуру, эту отраву. А сделать это можно будет только тогда, когда взамен мы сможем выпустить хорошие пьесы большим тиражом. Это очень важное дело, — закончил Блок.

Я ответил, что для такого большого дела нужен человек с большим опытом и знаниями.

— А мой опыт вам хорошо известен — ему буквально «без года неделя».

В ответ я услышал примерно такие слова:

— Опыт не поможет нашему делу. Мы делаем такое дело, у которого опыта еще нет, его надо заново создавать. А чтобы его создавать, нужна полная и глубокая уверенность, что дело это очень важное и крайне необходимое, и еще нужна настойчивость и огромная энергия, а этого у вас хватит.

Дальше последовал неожиданный полет фантазии поэта, который мог показаться максималистским призывом.

— Все нужно добывать революционным путем. Может быть, надо взять отряд красногвардейцев, объяснить ему цель необходимого для государства похода, поехать вместе с ним на бумажную фабрику — конфисковать всю бумагу, которая найдется на складах, и гнать ее в Питер маршрутными поездами под охраной тех же красногвардейцев. С другим отрядом — занять типографию. Вероятно, только так надо действовать. А для таких дей-

ствий опытных людей еще нет. Возьмитесь, — закончил Александр Александрович, — а я буду вам помогать.

Я слушал необычную для Блока взволнованную речь как завороженный, а его последние слова тронули меня.

Вновь победила во мне склонность к авантюризму, которую Блок почему-то называл американизмом, — я не смог отказаться от его предложения.

...Театральный отдел Наркомпроса разместился во дворце бывшего великого князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной Невы, одного из красивейших мест Петербурга.

Я долго бродил по безлюдным дворцовым залам в поисках приемной Мейерхольда, где мы условились встретиться с Блоком.

В одном из залов я не удержался — подошел к большому зеркальному окну и залюбовался Невой, Петропавловской крепостью, Биржей, как делал всегда, когда бывал в Эрмитаже.

— Любуетесь Невой? — услышал я за спиной голос Блока. — Я тоже люблю постоять у этих окон, но нас ждет Всеволод Эмильевич, пойдемте.

Блок представил меня Мейерхольду, который сказал, что давно обо мне слышал от Александра Александровича, что он рад со мной поработать, пожелал успехов и тут же вырвал из блокнота листик бумаги, написал на нем приказ о принятии меня на работу и отдал его мне для передачи управляющему делами. Потом Блок пошел знакомить меня с двумя членами Издательского бюро и по дороге рассказал о них: А. К. Голубев — пожилой человек, раньше был не то директором, не то председателем правления Госбанка, точно он не знает, а другой — Н. Э. Радлов, сын философа, сам художник-сатириконовец. Последнего я немного знал раньше.

Неожиданная деловитость Мейерхольда, странная рекомендация моих будущих товарищей, роскошные стены дворца — все это, вместе взятое, почему-то крайне смутило меня, и я уже пожалел, что вчера так легкомысленно поддался обаянию поэта и согласился на эту авантюру. Но возврата не было.

В Издательском бюро мои будущие товарищи ждали меня. Прием вначале показался мне несколько официальным.

А. К. Голубев, солидный, почтенного возраста человек, дружелюбно улыбался и, мне показалось, оценивал мою

фигуру опытным глазом. Приветлив был и Н. Э. Радлов, худощавый молодой человек высокого роста. Он выделялся непривычной но тому времени элегантностью в костюме и манерах. Я почувствовал себя неловко в этих роскошных дворцовых залах: моя давно не новая солдатская гимнастерка и высокие нечищеные сапоги совсем не гармонировали ни с этой роскошью, ни с изысканно строгими костюмами моих товарищей. Впрочем, и товарищами я стеснялся их называть — уж очень не шло к ним такое обращение.

Пока меня знакомили с портфелем Издательского бюро, Блок был рядом и принимал участие в разговоре. Он, должно быть, понял мою неловкость и своим присутствием решил подбодрить меня.

Этот добрый жест и чуткость Александра Александровича поддержали меня.

Голубев и Радлов оказались отличными работниками, и если бы не они, я провалился бы на первых шагах работы.

В списках рукописей Издательского бюро я обнаружил большое количество пьес нескольких серий: «Русский театр», «Иностранный театр», «Детский театр» — то были пьесы разных времен и народов. Но, помимо пьес, в издательском плане было несколько сборников Историко-театральной секции, сборники «Игра», «Временник», серия «Биографические очерки драматических писателей», сборники «Записки Института живого слова». Из всего этого обилия книг только несколько были на печатных машинах, остальные были в разных стадиях производства. Это беспокоило меня, и, когда вечером, на Офицерской, я делился своими первыми тревожными впечатлениями, Блок успокаивал меня и рассказал о некоторых известных ему перспективах.

На следующий день я стряхнул с себя охватившие меня накануне сомнения и трусость и нахально приступил к работе. Поехал в типографию, и дело, далеко не сразу, завертелось. Блок, как обещал, помогал мне советом, а иногда ездил со мной в типографию. Кстати, беседы Блока в типографии всегда приносили реальную помощь.

Через несколько месяцев, к концу 1918 года, мы выпустили около трех десятков пьес. Правда, все они были напечатаны на плохой газетной бумаге и далеко не массовым тиражом, но спрос на пьесы, хоть в малой мере был удовлетворен.

Первые дни работа в Издательском бюро отнимала у меня много времени, пришлось манкировать делами «Алконоста».

Пока пьесы не выходили из печати, деятельность нашего Издательского бюро мало кого интересовала. Один Блок, когда бывал в Театральном отделе, непременно заходил к нам, он знал все обо всех находящихся в производстве пьесах. Такое внимание и заинтересованность и нас заражали и влияли на наши усилия. Мы старались выпустить как можно больше пьес.

Когда выпуск пьес заметно увеличился, на нашу работу обратили внимание представители теоретической, исторической и других секций, и тогда обнаружилось, что их сборники месяцами лежат без движения. Пошли вопросы, потом жалобы. Меня вызвал Мейерхольд, я объяснялся, обещал ускорить печатание сборников. Но не все делается вдруг. Нетерпение и недовольство Издательским бюро росло. О разговоре с Мейерхольдом я рассказал Блоку в тот же вечер. Оказалось, что он раньше меня знал о недовольстве и о жалобах. Он успокаивал меня, просил не придавать жалобам значения и посоветовал снять несколько пьес и запустить в машины два-три сборника. Обещал сам поговорить с Мейерхольдом и заинтересованными секциями. Он сказал:

— Теперь, когда мы начали понемногу утолять голод на пьесы, быть может, надо выпустить два-три сборника, хотя, откровенно говоря, театры могли бы прожить еще несколько месяцев и без них.

Позднее Вл. Н. Соловьев, член Репертуарной секции, рассказывал мне, что Блоку пришлось в это время несколько раз тушить назревавшие конфликты и на какое-то время это ему удавалось.

Тем временем жалобы дошли до Москвы. Заведующая Театральным отделом О. Д. Каменева предложила Мейерхольду назначить заседание коллегии Театрального отдела и на нем поставить вопрос о деятельности Издательского бюро. Узнав об этом, я спросил Блока, не лучше ли мне самому подать заявление и уйти, чем дожидаться, пока меня уволят.

— Ни в коем случае, — ответил Блок, — Репертуарная секция и я сам будем на коллегии отвечать за деятельность Издательского бюро.

Я не стал бы описывать так подробно этот малозначительный конфликт, который мог случиться в любом

учреждении и с любым человеком, если б не одно важное обстоятельство.

К заседанию коллегии Театрального отдела Александром Блоком был написан и прочитан на заседании доклад, в котором он, пользуясь этим незначительным конфликтом, поднял вопросы, имеющие большое принципиальное и общественное значение.

...«Доклад в коллегию Театрального отдела» напечатан под этим названием в шестом томе последнего собрания сочинений Александра Блока (издание 1962 года).

Меня никто не уволил, и я работал до ликвидации петербургского отделения Театрального отдела. А Александр Александрович перешел в конце апреля 1919 года в Большой драматический театр, он был назначен председателем режиссерского управления, или, как теперь называют, заведующим художественной частью театра.

ИЗДАНИЕ ПОЭМЫ «ДВЕНАДЦАТЬ» С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Первые издательские успехи «Алконоста» вскружили мне голову; я решил, что настало время после небольших книжечек приняться за издание более сложных книг.

Первой такой книгой мне хотелось выпустить поэму Блока «Двенадцать» с иллюстрациями.

К этому времени мои представления о современных иллюстрированных изданиях были очень скромны. Весь мой опыт в этой области ограничивался знакомством с русскими иллюстрированными изданиями XVIII и первой половины XIX века в библиотеке Л. И. Жевержеева. Я очень любил эти издания, восторгаюсь ими и сейчас, но иллюстрации далекого прошлого не могли служить примером для произведения современного, написанного в новой, очень сложной художественной форме.

Чем больше я вчитывался в текст поэмы, тем сложнее казалась мне задача иллюстрирования ее. Только жанровые сцены в поэме могли бы быть благодарным материалом для иллюстрирования, но ведь сцены эти сами служат иллюстрациями в поэме. А вот как передать поэтический и музыкальный строй «Двенадцати»? Как быть с Христом — образом отвлеченным, туманным, непонятным?

За разрешением всех моих сомнений и вопросов следовало, быть может, обратиться прямо к автору, но ав-

тора я еще стеснялся, а кроме того, я не считал возможным являться к Блоку с «пустыми» руками, хотелось самому продумать и предложить свой план издания.

Как-то июльским вечером я пришел на Офицерскую к Блоку. Открывая дверь, Александр Александрович спросил меня:

— Не хотите ли пойти со мной в «Привал комедиантов»? Там сегодня Любовь Дмитриевна читает «Двенадцать».

Я, конечно, захотел. Захотел по разным причинам. Во-первых, я никогда не бывал в «Привале комедиантов», попасть туда мне давно хотелось; во-вторых, я никогда не слышал, как Любовь Дмитриевна читает Блока, и мне почудилось, что ее чтение «Двенадцати» обогатит меня зрительными образами, и, наконец, приглашение пришлось мне по душе еще и потому, что я надеялся: в эту длинную прогулку по городу мне удастся заговорить с Александром Александровичем о моем намерении издать «Двенадцать».

Дорога с Офицерской до «Привала комедиантов» на Марсовом поле была долгая. Мы шли не спеша и успели обсудить все события дня, как делали это каждый вечер за чайным столом у Блока.

Когда дорога подходила к концу, я задал Блоку вопрос, нравится ли ему самому, как читает поэму «Двенадцать» Любовь Дмитриевна.

Блок ответил так:

— Мне трудно судить. Могу только сказать, что мне довелось слушать чтение Любови Дмитриевны несколько раз, в разных аудиториях, и мне показалось, что поэма доходит до слушателей. Интересно, — добавил он, — дойдет ли это чтение до вас. Я предупредил Любовь Дмитриевну, что приглашу вас сегодня послушать ее.

Так незаметно, за разговором, мы, как мне показалось, очень скоро пришли на Марсово поле.

Об издании «Двенадцати» я так ничего Блоку и не сказал — не хватило дороги.

«ПРИВАЛ КОМЕДИАНТОВ»

«Привал комедиантов» был клубом передовых деятелей литературы и искусств. Для широкой публики вход туда был закрыт, а попасть в клуб можно было только

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ

ДВѢНАДЦАТЬ

рисунки

Ю. АННЕНКОВА



«АЛКОНОСТЪ»
ПЕТЕРБУРГЪ
1918

по рекомендации лиц, известных руководителям «Привала». Впрочем, широкая публика и не знала о существовании этого клуба.

Вдоль всего Марсова поля растянулась длинная шеренга ампирных зданий; она начинается с Миллионной улицы зданием бывших Павловских казарм и замыкается закругленным домом на углу Мойки. В подвале этого старинного углового здания и помещался «Привал комедиантов».

Раньше это помещение было обыкновенным подвалом, разгороженным редкими досками; в таких подвальных клетушках квартиранты доходных домов хранили свои дрова. Чтобы переоборудовать дровяной подвал в изысканный клуб деятелей искусств, потребовалось немало изобретательности, вкуса и труда художников, архитекторов и других мастеров своего дела. Замечательные художники-декораторы С. Ю. Судейкин и Борис Григорьев расписали стены и сводчатые потолки «Привала» с изумительным мастерством и блеском.

Обстановка «Привала комедиантов» была очень скромной, даже строгой: кресел и стульев там не было, вместо них стояли простые деревянные скамьи, обтянутые крашеным холстом. Крохотный помост, прижатый к стене, служил местом для выступлений; там стоял рояль, а возле него табурет. Рядом с зрительным залом примостилась небольшая буфетная стойка и несколько маленьких столиков. Полумрак мягко гармонировал с настенной живописью и своеобразным характером всего помещения. В небольшом зрительном зале могло поместиться, вероятно, не больше пятидесяти человек.

В «Привале комедиантов» не существовало заранее подготовленных программ вечеров; обычно все выступления там носили характер экспромтов. То известный инструменталист или певец исполнял здесь новое музыкальное произведение, то актер показывал фрагмент своей новой роли. В «Привале» можно было услышать последние стихи поэтов Маяковского, Блока, Хлебникова, Ахматовой, Есенина, Кузмина и Мандельштама. Бывало, что сами авторы читали свои произведения. Часто после чтения возникали горячие дискуссии.

Так было в «Привале» и с поэмой Александра Блока «Двенадцать», вызвавшей шумную реакцию посетителей первых двух выступлений Любови Дмитриевны.

Напечатанная впервые в газете в феврале 1918 года[3], поэма «Двенадцать» вызвала бурные разноречивые отклики. О «Двенадцати» говорили и спорили везде: среди интеллигенции и передовых рабочих, в партийных кругах и в беспартийных.

С особенной страстью обсуждало поэму студенчество. Взрывом негодования встретили ее большинство писателей. Даже близкие друзья поэта осудили «Двенадцать» и отвернулись от Блока.

К моменту моего рассказа прошло около пяти месяцев со дня появления поэмы в печати, а интерес к ней продолжал расти, и только этим необычайным интересом можно было объяснить то, что руководство «Привала комедиантов», нарушая все свои традиции вечеров-экспромтов, пригласило Любовь Дмитриевну выступить с чтением «Двенадцати» в третий раз.

Жизнь в «Привале комедиантов» начиналась поздно, часов в одиннадцать. До двенадцати публика собиралась вяло, оживление же наступало обычно после полуночи, когда в театрах кончались спектакли.

Не знаю, бывал ли Александр Александрович в «Привале» раньше, а если он там и бывал, то, должно быть, редко. При входе его никто не узнал. Дежурный член клуба обратился к нам с просьбой назвать свои фамилии, а услышав фамилию Блока, растерялся, засуетился, пригласил нас войти, а сам быстро бросился вперед, желая, должно быть, кого-то предупредить.

Очень скоро навстречу нам торопливо выбежал крайне взволнованный моложавый человек актерской внешности. Еще издали он начал приветствовать Блока возгласами и жестами, выражая свою радость гостю.

Это был Борис Пронин. Бывший актер, он на этот раз встречал нас как директор «Привала комедиантов». Он принадлежал к актерам старой школы, актерам пышных и повышенных интонаций и жестов на сцене. И в жизни он сохранил эту внешнюю театральность, хотя был человеком очень простым и сердечным. Всегда открытый, веселый, доброжелательный и шумный, он пользовался всеобщей любовью.

Пронин был потрясен и вместе с тем рад неожиданному гостю. Он обрушил на Александра Александровича поток возгласов: «это великолепно», «это просто замечательно», «потрясающе», «необыкновенно», «как я рад», «как я счастлив», «милый Александр Александрович, если

бы вы знали, какой подарок вы сделали нам...» Видно было, что ему не хватает слов, чтобы выразить свои чувства.

— Здравствуйте, — спокойно улыбаясь, прервал его Блок. — Позвольте представить вам... — он назвал меня. — Мы пришли к вам послушать Любовь Дмитриевну. Вы позволите?

Тут Пронин бросился ко мне и, будто сто лет знаком со мною, обнял меня за талию и наговорил мне кучу любезностей, которых не успел досказать Блоку.

— Какой сегодня праздник в «Привале», какой замечательный сюрприз, что вы пришли к нам вместе с Александром Александровичем! — И дальше следовал поток восторженных слов.

Александр Александрович тем временем отошел в сторону и оттуда сочувственно и озорно улыбался мне. Пронин вдруг что-то вспомнил, схватил под руку Блока, а потом и меня и уволок нас в какую-то каморку, которую назвал своим кабинетом, налил три стакана вина и произнес пышный, взволнованный тост в честь Блока и меня, и так как в волнении он забыл мое имя или просто не расслышал его, то именовал меня «наш высокий гость» — и так несколько раз.

Блоку понравилось это выражение, он запомнил его, и на следующий день, открывая мне дверь у себя на Офицерской, он торжественно и громко провозгласил:

«Пожаловал наш высокий гость».

Тосты Пронина прервала пришедшая Любовь Дмитриевна; она просила директора выпустить ее поскорее на эстраду.

Было одиннадцать часов, гостей было еще очень мало. Пронин долго уговаривал Любовь Дмитриевну, а потом эффектно, по-театральному, упал на колени и стал молить:

— Душечка, Любовь Дмитриевна, не губите, побудьте с нами, подождите немного! Вот скоро соберется публика, вы первая выступите, и мы сразу вас отпустим. Умоляю, ну хоть полчасика! У нас сегодня такой праздник, такой день!

Но Любовь Дмитриевна наотрез отказалась ждать: она объяснила, что куда-то очень спешит.

В зрительном зале Александр Александрович и я встали у задней стены, чтобы лучше видеть реакцию зрите-

лей на чтение поэмы, но в зале, кроме нескольких унылых фигур, сидевших впереди, никого еще не было.

Не стану здесь подробно рассказывать о том, как Любовь Дмитриевна читала «Двенадцать». Скажу только, что поэму она исполнила так хорошо, как мне впоследствии не пришлось услышать ни у одного прославленного артиста.

Любовь Дмитриевна — профессиональная актриса, поэтому и исполнение ее было актерским; она использовала весь арсенал приемов, средств и красок актерского мастерства. Исполнение было острым и интересным; особенно пленило меня сочетание низкого красивого голоса актрисы с грубоватыми интонациями героев поэмы, в которых слышались то народная частушка, то протяжная народная песня. Главные и второстепенные герои поэмы были показаны Любовью Дмитриевной выпукло и искусно.

А Христос так и остался отвлеченным, туманным и непонятным.

Исполнительница стремилась показать и сложный, многообразный музыкальный ритм поэмы, и в этом она достигла бесспорного успеха. Исполнение было яркое и интересное.

В доме Блоков на Офицерской долго не ослабевал интерес к отзывам и высказываниям о «Двенадцати». Мать поэта Александра Андреевна, Любовь Дмитриевна и в особенности сам поэт с жадным интересом ловили каждое новое мнение, каждое новое слово о поэме.

Однажды я принес с улицы рассказ о том, как на, Невском проспекте человек, шедший сзади меня, читал кому-то вслух отрывок из «Двенадцати». Интерес Блоков к этому эпизоду был поразителен; меня забросали вопросами: какой отрывок читал прохожий? Какого он был возраста? Как он был одет? И кем он мог быть по профессии?

Когда на следующий день после похода в «Привал комедиантов» я делился на Офицерской своими впечатлениями, Блоки прерывали мой рассказ бесконечными вопросами. В основном это были вопросы Любови Дмитриевны, которая проверяла на мне отдельные части поэмы. В своих ответах я не мог скрыть, что образ Христа и в исполнении Любови Дмитриевны остался туманным. При этих словах я заметил, как Александр Александрович, улыбаясь, переглянулся с женой, и мне захотелось узнать, чем

были вызваны улыбки. Блок объяснил, что мнение о туманном образе Христа ему часто приходилось слышать.

В этот вечер — как-то само собою вышло — я рассказал о своем намерении издать поэму «Двенадцать» с иллюстрациями, рассказал и о своих сомнениях.

— А какого художника думаете вы привлечь к этой работе?

Узнав о том, что я думал о художнике Анненкове, Блок спросил:

— Это тот Анненков, ваш гимназический товарищ, который сделал марку «Алконоста»? — И, помолчав немного, добавил: — Вы думаете, он подходит для этой работы?

Я откровенно признался, что других художников не знаю. Однако, чтобы успокоить Блока, я предложил сделать на пробу несколько эскизов, и в зависимости от качества этих эскизов будем решать, поручить ли иллюстрации Анненкову или искать другого художника.

Блок улыбнулся. Мне показалось, что он подумал: «Странный человек этот Алянский — знает одного-единственного художника, и этого знает только потому, что учился с ним в гимназии, и только на этом основании он готов поручить ему иллюстрации к «Двенадцати».

— Ну что ж, попробуем, — сказал Александр Александрович.

Предлагая Александру Александровичу поручить иллюстрации к «Двенадцати» Анненкову, я, конечно, рисковал, потому что из многих бесед с Блоком знал, что он отнюдь не является поклонником крайних левых направлений в искусстве.

Первые эскизы Анненкова меня озадачили. Передо мною лежали непонятные кубистические знаки. Художник по моему лицу понял, что его эскизы разочаровали меня, и, когда я прямо об этом ему сказал и добавил, что не могу их показать Блоку, он попросил дать ему еще время, чтобы подумать и еще поработать.

Примерно к середине августа новые эскизы были доведены до такого состояния, что я решился показать их Блоку[4]. Не скрою, я очень волновался, направляясь с эскизами к поэту: я почему-то думал, что он предубежден против Анненкова, не верит в него и обязательно забракует его работу.

Вопреки моему предчувствию, Александр Александрович с интересом рассматривал рисунки. Сразу ему понравились два рисунка: «убитая Катька» и «пес» (к словам поэмы: «только нищий пес голодный ковыляет позади...»).

— Это очень хорошо! — воскликнул Александр Александрович.

Он заметно повеселел, несколько раз возвращался к достоинствам отмеченных рисунков и, удовлетворенный, показывал их матери и жене и, заметив, должно быть, мое волнение, поспешил успокоить:

— Вот видите, и маме, и Любови Дмитриевне рисунки нравятся.

И этой похвале я так был рад, будто сам сделал эти рисунки.

Дольше других Блок рассматривал последний страничный рисунок, на котором был изображен Христос.

Я знал, что этот рисунок долго не давался Анненкову и ему самому совсем не нравился — он не увидел в поэме Христа. Он просил меня хорошо запомнить все, что Блок скажет об этом рисунке. Я попросил Александра Александровича подробнее рассказать, каким он представляет себе Христа в поэме.

Я слушал рассказ Блока о том, как возник образ Христа в «Двенадцати», как стихотворение, как поэму, и я решил: как только приду домой, обязательно запишу его. Но, испугавшись вдруг, что, пока дойду домой, могу что-то утратить, я попросил Блока написать Анненкову свой отзыв о рисунках, что он тут же при мне и сделал.

Вот что писал Блок:

«Пишу Вам по возможности кратко и деловито, потому что Самуил Миронович ждет и завтра должен отправить письмо Вам.

Рисунков к «Двенадцати» я страшно боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части художественной мысли — мне невыразимо близки и дороги, а общее — более чем п р и е м л е м о, — т. е. просто я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.

Для меня лично всего бесспорнее — убитая Катька (большой рисунок) и пес (отдельно — небольшой рисунок). Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, если бы мы, столь разные и

разных **поколений**, — говорили с Вами **сейчас**, — мы многое сумели бы друг другу сказать полусловами. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно.

Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо все вместе и чем дороже отдельные части, тем решительнее я должен спорить с двумя вещами, а именно: 1) с Катькой отдельно (с папироской); 2) с Христом.

1) «Катька» — великолепный рисунок сам по себе, наименее оригинальный вообще, думаю, что наиболее «не ваш». Это — не Катька вовсе: Катька — здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая — здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему этому не противоречит *изящество* всей середины Вашего большого рисунка (два согнутых пальца руки и окружающее). Хорошо тоже, что крестик выпал (тоже на большом рисунке). Рот свежий, «масса зубов», чувственный (на маленьком рисунке он — старый). «Эспри» погрубее и понелепей (может быть, без бабочки). «Толстомордость» очень важна (здоровая и чистая, даже — до детскости). Папироски лучше не надо (может быть, она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет «сатириконства» (Вам совершенно чуждый).

2) О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и *уходит.* «Христос с флагом» — это ведь — и так и не так». Знаете ли Вы (у меня — через всю жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и *главное* — за ночной темнотой), то *под ним* мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать). Вообще это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в «Двенадцати» (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики).

Если бы из левого верхнего угла «убийства Катьки» дохнуло густым снегом и сквозь него — **Христом**, — это была бы *исчерпывающая обложка.* Еще так могу сказать.

Теперь еще: у Петьки с ножом хорош *кухонный нож* в руке; но рот опять старый. А на целое я опять смо-

трел, смотрел и вдруг вспомнил: Христос... Дюрера! (т. е. нечто совершенно не относящееся сюда, *постороннее* воспоминание).

Наконец, последнее: мне было бы страшно жалко *уменьшать* рисунки. Нельзя ли, по-Вашему, напротив, увеличить некоторые и издать всю книгу в размерах «убийства Катьки», которое, по-моему, настолько grand style, что может быть увеличено еще хоть до размеров плаката и все-таки не потеряет от того. Об увеличении и уменьшении уж Вам судить.

Вот, кажется, все главное по части «критики». Мог бы написать еще страниц десять, но тороплюсь. Крепко жму Вашу руку.

Александр Блок».

Вернувшись домой, я находился еще под свежим впечатлением от рассказа Блока. Мне захотелось проверить свою память, и я прочел письмо Блока, которое он дал мне для отправки. С изумлением я обнаружил, что в письме было все, что Блок говорил о рисунках, за исключением того, как возник в поэме образ Христа. Рассказ Блока произвел на меня глубокое впечатление, и я никак не мог понять, почему он не попал в письмо.

Звонить на Офицерскую было поздно, я отложил это до утра и здесь же записал рассказ по памяти, пока он не забылся.

Утром позвонил Блоку, сказал ему, что в письме пропущен рассказ о Христе и что я записал его по памяти и хочу послать эту запись Анненкову. При этом я спросил:

— Почему рассказ не попал в письмо, забыли?

— Нет, не забыл. Мне кажется, что главное, о чем я рассказывал вам, — гораздо лучше сказано в самой поэме. Но если вы считаете, что мой рассказ поможет художнику лучше показать последнюю главу поэмы, напишите ему.

РАССКАЗ А. А. БЛОКА О ТОМ, КАК ВОЗНИК ОБРАЗ ХРИСТА В ПОЭМЕ «ДВЕНАДЦАТЬ»

Случалось ли вам ходить по улицам города темной ночью, в снежную метель или в дождь, когда ветер рвет и треплет все вокруг? Когда снежные хлопья слепят глаза?

Идешь, едва держась на ногах, и думаешь: как бы тебя не опрокинуло, не смело... Ветер с такой силой раскачивает тяжелые висячие фонари, что кажется — вот-вот они сорвутся и вдребезги разобьются.

А снег вьется все сильней и сильней, заливая снежные столбы. Вьюге некуда деваться в узких улицах, она мечется во все стороны, накапливая силу, чтобы вырваться на простор. Но простора нет. Вьюга крутится, образуя белую пелену, сквозь которую все окружающее теряет свои очертания и как бы расплывается.

Вдруг в ближайшем переулке мелькнет светлое или освещенное пятно. Оно маячит и неудержимо тянет к себе. Быть может, это большой плещущий флаг или сорванный ветром плакат?

Светлое пятно быстро растет, становится огромным и вдруг приобретает неопределенную форму, превращаясь в силуэт чего-то идущего или плывущего в воздухе.

Прикованный и завороженный, тянешься за этим чудесным пятном, и нет сил оторваться от него.

Я люблю ходить по улицам города в такие ночи, когда природа буйствует.

Вот в одну такую на редкость вьюжную, зимнюю ночь мне и привиделось светлое пятно; оно росло, становилось огромным. Оно волновало и влекло. За этим огромным мне мыслились Двенадцать и Христос.

Этот рассказ я слышал из уст А. А. Блока 12 августа 1918 года, в тот день, когда показывал ему эскизы рисунков к поэме.

Высказанные в письме Блока замечания о героях поэмы Катьке и Петьке были точны и конкретны, а дополнительные характеристики их, особенно Катьки, были настолько исчерпывающи и так зримы, что они помогли художнику создать героев, которые останутся в изобразительном искусстве. Что же касается образа Христа, то он так и не получился.

Блок считал, что это произошло по вине автора.

...Поэма «Двенадцать» с иллюстрациями вышла впервые в конце 1918 года. Напечатана в типографии Голике и Вильборг по желанию автора в большом формате. Пер-

вый тираж этого издания вышел по подписке, в количестве трехсот экземпляров. Второй тираж в том же формате вышел тиражом в десять тысяч экземпляров, по заказу Наркомпроса.

ОБЛОЖКА «ЗАПИСОК МЕЧТАТЕЛЕЙ»

Название альманаха издательства «Алконост» долго обсуждалось писателями Петербурга и Москвы.

Было предложено много названий, и в конце концов все согласились принять название, предложенное Блоком, — «Записки мечтателей».

Предлагая такое имя альманаху, Александр Александрович говорил, что оно отвечает творчеству писателей «Алконоста», обращенному к будущему.

Предстояло заказать обложку, выбрать художника.

Советуясь с Блоком, я назвал художника Головина. Мне казалось, что на обложке хорошо было бы изобразить театральный занавес, который мог бы служить парадным входом в альманах. А кто лучше Головина сделает занавес? Вспомнились последние театральные занавесы Головина к спектаклям, поставленным Мейерхольдом: «Дон-Жуан» и «Маскарад» в Александринском театре, «Борис Годунов» в Мариинском театре, и мы решили просить Всеволода Эмильевича познакомить нас с Головиным.

Мейерхольд обрадовался поводу повидаться с Головиным и предложил:

— Поедем к нему все втроем! Александр Яковлевич будет рад. Кстати, посмотрим, над чем сейчас старик работает.

Мы условились поехать в ближайшее воскресенье. Головин жил за городом, в Царском Селе под Петербургом (теперь город Пушкин).

Блок поехать не смог, и мы отправились вдвоем с Мейерхольдом. В поезде Всеволод Эмильевич расспрашивал о «Записках мечтателей», о том, кто и что там будет печатать и о какой обложке мы думали. А когда узнал о нашем намерении просить Головина сделать для обложки занавес, воскликнул:

— Почему занавес? Ведь не только пьесы собираетесь вы печатать в альманахе? — И добавил: — Нет уж, занавес оставьте театру, а вам надо придумать сюжет, связанный с названием альманаха — «Записки мечтателей».

Надо подумать, какие они, сегодняшние мечтатели. Думаю, что пока они еще крепко связаны с прошлым, они только мечтают о будущем...

Так вслух размышлял Мейерхольд о мечтателях сначала в поезде, а потом — когда шли по аллеям Царского Села. Когда же подходили к дому, где жил Головин, он сказал:

— Кажется, придумал! Обсудим вместе с Головиным.

Александра Яковлевича Головина мы застали за мольбертом — он писал натюрморт «Цветы в вазе».

Головин обрадовался Мейерхольду, они расцеловались и долго обменивались дружескими объятиями.

Представив меня, Мейерхольд рассказал о просьбе Блока и «Алконоста». Раскритиковав нашу затею с занавесом, он начал порывисто ходить по комнате, фантазируя вслух сюжет обложки:

— Помните ли вы литографию Домье «Любитель эстампов»? Так вот, этот «любитель эстампов» очень похож, по-моему, на сегодняшнего мечтателя. Мне кажется, нужно нарисовать такую картину: мечтатель стоит, должно быть, на очень высокой скале, спиной к зрителю. Перед ним (под его ногами) расстилается большой промышленный город. Крыши, крыши, крыши... и кое-где — фабричные трубы. Над крышами стелется дым, который на горизонте переходит в облака, а там, дальше, сквозь дым и облака, неясно мерещится светлый город будущего.

Рассказав содержание картины, Мейерхольд обращается к Головину, просит взять бумагу и карандаш и зарисовать его, а он будет позировать в том положении, в каком видит мечтателя на обложке.

Мейерхольд подошел к двери, встал к ней лицом, спиной к художнику, засунул руки в карманы пиджака, както сжался, собрался в струнку и так неподвижно стоял несколько минут, пока Головин делал набросок.

Я оказался невольным свидетелем таинственного творческого процесса двух замечательных художников.

Вечером я рассказывал Блоку со всеми подробностями все, что видел и слышал. Александр Александрович улыбался, а когда я кончил, сказал:

— Очень жаль, что не поехал с вами и не видел всего своими глазами. Что касается сюжета, придуманного Мейерхольдом, я думаю, что он интересен и по мысли глубже нашего занавеса. Одно несомненно: обложка будет очень талантлива. Поздравляю.

ЮБИЛЕЙ «АЛКОНОСТА»

В марте 1919 года исполнилось девять месяцев с основания издательства «Алконост».

В бурное, полное событиями время срок в девять месяцев показался нам солидным и вполне достаточным, чтобы его отпраздновать. Ждать до года было очень долго.

Я жил тогда в доме Толстого, на Троицкой улице. Этот громадный дом занимал большой квартал. Построенный незадолго до войны, он был рассчитан главным образом на богатых жильцов. Но наряду с большими барскими квартирами один подъезд в доме владелец отвел для жильцов, снимавших отдельные комнаты. Там все было устроено, как в новых больших гостиницах: такие же длинные коридоры и такие же удобные комнаты с маленькой передней и нишей для кровати.

В одной из таких комнат я жил, и в ней решено было отпраздновать юбилей «Алконоста».

Первым на юбилей пришел Александр Александрович Блок. Он открыл приготовленный мною альбом приветствием:

Дорогой Самуил Миронович. Сегодня весь день я думал об «Алконосте». Вы сами не знали, какое имя дали издательству. Будет «Алконост», и будет он в истории, потому что все, что начато в 1918 году, в истории будет. И очень важно то, что начат он в июне (а не раньше), потому что каждый месяц, если не каждый день этого года — равен году или десятку лет.

Да будет «Алконост»!

Александр Блок
1 марта 1919

Незадолго до юбилея вышел первый номер литературного альманаха «Записки мечтателей», и Александр Александрович предложил воспользоваться юбилеем, чтобы обсудить «Записки» и поговорить о том, каковы должны быть следующие номера альманаха, как расширить круг тем и привлечь новых авторов.

Помимо основных писателей «Алконоста» — Андрея Белого, Иванова-Разумника, А. Ремизова, Константина Эрберга, — было решено пригласить на юбилей некоторых деятелей Театрального отдела Наркомпроса, где в то время

работали и Александр Александрович Блок, и я; это были Мейерхольд, известный профессор-пушкинист П. О. Морозов, а также переводчик и театральный деятель Вл. Н. Соловьев; из художников были приглашены Ю. Анненков и молодой график Н. Купреянов.

Среди гостей случайно оказалась одна дама — О. А. Глебова-Судейкина, жена художника Судейкина. Она ничего не знала о юбилее, была где-то поблизости и забежала на минутку, в то время когда гости уже сидели за столом. Почти все здесь знали Ольгу Афанасьевну, обрадовались ей. Кто-то назвал ее «нечаянной радостью», и все единодушно упросили остаться с нами.

Весь этот день был для меня полон хлопот: нужно было достать вина и хоть какой-нибудь еды. Задача трудная, но в результате некоторых усилий и сложных ухищрений гостям было предложено роскошное по тем временам угощение. «Гвоздем» стола было блюдо — гордость главного повара Дома ученых, бывшего раньше главным поваром ресторана «Вилла Родэ», — форшмак из воблы и мороженой картошки. Блюдо имело большой успех; думаю, однако, что и не такое знатное угощение имело бы успех. На столе были еще селедка, вобла и какие-то коржики. К этой закуске удалось раздобыть три бутылки чистого спирта.

Когда все гости собрались, Александр Александрович начал разговор о «Записках мечтателей», но длился он недолго.

Все приготовления к ужину были закончены, гостей пригласили придвинуться к столу и там продолжать беседу. Но тут разговор не клеился, пошли юбилейные речи и тосты.

Блок хотел вернуться к обсуждению, но это ни к чему не привело. Разговор вспыхивал на мгновение и тут же затухал.

Для обсуждения серьезных вопросов оказалось многовато вина и маловато закуски. Гости скоро захмелели, и, как бывает в таких случаях, голоса становились громче, а речи нескладней. Было трудно следить за мыслью говоривших.

Деловой разговор так и не состоялся.

В то время Петроград был на осадном положении, и по приказу властей после определенного часа хождение по улицам без специального пропуска запрещалось. Ночные патрули в городе останавливали не только запоздав-

ших пешеходов на улицах, но заглядывали иногда и в квартиры, проверяли, кто живет в них, а главным образом — скрывающихся, о которых ничего не было известно домкомбеду (домовый комитет бедноты).

Мои гости никаких пропусков не имели, поэтому большинство из них разошлись по домам до запретного часа. Остались только те, кто либо жил далеко, либо был расположен еще посидеть: Блок, Белый, Анненков и Соловьев. Некоторое время мы сидели за столом, допивая вино, но постепенно сон начал одолевать гостей. Анненков с Соловьевым устроились кое-как на оттоманке и скоро заснули. Белый дремал, сидя в кресле, а Блок и я оказались крепче других; мы уселись у письменного стола, который стоял у окна, как раз напротив передней, и о чем-то полушепотом говорили.

Наконец и нас одолела дремота, и мы прикорнули здесь же, у стола.

Осторожный стук в дверь разбудил меня.

«Нет, это не патруль, — подумал я, — те стучат громко, по-хозяйски, те не стесняются разбудить, — нет, это не они».

Однако кто же это мог быть в столь поздний час?

Открыв дверь, я увидел человека в кожаной куртке и двух матросов, увешанных патронными лентами, с винтовками за плечами.

— Вы здесь хозяин? — спросил человек в кожаном, входя в переднюю.

— Да, я, но я очень прошу вас говорить потише, там у меня несколько человек спят, не хотелось бы их будить.

— Имеется ли среди них кто-нибудь из посторонних, не прописанных здесь? — спросил он потише.

— Да, имеются. Мы праздновали день рождения, и тем, кто живет далеко, пришлось остаться. Там, видите, у стола, дремлет поэт Александр Блок, — показал я ему издали на дремавшего Александра Александровича, — он остался здесь потому, что живет очень далеко, на конце Офицерской, угол Пряжки, он не успел бы домой до запретного часа.

— Как, Александр Блок? Тот самый Александр Блок, который написал «Двенадцать»? — спросил он шепотом и вышел из передней в общий коридор, жестом приглашая и меня выйти.

— Да, тот самый Александр Александрович Блок.

— А еще кто у вас остался? — спросил он, прикрывая дверь.

Я назвал оставшихся и сказал, что все эти люди причастны к искусству.

— А почему вы не сообщили в домкомбед о том, что у вас остаются ночевать гости?

— Да потому, что никто из них не собирался оставаться, просто они задержались дольше, чем думали.

Человек в кожаной куртке на минуту задумался.

— Хорошо. На этот раз я вам поверю, но на будущее время, если не успеете предварительно, сообщайте об оставшихся у вас в домкомбед сразу после наступления запретного часа. Считайте, что на этот раз вам повезло. Хорошо, что я сам оказался с патрулем, иначе ваша именинная ночь была бы нарушена: всем вам пришлось бы прогуляться для выяснения личности. Запомните э т о , — закончил он, повернулся, дал знак матросам, и все они удалились.

Я остался у дверей, провожая патруль глазами. Пройдя несколько шагов, человек в кожаной куртке, начальник патруля, обернулся и, заметив меня, вернулся, подошел ко мне близко и спросил:

— А Александра Блока неужели вы не смогли уложить куда-нибудь?

В вопросе слышались резкость и досада. Не дождавшись моего ответа, начальник патруля повернулся, догнал матросов и что-то тихо начал им объяснять. Он был взволнован, и мне показалось, что он рассказывает матросам, кто такой Александр Блок.

На следующий день я узнал в домкомбеде, что с патрулем приходил сам комендант Петрограда.

Оказывается, он жил в нашем доме и захотел лично проверить несколько наиболее буржуазных квартир. А ко мне он пришел потому, что в домкомбеде заметили, что у меня собрались гости, и об этом доложили коменданту[5].

ДЕЖУРСТВО У ВОРОТ

В один из светлых летних вечеров 1919 года, подходя к дому на Офицерской, где жил Блок, я с удивлением увидел Александра Александровича стоящим в подворотне.

— Вы ждете кого-нибудь? — спросил я.

— Д а , — с раздражением ответил Б л о к , — я жду здесь грабителей. Они должны скоро прийти сюда. Они наме-

рены похитить вот этот наш дом, а я должен им помешать, — без тени улыбки добавил поэт.

Я не сразу понял, что произошло, почему так взволнован Блок, и спросил:

— Что случилось?

— Случилось и случается довольно часто: у меня дома уйма работы, и вместо того чтобы ее делать, меня посылают стоять в воротах: охранять и беречь покой буржуев. А вам разве не приходится дежурить в воротах?

Я предложил постоять здесь вместе с ним, хотелось успокоить Александра Александровича, рассказать, как дежурят в нашем доме. Но он не захотел. Просил меня подняться в квартиру, обещая скоро прийти.

Не знаю, чем было вызвано раздражение Блока: бессмысленным ли стоянием в воротах или тем, что он просто устал за день, а может быть, тем и другим вместе. Не знаю. Но только не видел я до того Александра Александровича таким раздраженным.

Дежурства по дому были повсюду. На дежурство назначались жильцы дома, о которых было известно, что они живут на трудовые доходы. На них домкомбед составлял расписание, кому когда дежурить. Расписание вывешивалось обычно в подворотне. В нашем доме жильцы тоже дежурили. Но они редко придерживались расписания. Они выходили во двор, когда были свободны, выходили, чтобы обменяться новостями, которых в то время всегда было много, обсудить их. Во дворе постоянно толпилась кучка жильцов, и вряд ли кто-нибудь из них интересовался расписанием.

Блок вернулся домой хмурый, неразговорчивый. Однако спустя немного времени раздражение его стало постепенно таять, и он начал меня о чем-то расспрашивать.

А за чайным столом Александр Александрович рассказывал о своем дежурстве уже в юмористических тонах. Рассказал, как, дождавшись наконец грабителей, он вступил с ними в борьбу и как ему быстро удалось их одолеть.

Блок придумал длинную смешную историю своей героической борьбы, которую закончил словами:

— Теперь буржуи могут спокойно спать. А я жду награду, — добавил он, протягивая свою чашку Любови Дмитриевне.

Вечером за чайным столом у Блоков почти всегда было весело. Они любили юмористический рассказ, шутку, анекдот.

Заводила всегда Любовь Дмитриевна. Она умела с юмором рассказать об увиденном и услышанном сегодня на улице, в магазине или еще где-нибудь, где успела побывать. А Александр Александрович, как бы соревнуясь, старался пересмешить жену, тоже рассказывал веселый эпизод или анекдот. И если ему не хватало наблюдений, он тут же придумывал их.

Один из таких вечеров был посвящен обстрелу новых словообразований, сокращенных названий учреждений, организаций.

Блок в шутку утверждал, что эти новые, труднопроизносимые слова придумывались футуристами — будетлянами, как их называл Хлебников. Расшифровка таких слов в семье стала игрой — кто смешнее расшифрует. Придумывались и новые словообразования, среди которых были и изобретенные Блоком прозвища матери и жены: Раймама и Райлюба.

Однажды, это было тоже летом 19-го года, мы сидели в столовой, пили чай. Блоки были в ударе. Много смеялись. На улице было светло. За шутками и смехом я не заметил, что давно уже наступил час, после которого хождение по улицам без специального пропуска не разрешалось. Я заспешил и сказал, что самая смешная концовка вечера впереди, когда меня задержат на улице.

Женщины забеспокоились, предложили остаться, а Александр Александрович улыбнулся, что-то озорное мелькнуло в глазах, и он сказал:

— Не спешите, все равно опоздали. Подождите минутку, я дам вам пропуск, никто вас не задержит.

Подойдя к письменному столу, он быстро что-то написал и, передавая мне голубую бумажку, на которой было написано шуточное удостоверение, серьезно сказал:

— Вот с этим удостоверением вас не задержат.

«Удостоверение» я прочитал вслух. Мы опять посмеялись. Спрятав бумажку в карман, я ушел.

А на следующий день я рассказал Блоку по телефону, что дошел благополучно до самого моего дома на Знаменской и тут только меня остановил патруль. Я предъявил «удостоверение», патруль взглянул на него, поверил мне и отпустил.

Александр Александрович долго смеялся своей выдумке.

А я с тех пор постоянно носил с собой голубой листок — это шуточное удостоверение личности. <...>

ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА БЛОКА[6]

Первый литературный вечер Александра Блока был назначен на 9 мая в аудитории Политехнического музея.

Все дни до первого вечера меня не покидала тревога о том, как он пройдет, вернее — как пройдет второе отделение вечера. И хотя было известно решение Александра Александровича не отвечать на вечере ни на какие записки, это не могло успокоить: никто не мог заранее знать, как на это будет реагировать публика. Беспокоило и то, как отнесется Александр Александрович к враждебным выкрикам, если они раздадутся в его адрес. Ведь были же такие выкрики на вечере Маяковского[7]. Все это приходило в голову, несмотря на то что было известно, что футуристы, от которых можно было ждать любых сюрпризов, не собираются устраивать Блоку обструкций.

Настало 9 мая. Мы пришли с Александром Александровичем к зданию музея задолго до объявленного часа начала вечера и увидели ту же картину, что и в памятный мне вечер Маяковского. Громадная толпа молодежи заполнила площадь перед музеем, вход в помещение был забит, и люди, пришедшие с билетами, не могли попасть внутрь.

Пока мы обсуждали, как нам быть, нас затянуло в толпу, а там мы лишились возможности продвигаться самостоятельно. Нам изрядно намяли бока. Александр Александрович каким-то образом оказался впереди меня. Эта толкотня ему, видно, нравилась, он то и дело оборачивался, ища меня глазами, а когда находил, то весело и подбадривающе улыбался мне. Он будто помолодел в этой толпе. Хорошо, что никто здесь не знал его в лицо.

Вдруг я увидел, как в дверях какой-то человек схватил Блока под руку и втащил его внутрь, в подъезд. Оставшись один, я продолжал беспомощно барахтаться в толпе. А когда наконец уже добрался до заветной двери, там опять показался человек, который уволок Блока. Надрываясь, он выкрикивал мою фамилию над самым моим ухом. Человек этот оказался представителем администрации. Он с трудом протащил нас в подъезд,

проводил в узенькую длинную комнату, примыкавшую к эстраде, и помчался обратно к входным дверям, чтобы встретить еще кого-то или наладить порядок. Неизвестно, наладил ли он порядок у входных дверей, здесь же, в аудитории, на лестнице и в проходах царили хаос, невероятный шум и толкотня. Буквально все было забито людьми.

В комнате, куда провел нас администратор, Александра Александровича окружили московские друзья, пришедшие пожать ему руку. И неизвестно, чем Блок был больше взволнован — предстоящим ли выступлением или встречей с друзьями.

Мне захотелось послушать Блока вместе с публикой, из зала.

Я с трудом пробрался к дверям аудитории. Когда мне удалось наконец занять устойчивую позицию у стены, вновь вернулась тревога за Блока.

Вспомнился Маяковский на этой эстраде. И, сравнивая с ним Блока, я понимал все преимущество Маяковского: громадный рост, могучий голос, уверенный, грубовато-волевой тон — все это, вместе взятое, способно было прекратить любой шум, приковать к себе внимание, завоевать власть над толпой. Я всматривался в лица людей, пришедших на вечер Блока, и мне казалось, что вижу тех же людей, которых видел на вечере Маяковского.

В голову лезли другие сравнения. Вспомнился знаменитый актер МХАТа В. И. Качалов, который любил выступать с чтением стихов Александра Блока.

Природа одарила этого актера необыкновенным богатством: он обладал бархатным голосом неотразимого обаяния, крупной фигурой, богатой мимикой и великолепным жестом — словом, всем, что помогает таланту актера.

Но когда мне приходилось слушать стихи Александра Блока в исполнении Качалова, я не мог отделаться от чувства досады. Все внешние данные Качалова оставались только внешними. Чтение стихов не имело никакого отношения к поэзии Блока, оно больше походило на упражнение или пробу голоса, будто в стихах поэта не было ни мысли, ни музыки.

Однако обаяние качаловского голоса было так велико, что казалось, вздумай артист прочесть с эстрады скучнейшую статью или обеденное меню ресторана, это чтение все равно вызвало бы бурю аплодисментов.

И вот сейчас, после вечера Маяковского, после вече-

ров Качалова, перед москвичами предстоит выступить застенчивому, тихому, скромному Блоку, выступить перед огромной аудиторией, перед собранием неизвестно как настроенных людей.

Было от чего волноваться!..

Постепенно шум стих. Александр Александрович вышел на эстраду. Казалось, что он взволнован. Зал встретил его аплодисментами. Аплодисменты все нарастали и продолжались несколько минут. Казалось, им не будет конца.

Александр Александрович стоял посредине эстрады, растерянно улыбаясь. Аплодисменты не прекращались. Блок обернулся к столу, стоявшему в глубине эстрады, ища у сидящих там поддержки или совета. На лице сквозь улыбку были вопросы: когда конец? Что делать? Помогите! Но там, в глубине, у сидящих за столом, он увидел те же улыбки и аплодисменты.

И только когда люди вконец отбили себе ладони, аплодисменты стихли. Поэт начал читать.

Читал он, стоя посредине эстрады, опираясь обеими руками на спинку стула.

В голосе Блока не было ни бархата, ни металла, на лице не было видно какой-либо мимики, не было и жестов. Александр Александрович читал своим обычным глуховатым голосом, просто и довольно тихо, казалось, даже монотонно, без интонаций. Читал он так, как читал стихи у себя дома — для своих. Не было никаких внешних или внутренних приемов чтения. И было совсем непонятно, какими тайнами владел поэт, чтобы так приковать внимание людей.

А тайна крылась в самих стихах, в их необыкновенном звучании.

В зале было так тихо, что было слышно дыхание толпы. И после прочтения стихотворения тишина продолжалась еще какие-то секунды, прежде чем взрывался гром аплодисментов.

И так после каждого стихотворения. Толпа была взволнована и долго не отпускала Блока.

Во время перерыва я пытался пробраться в артистическую, хотелось поздравить Блока, но в небольшой комнате набилось столько людей, что нечего было и думать подойти к нему, и мы лишь издали перебросились улыбками. Он понял мои чувства и привет.

После перерыва Блок вышел, встреченный новой бурей аплодисментов. За ним на эстраду устремились все

те, кто окружал его в артистической. Вся эстрада оказалась заполненной людьми, и лишь посредине остался маленький пятачок, на который Александр Александрович с трудом пробрался.

В зале публика бросилась со своих мест к краю эстрады, и таким образом Блок оказался окруженным живой стеной со всех сторон.

Из зала на эстраду полетело несколько записок. Кто-то из стоявших там подобрал их и оставил у себя.

Блок долго еще читал стихи, и чтение перемежалось взрывами аплодисментов.

Последним на этом вечере поэт прочитал стихотворение, которое особенно любил читать — «Девушка пела в церковном хоре»:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Думаю, что публика хорошо знала это стихотворение, и, может быть, именно поэтому оно сопровождалось таким триумфом, какого в этот вечер еще не было.

Я слышал это стихотворение из уст поэта много раз, и сейчас я слушал его с таким же волнением, как раньше, как слушаешь любимую музыку или как разбуженное в памяти и в сердце глубокое переживание.

Блока долго еще не отпускали с эстрады, а брошенные записки так и остались без ответа, всеми забытые.

Успех литературных вечеров Александра Блока в Москве побудил издательство «Алконост» устроить вечер поэта в Петербурге.

Вечер состоялся в помещении «Вольной философской ассоциации» (Чернышева площадь, 2) 29 июля 1920 года.

На этом вечере Александр Александрович впервые читал не опубликованную до того времени третью главу поэмы «Возмездие» и написанное к ней, специально для этого вечера, предисловие. Читал он также и другие стихи.

АЛЕКСАНДР БЛОК И ЕГО МАТЬ

С юных лет Александр Александрович Блок любил совершать дальние прогулки пешком в одиночестве. Он долгие часы бродил по окрестностям Петербурга — в Шувалове, Озерках и Парголове.

Отправляясь на такую прогулку, Александр Александрович всегда предупреждал об этом мать, чтобы она не беспокоилась, если он задержится. Впрочем, так поступал он всегда, во всех случаях, даже когда уходил на Моховую улицу во «Всемирную литературу», если опасался, что может запоздать.

Такой порядок, как рассказывала мать, установился очень давно, еще с гимназических лет Сашеньки.

И в тех случаях, когда Александр Александрович задерживался, Александра Андреевна приглашала наиболее близких людей в свою комнату.

Это была длинная, узенькая комната, в которой стоял письменный стол с креслом, небольшой диван и кровать. Над столом, на стене висел большой карандашный портрет Блока, сделануый художницей Татьяной Гиппиус, там же висело несколько фотографий Александра Александровича, снятых в разные годы его жизни, а на столе, в рамочках стояли последние снимки поэта.

Мать поэта, Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух (фамилия второго мужа), была невысокого роста, худенькая и совсем седая. Она постоянно зябла и даже в теплые дни куталась в бархатную пелеринку, отороченную мехом.

Она казалась слабенькой и хрупкой.

Александра Андреевна, внимательная и сердечная, особенно к людям, к которым ее Сашенька был дружески расположен, встречала гостя приветливо, усаживала поудобнее и забрасывала вопросами о родных, близких, знакомых и о делах. Все эти вопросы не воспринимались как обычная вежливая внимательность, — наоборот, мать поэта, как и сам Александр Александрович, обладала редкой способностью задавать вопросы и выслушивать

гостя с такой искренней и дружеской заинтересованностью, которая вызывала в ответ в собеседнике самые откровенные излияния.

Я был одним из тех, кто пользовался у Александры Андреевны расположением и доверием, и очень этим гордился.

Мне были дороги тихие и уютные вечера на Офицерской, когда я заставал Александру Андреевну одну; я знал, что услышу новый рассказ из жизни молодого Блока.

Уверенная, что нам никто не помешает, мать поэта в такие вечера любила рассказывать о жизни семьи Бекетовых в Шахматове и разные истории про Сашеньку. Это были воспоминания о детских и юношеских годах сына: о его радостях, огорчениях и увлечениях.

Каждая мать сохраняет в памяти на всю жизнь самые разные детские занятия, забавы, шалости любимого ребенка, но, думаю, не каждая могла рассказать об этом так увлекательно и с таким юмором, как умела это делать Александра Андреевна.

Раннее детство Блока, по рассказам матери, мало чем отличалось от детства во многих других интеллигентных семьях: те же игры и забавы, те же шалости и капризы, та же любовь к животным и растениям. Когда Саше было лет девять, он очень любил совершать длительные прогулки по Шахматову со своим дедом — ректором Петербургского университета, профессором ботаники Андреем Николаевичем Бекетовым. Во время таких прогулок дед знакомил внука с начатками знаний о природе и рассказывал ему удивительные истории из жизни растений. Они собирали гербарий и определяли растения.

Вспоминая о том, что у Сашеньки очень рано появилась особенная любовь к рифмованным словосочетаниям и к шуточным стишкам, она тут же замечала, что в этом возрасте дети часто увлекаются рифмами и словотворчеством.

Едва научившись писать буквы и складывать из них слова, Сашенька увлекается изданием своего журнала «Малышам», который через некоторое время переименовывает в «Кораблик», а еще позднее — в «Вестник». В журнале, кроме будущего поэта, участвуют его двоюродные братья Кублицкие-Пиоттух и другие родственники. Но постепенно журнал все больше наполняется

произведениями Саши Блока в стихах и в прозе. Появляются и рисунки поэта.

В гимназические годы, по словам матери поэта, Блоком, помимо влечения к стихотворству, к сочинению разных шуток и редактированию нового журнала «Вестник», вдруг овладевает увлечение переплетным делом. Этому его научил кустарь-переплетчик. Зная, должно быть, со слов Александра Александровича, что переплетное ремесло мне знакомо и что я могу его оценить, она показывала мне переплетенные Сашенькой книги.

Вспоминая о первой любви семнадцатилетнего Блока к Ксении Михайловне Садовской (известной по стихотворениям, посвященным К. М. С.), Александра Андреевна описывала красоту и необыкновенное обаяние этой женщины в таких восторженных выражениях, будто она и сама вместе с сыном была в нее влюблена.

В одном из последних вечеров-воспоминаний рассказы Александры Андреевны были посвящены его юношеским годам, когда в Блоке проявилось самое страстное и самое длительное увлечение — театром.

Блок мечтает стать актером, участвует во многих домашних любительских спектаклях: он исполняет сцены из «Гамлета», «Бориса Годунова», «Скупого рыцаря», «Горя от ума» и др.

Свои рассказы Александра Андреевна иллюстрирует фотографиями, на которых Александр Александрович снят в разных ролях.

Из таких вечеров-воспоминаний Александры Адреевны мне особенно запомнился последний.

Это было в первых числах апреля 1921 года. Я пришел на Офицерскую, как всегда, вечером. Дверь открыла Александра Андреевна. После приветствий она сказала:

— Сашеньки нет дома, он предупредил, что запоздает, его вызвали на какое-то заседание. Любы тоже нет дома. Посидите у меня, пока Сашенька вернется.

Александра Андреевна заботливо усадила меня, про все расспросила, вспомнила, что последний ее рассказ был об увлечении Блока актерской игрой. Не спеша она продолжала прерванный рассказ о шекспировских спектаклях в Боблове (соседнее с Шахматовом имение Д. И. Менделеева) и о начавшейся дружбе Блока с Любовью Дмитриевной Менделеевой.

Когда речь зашла о том, как Блок волновался всякий раз, примеряя свой театральный костюм и накладывая

грим, голос Александры Андреевны начал вдруг падать, и последние слова она произнесла так тихо, что ее едва было слышно. Я подумал, что ей сделалось дурно, и бросился принести воды, но Александра Андреевна остановила меня:

— Ничего, ничего, мне показалось...

Скоро голос ее опять окреп, и она продолжала рассказ. Но ей все время что-то мешало, она несколько раз останавливалась, к чему-то прислушивалась: видно, что-то ее тревожило.

— Знаете, с Сашенькой что-то случилось, — чуть слышно проговорила она, при этом голова ее поникла, глаза закрылись и пальцы она прижала к вискам.

Я подумал, что Александра Андреевна напрягается, чтобы увидеть или представить себе, что именно случилось с Сашенькой.

В таком положении она оставалась минуту или две, потом вдруг подняла голову, широко раскрыла глаза, повернулась лицом к двери и воскликнула:

— Сашенька, что случилось с тобой?

Машинально вслед за Александрой Андреевной я тоже повернул голову, но дверь по-прежнему была закрыта, и только спустя минуты две я услышал, как хлопнула входная дверь с лестницы, резко раскрылась дверь в комнату, и неожиданно вбежал бледный и крайне взволнованный Александр Александрович.

Мария Андреевна Бекетова (тетка Блока) как-то рассказывала, что Александра Андреевна и ее сын обладают способностью предвидеть какие-то события и на расстоянии чувствуют тревогу и волнение друг друга. Тогда я скептически отнесся к такой способности, хотя и замечал иногда за Александрой Андреевной необычную тревожную впечатлительность.

Сейчас я убедился, что контакт между матерью и сыном на расстоянии действительно существовал.

...Не заметив меня, Блок сразу обратился к матери, будто ее вопрос он услышал еще на лестнице:

— Сегодня весь день очень тяжелый: отовсюду тревожные слухи и мрачные рассказы. А когда шел сейчас домой, на улицах из подворотен, подъездов, магазинов, из всех щелей — отовсюду выползали звуки омерзительной пошлости, какие-то отвратительные фокстроты и доморощенная цыганщина. Я думал, что эти звуки давно и навсегда ушли из нашей ж и з н и, — они еще живы... Ма-

ма, неужели все это возвращается? Это страшно!.. Скажите, — вдруг обратился Блок ко мне, — неужели вы ничего этого не замечали?

Я никогда не видел Александра Александровича таким встревоженным. Вместе с Александрой Андреевной я пытался успокоить его, но нам это не удалось. Весь вечер Александр Александрович был взбудоражен, казалось, он никак не может отделаться от преследовавших его звуков.

Происхождение «омерзительных пошлых звуков», так взволновавших Блока, было ему хорошо известно. Звуки эти с недавнего времени «выползали из щелей» разных кафе, возникших на улицах Петербурга вскоре после объявления нэпа. Вместе с «пошлыми звуками» на свет вылезли и люди, прятавшиеся до того по темным углам. Это были спекулянты, валютчики и прочий уголовный сброд.

Чтобы объяснить состояние Александра Александровича в тот вечер, нужно рассказать о первых внешних проявлениях нэпа на улицах Петербурга, как упорно продолжали называть Петроград коренные его жители.

НАЧАЛО БОЛЕЗНИ БЛОКА

В апреле 1921 года здоровье Александра Александровича заметно ухудшилось: он часто уставал и жаловался на боли в сердце.

Все лишения последних лет, пережитые поэтом, подорвали его крепкий от природы организм.

Все это случилось как-то неожиданно, сразу.

Врач установил, что болезнь сердца явилась в результате перегрузки нервной системы, а признаки цинги — от нехватки в питании некоторых продуктов — мяса и жиров.

Продовольствие Блок получал по карточкам, как и все граждане, по существовавшей тогда единой общегражданской норме. Дополнением к этой норме были пайки, которые выдавались некоторыми организациями своим сотрудникам. В пайки входили только ненормированные продукты: селедка или вобла и редко когда — мороженая картошка.

Блок получал два, а иногда три таких пайка: по Дому ученых как писатель, по Большому драматическому

театру как служащий, а в последнее время он получал еще паек по журналу «Красный милиционер».

...Журнал «Красный милиционер» издавался Отделом управления Петросовета по инициативе заведующего отделом, молодого человека большой культуры и инициативы Б. Г. Каплуна. К работе в журнале «Красный милиционер» были привлечены виднейшие литераторы и художники.

Здесь уместно сказать, что забота о культурном росте народной милиции не ограничивалась изданием хорошего журнала. Для работников милиции было создано также несколько студий: литературная студия, студия рисунка, скульптуры и др. Руководителями этих студий и преподавателями приглашались лучшие силы литературы и искусства.

В первые годы революции в петербургских театрах практиковались целевые спектакли, предназначенные для красноармейцев. Такие спектакли давались и Большим драматическим театром. Перед этими спектаклями Александр Александрович, как художественный руководитель театра, выступал со специально написанным вступительным словом, в котором приводились краткие сведения об авторе пьесы и разъяснялась идея спектакля.

Блоком были написаны пять таких вступлений к спектаклям, причем вступления к трем спектаклям — «Дон Карлос», «Разбойники» и «Дантон» — были напечатаны в журнале «Красный милиционер».

Авторский гонорар Блока, его заработная плата во «Всемирной литературе» и в Большом драматическом театре, зарплата Любови Дмитриевны в театре Народного дома, где она служила, и гонорар за отдельные ее выступления — все эти заработки, вместе взятые, шли на питание. И этого едва хватало на четверых (мать поэта, тетка, жена и сам Александр Александрович).

Когда с введением нэпа открылся частный рынок, на котором можно было купить некоторые необходимые продукты, оказалось, что Блокам они не по средствам.

Больше всего Александр Александрович страдал от недостатка хлеба, жиров и мяса. Чтобы приобрести эти продукты на рынке, у спекулянтов, Любови Дмитриевне пришлось продать почти весь свой театральный гардероб, а потом и ценные кружева из ее замечательной коллекции. Вещи раз от разу обесценивались, а продукты, наоборот, с такой же стремительностью дорожали. А когда вещей

не стало, очередь дошла до книг, до библиотеки Александра Александровича. Книги постепенно отправлялись в «Книжный пункт Дома искусств» (так называлась книжная лавка на Морской улице) для продажи.

Разные организации нередко обращались к Блоку с предложением провести в большой аудитории его авторские вечера. Но, несмотря на то что за каждое выступление на вечере поэту сулили значительные суммы, Блок отвергал заманчивые предложения.

Когда же на Офицерской убедились, что все «внутренние ресурсы» недостаточны, что на них не продержаться, Александр Александрович вынужден был согласиться выступить на нескольких вечерах в Петербурге и в Москве.

ВЕЧЕР БЛОКА В БОЛЬШОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Первый большой авторский литературный вечер Александра Блока, устроенный Домом искусств, состоялся 25 апреля 1921 года в петербургском Большом драматическом театре.

Ровно за два года до того, 25 апреля 1919 года, Блок был назначен председателем режиссерского управления этого театра.

Блок и раньше выступал на литературных вечерах с чтением своих стихов, но обычно это бывало в небольших аудиториях, рассчитанных преимущественно на деятелей литературы и искусства, человек на сто пятьдесят — двести — в Доме искусств на Мойке, в Вольфиле (Вольная философская ассоциация) на Фонтанке и в Тенишевском училище на Моховой, выступал еще, как я уже рассказывал, в 1920 году в Политехническом музее в Москве.

Теперь Блоку предстояло выступить в театре, вмещающем около двух тысяч человек, и это его беспокоило; беспокоило, хватит ли голоса, будет ли слышно в последних рядах и на галерке. И, несмотря на то что некоторый опыт выступлений с этой сцены у Блока был, он все же волновался.

О предстоящем вечере по городу была расклеена большая афиша. Накануне открытия продажи билетов у билетной кассы театра на Фонтанке выстроилась длинная очередь молодежи. Однако счастливцев, простоявших сутки

в очереди и получивших билеты, оказалось гораздо меньше, чем желающих попасть на вечер.

Но в театре каким-то таинственным образом оказалось гораздо больше людей, чем было продано билетов.

Молодежь забила все проходы в партере и на ярусах.

Администрация и контролеры, должно быть, не случайно ослабили свое усердие в этот вечер.

В первых рядах кресел сидели почетные гости: мать, жена и тетка поэта, все ведущие артисты театра, любившие поэта и гордившиеся своим художественным руководителем.

Я с трудом пробрался за кулисы. Там тоже было полно людей. Задолго до начала вечера туда собралась большая толпа рабочих сцены, пришедших послушать стихи своего старшего товарища по работе. Все они принарядились, как на праздник. Сюда же пришли друзья и знакомые Блока, не сумевшие раздобыть билеты. Все эти люди толпились за кулисами у лестницы. А лестница была так забита людьми, что пришедший для съемок фотограф М. Наппельбаум едва пробрался со своим громоздким фотоаппаратом. (Кстати, на этом вечере большой мастер своего дела М. Наппельбаум сделал и оставил нам две последние и, пожалуй, лучшие фотографии поэта: на одной Блок снят один, а на другой вместе с К. И. Чуковским.)

Накануне вечера я напомнил Александру Александровичу о моей давней просьбе и его обещании познакомить меня с К. И. Чуковским. Блок сказал, что попытается сделать это завтра же в театре, перед началом вечера.

Я пришел, как мы условились, пораньше и застал Александра Александровича на сцене. Он разговаривал с директором театра Т. И. Бережным. Заметив меня, Блок что-то сказал собеседнику, направился ко мне, взял меня под руку и, улыбнувшись, сказал:

— Идемте, сейчас произойдет историческое событие: знакомство «Алконоста» с Чуковским.

Он повел меня на другой конец сцены, где Корней Иванович, готовясь к вступительному слову, просматривал свои заметки.

— Корней Иванович, разрешите представить вам, — Блок назвал меня, — моего издателя. Помните, я говорил вам о нем?

— Да, да, конечно, п о м н ю , — сказал Корней Иванович. Но по лицу его было видно, что в эту минуту он ничего не помнил.

Озабоченный своим вступительным словом, он рассеянно скользнул по мне глазами, пожал руку, бросил какой-то комплимент «Алконосту», улыбнулся Блоку и сказал ему, что он очень волнуется. Александр Александрович пожал его руку выше локтя, сказал несколько ласковых, успокоительных слов, опять взял меня под руку и повел обратно.

Блок, должно быть, понял, что для знакомства он выбрал не лучший момент, а когда мы оказались на достаточном расстоянии от Корнея Ивановича, он утешал уже меня тем, что на днях будет более удобный случай для знакомства. Он имел в виду нашу совместную поездку в Москву.

В отличие от К. И. Чуковского, Блок к этому времени уже успокоился. Он был лишь немного возбужден предстоящим выступлением.

Не стану описывать этот вечер — о нем очень хорошо рассказано К. И. Чуковским в его воспоминаниях, а поэтом Николаем Брауном написана поэма-воспоминание[8], есть и другие воспоминания, но я их не знаю. Могу только сказать, что успех Блока был огромный. Читал он, как всегда, просто и ровно, не возвышая голоса, и удивительно, что в самых отдаленных местах зрительного зала голос его был отлично слышен (об этом мне потом говорили многие). После каждого стихотворения в зале поднимался шквал аплодисментов и выкриков. Блок стоял один на сцене. Он растерянно улыбался и ждал, когда стихнет зал.

Когда я услышал, что Александр Александрович начал читать стихотворение «Девушка пела в церковном хоре», я понял, что он читает последнее стихотворение, что больше на этом вечере он читать не будет.

Новый взрыв аплодисментов длился еще долго; казалось, у публики никогда не иссякнут силы. В зале уже начали тушить огни, а молодежь все не могла успокоиться.

Но вот наконец аплодисменты стали утихать, публика начала медленно и неохотно расходиться.

На сцене актеры театра и друзья окружили поэта, поздравляли его с успехом, благодарили. Каждый тянулся пожать ему руку.

Александр Александрович улыбался: он казался здоровым, довольным.

А в это время на Фонтанке, у выхода из театра, собралась большая толпа. Это были молодые люди, они ждали Блока и шумно обменивались впечатлениями. Им хотелось поближе увидеть любимого поэта и еще раз поблагодарить его.

...И никто из них не знал, что сейчас увидит Блока в последний раз.

На следующий день Александр Александрович с утра жаловался на усталость и в оставшиеся несколько дней до отъезда в Москву не выходил из дома.

ПОЕЗДКА БЛОКА В МОСКВУ В МАЕ 1921 ГОДА

Московские вечера Блока были назначены на первые числа мая, и, хотя Александр Александрович чувствовал себя еще нездоровым, он готовился к поездке.

1 мая 1921 года Блок выехал в Москву. Там ему предстояло выступить с чтением стихов в Политехническом музее, в Союзе писателей, в Доме печати, в Итальянском обществе Данте Алигьери и еще где-то, не помню. Вместе с Блоком в Москву был приглашен Корней Иванович Чуковский, который должен был выступать на вечерах с докладом о творчестве поэта. Я тоже поехал в Москву по просьбе Александра Александровича и его близких, на случай, если ему понадобится чем-нибудь помочь. Мать и жену беспокоило нездоровье Блока.

Когда мы оказались втроем в одном купе, Александру Александровичу пришлось второй раз знакомить меня с Чуковским, но на этот раз по просьбе Корнея Ивановича.

В дороге Александр Александрович жаловался на боли в ноге. Желая отвлечь Блока, Корней Иванович занимал поэта веселыми рассказами, забавными историями и литературными анекдотами. Он знал их без конца. Блок много смеялся и, казалось, порой совсем забывал о болях.

Когда Блок вернулся в Питер, то первое, о чем он рассказал Любови Дмитриевне на вокзале, было — как мы ехали в Москву и как всю дорогу Чуковский заговаривал ему больную ногу веселыми рассказами и удивительными историями.

— И знаешь, — добавил он, — заговорил: я совсем забыл о ноге.

Вся дорога в Москву, по выражению Блока, прошла в «Чуковском ключе».

3 мая состоялся первый вечер Блока в Москве, в Политехническом музее, а 5 мая — там же второй. Я был на этих вечерах и видел, как Блок нервничал и волновался. Несмотря на громадный успех, сопровождавший оба вечера, поэт не чувствовал ни радости, ни удовлетворения, он жаловался на недомогание и крайнюю усталость.

Когда Блок выступал в Доме печати, а потом в Итальянском обществе, я, чем-то занятый, на эти выступления не попал. А о скандале, который разыгрался в Доме печати, узнал от самого Александра Александровича на следующий день, когда мы встретились с ним на Новинском бульваре. Блок пришел туда, как мы условились. Он плохо выглядел и опять жаловался на усталость.

Блок рассказал, что из Политехнического музея его на машине привезли в Дом печати. Там он был тепло встречен, прочитал несколько стихотворений и собирался уже уходить в Итальянское общество, где его ждало еще одно, третье в этот вечер, выступление, как вдруг кто-то из публики крикнул, что прочитанные им стихи мертвы. Поднялся шум. Крикнувшему эти слова предложили выйти на эстраду. Тот вышел и пытался повторить брошенные слова или объяснить их, но кругом было так шумно, что невозможно было ничего разобрать. Друзья Блока, опасаясь, что он может попасть в свалку, окружили его плотным кольцом, провели к выходу и всей толпой проводили в Итальянское общество.

Казалось удивительным, что Блок рассказывал об этом скандале с полным равнодушием. В его рассказе не было даже намека на недовольство или раздражение, будто скандал этот не имел к нему никакого отношения. Больше того — когда я, возмущенный безобразной выходкой, сказал что-то нелестное о выступившем, Александр Александрович взял его под защиту: он стал уверять меня, что человек этот прав.

— Я действительно стал мертвецом, я совсем перестал слышать.

Однако страшные слова, брошенные в адрес Блока в Доме печати, не забылись им. Он не раз вспоминал их потом, вспомнил их и в поезде, когда мы возвращались в Петербург.

Хотя и на этот раз Блок оправдывал оскорбившего «его человека, я почувствовал, что брошенные слова жестоко и больно ранили душу поэта. <...>

Блоку назвали фамилию автора недостойной выходки. Ничего больше Блок о нем не знал.

Позднее мне удалось узнать, что этот озлобленный завистник был жалким неудачником в литературе [9].

С каждым днем пребывания Александра Александровича в Москве самочувствие его ухудшалось: он все чаще жаловался на слабость и усталость.

Однажды я откуда-то возвращался вместе с Блоком. Мы шли от Арбатских ворот по Арбату — совсем недалеко. Когда мы поравнялись с домом, в котором он остановился в этот приезд, он сказал, что едва дошел — так устал, что не знает, хватит ли ему сил дойти до лестницы и подняться до квартиры. Я проводил его и ушел в надежде, что за ночь он отдохнет и усталость пройдет. Но когда утром на следующий день я зашел за ним и спросил его о самочувствии, он сказал, что, должно быть, серьезно болен: усталость и боли в ногах не проходят и не дают покоя. Надо бы ехать домой, но друзья советуют ему показаться хорошему кремлевскому врачу.

Делясь в дороге своими впечатлениями о поездке, Блок сказал, что, в общем, он остался доволен приемом москвичей, встречей с друзьями, и даже скандал в Доме печати внес, по его словам, некоторое разнообразие.

Неожиданным было для меня сообщение Александра Александровича, что материальный результат этой тяжелой поездки оказался ничтожным, и если бы не друзья, которые добились в театре аванса за пьесу «Роза и Крест», было бы совсем плохо.

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ БЛОКА

На следующий день по приезде домой я с волнением шел на Офицерскую навестить больного; думал, что застану Блока в постели. Но как приятно я был поражен, когда дверь мне открыл сам Александр Александрович!

Подтянутый, как всегда, выбритый, с веселой улыбкой. Весь вид его говорил о том, что он рад, что вернулся наконец домой. Одна мелочь бросилась мне в глаза — на нем не было галстука и верхняя пуговица рубашки была расстегнута. По моим наблюдениям, такая «воль-

ность» в одежде обычно совпадала с хорошим настроением поэта.

От болезни будто и следа не осталось.

Был яркий, солнечный день. В комнате Блока, где каждая вещь твердо знала свое место и где всегда царил строгий, привычный порядок, я заметил, вернее, почувствовал, что на этот раз порядок в чем-то нарушен; но где и в чем именно, сразу не уловил.

На вопрос о здоровье Блок сказал, что хорошо отдохнул, что дома чувствует себя куда лучше, но ноги еще побаливают и поэтому выходить на улицу он воздерживается.

— Мама с тетей уехали на дачу в Лугу. Живем теперь вдвоем с Любой.

И добавил:

— Занимаюсь разбором книг, оставшихся после продажи.

Тут только я заметил, что большой книжный шкаф, стоявший у окна, раскрыт и объемистая пачка книг лежит на нижней, выступающей части шкафа.

Александр Александрович пригласил меня к шкафу, сказал, что с утра занимается книгами, и предложил, если у меня есть время и желание, продолжить вместе с ним эту работу. Он обещал показать кое-какие книги, которые могут меня заинтересовать.

Перебирая книгу за книгой, на некоторых он останавливался дольше, рассказывал, чем они ему памятны. Эти рассказы Блока о книгах походили больше на воспоминания: Александр Александрович попутно касался и людей, которые приходили на память в связи с той или иной книгой, или обстоятельств, при которых книга была приобретена.

Зная мое пристрастие к редкой антикварной и иллюстрированной книге, Александр Александрович обращал мое внимание на некоторые томики и сообщал о них сведения, которые могли бы поразить любого библиофила. Он, оказалось, хорошо знал антикварную книгу и умел ценить исключительность редкого экземпляра.

Мы простояли у шкафа довольно долго. Рассказы Блока были интересны, и я не заметил времени. Любовь Дмитриевна прервала наше занятие, предложила отдохнуть, а кстати и пообедать. За обедом он и жене рассказывал о людях, которые вспомнились ему в связи с некоторыми книгами.

От долгого стояния возле шкафа у Блока разболелась нога, и наше «путешествие по книжным полкам» пришлось отложить до следующего дня.

Александр Александрович просил меня прийти завтра пораньше.

На следующий день Блок, как и накануне, казался здоровым, бодрым и веселым. Он ждал меня. Чтобы не утомлять больную ногу, мы сели разбирать книги за столом.

Просмотрев небольшую часть книг, оставшихся на верхних полках, мы добрались и до нижних, закрытых полок шкафа. Здесь хранились рукописные журналы, издававшиеся в детстве самим поэтом (это были журналы «Малышам», «Кораблик» и «Вестник», последних было больше всего), а также большие альбомы заграничных путешествий Блока. То были большие альбомы, с фотоснимками древнеегипетского, римского и греческого искусства, а также альбомы со снимками произведений мастеров западноевропейской живописи.

Вынимая пачку детских журналов, Александр Александрович сказал, что он сам очень давно их не видел и с интересом полистает. Но не перелистывал Блок детские журналы, а бережно переворачивал страницы, исписанные крупным детским почерком, и попутно вспоминал о том, как он увлекался сочинением, перепиской и оформлением каждого нового номера. Он читал вслух все подряд: свои детские стихи, шутки, шуточные объявления и прозу, произведения родственников, сотрудников журнала, при этом от души, как ребенок, смеялся над своими сочинениями.

Вот три шутки из журнала «Малышам»:

12 кошек сели у окошек
И ели мошек
И картошек,
А около дома
Стояла пара сошек.
Около сошек
Была куча крошек,
А около крошек
Была куча брошек.

20 было воробьев,
Было 40 снигирев,
Мальчики кричали,
Гуси гоготали,
Ласточки летали,
Коровы мычали.

Распрекрасный был обед
Было 36 котлет,
Было 20 пирогов
Всех их есть я был готов.
Я их так много ел,
Что наконец даже вспотел.
Выла здесь малина,
Была и бузина.

Номера журналов украшались Блоком орнаментальными и сюжетными рисунками, вырезанными из печатных журналов для взрослых. А когда Блок подрос, то и. сам кое-что рисовал для своих журналов.

О детских стихах Блока и о рукописных журналах я знал раньше, из рассказов матери поэта, но никогда не видел их своими глазами. Сейчас я держал их в руках и рассматривал вместе с автором и издателем, который комментировал свои и чужие произведения воспоминаниями.

Около трех часов продолжалось мое второе знакомство с детством поэта. Последние номера «Вестника» мы просматривали, когда Блок был уже утомлен. Просмотр альбомов путешествий Александр Александрович предложил перенести на следующий день.

Назавтра я пришел на Офицерскую в условленный час. Дверь открыла Любовь Дмитриевна. Она шепотом сказала, что вчера после моего ухода Александр Александрович почувствовал себя плохо и весь остаток дня пролежал, жалуясь на усталость. Она просила меня последить, чтобы Александр Александрович не переутомлялся, а лучше всего было бы, если б можно, прервать разбор шкафа хотя бы на день-два.

Напуганный тревожными словами Любови Дмитриевны, я предложил Блоку отдохнуть хотя бы один день, но в ответ я услышал слова, истинный смысл которых дошел до меня гораздо позже.

Александр Александрович сказал, что, помимо книжного шкафа, ему необходимо просмотреть подготовленное к изданию собрание сочинений и привести в порядок довольно большой архив и что на все это потребуется много времени. Вот почему ему хочется поскорее покончить со шкафом, в котором остались только альбомы путешествий, и добавил:

— Мне кажется, что альбомы путешествий по Италии могут быть интересны и вам, и, если вы не спешите, посмотрим сейчас эти альбомы.

Я понял, что у Блока большой, продуманный план работ и этот план ему не хотелось нарушать.

Прежде чем раскрыть первый альбом, Блок рассказал, как создавались эти альбомы. Путешествуя по незнакомым местам, он привозил вместо сувениров открытки с видами городов, памятников архитектуры и скульптуры, а когда посещал музеи и картинные галереи, приобретал там репродукции или фотографии картин. Для своих будущих альбомов Блок привозил из-за границы и местные иллюстрированные журналы, в которых в какой-то мере отражалось то новое, что ему удалось увидеть. Вернувшись домой, Блок под свежим впечатлением разбирал весь привезенный изобразительный материал, и то, что его больше всего поразило, он расклеивал на листах альбомов по строгому плану. Рассказ Блока дополнила Любовь Дмитриевна, которая присутствовала при просмотре альбомов. Она добавила, что расклейкой альбомов Александр Александрович занимался с первого дня приезда в продолжение нескольких дней и, пока не заканчивал этой работы, не выходил из дома.

Блок говорил, что собранный им изобразительный материал помог ему закрепить в памяти увиденное, и он называл свои альбомы дневниками путешествий.

Переворачивая страницы альбомов, которые, по его признанию, он давно не смотрел, Блок с увлечением вспоминал все, что ему удалось увидеть, и подробно рассказывал обо всем.

Рассказы Блока о природе Италии, об архитектуре, о музеях, хранилищах и храмах, наполненных сокровищами искусства, — все было для меня ново и необыкновенно интересно, они оставили во мне такое глубокое впечатление, что долгое время мне не хотелось видеть Италию своими глазами, я боялся увидеть ее не такой, какой увидел ее Блок, боялся утратить живое восприятие поэта.

Любовь Дмитриевна давно куда-то ушла, а интересный рассказ Александра Александровича так меня увлек, что я совсем забыл о ее просьбе проследить, чтобы Александр Александрович не переутомлялся. Я не заметил его усталости до тех пор, пока он сам не пожаловался на нее и не предложил перенести просмотр на завтра.

Так — в который уже раз — обрываются наши встречи у книжного шкафа.

Я был печальным свидетелем того, как день за днем Александр Александрович терял свои душевные и физические силы. Я думаю, что прогулки в прошлое, всплывшие воспоминания, взволновавшие поэта, тоже отразились на нем. Он жаловался на крайнюю усталость.

Теперь я приходил к Блокам во второй половине дня. Александр Александрович тревожился, что работа по просмотру рукописей подвигается очень медленно, после двух часов работы за столом он устает и ложится на диван. А когда ему кажется, что отлежался, отдохнул, он встает, но работать не может.

Александр Александрович перемогался всю вторую половину мая и почти весь июнь. Потом он слег и пытался работать, сидя в постели. Болезнь затягивалась, и самочувствие неизменно ухудшалось. Однако Любовь Дмитриевна и все, кто заходил в эти дни на Офицерскую узнать о здоровье Блока, надеялись на выздоровление, никто не думал о грозном исходе болезни.

Один Александр Александрович, должно быть, предчувствовал свой скорый уход. Он тщательно готовился к нему и беспокоился, что не успеет сделать всего, что наметил, и поэтому торопился.

Блок упорно боролся с усталостью и очень огорчался, что силы так скоро покидают его.

Было удивительно, что в те дни, когда Александру Александровичу становилось особенно тяжело работать, он при каждой встрече неизменно интересовался делами «Алконоста». Он спрашивал обо всем: какие книги находятся в типографии, в каком состоянии производства находятся они. Спрашивал об очередном, пятом номере «Записок мечтателей», скоро ли будет набор.

Однажды Блок спросил:

— Знаете ли вы писательницу и переводчицу Мариэтту Шагинян? Она прекрасно перевела тетралогию Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунгов». А недавно она прислала мне сборник своих пьес. Я читаю их сейчас, она очень талантлива.

А спустя несколько дней Александр Александрович опять заговорил о Мариэтте Шагинян:

— Я прочитал пьесы Шагинян. Не знаю, сможет ли использовать их театр, но некоторые из них, по-моему, хорошо бы напечатать в «Записках мечтателей». Я очень рекомендую напечатать в ближайшем номере лучшую из этих пьес: «Чудо на колокольне» — это очень талант-

л и в о , — повторил о н . — Я написал Шагинян свой отзыв[10]. Будьте добры, передайте ей рукопись, она зайдет к вам в книжный пункт.

А еще через несколько дней Александр Александрович спрашивал меня через Любовь Дмитриевну, успел ли я сдать в набор пьесу «Чудо на колокольне» в очередной номер «Записок мечтателей».

Пьеса Мариэтты Шагинян «Чудо на колокольне» была напечатана в № 5 «Записок мечтателей», вышедшем уже после смерти Блока, в 1922 году.

Болезнь продолжала прогрессировать. Настал день, когда Александр Александрович не мог совсем вставать с постели. Доктор заявил, что больному необходимы санаторные условия, особое питание и что нужно непременно уговорить Александра Александровича согласиться на хлопоты о заграничном санатории.

О поездке для лечения за границу велись разговоры и раньше, когда Блок был еще на ногах, но Александр Александрович все время решительно отказывался что-нибудь предпринимать для этого. Он не видел большой разницы между эмигрантством, которое ненавидел, и поездкой для лечения.

Теперь, когда состояние Блока ухудшилось и организм его ослаб, ослабло и сопротивление поэта. Теперь он уже соглашался на поездку, но просил только, чтобы это было не дальше Финляндии.

Продолжая ежедневно приходить на Офицерскую, я пытался чем-нибудь помочь Любови Дмитриевне — она совсем сбилась с ног: ей самой приходилось раздобывать нужные продукты, приготовлять питание для больного, следить за тем, чтобы не упустить время приема лекарства, — словом, забот было много, всего не перечислить. К этому надо добавить, что Александр Александрович никого не желал видеть и, кроме Любови Дмитриевны, никого к себе не допускал. На этом, кстати сказать, настаивал и доктор Пекелис. Конечно, я не мог рассчитывать на исключение и был рад, если мне удавалось хоть что-нибудь сделать для больного.

Но вот однажды, спустя дней десять после того, как Александр Александрович окончательно слег, Любовь Дмитриевна, выйдя из комнаты больного, улыбаясь, сообщила мне, что Саша просит меня зайти к нему, что он чувствует себя немного лучше и что она воспользуется временем, пока я буду у больного, чтобы сбегать куда-

то, что-то достать. В улыбке Любови Дмитриевны, да и в самом ее приглашении опять мелькнула надежда. Но вместе с тем неожиданное приглашение к больному как бы парализовало меня: я растерялся и не мог двинуться с места.

— Что же вы сидите? Идите к Александру Александровичу. Он ждет вас!

Кажется, я никогда так не волновался, как в этот раз, когда входил в комнату Блока. За те дни, что мы не виделись, он изменился: похудел и был очень бледен. Он полусидел в постели, обложенный подушками.

Улыбнувшись, Александр Александрович предложил придвинуть стул поближе к постели, пригласил сесть и просил рассказать ему новости. Спросил, в каком положении набор его книги «Последние дни императорской власти» и что с «Записками мечтателей». Выслушав ответы, он сказал, что, с тех пор как совсем слег, почти ничего не может делать.

И вдруг вопрос:

— Как вы думаете, может быть, мне стоит поехать в какой-нибудь финский санаторий? — И добавил: — Говорят, там нет эмигрантов.

А спустя несколько дней Любовь Дмитриевна, открывая мне дверь, поспешно повернулась спиной. Я успел заметить заплаканные глаза. Она просила меня подождать, и, как всегда, я прошел в маленькую комнату, бывшую раньше кабинетом Блока. Скоро Любовь Дмитриевна вернулась и сказала, что сегодня Саша очень нервничает, что она просит меня, если не спешу, посидеть: быть может, понадобится моя помощь — сходить в аптеку.

Но не прошло и десяти минут, вдруг слышу страшный крик Александра Александровича. Я выскочил в переднюю, откуда дверь вела в комнату больного. В этот момент дверь раскрылась, и Любовь Дмитриевна выбежала из комнаты с заплаканными глазами. Она бросилась на кухню и разразилась громким плачем.

— Что случилось?

Любовь Дмитриевна ничего не ответила, только махнула мне рукой, чтобы я ушел. В комнате больного было тихо, и я ушел обратно в кабинет Блока, служивший теперь мне местом ожиданий, тревог и волнений.

Немного погодя я услышал, как Любовь Дмитриевна вернулась к больному. Пробыв там несколько минут, она

пришла ко мне и рассказала, что произошло. Она предложила Александру Александровичу принять какое-то лекарство, и тот отказался, она пыталась уговорить его. Тогда он с необыкновенной яростью схватил горсть склянок с лекарствами, которые стояли на столике у кровати, и швырнул их с силой о печку.

Этот рассказ сквозь слезы Любовь Дмитриевна неожиданно закончила восклицанием:

— Опять приступ! Если б вы знали, как это страшно?

По рассказам Любови Дмитриевны, таких приступов было несколько. После них обычно наступали спокойные дни, и тогда нам опять хотелось верить в выздоровление.

В наступившие спокойные дни Блок чувствовал себя настолько хорошо, что смог опять приняться за работу. Александр Александрович все чаще приглашал меня к себе.

Я привык уже к похудевшему, изменившемуся лицу поэта. Он забрасывал меня самыми различными вопросами: о моих личных делах, о делах издательства, интересовался, с кем встречаюсь, что делается в «книжном пункте» Дома искусств, где я работал по совместительству, — словом, интересовался положительно всем.

Наконец я принес Блоку долгожданные гранки его книги «Последние дни императорской власти». Он обрадовался, просил оставить их, обещая прочитать в два-три дня. Блок точно выполнил обещание: через два дня он вернул мне, как всегда, тщательно исправленную корректуру.

За корректурой я пришел утром. Блока я застал свободно сидящим в постели, он даже не прислонялся к подушкам, как прежде. Он казался бодрым, весело улыбнулся и, передавая корректуру, сделал какое-то указание. Я обратил внимание, что вокруг, на одеяле, были аккуратно разложены записные книжечки. Их было много. Я спросил Александра Александровича, чем это он занимается. Блок ответил, что просматривает свои записные книжки и дневники, а когда я заметил несколько книжек, разорванных надвое, а в другой стопке — отдельно выдранные странички, я спросил о них. Блок совершенно спокойно объяснил, что некоторые книжки он уничтожает, чтобы облегчить труд будущих литературо-

ведов, и, улыбнувшись, добавил, что незачем им здесь копаться.

Не знаю, был ли это у Блока приступ болезни, или, наоборот, это был разумный акт поэта, уходящего навсегда и заглянувшего в будущее. В тот момент, несмотря на спокойное, улыбающееся лицо, Блок показался мне безумцем. Встревоженный, я вышел из комнаты и рассказал все, что увидел, Любови Дмитриевне, попросив ее немедленно отнять эти книжки, спасти их.

Любовь Дмитриевна испуганно сказала:

— Что вы, разве это возможно? Второй день он занимается дневниками и записными книжками, все просматривает, — какие-то рвет на мелкие части целиком, а из некоторых вырывает отдельные листки и требует, чтобы тут же, при нем, я сжигала все, что он приготовил к уничтожению, в печке, возле которой стояла кровать.

Если бы я мог предположить, что Блок уничтожает дневники и записные книжки [11] в припадке раздражения, тогда факт уничтожения меня не удивил бы. Но это происходило на моих глазах, внешне Блок оставался совершенно спокоен и даже весел. И этот «безумный» акт в спокойном состоянии особенно потряс меня.

Вспомнились первые дни после приезда из Москвы. Блок казался здоровым, бодрым, веселым; недавних болей и усталости как не бывало. Вспоминаю день за днем, с чего все это началось. Сначала просмотр оставшихся чем-то памятных и любимых книг, потом веселая прогулка в детство (детские журналы); драгоценные воспоминания о дальних поездках, Италия (альбомы путешествий).

После этого вспомнились слова о том, что, помимо книжного шкафа, ему необходимо просмотреть подготовленное к изданию собрание сочинений и привести в порядок архив. И вот наконец очередь дошла до архива, до дневников и записных книжек.

Как систематически и точно выполняется задуманный план, будто поэт подводит всему итоги.

Уж не прощается ли он со всем, что наполняло его жизнь?

Какая длинная цепь прощальных актов!..

Последние числа июля. Александр Александрович чувствует себя значительно хуже. О состоянии больного узнаю у Любови Дмитриевны, но она очень скупа на

рассказы, ее заплаканные глаза говорят больше, чем могли бы сказать слова.

Я прихожу ежедневно, а иногда и по два раза в день. В маленьком кабинете Блока жду, когда из комнаты больного выйдет Любовь Дмитриевна, жду, не пригласит ли он к себе. Про себя повторяю все, что приготовил рассказать ему, все, что его может интересовать или развлечь.

Ловлю себя на том, что приготовленные рассказы очень походят на те, которыми мы обычно занимаем больных детей или когда хотим овладеть их вниманием, завоевать расположение...

А в комнате больного тихо, необычно тихо. И кажется, что Любовь Дмитриевна слишком долго не выходит. Уж не вздремнула ли она там? Очень усталый, измученный вид у нее.

Вдруг она показывается в дверях, внешне совсем спокойная, будто каменная. Но едва только дверь за ней закрывается, она быстро идет в кухню, и оттуда доносится знакомый приглушенный плач.

Я подумал: какая она сильная! Ведь только что от постели больного. Там она оставалась, вероятно, спокойной, возможно, даже улыбалась.

1 августа пришел днем. Открывая дверь, Любовь Дмитриевна говорит шепотом:

— Плох, очень плох, — и на распухшем лице — слезы. И опять скрылась на кухню.

Я прошел в свою комнату ожидания. Я знал, что, как только Любовь Дмитриевна успокоится, непременно придет с каким-нибудь поручением. Ждать пришлось долго: впрочем, когда ждешь, всегда кажется, что время тянется долго.

Дверь в комнату больного несколько раз открывалась и закрывалась. Наконец Любовь Дмитриевна приходит, внешне совершено спокойная.

— Саша просит вас зайти к нему, — сказала она и расплакалась, уже не скрывая слез.

Она, должно быть, понимала, что больной зовет меня, чтобы попрощаться.

Около десяти дней я не видел Александра Александровича, не ждал и сегодня этого свидания, не подготовился к нему, испугался. Продолжал сидеть.

— Идите, идите, — подбадривая меня, сказала Любовь Дмитриевна...

Александр Александрович лежал на спине. Страшно худой. Черты лица обострились, с трудом узнавались. Тяжело дышит. Лицо удивительно спокойное. Голос совсем слабый, глухой, едва можно было уловить знакомую интонацию.

Он пригласил меня сесть, спросил, как всегда, что у меня, как жена, что нового. Я что-то начал рассказывать и скоро заметил, что глаза Блока обращены к потолку, что он меня не слушает. Я прервал рассказ и спросил, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь.

— Нет, благодарю вас, болей у меня сейчас нет, вот только, знаете, слышать совсем перестал, будто громадная стена выросла. Я ничего уже не слышу, — повторил он, замолчал и, будто устав от сказанного, закрыл глаза.

Я понимал, что это не физическая глухота.

Я не знал, что мне делать. Мне было очень горько, хотелось сказать ему ласковые, добрые, утешительные слова. Но слова не шли, какой-то ком сдавил горло, — боялся, не сдержусь, расплачусь.

Я понимал, что сижу у постели умирающего, близкого и очень дорогого мне человека, но мне не верилось, что он может умереть, надеялся, должно быть, на чудо.

Мне показалось, что долго сижу.

Александр Александрович тяжело дышит, лежит с закрытыми глазами, должно быть, задремал. Наконец решаюсь, встаю, чтобы потихоньку выйти. Вдруг он услышал шорох, открыл глаза, как-то беспомощно улыбнулся и тихо сказал:

— Простите меня, милый Самуил Миронович, я очень устал.

Это были последние слова, которые я от него услышал.

Больше я живого Блока не видел.

Вечером 3 августа доктор Пекелис вышел из комнаты больного с рецептом в руках. Жена осталась с больным.

На мой вопрос, как больной, Пекелис ничего не ответил, только развел руками и, передавая мне рецепт, сказал:

— Постарайтесь раздобыть продукты по этому рецепту. Вот что хорошо бы получить. — И он продиктовал: — Сахар, белая мука, рис, лимоны.

4 и 5 августа я бегал в Губздравотдел.

На рецепте получил резолюцию зам. зав. Губздрав-

отделом, адресованную в Петрогубкоммуну. В субботу 6 августа заведующего не застал. Пошел на рынок и купил часть из того, что записал. Рецепт остался у меня.

В воскресенье 7 августа утром звонок Любови Дмитриевны:

— Александр Александрович скончался. Приезжайте, пожалуйста...

ПОХОРОНЫ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Александр Александрович скончался в воскресенье 7 августа, и только во вторник 9 августа стало известно, что похороны могут состояться утром 10 августа.

Объявление о смерти и похоронах Блока поместить в газеты было уже поздно, оно в лучшем случае появилось бы в день похорон.

Организации, взявшие на себя похороны поэта — Дом искусств, Дом ученых, Дом литераторов, Государственный Большой драматический театр, — и издательства «Всемирная литература», Гржебина и «Алконост» решили попытаться срочно отпечатать и расклеить по городу афишу с извещением о времени похорон Блока.

Тысячу экземпляров афиши удалось напечатать в театральной типографии на Моховой за четыре часа, и к семи часам вечера 9 августа афиша была расклеена на главных улицах Петербурга. Расклейщикам помогала большая группа студентов Петербургского университета.

Вечер был светлый. Небольшая афиша на голубой бумаге, напечатанная жирным черным шрифтом, привлекала внимание прохожих.

Люди останавливались, группами обсуждали горестное сообщение, а некоторые, прочитав, молча, поспешно расходились.

А примерно с девяти часов вечера, в канун похорон, на Офицерской, у дома, где жил Блок, уже собирался народ. Всем хотелось попрощаться, отдать последний долг, поклониться поэту.

Очередь к гробу растянулась далеко по Офицерской.

Люди медленно со двора поднимались по узкой лестнице. Взволнованные, они проходили мимо гроба, низко кланялись праху поэта, укладывали цветы и, роняя слезы, выходили, уступая дорогу другим.

Лицо покойного за болезнь так изменилось, что в гробу его невозможно было узнать.

К моменту выноса перед домом собралась громадная толпа людей. У многих в руках были цветы.

Печальная процессия направилась по Офицерской улице мимо сгоревшей в первые дни революции тюрьмы «Литовский замок», мимо Мариинского театра, через Николаевский мост (теперь мост Лейтенанта Шмидта) и дальше — по линиям Васильевского острова — на Смоленское кладбище. Из массы людей, стоявших на тротуарах, многие присоединялись к процессии.

Весь путь от дома на Офицерской до кладбища, около шести километров, близкие и друзья Александра Александровича высоко несли открытый гроб на руках.

Похоронили Александра Александровича Блока на Гинтеровской дорожке Смоленского кладбища.

М. ГОРЬКИЙ

А. А. БЛОК

...Иногда мне кажется, что русская мысль больна страхом пред самою же собой; стремясь быть внеразумной, она не любит разума, боится его.

Хитрейший змий В. В. Розанов горестно вздыхает в «Уединенном»:

«О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать? Теперь уже я не умру спокойно, как надеялся».

У Л. Толстого в «Дневнике юности» 51 г. 4.V сурово сказано:

«Сознание — величайшее моральное зло, которое только может постичь человека».

Так же говорит Достоевский:

«...слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь... много сознания и даже всякое сознание — болезнь. Я стою на этом».

Реалист А. Ф. Писемский кричал в письме к Мельникову-Печерскому:

«Черт бы побрал привычку мыслить, эту чесотку души!»

Л. Андреев говорил:

«В разуме есть что-то от шпиона, от провокатора».

И — догадывался:

«Весьма вероятно, что разум — замаскированная, старая ведьма, — совесть».

Можно набрать у русских писателей несколько десятков таких афоризмов — все они резко свидетельствуют о недоверии к силе разума. Это крайне характерно для людей страны, жизнь которой построена наименее разумно.

Любопытно, что и П. Ф. Николаев, автор книги «Активный прогресс», человек, казалось бы, чуждый этой линии мысли, писал мне в 906 году:

«Знание увеличивает требования, требования возбуждают неудовлетворенность, неудовлетворенный человек — несчастен, вот почему он и социально ценен и симпатичен лично».

Совершенно непонятная и какая-то буддийская мысль.

Впрочем, и Монтень печально вздыхал:

«К чему вооружаемся мы тщетным знанием? О, сколь сладостно и мягко изголовье для избранных — незнание и простота сердца».

Он объяснял долголетие дикарей их незнанием наук и религии, не зная, что все это — в зародыше — есть у них. Эпикуреец Монтень жил в эпоху религиозных войн. Он был весело мудр и находил, что каннибализм дикарей не так отвратителен, как пытки инквизиции.

Через триста лет Лев Толстой сказал о нем:

«Монтень — пошл».

Лев Толстой мыслил церковно и по форме и по содержанию. Не думаю, что догматизм был приятен ему, и едва ли процесс мысли давал Толстому то наслаждение, которое, несомненно, испытывали такие философы, как, например, Шопенгауэр, любуясь развитием своей мысли. На мой взгляд — для Льва Николаевича мышление было проклятой обязанностью, и мне кажется, что он всегда помнил слова Тертуллиана, — слова, которыми выражено отчаяние фанатика, уязвленного сомнением:

«Мысль есть зло».

Не лежат ли — для догматиков — истоки страха пред мыслью и ненависти к ней — в Библии, VI, 1—4?

«Азазел же научил людей делать мечи и ножи... научил их разным искусствам... объяснил течение звезд и луны. И настало великое безбожие и разврат на земле, и скривились пути человеческие»...

Все это припомнилось мне после вчерашней, неожиданной беседы с А. Блоком. Я вышел вместе с ним из «Всемирной литературы», он спросил меня: что я думаю по поводу его «Крушения гуманизма»?

Несколько дней тому назад он читал на эту тему нечто вроде доклада, маленькую статью. Статья показалась мне неясной, но полной трагических предчувствий.

Блок, читая, напоминал ребенка сказки, заблудившегося в лесу: он чувствует приближение чудовищ из тьмы и лепечет встречу им какие-то заклинания, ожидая, что это испугает их. Когда он перелистывал рукопись, пальцы его дрожали. Я не понял: печалит его факт падения гуманизма или радует? В прозе он не так гибок и талантлив, как в стихах, но — это человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В общем: человек «декаданса». Верования Блока кажутся мне неясными и для него самого; слова не проникают в глубину мысли, разрушающей этого человека вместе со всем тем, что он называет «разрушением гуманизма».

Некоторые мысли доклада показались мне недостаточно продуманными, например:

«Цивилизовать массу и невозможно и не нужно». «Открытия уступают место изобретениям».

XIX и XX века именно потому так чудовищно богаты изобретениями, что это эпоха обильнейших и величайших открытий науки. Говорить же о невозможности и ненужности цивилизации для русского народа — это, очевидно, «скифство» — и это я понимаю как уступку органической антигосударственности русской массы. И зачем Блоку «скифство»?

Как только мог осторожно, я сказал ему об этом. Говорить с ним — трудно: мне кажется, что он презирает всех, кому чужд и непонятен его мир, а мне этот мир — непонятен. Последнее время я дважды в неделю сижу рядом с ним на редакционных собраниях «Всемирной литературы» и нередко спорю, говоря о несовершенствах переводов с точки зрения духа русского языка. Это — не сближает. Как почти все в редакции, он относится к работе формально и равнодушно.

Он сказал, что ему приятно видеть, как я освобождаюсь «от интеллигентской привычки решать проблемы социального бытия».

— Я всегда чувствовал, что это у вас не настоящее. Уже в «Городке Окурове» заметно, что вас волнуют «детские вопросы» — самые глубокие и страшные!

Он — ошибается, но я не возражал, пусть думает так, если это приятно или нужно ему.

— Почему вы не пишете об этих вопросах? — настойчиво допытывался он.

Я сказал, что вопросы о смысле бытия, о смерти, о любви — вопросы строго личные, интимные, вопросы

только для меня. Я не люблю выносить их на улицу, а если, изредка, невольно делаю это — всегда неумело, неуклюже.

— Говорить о себе — тонкое искусство, я не обладаю им.

Зашли в Летний сад, сели на скамью. Глаза Блока почти безумны. По блеску их, по дрожи его холодного, но измученного лица я видел, что он жадно хочет говорить, спрашивать. Растирая ногою солнечный узор на земле, он упрекнул меня:

— Вы прячетесь. Прячете ваши мысли о духе, об истине. Зачем?

И, раньше чем я успел ответить, он заговорил о русской интеллигенции надоевшими словами осуждения, эти слова особенно неуместны теперь, после революции.

Я сказал, что, по моему мнению, отрицательное отношение к интеллигенции есть именно чисто «интеллигентское» отношение. Его не мог выработать ни мужик, знающий интеллигента только в лице самоотверженного земского врача или преподобного сельского учителя; его не мог выработать рабочий, обязанный интеллигенту своим политическим воспитанием. Это отношение ошибочно и вредно, не говоря о том, что оно вычеркивает уважение интеллигенции к себе, к своей исторической и культурной работе. Всегда, ныне и присно наша интеллигенция играла, играет и еще будет играть роль ломовой лошади истории. Неустанной работой своей она подняла пролетариат на высоту революции, небывалой по широте и глубине задач, поставленных ею к немедленному решению.

Он, кажется, не слушал меня, угрюмо глядя в землю, но когда я замолчал, он снова начал говорить о колебаниях интеллигенции в ее отношении к «большевизму» и, между прочим, очень верно сказал:

— Вызвав из тьмы дух разрушения, нечестно говорить: это сделано не нами, а вот теми. Большевизм — неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакциях, в подполье...

С ним ласково поздоровалась миловидная дама, он отнесся к ней сухо, почти пренебрежительно, она отошла, смущенно улыбаясь. Глядя вслед ей, на маленькие, неуверенно шагавшие ноги, Блок спросил:

— Что думаете вы о бессмертии, о возможности бессмертия?

Спросил настойчиво, глаза его смотрели упрямо. Я сказал, что, может быть, прав Ламеннэ: так как количество материи во вселенной ограничено, то следует допустить, что комбинации ее повторятся в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье, в Летнем саду.

Он спросил:

— Это вы — несерьезно?

Его настойчивость и удивляла и несколько раздражала меня, хотя я чувствовал, что он спрашивает не из простого любопытства, а как будто из желания погасить, подавить некую тревожную, тяжелую мысль.

— У меня нет причин считать взгляд Ламеннэ менее серьезным, чем все иные взгляды на этот вопрос.

— Ну, а вы, вы лично, как думаете?

Он даже топнул ногою. До этого вечера он казался мне сдержанным, неразговорчивым.

— Лично мне — больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую «мертвую материю» в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь «мир» в чистую психику.

— Не понимаю, — панпсихизм, что ли?

— Нет. Ибо ничего, кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль; будет существовать только она, воплощая в себе все мышление человечества от первых проблесков до момента последнего взрыва мысли.

— Не понимаю, — повторил Блок, качнув головою.

Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Герца и так далее, сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль — результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов «мертвой», неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся «материя», поглощенная человеком, претворится мозгом его в единую энергию — психи-

ческую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании — в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей.

— Мрачная фантазия, — сказал Блок и усмехнулся. — Приятно вспомнить, что закон сохранения вещества против нее.

— А мне приятно думать, что законы, создаваемые в лабораториях, не всегда совпадают с неведомыми нам законами вселенной. Убежден, что если б время от времени мы могли взвешивать нашу планету, мы увидали бы, что вес ее последовательно уменьшается.

— Все это — скучно, — сказал Блок, качая головою. — Дело — проще: дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтоб верить в бога, и недостаточно сильны, чтоб верить только в себя. Как опора жизни и веры, существуют только бог и я. Человечество? Но — разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн? Нет, эта ваша фантазия... жутко! Но я думаю, что вы несерьезно говорили.

Он вздохнул:

— Если б мы могли совершенно перестать думать хоть на десять лет. Погасить этот обманчивый, болотный огонек, влекущий нас все глубже в ночь мира, и прислушаться к мировой гармонии сердцем. Мозг, мозг... Это — ненадежный орган, он уродливо велик, уродливо развит. Опухоль, как зоб...

Помолчал, крепко сжав губы, потом сказал тихо:

— Остановить бы движение, пусть прекратится время...

— Оно прекратится, если придать всем видам движения одну и ту же скорость.

Блок взглянул на меня искоса, подняв брови, и быстро, неясно заговорил какими-то бредовыми словами, я перестал понимать его. Странное впечатление: казалось, что он срывает с себя изношенные лохмотья.

Неожиданно встал, протянул руку и ушел к трамваю. Походка его на первый взгляд кажется твердой, но, присмотревшись, видишь, что он нерешительно качается на ногах. И как бы хорошо ни был он одет, — хочешь видеть его одетым иначе, не так, как все. Гумилев даже в каком-то меховом костюме лопаря или самоеда кажется одетым, как все. А Блок требует одеяний необычных.

Только что записал беседу с Блоком — пришел матрос Балтфлота В. «за книжечками поинтересней». Он очень любит науку, ждет от нее разрешения всей «путаницы жизни» и всегда говорит о ней с радостью и верой. Сегодня он, между прочим, сообщил потрясающую новость:

— Знаете, говорят, будто один выученный американец устроил машинку замечательной простоты: труба, колесо и ручка. Повернешь ручку, и — все видно: анализ, тригонометрия, критика и вообще смысл всех историй жизни. Покажет машинка и — свистит!

— Мне эта машинка тем особенно нравится, что — свистит.

В ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказывала мне:

— Это у вас книжечка того Блока, известного? Я его тоже знала, впрочем — только один раз. Как-то осенью, очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой, — вдруг, на углу Итальянской, меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец. Пошли пешком, — тут, недалеко, по Караванной, десять, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он — молчит, и мне было неприятно даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга — не идет, тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, устала, озябла и уснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго — ужасные глаза! Но мне — от стыда — даже не страшно было, только подумала: «Ах, боже мой, должно быть, музыкант!» Он — кудрявый. «Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь».

А он улыбнулся вежливо и отвечает: «Не надо, не беспокойтесь». Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, гладя волосы: «Ну, подремлите еще». И — представьте ж себе — я опять заснула, — скандал! Понимаю, конечно, что это нехорошо, но — не могу. Он так нежно покачивает меня и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и

сказал: «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладет на стол двадцать пять рублей. «Послушайте, говорю, как же это?» Конечно, очень сконфузилась, *извиняюсь*, — так смешно все это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и — даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт — смотри!» И показал мне портрет в *журнале*, — вижу: верно, это он самый. «Боже мой, думаю, как глупо вышло».

И действительно, на ее курносом, задорном лице, в плутоватых глазах бездомной собачонки мелькнуло отражение сердечной печали и обиды. Отдал барышне все деньги, какие были со мной, и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким.

Нравится мне его строгое лицо и голова флорентинца эпохи Возрождения.

Н. И. КОМАРОВСКАЯ

АЛЕКСАНДР БЛОК
В БОЛЬШОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Впервые я увидела Блока в 1916 году в Москве. Это был год, омраченный длительной, безнадежной войной. В зале Исторического музея в Москве был вечер в пользу раненых воинов. Зал был переполнен. В числе других поэтов выступал А. А. Блок [1]. Молодежь относилась к нему восторженно. Блок был ее любимым поэтом.

Вот он вышел на эстраду. Голова античной статуи. Глаза светлые, холодные, скользят по лицам, не задерживаясь на них. Впечатление человека одновременно застенчивого и высокомерного. В лице его не было покоя.

Петроградское небо мутилось дождем.
  На войну уходил эшелон... —

совсем тихо он произнес первые строки.

Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
  Наполнял за вагоном вагон...

Глуховатый голос неяркого тембра, несколько затрудненная дикция.

В этом поезде тысячью жизней цвели
  Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
  Были дымные тучи в крови.

Голос поэта приобретает металлическую твердость и силу, за строгим ритмическим рисунком все явственнее проступает грозная мелодия.

Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
  Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
  И нужна ли ей наша печаль? —

сурово-утверждающе произнес Блок.

В публике иногда высказывалось мнение, что Блок читает свои стихи однообразно, монотонно. Это, на мой взгляд, неверное впечатление происходило от присущей Блоку сдержанности большого художника. Он никогда не позволял себе растекаться в переживаниях, обнажать свои чувства. Чем сильнее росло в нем внутреннее волнение, тем сдержаннее были внешние приемы.

Формой стиха в чтении Блок владел удивительно. «Внутренняя музыка», о которой он любил говорить, находила свое выражение и в строгом соблюдении размера, и в чеканном ритме.

Я не слышала исполнителя стихов Блока, в полной мере воплотившего их «музыку». Ближе других по проникновению в мир блоковской поэзии был В. И. Качалов, но и тот не раз говорил: «Трудно проникнуть в сложный мир символов, образов этого поэта, но еще труднее овладеть пленительной формой, в которую он облекает свои поэтические образы».

Блок не любил, когда читали его стихи на эстраде, особенно в так называемых «смешанных» концертах, которых, кстати сказать, он не признавал как форму искусства. Исключением был В. И. Качалов. Блок не раз говорил, что ему нравится, как Качалов читает его стихи.

Было много общего в творческой природе этих двух художников. Сблизила их работа над пьесой Блока «Роза и Крест», принятой к постановке Художественным театром в 1916 году. Блока радовало, что Качалов увлечен пьесой. «Я хотел бы в ней играть все роли», — говорил Василий Иванович. Качалову была поручена в пьесе роль Гаэтана. К слову сказать, блоковское представление о Гаэтане поразительно совпадало с индивидуальностью Качалова. Вот что написано Блоком в объяснительной записке к постановке «Роза и Крест» в Художественном театре: «Про рост его ничего нельзя сказать — бывают люди такие, о которых мало сказать, что они высокого роста. Лицо — немного иконописное, я бы сказал — отвлеченное. Кудри седые, при лунном свете их легко принять за юношеские льняные. Этому впечатлению помогают большие синие глаза, вечно юные; не глаза, а очи, не волосы, а кудри, не рот, а уста, из которых исходит необыкновенно музыкальный и гибкий голос» [2].

Блок стал бывать у Качаловых, и я увидела его уже не на эстраде, а в уюте домашней качаловской обстановки. Теперь он показался мне совсем иным. Было какое-то

особое изящество в его стройной фигуре, в манере двигаться, говорить, слушать. Глаза смотрели доверчиво, приветливо. Репетиции пьесы «Роза и Крест» проходили в театре с большим подъемом, и Блок был настроен светло и радостно.

Качалов знал, что Блок любит цыганское пение, и в этот вечер он пригласил свою приятельницу, цыганку Дашу. Даша — молодая, красивая, лицо типично цыганское, чернобровая, черноглазая. Голос у Даши низкий, глубокий, чудесного тембра.

«Натянулись гитарные струны»[3], и Даша запела старинный цыганский романс «Утро туманное, утро седое» (слова эти поставлены Блоком как эпиграф к «Седому утру»[4]). У Блока губы плотно сжаты, глаза опущены, казалось, для того, чтобы никто не подглядел вспыхнувшего в них огня. По изменчивому лицу пробегают волны нахлынувших чувств. В дальнейших встречах с Блоком я всегда видела его таким, когда он слушал музыку.

Отзвенели последние гитарные аккорды, и Василий Иванович негромко произнес заключительные строки «Седого утра»:

Лети, как пролетала, тая,
Ночь огневая, ночь былая...
Ты, время, память притуши,
А путь снежком запороши.

Для Блока это было неожиданно. Он укоризненно посмотрел на Василия Ивановича и смущенно улыбнулся[5].

После ужина А. А. Блок подошел ко мне.

— Я о вас знаю, — сказал он. — Вы — Надя Комаровская. При мне однажды вам была послана телеграмма: «Надя, не умирай».

Я удивилась его памяти. Такой случай действительно произошел. Будучи в гастрольной поездке в Саратове, я серьезно заболела. Это дошло до моей близкой подруги В. П. Веригиной, артистки театра Коммиссаржевской. Она поделилась с Блоком и его женой Любовью Дмитриевной своим беспокойством. Тут же была составлена упомянутая телеграмма.

— Это ведь давно было, — сказала я. — Как вы запомнили?

— Такие телеграммы посылаются не каждый день, — улыбнулся Блок.

Упоминание о В. П. Веригиной дало нашему разговору новый поворот. Мы заговорили о театре Коммиссаржевской, где служила Веригина, о Мейерхольде, о спектакле «Балаганчик». Артистическая жизнь тогдашнего Петербурга была мне хорошо знакома. Сошлись мы с Блоком на общих симпатиях к В. Э. Мейерхольду. Блок оживился, и остаток вечера мы провели в дружеской беседе.

Через несколько лет в Петрограде мы встретились как старые знакомые.

1919 год. Ранняя весна. Я приглашена в только что организованный Большой драматический театр в Петрограде. Встречаю Блока. Он — председатель режиссерского управления. На нем солдатская шинель, оставшаяся от его службы в дружине инженерных строителей в 1916 году. Пронесшиеся над ним революционные годы изменили лицо поэта. И дело не только в чертах лица, ставших жесткими, твердыми, еще более скульптурными, не только в глазах, потерявших свой холодный блеск и теперь внимательно-напряженных, а во внутренней силе, которая определила эту внешнюю перемену. Мне протянул руку сильный, собранный, волевой человек.

Неоценимо влияние Блока на творческий путь Большого драматического театра. Каждое выступление Блока, будь то на художественном совете, перед труппой или перед зрителем до начала спектаклей, говорило об одном: о радости своим искусством служить народу, об открытых широких и свободных путях для советского художника. «Наше творчество, — говорил он в беседах с актерами Большого драматического театра, — должно теперь питаться пафосом невиданных в истории событий. Мы должны не прятаться от жизни, а пристально всматриваться в глаза происходящему, вслушиваться в мощное звучание времени».

Трудно, а пожалуй, и невозможно было записать высказанные Блоком мысли об искусстве. «Искусству теперь дана власть сказать о самом великом, о самом сокровенном, о *преобразовании нашей жизни*. Театр, особенно теперь, — подчеркивал он, — призван сыграть роль трибуны. Нам дана возможность разрушать нашим искусством все отжившее, косное, тормозящее наступательный ход революции. Со сцены должны прозвучать гимны великому освобождению человека от накопившейся столе-

тиями лжи, грязи, духовного убожества. Светлым, радостным, прекрасным должен увидеть зритель обновленный мир со сцепы. Миссия вас, актеров, никогда еще не была такой прекрасной, такой ответственной.

Организаторы театра во главе с А. М. Горьким и М. Ф. Андреевой правильно замыслили новый театр как театр высокой драмы и высокой трагедии. Наши творческие усилия должны быть направлены на приобщение нового зрителя к высоким проявлениям человеческого духа. Шекспир, Шиллер, Мольер — вот основа нашего репертуара. Мы вправе ожидать от наших драматургов новых сильных произведений, рожденных новой эпохой. Они придут, но ждать нам нельзя — нас зовет новый зритель».

Надо сказать правду: в немалое смущение привел нас, актеров, репертуар, составленный из классических пьес. Казалось, что бурные чувства, которые зажгла в нас революция, должны найти свое выражение в словах, близких нашему времени, нашей эпохе. Блок в своих высказываниях стремился поколебать наши сомнения. «Конечно, — говорил он, — если мы в своем подходе к классическому произведению будем руководствоваться только уважением к имени автора, мы ничего не добьемся, но если мы захотим и сумеем прочесть в этом произведении мысли и чувства, волновавшие человечество во все века, и трепетно, вдохновенно понесем их со сцены, то наш театр выполнит миссию, которая ему вверена. Мир этих высоких проявлений человеческого духа во все века питал подлинных художников; только овладев этим миром, художник может чувствовать себя надежно на любых творческих путях. Мы не отказываемся, — говорил Блок, — от поисков новых путей. Я предостерегаю только от бездумного экспериментаторства. Нам вверено большое, серьезное дело. Мы тратим народные деньги, мы обязаны оправдать эту трату. От нас ждут большего, чем выдумок, хотя бы и блестящих. Мы должны давать только бесспорные ценности. Нам надо думать о том, как сплотить коллектив на такой драматургии, которая сделает его монолитным, творчески неуязвимым».

Неотразимы были высказывания и доводы Блока, и мало-помалу в труппе уже не стало сомневающихся. Успех «Дон Карлоса»[6] еще более убедил нас в правильности выбранного пути. Блок полностью завоевал наше доверие.

В мае 1919 года мы закончили наш первый сезон. Собралась вся труппа поговорить об итогах работы. Настроение было приподнятое. Радостно, бодро прозвучали слова Блока. «Мы победили, товарищи, — начал он, — мы с честью выполнили ответственное и трудное задание — найти путь к сердцу нового зрителя. Нельзя не назвать победой успех спектакля «Дон Карлос», прошедшего в труднейших условиях быта двадцать шесть раз с неизменным успехом».

С величайшей похвалой отзывался он о стойкой дисциплине актеров. Ни холод, ни голод, ни отсутствие средств сообщения не могли сломить творческую энергию коллектива, — говорил он. Радостно было услышать от Блока оценку игры исполнителей, его веру в творческие возможности театра. «Счастье истинного художника, — повторял он, — в том, что силой своего вдохновения и таланта он призван вовлекать зрителя в вечно новый мир искусства. Наш коллектив коснулся этого мира. Талантом и вдохновением согрета его работа. Уверенно и твердо пойдем мы теперь по обретенному нами, завоеванному пути».

В августе того же года театр начал работу над пьесой итальянского современного драматурга Сема Бенелли «Рваный плащ». Пьеса была предложена Блоком. Выбор этот не был случайным. Пьесой «Рваный плащ» утверждалась миссия поэта как выразителя народных чаяний. Идея пьесы полностью отвечала эстетическим тенденциям Блока. Уже появление в печати «Двенадцати» и «Скифов» вызвало в лагере буржуазной прессы поток клеветнических измышлений. «Блок продался большевикам», — такова была гнусная формулировка выдвинутых против Блока обвинений. Постановка пьесы «Рваный плащ» в театре, где Блок являлся одним из руководителей, являлась как бы новым вызовом литературным врагам.

Сюжет пьесы был взят автором из эпохи Возрождения. Действие происходит на фоне классовой борьбы, обострившейся в Италии в начале XVI века. Текст перевода пьесы, сделанный Амфитеатровым, не удовлетворял Блока. Он считал, что перевод снижает пафос пьесы, обедняет ее литературные достоинства. Немало труда вложил Блок в исправление, вернее, «опоэтизирование» текста. Рабочий экземпляр пьесы носит следы многочис-

ленных поправок Блока. В частности, монологи Новичка и Сильвии о поэзии написаны были им заново[7].

На улицах Флоренции шумит карнавал. В «Академию безукоризненных» (так величают себя поэты, поклонники «чистого искусства») врывается толпа веселых масок. Среди них — молодая, красивая женщина Сильвия, жена председателя академии, чванливого, бездарного человека, мнящего себя великим поэтом. Вслед за масками с шутками и смехом вбегает толпа уличных певцов, музыкантов. Шайка «Рваного плаща» — так зовут их в народе. Они вызывают на состязание поэтов «Академии безукоризненных». Судьей выбирают никем не узнанную Сильвию. Выступает поэт академии, носящий кличку Пламенного. В стихах он воспевает свою возлюбленную:

О, ланит закатно-рдяность,
Шеи снего-белизна,
Это — лилии невинность,
Но в смешеньи с алой розой
В каплях утренней росы...

Стихи вызывают дружный хохот поэтов «Рваного плаща». От их группы отделяется бедно одетый юноша — новичок в импровизации, уже заслуживший, однако, признание своих товарищей.

Я — бедный странник, — счастливый странник.
Подобно замирающему эхо,
Затерян был среди полей и гор,
Я шел и пел, я шел и пел, как птица,
Меня влекло среди скитаний пенье.
Бывало, вечером, когда склонялось солнце,
В крестьянских избах семьи покидали
Очаг свой — и сходились все кружком,
Моих послушать песен... И я им пел.
Но иногда, охвачен опьяненьем,
Я забывал слова знакомых песен,
Рвались из сердца новые слова,
Я пел свое, свое!..
То сердце — здесь. Оно готово петь:
Как мир, оно богато и могуче,
Не может отказаться от созвучий
И страстию не может не гореть.

Стихи Новичка словно пробуждают Сильвию. Впервые ей открывается мир настоящей поэзии. Напыщенными, пустыми кажутся ей теперь стихи «безукоризненных». Она смело выступает в защиту юного поэта. Обращаясь к его противникам, она говорит:

Когда бы только вам принадлежала
П о э з и я , — она бы умерла,
Синьоры, с вами вместе. Для людей,
Не знавших ни страданья, ни любви,
Свет был бы пуст: они бы не нашли
Источника, где жажду утолить.

Венком из лавров венчает Сильвия голову победителя, юного поэта. Она хочет еще раз услышать его прекрасные песни — она зовет его к себе в дом. Тщетно добивающийся ее любви и отвергнутый ею поэт Пламенный подстерегает Новичка у дома Сильвии и убивает его.

Блок считал, что в нашем спектакле пьеса должна быть поднята до вершин трагедии: убит подлинный поэт высокого вдохновения, сын своего народа, певец его радостей и скорби.

Пьесу ставил молодой режиссер Р. В. Болеславский. Его увлекала мысль воскресить в пьесе основы античной трагедии, довести звучание пьесы до подлинного пафоса. Конечно, выполнить все требования Блока было трудно, но все же в пьесе была достигнута масштабность чувств, и трагическая гибель юного поэта вызвала горячий отклик в сердцах зрителя.

В беседе с исполнителем роли Новичка В. В. Максимовым Блок сказал: «Мужество борца — вот основа его поведения. Не жалость в зрителе вызывает его гибель, а гнев против убийц, попирающих высокое назначение искусства. Смерть поэта — торжество правды искусства».

Мне была поручена роль Сильвии. Много ценного внес Блок в толкование этого образа. «Не страсть, не прихоть влечет Сильвию к Н о в и ч к у , — говорил о н , — а глубокая человечность. В стихах Новичка ей открылась великая, преображающая человека сила искусства».

Я спросила его, нет ли в образе Сильвии черт, сближающих ее с Изорой в его пьесе «Роза и Крест». «Сближает и х , — сказал Б л о к , — тревожное ожидание иных, неведомых чувств. Но в Сильвии я вижу зрелость женщины, матери. В ее отношении к Новичку много материнского. Вы помните, что Новичок называет ее мадонной».

К произнесению стихотворного текста Блок относился очень требовательно: ритмический рисунок, музыка стиха, говорил он, должны быть точно найдены и выверены.

Письмо Блока, присланное мне с новым текстом монолога Сильвии, говорит об этом же:

16 августа 1919

Многоуважаемая Надежда Ивановна.

Первая часть монолога — лирическая, женская, потому я заканчиваю ее шестью рифмованными строками.

Вторую часть *необходимо* сохранить, как для всей пьесы, так и потому, что Новичок взволнован ею не менее (а может быть, и более), чем первой. В ней — социальный мотив и твердость южанки, потому из шести строк пять последних имеют твердые (мужские) окончания...

Кроме того, в *мужских* окончаниях монолога есть мост к четвертому акту («взвою волчицей» и пр., — как будто психология высокой античной трагедии).

Нередко выслушивали мы от Блока и горестные упреки русским актерам в том, что они небрежно обращаются со стихом, что, даже послушно следуя рифме, они все же уклоняются от размера.

Характерен такой эпизод: репетируя роль королевы в «Дон Карлосе» Шиллера, я никак не могла справиться с тяжеловесным неуклюжим переводом и на ходу переставляла неудобно произносимые обороты и фразы. Блок внимательно слушал, сидя в партере, а в перерыве спросил меня:

— Что это — импровизация или стихотворчество?

— И то и другое, — сказала я, — что делать? Спотыкаюсь я в этом тексте. Не звучит он.

— Давайте посмотрим, — предложил Блок и, взяв экземпляр пьесы, начал внимательно просматривать. — Необходимо, — сказал он, — привести произносимый вами текст к полной точности. Импровизация у Шиллера недопустима. Неосторожное обращение со словом может привести вас к искажению образа королевы. Допускаю, что перевод устарел, но ценно то, что в переводе сохранен стиль эпохи. Певучие потоки слов служили у романтиков средством воздействия. Они призваны воспламенять сотни сердец, когда они звучат с подмостков театра. Но надо, чтобы они «звучали». Обратите внимание на сложные, длинные периоды, всегда ритмически обусловленные, вслушайтесь в характерные обороты фраз, почувствуйте возвышенность, приподнятость чувств, и вы по-иному прочтете текст роли.

«Наш театр, — говорил Блок, — борется за новые формы. Надо начинать со «слова». Беречь его, ценить, изу-

чать свойства стиха, строго следовать его музыкальной форме, прислушиваться к «внутренней музыке».

К понятию «внутренней музыки» Блок возвращался постоянно. По смыслу высказываний этим словом определялось «звучание эпохи», «пафос времени».

С благодарностью вспоминаю я свои беседы с ним о роли королевы в «Дон Карлосе». Мне не удавалась сцена с королем Филиппом в восьмой картине. Король узнает из похищенных у королевы писем о любви к ней его сына Дон Карлоса. Я хотела решить для себя вопрос: сумела ли королева подчинить свое чувство к Карлосу чувству долга как супруга короля? Я спросила об этом у Блока.

«Это зависит от того, — сказал он, — понимает ли королева душевные муки короля. Ведь дело не только в том, что он любит свою жену и ревнует ее к сыну, — дело в трагическом противоречии между его побуждениями и вынужденными действиями. Если она это понимает, если ей ясно, что законы королевской власти обязательны и для нее, то она по-иному отнесется и к обвинениям супруга».

«А вы знаете, — сказала я, — что Станиславский, наверное, так же объяснил бы эту сцену».

«Вот видите, как плодотворно было для меня общение со Станиславским», — ответил Блок.

С этой же точки зрения интересно толкование Блоком образа Дон Карлоса. Блок считал, что для «жалкого неудачника», каким себя видел Дон Карлос, Поза является источником жизни, веры в себя, что в общении с Позой Дон Карлос ищет для себя «жизненную опору». Другими терминами, но Блок, собственно, говорил о том же, о чем говорил и Станиславский, — «о природе чувства», о внутреннем мире человека, где рождается чувство, о той невидимой пружине, которая руководит внешним поведением человека.

Критические замечания Блока, высказываемые им в адрес исполнителей-актеров, были всегда обдуманны, обоснованны и профессиональны. Завидев Блока сидящим на спектакле в партере или в боковой режиссерской ложе, мы знали, как внимательно он следит за нами, и всегда ждали антракта, чтобы поговорить с ним об его впечатлениях. От его зоркого глаза ничто не ускользало.

Как-то на одном из спектаклей «Рваного плаща» я чувствовала себя нездоровой и играла неровно. Блок пришел ко мне за кулисы.

— Что с вами?

— Нездоровится. А что, заметно? — тревожно спросила я.

— Мне заметно, — сказал Блок. — Движения рук вялые, нечеткие. Пластический образ Сильвии нарушен.

В другой раз на спектакле «Дон Карлос», когда было особенно холодно (театр не отапливался), Блок вошел в антракте ко мне в уборную.

— Что, холодно? — сочувственно спросил он.

— Ужасно! (По роли на мне было открытое платье.)

— Надо придумать какую-нибудь деталь в костюме, — сказал Блок. — Я смотрю на вас и беспокоюсь, чтобы вы не простудились, а для зрителя важно другое: вы разрушаете иллюзию: действие происходит в знойной Испании, в садах Аранжуэца, резиденции короля, а вы дрожите. Я поговорю со Щуко.

Он в самом деле поговорил с художником Щуко, и на следующем спектакле тот предложил мне надеть горностаевую накидку, спасавшую меня от холода.

Далеко не все было гладко в бытовой жизни нашего театра в те годы. Большой драматический театр помещался в здании Консерватории. Огромное помещение не отапливалось. Репетировали в шубах, валенках, шапках. На репетициях горела только дежурная лампочка, свет давался в театр только вечером. Уборные актеров обогревались электрическими плитками, замерзший грим разогревался на огарке свечи, в антрактах пили кипяток, чтобы согреться самим и согреть остуженное горло. Было и холодно и голодно. Паек, который выдавали нам в театре, был скуден — плохо выпеченный хлеб и сушеная вобла.

Мы жили тревожной и напряженной жизнью. В театре на доске вывешивались ежедневные сводки о наступлении Колчака, Деникина, Юденича, пытавшихся зажать Россию в смертельное кольцо. Все чаще давались спектакли для уходящих на фронт бойцов Красной Армии.

Блок неизменно присутствовал на всех репетициях и спектаклях. Новый зритель — вот что волновало и интересовало его. Он наблюдал лица людей, впервые пришедших в театр, изучал реакцию зрительного зала и в антрактах приходил за кулисы оживленный, полный веры

в то, что театр на правильном пути, что выбор пьес оправдал себя.

Учитывая трудные условия, в которых нам приходилось работать, он веселой шуткой, дружеским словом старался скрашивать трудности и неприглядность нашего быта. Помню, как, стоя в очереди за пайком рядом с Блоком, я сказала: «До чего же есть хочется, не могу равнодушно смотреть на хлеб». И вдруг реплика Блока: «Так ведь через минуту хлеб будет у вас. Зачем мечтать, когда реальность налицо?»

Зная, что я живу далеко от Консерватории, Блок всегда заботливо осведомлялся, есть ли у меня спутники, Иногда вызывался меня проводить. Спектакли кончались поздно (рабочих было мало, декорации подчас ставили сами актеры). Для хождения по улице ночью требовался пропуск. Я жила на бывшей Пантелеймоновской, теперь улице Пестеля. Путь наш лежал по Садовой. Мы шли с Блоком от патруля к патрулю. Темные силуэты домов, под ногами сугробы, провалы. Дорогу освещает маленький карманный фонарик Блока.

— Зачем, зачем во мрак небытия меня влекут судьбы удары! — проговорила я, проваливаясь по колена в размытую дождями яму на мостовой.

— Откуда это? — спросил Александр Александрович.

— Ваши стихи.

— Не знаю. Ничего подобного никогда не писал. Декадентщина какая-то [8].

Он весело смеется: «Вот они, эти «путешествия в неизвестное», — свои стихи забыл». И, подтрунивая надо мной, начинает развивать тему развенчанной королевы, шагающей во тьме, в грязи, сопровождаемой только бедным поэтом.

Его импровизации на несоответствие моих сценических образов с бытовыми неполадками доставляли мне много веселых минут. Случалось, что в антрактах актеры, услышав голос Блока в моей уборной, заходили, чтобы посмеяться вместе с нами какой-нибудь его новой выдумке.

При открытии театра его руководители пытались найти также форму общения с пришедшим в театр новым зрителем, которая облегчила бы доходчивость спектакля. Эту задачу взял на себя Блок.

Запомнились его выступления перед бойцами Красной Армии [9]. То были дни похода Юденича на Петроград.

Город жил лихорадочной жизнью. Утром, идя на репетицию, мы прислушивались к гулким раскатам отдаленной канонады. Спектакли шли для бойцов, уходящих на фронт. Первым таким спектаклем был «Дон Карлос» Шиллера. Мы, актеры, занятые в спектакле, толпимся у закрытого занавеса. В маленькое отверстие, проделанное в занавесе, виден зрительный зал. С непередаваемым чувством волнения смотрим мы на наших защитников — бойцов Красной Армии. Блок волнуется не меньше нашего. Он бледен, молчалив. В руке исписанный листок бумаги. Блок ежеминутно заглядывает в него и шепчет что-то про себя.

Вот он вышел за занавес. Гул в зале понемногу смолкает. Мы слышим глуховатый, взволнованный голос. Блок говорит о Шиллере, авторе пьесы. «Юноша-мечтатель с возвышенной душой» был близок Блоку-поэту, и говорил он о Шиллере горячо и вдохновенно.

Велико было значение этих блоковских выступлений. Они воспитывали зрителя в понимании искусства как проводника высоких идей и чувств, вселяли веру в их незыблемость. Людей, только что переживших грозные дни свержения самодержавия, слова Блока вдохновляли на новые революционные подвиги.

Удивительны были и для нас, знавших Блока, эти выступления перед зрителем. Не снижая яркости и силы выражения, он в рассказах о героях пьес находил простые, ясные, но впечатляющие слова. Отражение их подвигов Блок видел в действиях людей сегодняшнего дня. И говорил ли Блок о маркизе Позе, о Карле Мооре в «Разбойниках» или о юном поэте из пьесы «Рваный плащ» Сема Бенелли, он объединял их как людей, охваченных одним высоким чувством гражданского долга, отдающих свою жизнь во имя блага человечества.

Переделать мир, чтобы в нем не было места угнетению и насилию, водворить в мире справедливость — вот о чем мечтает Карл Моор, герой пьесы «Разбойники». Жесток и горек его жизненный путь, говорил Блок, он гибнет, но, пока жив в человеке дух борьбы и ненависти к тиранам, вдохновенные слова, которые Шиллер вложил в уста своего героя, не умрут.

Страстным, непримиримым протестом против бездарных тупиц, мнящих себя поэтами, было проникнуто выступление Блока перед спектаклем «Рваный плащ» Сема Бенелли. Образ поэта из народа любовно, с глубоким

сочувствием был обрисован Блоком. Радость, утешение бедным людям нес юный поэт своими прекрасными стихами. Кучка негодяев, завидующих его славе, убила его. Гневным обвинительным приговором прозвучали слова Блока убийцам всего светлого и прекрасного.

Среди писем, получаемых театром от зрителей, немало слов благодарности было направлено по адресу Блока.

Блок никогда не поддавался мрачным настроениям, порождаемым неизбежными в то время житейскими невзгодами. Напротив, он старался как-то рассеять эти настроения, показывая пример удивительной выдержки. Как-то на репетиции я обратила внимание на измученное, бледное лицо Блока.

— Александр Александрович, что с вами? Вы больны?

— Ничего особенного, — спокойно ответил Блок. — Не спал ночь. Комнату, где была моя библиотека, заняли моряки, книги мешали им разместиться, и я всю ночь переносил их в другую комнату.

Никогда я не слышала от Блока сожаления но поводу утерянных им удобств жизни. Говоря о Шахматове, любимом имении, где прошли его детство и юность, он вспоминал только о красотах природы и о радости общения с ней.

Часто после репетиций мы с Блоком бродили по городу. Из Консерватории мы шли по набережной Мойки к Новой Голландии, одному из любимых Блоком мест, особенно живописном в убранстве осенней листвы. Потом выходили к Неве «дышать влагой и ветром».

Мало сказать, что Блок любил природу. Он не мог жить вне общения с ней. Он пользовался каждым свободным днем, чтобы уезжать за город. Чаще всего он ездил на Лахту; по его словам, он находил в ней своеобразную прелесть. Не в характере Блока были чрезмерные выражения чувств, но малейшие впечатления отражались на его лице. В созерцании природы лицо его становилось мудрым и прекрасным.

Блок часто возвращался к мысли, что пронесшиеся революционные годы изменили лица людей. Однажды для какого-то журнала понадобилась фотография всего коллектива театра. Мы собрались в декорационной мастерской. Вся наша группа была ярко освещена падавшими со стеклянного потолка лучами зимнего солнца. Я сидела рядом с Блоком. Он вдумчиво оглядел лица собравшихся и тихо сказал мне: «Смотрите, наши лица

совсем другие, они опалены великим пламенем революции. Душевный мир человека стал иным».

Не раз хотелось мне спросить Блока, почему он больше не пишет стихов.

Однажды я сказала:

— Вот вы часто говорите нам о новом облике художника, о том, что мысли и чувства его должны быть высоки и благородны; но ведь нужны и слова. Мы ждем их от вас, поэтов, писателей. А вы молчите.

Сказала и пожалела: так омрачилось лицо Блока.

— Надо ждать, — после минуты молчания сказал он. — Надо ждать, когда слова прорвутся сквозь вихрь чувств, еще не оформленных. И я, как многие, жду. Музыка времени звучит во мне. Верю и знаю, что придут и слова.

На другой день Блок передал мне томик своих стихов. На первой странице он написал: «На память о нашем разговоре». В этот томик входил цикл стихов «Родина».

По своей человеческой природе Блок был необычайно правдив. В обсуждениях спектаклей на художественном совете он никогда не пытался сглаживать недочеты в постановке и в исполнении. Он высказывался коротко, определенно. Никогда не вступал в споры, но в своих убеждениях он был непоколебим и мужествен.

Помню, в декабре 1920 года главный режиссер А. Н. Лаврентьев сделал на художественном совете сообщение об отказе Ю. М. Юрьева работать в Большом драматическом театре. Уход Юрьева ставил театр в очень трудное положение. Юрьев был занят во всех пьесах текущего репертуара: он играл Отелло, короля Лира, маркиза Позу. Сообщение Лаврентьева вызвало взрыв негодования против Юрьева. На предложение Лаврентьева высказаться Блок сказал, что, не оправдывая поступка Юрьева как срывающего работу на производстве, он в защиту его должен сказать, что если его, Юрьева, как художника не удовлетворяют творческие принципы Большого драматического театра, то уход его из театра закономерен. Слова Блока были приняты руководителями театра крайне враждебно, вплоть до обвинения его в «нейтральности». Однако позиция Блока осталась принципиальной и непоколебимой[10].

Примерно с конца двадцатого года я стала замечать, что Блок «не тот». Глуше звучал его голос, замедленнее стала речь, в обычно легкой, стремительной походке

сказывалась усталость, утомление. Уже не так часто радовал он нас своим юмором.

Осталась у меня в памяти встреча нового, 1921 года. Всем коллективом собрались мы в фойе театра за столом, хотя и накрытым белой скатертью, но достаточно скудным по ассортименту блюд и напитков. Оживление присутствующих от этого не стало меньшим, все веселее смеялись мы на шуточные тосты, на остроты Н. Ф. Монахова.

Лицо Блока выделялось своим болезненным видом. Глаза его, необыкновенно блестящие, перебегали с лица на лицо, казалось, он хотел сказать всем что-то очень сердечное, очень теплое. Чокаясь, он приговаривал обычные пожелания: «С новым годом, с новым счастьем» — с таким выражением, точно он держал это счастье в руках и щедро раздавал его другим. Я ему сказала об этом. Он взглянул мне прямо в глаза и сдержанно, печально произнес: «Как бы только оно не ушло», — и показал рукой на сердце. Я тогда не придала этому значения, но с каждой новой встречей с тревогой убеждалась, что Блок болен, что он всеми силами борется с болезнью[11].

В этот период он невероятно много работал. Бывая на Моховой в издательстве «Всемирная литература» и встречая там Блока, бледного, утомленного, я сказала однажды Александру Николаевичу Тихонову (Сереброву), редактору «Всемирной литературы»: «Александр Николаевич, уговорите Блока заняться своим здоровьем, он очень плохо выглядит», на что Тихонов развел руками: «Попробуйте его уговорить. Он уверяет, что совсем здоров».

25 апреля 1921 года Блок в последний раз выступал перед публикой с чтением своих стихов. Вступительное слово делал К. И. Чуковский. Блок сидел в глубине директорской ложи. Черный костюм подчеркивал его крайнюю худобу и бледность. Он нервно двигался на стуле, когда Чуковский говорил о значении Блока как поэта, ставя его в ряд с величайшими поэтами эпохи.

В перерыве перед своим выступлением Блок вошел в артистическую, где сидел Чуковский, и недовольно сказал: «Что это вы обо мне наговорили? Каково мне теперь выходить на публику после ваших панегириков?»

Выйдя на сцену, Блок остановился в глубине и, не отвечая на бурные приветствия публики, несколько минут стоял, опустив голову. Потом сделал стремительное

движение к рампе и, глядя поверх зрительного зала расширенными глазами, начал:

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь...

Блоком был прочитан цикл «На поле Куликовом». Строки:

Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи!
Вздымается конская грива...
За ветром взывают *мечи*... —

Блок произнес с такой силой, с такой верой в неминуемое чудо, что по залу прошел трепет.

Стихи Блока в те революционные, мятежные дни находили в душе каждого слушателя ответные чувства. Это были слова веры в победу революции, слова людей, отдающих свои жизни во имя светлого будущего. С восторгом рукоплескали зрители поэту, воплотившему их мысли и чувства.

За кулисами Блока ждал фотограф. На фотографии (последней [12] — 7 августа Блок умер) он запечатлев таким, каким он уходил со сцены: озаренный еще не погасшим огнем вдохновения.

Здоровье Блока беспокоило его близких. Тревога усилилась, когда он принял приглашение из Москвы дать ряд своих вечеров. Мне рассказывала его жена Любовь Дмитриевна, что на все ее просьбы отказаться от поездки он ответил: «Меня зовут, значит, я нужен, а если нужен, значит, надо ехать».

Беспокойство относительно его здоровья было не напрасно. Вернувшись в Ленинград, Блок почувствовал себя плохо и в конце мая [13] слег.

На мои тревожные звонки Любовь Дмитриевна отвечала, что здоровье Александра Александровича внушает опасения, что врачи предписали ему полный покой, что лучше его не навещать. Болезнь Александра Александровича волновала нас, его друзей — актеров. За короткий период его работы в театре он сумел привлечь к себе все сердца.

Исключительную заботу о больном Александре Александровиче проявлял Горький. Зная мою дружескую связь с Любовью Дмитриевной, Горький просил меня ежедневно извещать его о здоровье Блока. Осведомлялся, доставляют ли ему необходимые лекарства, не нуждается ли он в чем-нибудь.

Врачи сходились на том, что больного надо устроить в санаторий в Финляндии, где здоровый воздух может оказать благодетельное действие на работу сердца. Выезд в Финляндию в условиях того времени был сопряжен с большими трудностями. Алексей Максимович усиленно хлопотал в Москве с разрешении на выезд Блока. Разрешение запоздало. 7 августа в 10 часов 30 минут утра Блока не стало.

Мне позвонили из театра. Не медля ни минуты, я пошла на квартиру Блока.

Глубокий покой был на лице Александра Александровича. Еще резче обозначились черты его скульптурного лица. Он казался совсем юным [14]. Горечь и боль сжимали сердце от сознания, что он ушел от нас таким молодым, с таким неизжитым сокровищем души и таланта.

Хоронили Блока в яркий солнечный день. За гробом шла многочисленная толпа — люди искусства, учащаяся молодежь, все, кому была дорога память об ушедшем навсегда поэте.

СЕРГЕЙ БЕРНШТЕЙН

МОИ ВСТРЕЧИ С А. А. БЛОКОМ

Блок уже давно был для меня самым любимым из современных поэтов, когда я впервые увидал его вблизи и услыхал его стихи в авторском чтении. Было это уже на закате его творческой деятельности и так рано оборвавшейся жизни. Летом 1919 года в литературной студии издательства «Всемирная литература» (в «доме Мурузи» на Литейном) он читал для небольшой аудитории главы своей, так и оставшейся незаконченной, поэмы «Возмездие», третья глава которой в то время еще не была напечатана. С огромным волнением ожидал я этой встречи — со страхом и жгучим любопытством: не разрушится ли тот цельный образ поэта, который я создал в своем воображении, вчитываясь в его стихи? Верен ли этот образ? И какими чертами обогатит его личная встреча? Ведь Блок принадлежит к числу тех поэтов, которых хочется знать не только по их стихам: так тесно в представлении читателя слита у них жизнь с поэзией, с такой необходимостью претворяется у них жизнь в искусство. Да и встреча предстояла своеобразная: поэт будет читать свое произведение, притом автобиографическое. А я уже давно привык составлять себе мнение о человеке не только по его внешности, поступкам, словам, стилистике, но и по его голосу, интонациям, манере говорить. Вероятно, и все так поступают, только не всегда отдают себе в этом отчет. Что же касается меня, то я убежден в том, что живая речь служит наиболее адекватным и непосредственным отражением внутреннего, морального облика человека, его характера, манеры

мыслить и чувствовать — словом, его индивидуальности. Итак, для волнения в связи с предстоящей читкой у меня были достаточные основания.

Встреча не обманула моих ожиданий: и внешность поэта, и его манера держаться, и новая его поэма, и, главное, его читка — все подтверждало те черты, которыми я наделил образ Блока. Я увидал и услышал человека, для которого характерно прежде всего серьезное, вдумчивое отношение к окружающему миру и к самому себе, мыслителя гамлетовской складки, переживающего всякое чувство как мысль и всякую мысль как эмоцию, человека глубоко искреннего, болезненно томящегося пустотой жизни, трепетно ищущего выхода из мрака. Но теперь, наблюдая его во время чтения стихов, вслушиваясь в его голос, в его интонации, я постиг и другое: я живо ощутил, что «сокрытым двигателем» его душевной жизни является мучительная борьба между непосредственным чувством и «творческим разумом», который должен «осилить, убить»[1] чувство, чтобы дать ему художественное выражение, — борьба, о которой он так вдохновенно рассказал в своих стихах («К Музе», «Художник»). Вероятно, не мне одному вспомнилась песня Гаэтана при слушании его голоса: «Сердцу закон непреложный — Радость-Страданье одно...» И я понял, что совершается эта борьба, претворяющая радость в страданье, во имя искусства, а искусство рождается из потребности в общении с людьми («Чтобы по бледным. заревам искусства // Узнали жизни гибельной пожар»[2]). Эта потребность и вынуждает поэта замыкать свое волнение в рамку внешней неподвижности, заковывать свою речь в ритм сдержанных, приглушенных интонаций, сквозь которые вздрагиваниями голоса и частыми паузами прорывается скрытый под кажущимся спокойствием «вихрь чувства»... Читка захватила аудиторию, и поэт, как можно было заключить из краткой беседы по окончании чтения, был удовлетворен: он встретил со стороны слушателей понимание и взволнованную благодарность...

На этом вечере состоялось мое личное знакомство с Блоком, но в течение многих месяцев оно оставалось шапочным знакомством. Следующая моя встреча с поэтом произошла в июне 1920 года. Я пришел в Дом искусств на заседание Общества по изучению поэтического языка. Это общество — Опояз — сыграло большую роль в истории русского литературоведения. В тот вечер

должен был читаться доклад Б. М. Эйхенбаума «О звуках в стихе». Но — случайно или нет — в Доме искусств оказался Блок, и, отложив доклад, опоязовцы уговорили его читать стихи. Он нехотя прочитал несколько стихотворений. Затем завязался разговор. Я был настолько поглощен вопросами, которые хотел задать Блоку в связи с занимавшими меня тогда проблемами психологии поэтического творчества, что решительно не могу вспомнить, какие темы затрагивались в тот вечер другими — Виктором Шкловским, Б. М. Эйхенбаумом, Ю. Н. Тыняновым, В. М. Жирмунским. Я допрашивал поэта систематически, по определенной программе. Отвечая на мои вопросы, Блок сообщил, что стихи он создает всегда на бумаге, не произнося их в процессе творчества и не проверяя написанных стихов на слух, что он по многу раз перечеркивает и исправляет написанное и что все варианты ему необходимо видеть перед собой, для того чтобы сделать из них окончательный выбор: слова возникают и живут в его сознании в зрительной, письменной форме; что он создает стихи сидя за столом и что ходьба не служит для него ритмическим импульсом; далее — что стихотворение рождается иногда из одной строчки, не всегда начальной, иной раз — из представления определенного ритма и нескольких отдельных, не связанных между собою слов...

Мы сидели в небольшой комнате по обе стороны длинного стола. Блок читал стихи стоя у того же стола и продолжал стоять во время беседы. Он очень внимательно выслушивал меня и отвечал очень вдумчиво и точно, но — сжато, не выходя за рамки вопросов, не приводя примеров из своей поэтической практики. Мои товарищи уже дергали меня за полы пиджака. Но я был неумолим; ведь не из простого любопытства допрашиваю я Блока, а для науки! Наконец на вопрос о роли звуков в его творческом процессе и, в частности, о том, «не приходилось ли ему изменять смысловую сторону стиха, оставляя звуковую оболочку более или менее неприкосновенной», произошло откровенное объяснение.

— Знаете, — сказал Блок, — я стараюсь не задумываться над этими вопросами: такие размышления дурно отражаются на продуктивности творчества.

— Позвольте, а Андрей Белый? — возразил я.

— Вот это самый лучший пример для подтверждения моей мысли, — с живостью подхватил Блок, — с тех пор

как Андрей Белый стал теоретиком, он перестал быть поэтом.

Это замечание вызвало оживленные реплики присутствующих, и наш диалог закончился.

Но мне еще надо было поговорить с Блоком. За несколько месяцев до этой встречи, в феврале 1920 года, в связи с моими научными занятиями, я предпринял работу, которую продолжал затем в течение десяти лет, — запись на фонографные валики читки стихов, и главным образом — читки стихов поэтами. В разных районах Петрограда — в вузах, где я работал, в университете, в Институте живого слова, в Институте истории искусств, в литературных организациях, в Доме литераторов и в Доме искусств, наконец, у меня на квартире — были расставлены фонографы-капканы, которые улавливали голоса петроградских и приезжавших в Петроград из Москвы поэтов. «Моментальная фотография. Снято сегодня — готово завтра», — шутили мои слушатели в отделе объявлений студенческой рукописной газеты. К июню 1920 года были уже записаны Андрей Белый, Кузмин, Гумилев, Пяст, Лозинский, Мандельштам, Маяковский... Теперь я искал случая записать Блока. Прощаясь после описанной встречи, я изложил поэту мою просьбу. Блок сказал, что он слыхал о моей работе, заинтересован ею и готов предоставить мне свой голос; но читать в фонограф тут же, не выходя из комнаты, отказался, сославшись на то, что к такому ответственному выступлению надо подготовиться.

— Трудно читать стихи в такие дни, когда ходишь совершенно пустым, — сказал он.

Он предложил произвести запись после публичной читки стихов, назначенной на один из ближайших дней в Доме искусств.

— Тогда мне все равно придется привести себя в соответствующее настроение.

21 июня, часов в семь вечера, я ожидал Блока в гостиной Дома искусств, смежной с залом, где только что закончилась читка. Блок вошел в комнату в сопровождении Любови Дмитриевны и К. И. Чуковского; если память мне не изменяет, с ними была и Л. А. Андреева-Дельмас. Я извлек из своего рюкзака несколько книжек. Блок перелистал «Третью книгу стихов» и обратил внимание на мои обильные примечания на полях.

— У вас подведены варианты? — осведомился он с явным удовлетворением.

— Да, варианты и библиография, — со скромной гордостью ответил я.

И тут же мелькнула у меня лукавая мысль: «Не вам ли, Александр Александрович, принадлежат стихи:

Печальная доля — так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить!

А сейчас вы сами пожаловали в лапы доцента и довольны тем, что он изучает ваше творчество».

Но, конечно, в словах Блока не было и тени тщеславия. Уже во второй раз (в первый раз это было на читке «Возмездия») я имел случай убедиться, что он глубоко ценит внимание к его поэзии, сочувствие и понимание читателей. Этим и была вызвана его удовлетворенность при виде моих пометок на полях его стихов. А в распоряжение доцента он предоставил себя, несомненно, из уважения к науке, из чувства долга, как и за несколько дней до того, когда он терпеливо отвечал на мои вопросы, но на этот раз, может быть, также и из любопытства.

В выборе стихов для записи Блок проявил большую разборчивость. Он отказался читать «Вольные мысли» (пятистопный нерифмованный ямб), «Она пришла с мороза» (свободный стих), «Двенадцать».

— Я не знаю, как это надо *читать*, — объяснил он. (Через несколько месяцев, в январе 1921 года, он записал в своем дневнике: «Научиться читать «Двенадцать» [3].)

И на мою просьбу прочитать то или иное стихотворение он не раз отвечал:

— Лучше я прочту вот *это*, — и выбирал какое-нибудь другое стихотворение из того же цикла («Ведь стихи — кровные дети поэта, и хоть некоторые из них он должен до боли *любить*», — писал он в одной из ранних статей [4]).

Читал он наизусть, но на всякий случай держал перед собой книгу.

Так было прочитано шестнадцать стихотворений. Значительную часть их я сейчас же воспроизвел.

— Как странно слышать свой *голос*, — сказал *Блок*, — слышать извне то, что обычно звучит только внутри!

— И какое же впечатление произвел на вас ваш голос?

— Я бы сказал: тяжелое впечатление. Нельзя голос отделять от живого человека...

Такие высказывания мне приходилось не раз слышать и от других поэтов, которых я записывал, — именно от тех, которые не смотрят на свои выступления как на художественное творчество. Совсем недавно, через сорок с лишним лет после того, как я беседовал с Блоком, на эту тему написала стихотворение Белла Ахмадулина... [5]

— Ну, что вы скажете о моей читке? — продолжал Блок.

— Удивительно, как вы достигаете такого большого художественного эффекта, совершенно не меняя силы голоса и пользуясь ничтожными интервалами.

— Это общий принцип искусства: экономия выразительных средств. Я знаю это, может быть, потому, что прежде был актером.

Я был поражен: эта биографическая деталь была для меня совершенной новостью и как-то не вмещалась в тот образ поэта, который я себе рисовал — теперь уже с большой степенью конкретности.

— Да, я ведь прежде был актером, — повторил Блок, довольный произведенным впечатлением.

— А я и не знал, — смущенно пролепетал я, — актеры ведь совсем не так читают стихи.

Позже, уже из биографии Блока и из воспоминаний о нем, я узнал, что в ранней молодости, в 1897—1900 годах, он часто выступал в любительских спектаклях и собирался стать профессиональным актером. Впрочем, узнал и то, что стихи — чужие стихи — он читал в ту пору совсем иначе...

Прошло еще несколько месяцев. В феврале 1921 года, в связи с восемьдесят четвертой годовщиной смерти Пушкина, Дом литераторов устроил ряд вечеров, посвященных его памяти. 11 февраля состоялось торжественное собрание литературных и научных организаций. Собрание прошло исключительно удачно. В зале царило радостно-приподнятое и в то же время сосредоточенно-серьезное настроение. В программе — речь Блока и стихи Кузмина и Сологуба. Было известно, что Блок

усиленно готовился к этому вечеру, и выступление его ожидалось с огромным интересом. «На торжественном собрании в память Пушкина присутствовал весь литературный Петербург, — говорилось в предисловии к сборнику, посвященному этому юбилею и вышедшему уже после смерти Блока. — Представители разных мировоззрений сошлись в Доме литераторов ради двух поэтов — окруженного ореолом бессмертия Пушкина и идущего по пути к бессмертию Блока»[6]. Председатель — академик Кони — закончил вступительное слово, и Блок, стоявший позади последнего ряда стульев, медленно направился к эстраде через замерший в напряженном ожидании полутемный зал.

Тут случилось нечто касающееся меня лично и навсегда сохранившееся во мне как одно из самых дорогих и волнующих воспоминаний. Блок проходил через зал медленно, с устремленным вперед взором и, казалось, не замечал окружающих. И вдруг, поравнявшись со мной (я сидел в середине зала, у самого прохода), он на мгновение остановился, повернулся ко мне и молча пожал мне руку. Почему именно мне, мне одному, среди двухсот человек, из которых многие были ему гораздо более знакомы? Может быть, потому, что тема его — «О назначении поэта», о смысле и методе поэтического творчества — косвенно соприкасалась с темой нашей давешней беседы, потому, что он чувствовал во мне одного из самых жадных слушателей его предстоящей речи...

«Поэт — сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре, — раздавался среди настороженной тишины глуховатый, мерный, мнимобесстрастный и все же вздрагивающий и прерывающийся голос— Три дела возложены на него: во-первых, — освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых, — привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих, — внести эту гармонию во внешний мир... Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это — область мастерства. Мастерство требует вдохновения так же, как приобщение к «родимому хаосу»... поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя; одно совершенно связано с другим», — услышал я прямой ответ на вопрос о соот-

ношении «смысла» и звуков в процессе творчества, поставленный мною поэту в Опоязе. И ощутил рукопожатие, предпосланное этому ответу, этой речи, ставшей поэтическим завещанием Блока...

На пушкинском вечере я видел Блока живым в последний раз. Это было одно из последних его публичных выступлений. Он умер через полгода, после мучительной болезни.

В июне стало известно, что болезнь Блока — сердечная болезнь, сопровождавшаяся тяжелой психической депрессией, — очень серьезна. В начале августа состояние его было уже безнадежным. 7-го к вечеру на улицах по всему городу были развешаны голубые афишки в траурной рамке: литературные организации, издательства и Большой драматический театр извещали о смерти поэта. На следующий день я был у него на квартире. В гробу он был непохож на свои портреты, его лицо выражало только глубокую апатию, полную душевную опустошенность.

Это тяжелое воспоминание относится к 8 августа 1921 года. Но уже 7-го вечером я слушал голос навсегда ушедшего от нас поэта. Едва придя в себя от потрясающей, хоть и ожидавшейся со дня на день вести, я отправился в фонетическую лабораторию Института живого слова, где было в то время сосредоточено собрание моих фонографных записей, и приступил к изучению читки Блока. Через три недели моя работа, украшенная эпиграфом из пушкинских «Цыган» — «Имел он песен дивный дар // И голос, шуму вод подобный», — была закончена. Затем в течение трех лет она исправлялась, дополнялась и расширялась, обросла теоретическими экскурсами, полемикой и в конце концов расплылась и утратила литературную форму. Она читалась на открытых собраниях, посвященных памяти поэта, и в закрытых заседаниях научных и литературных организаций, реферировалась в прессе, два раза лежала в типографии, но в печати так и не появилась. Печатать ее теперь было бы уже поздно. «Голос Блока» остался навсегда занавешенным памятником поэту, созданным, быть может, неискусной, но ревностной и благоговейной рукой. Валики, на которых записан этот голос, несколько стерлись в процессе исследования, но все же — «под шип, сипение

и обертоны аппарата различается тихая, прерывистая, сдержанная манера поэта, так глубоко волновавшая всех, кто его слышал. Скупые гласные, паузы в середине строки... «О доблестях... о подвигах... о славе...» Так описывал свое впечатление от слушания этих записей через четыре года после смерти поэта выдающийся чтец Антон Шварц. Современная электроакустика сумела преодолеть немалые трудности, для того чтобы оживить мои записи читки Маяковским и Есениным своих стихов. Она располагает техническими средствами и для того, чтобы разрешить более сложную задачу — возродить и приблизить к оригиналу звучащие копии поэтической речи Александра Блока.

Но в каком количестве и в каком состоянии сохранились эти фонографные валики после тридцати трех лет беспризорности и забвения, в частности — после четверти века особенно небрежного хранения в Государственном литературном *музее*, — этот вопрос выясняется только сейчас, когда этими записями наконец заинтересовался Союз советских писателей. Пока из шести валиков, на которых записан голос Блока, найдено четыре, и возможно, что из десятка записанных на них стихотворений четыре или пять удастся довести до более или менее удовлетворительной звучности. Сбудется ли эта надежда и найдутся ли два недостающих валика, покажет будущее.

Н. А. НОЛЛЕ-КОГАН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

И в памяти на миг возникнет
Тот край, тот отдаленный брег.

А. Блок

И тень моя пройдет перед тобою.

А. Блок

Прежде чем говорить о моем знакомстве с Блоком и о некоторых встречах с ним, я хочу передать мое впечатление о его внешнем облике. Говорю о *моем* впечатлении и подчеркиваю это, ибо, может быть, в памяти других он запечатлелся иным.

Мне невозможно представить себе Блока и обрисовать его, не связывая образа поэта с определенной атмосферой, местом, природой, освещением, переживанием. В его внешности все зависело от состояния духа, все, даже колорит кожи, цвет глаз, цвет волос.

Каков был Блок? Красив? И да и нет. Были ли глаза его светлыми или темными? Вились или гладкими были его волосы? На все отвечу: и да и нет.

Когда Блок бывал весел духом, спокоен, здоров, то кожа его лица, даже зимой, отливала золотисто-красным загаром, мерцали голубовато-серые глаза, волосы орехового оттенка (иного определения не подберу), легкие и пушистые, венчали высокое чело. Очерк рта выразительный, и когда он плотно сжимал губы, то лицо внезапно приобретало суровое, замкнутое выражение, когда же улыбался, оно сразу светлело и молодело. Походка упругая, легкая, фигура статная, ладная, весь он какой-то «подобранный», все сидит на нем элегантно, ничего кричащего, вульгарного. <...> В дни душевного смятения, упадка духа, физического недомогания лицо серело, глаза тускнели, волосы темнели и переставали пушиться. Он словно сникал, и даже поступь тяжелела. Есть снимок Блока в гробу: на подушке покоится голова поэта

с темными, совершенно гладкими волосами. Вот потому-то к внешности Александра Блока я буду возвращаться несколько раз, и всегда в связи с теми моментами, о которых буду рассказывать.

Мое знакомство с ним началось не с личной встречи, а с переписки, но иногда мне приходилось встречать его то тут, то там.

Мы жили в Петербурге. Муж мой, П. С. Коган, был приват-доцентом Петербургского университета, а я училась на филологическом факультете Бестужевских курсов.

Петербургский май, «май жестокий с белыми ночами» [1]. Я возвращалась с Островов. Уже темнело. Я проголодалась и зашла в кафе. Заняв свободный столик, я пошла позвонить по телефону домой. Вернувшись, застала сидящего за моим столиком Блока. Но в этот момент соседний столик освободился, и Блок, извинившись, пересел.

Показался он мне тогда печальным, уставшим.

В марте 1913 года я написала Блоку первое письмо. В нем я, между прочим, спрашивала, не разрешит ли мне поэт посылать ему иногда красные р о з ы . — «Да, если хотите. Благодарю Вас. Мне было очень горько и стало легче от Вашего письма. *Александр Блок»,* — ответил он (23 марта) [2].

С тех пор, то есть с марта 1913 года и до 28 ноября 1914 года мы переписывались, не будучи знакомы. 28 ноября 1914 года мы встретились в первый раз [3].

День был снежный, бурный. У нас в квартире на Васильевском острове собралось к обеду много народу, и в комнатах было душно, жарко. Петр Семенович должен был в этот вечер читать публичную лекцию на Петербургской стороне, и, пообедав, все гости ушли вместе с ним. Вышла и я подышать морозным воздухом и пройтись немного с мужем.

Ветер стих, все вокруг словно затянуло снежной белой тонкой кисеей. Проводив немного мужа, я перешла Дворцовый мост и медленно направилась в сторону Офицерской улицы, где жил Блок. Вот и дом 57. Я остановилась, решительно отворила дверь подъезда, поднялась на четвертый этаж и позвонила у дверей квартиры Блока. Отворила опрятная горничная. Довольно большая передняя, налево — вешалка, висит шуба Александра

Александровича, лежит его котиковая шапка. Дверь в кабинет закрыта.

— Барина дома н е т , — сказала горничная, но я почему-то не поверила.

— Нету? — переспросила я. — Ну, что же, я вернусь через два часа.

Прислуга изумленно взглянула на меня. Я спустилась вниз. Наняв извозчика, я поехала в магазин Гвардейского экономического общества. Поднялась в кафе. Случайно встретила В. С. Чернявского, известного теперь и, по-моему, лучшего чтеца стихов Блока. Он знал о моей переписке с Блоком. Я рассказала ему, почему я здесь и куда отсюда поеду.

Мы вышли вместе, зашли в цветочный магазин Эйлерса, я купила алых цикламенов. Наняла лихача.

Вторично стояла я у тех же дверей. Позвонила. Открыла все та же горничная. Ничего не сказав, помогла снять ботики, скинуть шубу, провела в кабинет.

Высокая, просторная, теплая комната, полумрак, на письменном столе горит лампа, ваза, в ней благоухают цветы. Стол стоит боком к окну, на нем ничего лишнего, чисто, аккуратно, никаких бумаг, перед столом кресло, по другую сторону — второе, около окна кушетка, вдоль другой стены большой диван, в углу голландская печь, перед нею кресло, дальше по стене шкапы с книгами, дверь в столовую. От всего впечатление строгое, но уютное, теплое. Когда я в эту комнату попала днем, она оказалась еще лучше. Ее очень красил вид из окон. Окна были словно непрерывно меняющиеся в раме картины, за ними лежал такой простор, играло и жило переменчивое небо, отражаясь в погожие дни в Пряжке, а там далеко-далеко кольцом синели леса. Зимой же, то ли от снега, то ли от неба, по всей комнате стлался голубоватый отсвет. Я остановилась около стола, положила на него цикламены.

Послышались быстрые, легкие шаги, дверь распахнулась, предо мной стоял Блок. Он в чем-то темном, кажется мне высокого роста, серьезное, спокойное, слегка настороженное лицо. Я оробела, молчу, молчит и Блок. Внезапно взгляд его падает на мои цветы.

— Так это вы?

Я утвердительно киваю головой. Он дает мне время овладеть собой, и потекла наша беседа. Он говорит медленно, чуть приглушенным голосом, часто вопросительно

взглядывая на собеседника, то ходит по комнате, то остановится, то закурит, присев около печки, чтобы дым вытягивало в трубу. Я сижу на большом диване, запрятав руки в муфту. Волнение мое улеглось, мне привольно, просто, легко. Александр Александрович обладал драгоценным даром разряжать напряженность атмосферы, если человек был ему приятен, и уходил, словно улитка в раковину, если сталкивался с тем, кого ощущал «чужаком».

Когда я уходила, Блок положил мне в муфту сборник своих стихов «Ночные часы». <...>

После Февральской революции в 1917 году мы переезжаем в Москву. Переписка с Блоком принимает более интенсивный характер. Вся моя переписка с Блоком, длившаяся восемь лет, содержит: его писем ко мне, включая все записки и шуточные рисунки — 147; [4] моих сохранилось 25. Последнее письмо было получено мною за два с половиною месяца до его кончины, оно датировано 20 мая 1921 года, написано карандашом в постели: «Чувствую себя вправе писать Вам карандашом, в постели, и самое домашнее письмо», и дальше: «Выгоды моего положения заключаются в том, что я так никого не видел и никуда не ходил, ни в театры, ни на заседания, вследствие этого у меня появились в голове некоторые мысли и я даже пробую писать» [5].

Уже в 1919 году у меня зарождается мысль уговорить Александра Александровича приехать в Москву читать стихи. Настроение у него в ту пору было мрачное, подавленное. Он стал сомневаться в себе, как в поэте. И я надеялась, что перемена места благотворно повлияет на его настроение и на здоровье. Об этом я и писала ему. В ответ получила письмо, датированное 3 января 1919 года. Привожу его в выдержках:

«Вы все пишете мне о «вечере» моем, как будто само собой разумеется, что это хорошо и необходимо, и вопрос только в дне... Для меня это мучительный вопрос: почти год, как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах. Я не выхожу из мелких забот, устаю почти до сумасшествия... Физически мне было бы трудно в таком надорванном и «прозаическом» виде выступать на каком-то триумфальном вечере, читать всякое *старье*, — для чего и для кого?.. Все это

вместе заставляет меня просить Вас еще раз отказаться от этой мысли... Поверьте мне, что я не хочу Вас обидеть, но что это стоило бы мне часов мучительных...

...О Гейне (до которого я тоже недели три в заботах и протоколах не мог коснуться): хорошо сделать так, как Вы пишете, если Вам это интересно. Мне начинает казаться, впрочем, что передача стихов Гейне — просто невозможна. Может быть, я откажусь и от Гейне... [6]

Гейне — по Эльстеровскому изданию. Больше половины Гейне едва ли можно будет дать. Писем, думаю, не будет. Ближайшим образом, не попробовали бы молодые московские поэты (на условиях не заказа, а свободного конкурса, как Вы и пишете) свои силы на «Zeitgedichte» и примыкающему к ним, т. е. на третьестепенном, теряющем зубы Гейне (кроме одной «Doktrina», пожалуй)? Можно бы составить небольшую книжку из политических стихотворений, столь искалеченных П. И. Вейнбергом и его присными».

Меня очень опечалило, что Блок охладел и к Гейне. Послала ему «Книгу песен» Гейне в Эльстеровском издании, в красном кожаном переплете, и небольшую посылку. 28 февраля 1919 года получила от него письмо:

«Спасибо Вам за все — за папиросы особенно, потому что это лишение — одно из самых тяжелых. Эльстеровский Гейне — такой точно — мне подарен моей матерью 10 лет назад. Теперь будет два — 1909 и 1919 года. Не знаю, подвинется ли от этого русский Гейне; до сих пор надеждами на этот счет я мало избалован, б*о*льшую часть переводов приходится браковать».

Весь 1919 год мы продолжаем переписываться. Я получаю от него книги с автографами, которые почти всегда выражают его отношение к написанной им книге в данное время. Так, например, посылая второй том своих стихотворений в издании «Земля», он пишет в мае 1919 года: «Еще одна старая и печальная книга». Посылая в сентябре месяце 1919 года «Ямбы» в издании «Алконост», он делает надпись: «Последняя книжка в таком роде. Страницы 5—6 вырваны, чтобы не позорить автора[7]. *Автор*». Большое письмо от 7 сентября 1919 года, приложенное к «Ямбам», Блок заканчивает так: «Простите, что «Ямбы» немножко надорваны внутри: 1) это — единственный у меня сейчас экземпляр на роскошной бумаге; 2) сам я тоже надорван и, вероятно, давно. Книгу «Песня Судьбы» в издании «Алконост»

я получила 10 сентября 1919 года с таким автографом: «Дорогой Н. А. Нолле книга «моей второй молодости» (Нолле была моя девичья фамилия).

Так проходил 1919 год. Александр Александрович не только морально чувствовал себя подавленно, но и физически: ему часто нездоровилось. Но вопрос о поездке в Москву был почти решен в положительном смысле, и в апреля 1920 года Блок пишет:

«Дорогая Надежда Александровна. Вот, наконец, пишу Вам, и прежде всего благодарю Вас очень за пасхальные подарки — роскошные. Уже вторую неделю у меня не прекращается легкий жар, потому я никуда не выхожу, не хожу на службу, и у меня начинают зарождаться, хотя и слабо пока, давно оставленные планы — вновь стать самим собой, освободиться от насилия над душой, где только возможно, и попытаться писать.

Пока еще рано говорить об этом, впоследствии, когда выяснится, я Вам расскажу, если хотите, в какую петлю я попал, как одно повлекло за собой другое, прибавились домашние беды, и в результате с конца января я не могу вырваться физически уже, чего со мной никогда не бывало прежде.

Когда поправлюсь, думаю съездить в Москву... Баснословные суммы, увы! соблазняют меня, ибо я стал корыстен, алчен и черств, как все».

Затем последовал обмен телеграммами, телефонные разговоры, и день приезда А. А. в Москву был фиксирован на 7 мая.

Мы жили на Арбате, в доме 51, занимая отдельную квартиру из трех комнат: кабинета, столовой и спальни. Петр Семенович тотчас же заявил, что кабинет, как самую удобную комнату, надо предоставить Блоку.

В доме все было готово, чтобы принять дорогого поэта.

7 мая 1920 года в светлое теплое утро я поехала на Октябрьский вокзал встретить Александра Блока.

Он приехал вместе с Самуилом Мироновичем Алянским. Встретив их на перроне, я поехала с Александром Александровичем домой. Он был задумчив и молчалив. Я нашла, что он похудел с нашей последней встречи в Петербурге.

— А я вас очень стесню? — спросил он. — Ведь я теперь «трудный».

— Не будем обсуждать этого сейчас, а через три дня я спрошу, есть ли у вас ощущение того, что вы нам в т я г о с т ь, — ответила я.

Он улыбнулся.

Как только в Москве стало известно, что приехал Александр Блок, начались телефонные звонки, на которые он подходил очень редко, началось «паломничество» молодежи, особенно после его первого выступления. В большинстве случаев, по его распоряжению, мы отвечали, что его нет дома, но и цветы, и письма, и подарки несказанно радовали его. Он повеселел, помолодел, шутил, рисовал карикатуры, например, карикатуру на Изору и Бертрана. Этот рисунок, хранящийся в моем архиве, сделан карандашом и изображает Изору: голова в профиль, модная прическа, очки, большой нос, тип «синего чулка», а снизу на нее жалобно глядит Бертран. Он изображен по пояс, на голове нечто вроде красноармейского шлема, усики, в руках винтовка со штыком. Мы ходим в Художественный театр, в кино, приглашаем к себе его друзей, тех, которых он хочет в и д е т ь, — Георгия Чулкова, Вячеслава Иванова. С последним в этот приезд он после довольно длительной размолвки[8] помирился, чему я радовалась сердечно, ибо некоторым образом содействовала этому. На следующий день после их встречи Вячеслав Иванов прислал Блоку красные розы, а мне свой сборник стихов «Cor ardens» со следующим автографом: «Дорогой Надежде Александровне Коган, давней поэтической приятельнице, свидетельствует свою дружескую преданность и общую с ней любовь к лирике Александра Блока *Вячеслав Иванов»*. Мы бывали в гостях у поэта Юргиса Балтрушайтиса и у других.

Александр Александрович много и часто говорил по телефону с Константином Сергеевичем Станиславским. Обычно Станиславский звонил поздно ночью. Блок садился у телефона, я ставила около него на столик крепкий горячий чай, пепельницу, клала папиросы. Уйдешь, бывало, к себе в комнату и еще долго слышишь приглушенный звук его голоса: Блок и Станиславский беседуют по телефону. Беседовали на отвлеченные темы, на тему о театре. Блок тогда говорил Станиславскому приблизительно то же, о чем писал мне еще в 1919 году в письме от 7 сентября. На мой вопрос, читал ли он пьесу «Российский Прометей», он отвечает:

«Российского Прометея» я знаю, да, она очень интересна. Поставить ее нельзя, но я не помню времени моей жизни, когда русский театр не стремился бы поставить то, что нельзя. Таковы уж русские «искания». Результат их пока заключается в том, что театр русский отвык ставить то, что можно и должно, и поставить сейчас Островского редко кто сумеет».

Говорили они также о «Розе и Кресте». Блок развивал мысль, которую почти год спустя кратко формулировал в своем последнем письме ко мне:

«Я вспомнил «Розу и Крест», еще раз проверил ее правду, сейчас верю в пьесу...»

Чтобы не стеснять Блока временем возвращения домой, я дала ему отдельный ключ от квартиры и слышала иногда, как рано утром, когда все еще спят, вдруг тихонько стукнет входная дверь. То Блок ушел гулять. Возвращался он к утреннему завтраку, бодрый, светлый, молодой, оживленный, обычно с цветами, которых было такое изобилие в ту чудесную весну, завтракал с аппетитом, рассказывая нам о том, что видел, где был, и долго засиживались они с Петром Семеновичем в оживленной беседе. Днем он бывал у своих родных[9], встречался с близкими ему людьми, но все мы, кто любил его, всячески старались уберечь его от «деловых» встреч и разговоров.

К вечеру, когда жара спадала, мы вдвоем отправлялись бродить. Он умел бродить. Большое это искусство и огромное наслаждение. Он подмечал то, мимо чего «не поэт» пройдет равнодушно.

Конечным и любимым местом наших прогулок был, обычно, сквер у храма Христа Спасителя. Дойдем туда и сядем на скамью.

Кто помнит еще этот сквер и эту скамью над рекой, тот вспомнит, конечно, и тонкую белоствольную березку за нею и куртины цветов.

Над головой стрижи со свистом рассекают воздух, внизу дымится река, налево — старинная церковь, дальше, на другом берегу, — дома, сады.

Блок спокойно, вольно сидит на скамье, он отдыхает. Он снял шляпу, ветер легко играет шелковистыми мягкими вьющимися волосами, кожа на лице уже загорела, обветрилась, он курит, задумчиво глядя вдаль. Мы то говорим, то молчим. На этой скамье, в те далекие вечера, он читал мне Лермонтова «Терек», Баратынского «В дни

безграничных увлечений», отрывки своей поэмы «Возмездие» и много, много стихов. На память об одной из таких прогулок он подарил мне Лермонтова в двух томах с такой надписью:

Есть слова — объяснить не могу я,
Отчего у них власть надо мной,
Их услышав, опять оживу я,
Но от них не воскреснет другой.

Александр Блок
Май 1920, Москва *

И оттиск «Возмездия», напечатанного в «Русской мысли», со следующим автографом: «Дорогой Надежде Александровне Нолле еще одна вещь, из которой должно было выйти много, а вышло так мало. Май 1920 г. Москва».

В день своего первого выступления, 8 мая[10], Блок волновался, но волнением благотворным, творческим.

Мы пообедали в этот день раньше обычного, и каждый ушел к себе отдохнуть, а затем заняться туалетом. Вдруг страшный взрыв потряс дом, второй, третий, — зазвенели и посыпались оконные стекла **. В ужасе я вскочила, из спальни выбежал Петр Семенович, из ванной Александр Александрович, никто ничего не мог понять, зазвонил телефон, спрашивали, не знаем ли мы, что случилось, и состоится ли вечер, но мы тоже ничего не понимали и не знали. Александра Александровича этот неожиданный взрыв точно встряхнул, он заявил, что вечер, конечно, должен состояться, и начал энергично торопить Петра Семеновича, который медлил, ожидая чьих-либо разъяснений по телефону. Но Александр Александрович очень ласково и настойчиво уговаривал его идти; он согласился, и мы отправились.

На улицах царило необычайное оживление, но с примесью какой-то тревоги. Прошли Арбат, вышли на Воздвиженку. Чем ближе к Политехническому музею, тем народу все больше и больше. Около музея давка, все билеты распроданы, а желающих попасть неисчислимое количество. Пробиваемся в лекторскую. Там Александра

---

* Четыре стиха из стихотворения Лермонтова. (*Примеч. Н. А. Нолле-Коган.*)

** Взрыв на Ходынском поле (9) мая 1920 года». (*Примеч. В. А. Нолле-Коган.*)

Александровича и Петра Семеновича тотчас же окружили, а я вышла взглянуть на аудиторию.

Море голов, в руках у большинства цветы, оживленные лица девушек и юношей, атмосфера праздничная, приподнятая.

Я вернулась в лекторскую. Блок стоял один в стороне и что-то читал. Заметив меня, он поманил меня к себе и сказал:

— Садитесь на эстраде поближе ко мне, боюсь, что-нибудь забуду, тогда подскажете.

Вступительное слово читал Петр Семенович. Оно легло в основу его статьи о Блоке: «Голос поэта» [12].

Затем стихи Блока читали артисты Художественного театра: Ершов, Жданова и др.

Но вот на эстраду вышел Александр Блок.

Буря рукоплесканий, все кругом дрожит. Я ожидала оваций, но такого стихийного, восторженного проявления любви к поэту я никогда не видала.

Все взоры устремлены на поэта, а он стоит, чуть побледнев, прекрасный, статный, сдержанный, и я вижу, как от волнения лишь слегка дрожит рука его, лежащая на кафедре.

Как Блок читал? Трудно словами передать своеобразную манеру его чтения, тембр голоса, жест. Первое, слуховое, так сказать, впечатление — монотонность, но монотонность до предела музыкальная, выразительная, насыщенная темпераментом. Он доносил до слушателя в мысль стиха, и ритм, и «тайный жар» [13], и образ, но все так благородно, просто, сдержанно. Лицо Блока величаво-сосредоточенно, жесты прекрасных умных рук ритмичны.

В перерыве к нему пришло множество народу. Поэты дарили ему стихи, женщины — цветы и письма. Кто-то подарил том Блока «Театр» в издании «Земля». Книга обтянута лиловым шелком, по которому вышиты шелковые же серебристые ирисы, внутри очень своеобразные рисунки тушью. Я не умею и мне трудно передать, в чем очарование этих рисунков, но они тесно сплетены с текстом. Это находил и Блок. Книга хранится в моем архиве. Уезжая, он подарил ее мне, сделав на ней следующую надпись:

Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан.
В путь роковой и бесцельный
Шумный зовет океан.

Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
Сердцу закон непреложный —
Радость-Страданье одно![14]

Александр Блок
9-ое мая 1920, Москва

По окончании вечера, огромная толпа провожала его вплоть до Ильинских ворот. Ему поднесли такое количество цветов, что все друзья и близкие несли их.

После первого вечера и после каждого последующего, не менее триумфальных, он получал на адрес нашей квартиры письма, цветы, стихи (Марина Цветаева[15] и др.), разнообразные подарки, как, например, две художественно сделанные куклы.

Как-то утром раздался звонок. Александр Александрович и Петр Семенович еще спали. Я вышла отворить дверь, и мне подали довольно большой сверток и, кажется, ветку цветов яблони. Я положила все это в столовой на столе, около прибора Блока. Когда он встал и вышел к завтраку, то развернул пакет. В нем оказались две куклы: Арлекин и Пьеро. На Арлекине — лиловый костюм с черным; эту куклу он оставил себе. Пьеро в белом шелковом с черными шелковыми пуговицами одеянии, черное тюлевое жабо, через плечо перекинут атласный алый плащ, на руке кольцо, ажурные белые чулки, черные туфли, очень выразительное лицо. Эту куклу Блок подарил мне.

В этот же его приезд в Москву шли переговоры с Художественным театром о возобновлении работ над постановкой «Розы и Креста», но они оставили горький осадок на душе поэта. После его отъезда в Петербург я продолжала эти переговоры с Немировичем-Данченко. В 1921 году он передал постановку пьесы бывшему театру Незлобина и заключил с ними договор, копия с которого, с карандашными поправками Блока, хранится в моем архиве, но это уже 1921 год. <...>

Прожив у нас в Москве до 18 мая, Блок уехал обратно в Петербург.

Из окна вагона протянул он мне вырванный из блокнота листок, на котором карандашом было написано:

Не обольщай меня угрозой
Безумства, муки и труда.
Нельзя остаться легкой грезой,
Не воплощаясь никогда.

Храни безмерные надежды,
Звездой далекою светись,
Чтоб наши грубые одежды
Вокруг тебя не обвились[16].

Вскоре я получила от него письмо, и вслед за ним — первое письмо от его матери:

«Спасибо Вам, дорогая и многоуважаемая Надежда Александровна, от всей моей материнской души шлю Вам горячую благодарность за вашу ласку и внимание, за тот прекрасный прием, который Вы оказали моему сыну. Когда он вернулся к нам, успокоенный, удовлетворенный, и после его рассказов о московском пребывании, я почувствовала, как много я обязана Вам, как Вы прекрасно сделали, что вызвали его в Москву и устроили все так, что ему не пришлось думать о несносных околичностях обихода. Если бы Вы знали, как это все для него важно! Для него вся поездка оказалась такой благотворной. У меня прямо потребность явилась написать Вам, выразить Вам благодарность, послать Вам горячий привет, хотя Вы меня не знаете. Но я так много слышала о Вас от моего сына, что я как будто Вас немного знаю. И вот решилась написать Вам, крепко, горячо жму Вашу руку. Искренне, глубоко Ваша доброжелательница

А. Кублицкая-Пиоттух.

9 июня 1920 г.

Может быть, такого портрета у Вас и нет».

При письме была приложена фотографическая карточка Блока. Он снят в котиковой шапке.

В августе 1920 года я поехала в Петербург и прожила там до конца сентября. В этот приезд я и познакомилась с Александрой Андреевной.

Приехав двумя днями ранее условленного срока, я позвонила Александру Александровичу по телефону. Его не было дома: он уехал купаться в Стрельну. К телефону подошла Любовь Дмитриевна, с которой я была уже знакома.

— А Саша ждал вас десятого, — сказала она, — но подождите, пожалуйста, у телефона, я пойду скажу Александре Андреевне, что вы приехали.

Вернувшись, она сказала:

— Александра Андреевна просит приехать вас сейчас же, не дожидаясь Саши.

Я остановилась на Знаменской, и путь до Офицерской был не близкий. Наконец приехала, поднялась по уже знакомой лестнице и позвонила. Дверь отворила Любовь Дмитриевна, мы поздоровались, и она проводила меня по коридору до дверей комнаты Александры Андреевны.

Я вошла. Небольшая, светлая, в то утро залитая солнцем комната, уютно и просто обставленная, и первое, что поразило меня, что, казалось, жило и господствовало над всем — это портрет Блока (работы Т. Гиппиус). Навстречу мне с небольшого диванчика поднялась невысокого роста, хрупкая на вид, седая женщина. Она в сером платье, на плечах легкая белая шаль. Лицо очень болезненное, нервозное, в глазах усталость и печаль, но вместе с тем оно очень одухотворенное, нежное, женственное. Жестоким резцом своим провела жизнь на этом лице скорбные борозды, но высоких душевных, «романтических» движений не угасила, они отражались в глазах, в улыбке.

Никакой напряженности мы не почувствовали. Беседа завязалась сразу оживленная и дружеская. Так, незаметно протекло время до трех-четырех часов. Вдруг Александра Андреевна начала волноваться.

— Не утонул ли Саша, не случилось ли с ним чего-нибудь?

Но вот под окном послышались знакомые шаги. Александр Александрович возвращался домой.

С Александрой Андреевной я встречалась почти ежедневно. В конце сентября я уехала, и с тех пор мы уже никогда больше не виделись, но продолжали переписываться почти до самой ее смерти.

Тут я позволю себе сказать несколько слов об отношениях между матерью Блока и его женой. Эти отношения сыграли очень большую и, я бы сказала, роковую роль в его жизни.

Они были трудными и сложными. По-моему, зависело это главным образом от того, что обе были натурами незаурядными. По складу характера, по мироощущению, по темпераменту, по внешности они были совершенно противоположны друг другу. Мать — романтик, с некоторой долей сентиментальности в высоком, старинном понимании этого слова. На малейшую бытовую, житейскую неувязку, на всякую душевную даже не грубость, а царапину она реагировала болезненно, и ее чувствительность была предельна.

Любовь Дмитриевна была здоровая, сильная, полнокровная — как внешне, так и в отношениях к людям, к событиям, в своем мироощущении, что очень хорошо действовало на Блока, но столь глубокое различие между Александрой Андреевной и Любовью Дмитриевной создавало множество поводов для сложных и тяжелых конфликтов, создавало напряженную атмосферу, в которой порой задыхался такой чувствительный и нежный человек, как Блок.

Жена и мать прекрасно понимали это, но не могли преодолеть себя и не в силах были ничего изменить в своих взаимоотношениях. После смерти Блока я получила, спустя неделю, от Александры Андреевны письмо, где есть такая фраза: «Вы знаете, что его погубило. А мы с Любой не сумели сберечь... не сберегли!»

В этот день я осталась у них к обеду и лишь поздно вечером вернулась к себе.

В этот мой приезд я бывала у Блоков почти ежедневно, то к обеду, то вечером. Много времени проводила с Александрой Андреевной, бывала с Любовью Дмитриевной. Но в доме в это время царила именно та сгущенная атмосфера, о которой я упомянула, и Блок был мрачен, много курил и молчал.

Однажды после обеда, в прохладный осенний вечер, мы вышли с Александром Александровичем прогуляться и направились к Летнему саду. Он шел угрюмый, молчал, не отвечал на мои вопросы, может быть, даже не слушал меня. Дойдя до Летнего сада, мы сели в аллее на скамью. Уже гасла вечерняя заря, сквозь ветви дерев багряный отсвет ложился на бурую землю, устланную прелым листом, на белые статуи, на дальние дорожки. Располагаясь на ночлег, в старинных липах каркало воронье, за решеткой сада звенел и шумел город, а в саду было тихо, почти безлюдно. Я вдыхала осенний терпкий воздух, порой где-то вверху, между деревьями, шелестел ветер, и нас поливало золотисто-красным лиственным дождем. И вспомнила я другой вечер, другой — весенний, розовый — закат, благоухание сирени, цветущих яблонь, храм Христа Спасителя, Москву...

И вот в этот вечер Блок поведал мне о том, что тяжким бременем долгие годы лежало на его душе и темной тенью стлалось над светлыми днями его жизни. Рассказывать об этом я не считаю себя вправе, ибо дала слово Блоку никогда и никому об этом не говорить [17].

На следующий день, когда я пришла к Блокам, он подарил мне сборник «За гранью прошлых дней», с надписью: «Надежде Александровне Нолле на память о петербургском августе, не таком, как московский май. Май был лучше. Но надо, чтобы было еще лучше, чем май и август. *Ал. Блок»*.

Так шло время. Письма Блока становились все мрачнее, порой они бывали даже страшными. Вспоминая, сколь благотворно подействовала на него поездка в Москву в 1920 году, я пытаюсь уговорить его приехать к нам вновь. О его физическом состоянии и душевном настроении мне было известно не только из писем Блока, но я слышала об этом и от его друзей, и об этом же писала мне мать его.

23 сентября 1920 года Блок пишет мне: «О вечерах в Москве в октябре—ноябре я сейчас думаю, что «не выйдет». Слишком рано, во-первых; во-вторых — не весна, а зима, Москва — суровая, сугробы высокие: нельзя читать, имея облик ветерана Наполеоновой армии — уже никто не влюбится, а главное, и те-то, которые, было, весной влюблялись, навсегда отвернутся от такого человека...»

И в другом письме (18 октября): «Приехать я не могу. Наступает трудное время... Надо экономить с выступлениями; ведь в них *выматывается* душа, и вымотавшаяся душа эта очень пострадает, если она покажется в таком виде перед любопытным зверем — публикой. Кроме того, решаясь на выступление, надо быть на диэте, как я эта мог позволить себе весной, живя у Вас...»

Вскоре я получила от Блока сборник «Седое утро». Надпись на книге была такая: «Надежде Александровне Нолле эта самая печальная, а, может быть, последняя *моя* книга. Октябрь 1920. *Александр Блок»*.

Я продолжала вести переговоры с Художественным театром, которые сильно затягивались. Я вела их не со Станиславским, а с Немировичем-Данченко, и меня глубоко уязвлял и поражал его, так сказать, «купеческий» подход к делу. Пьеса была принята, срепетирована, со слов Станиславского — «все, кроме декораций, было готово», так в чем же дело? Но Немирович-Данченко «торговался». Это было самое обидное. А Блокам в это время жилось действительно очень трудно. Сам Александр Александрович прямо не писал мне об этом, но Любовь Дмитриевна писала.

Беспокойство за Блока не покидало меня. Чтобы хоть несколько разомкнуть сжимавшие его бытовые клещи, я предложила ему вступить пайщиком в нашу книжную «лавочку»[18] и, кроме того, выпустить в нашем издательстве «Первина» его стихи. Блок согласился[19].

В апреле 1921 года я получила от Блока письмо, в котором он писал: «Я не знал, ехать ли в Москву, теперь выясняется, что ехать надо... Чуковский написал большую и интересную книгу обо мне[20], из которой и будет читать лекцию, а потом я буду подчитывать старые стихи. Жалею только, что в этом году у меня на душе еще тяжелее, чем в прошлом, может быть, оттого, что чувствую себя физически страшно слабым, всегда — измученным. Обстоятельства наши домашние очень тяжелы. Ну, до свидания, до Москвы...»

Итак, Блок приезжает.

Вновь весна, май, теплое весеннее, благоуханное утро. Я поехала на вокзал встречать поэта. Приехав задолго до прибытия поезда, я ходила по перрону. На душе у меня было тревожно и смутно.

Подошел поезд, я всматриваюсь в выходящих из вагонов, отыскивая среди них Александра Александровича. Вижу Чуковского, а вот и Блок... Но он ли это! Где легкая поступь, где статная фигура, где светлое, прекрасное лицо? Блок медленно идет по перрону, слегка прихрамывая и тяжело опираясь на палку. Потухшие глаза, землисто-серое лицо, словно обтянутое пергаментом. От жалости, ужаса, скорби я застыла на месте. Наконец Блок заметил меня, огромным усилием воли выпрямился, ускорил шаги, улыбнулся и, наклоняясь к моей руке, сказал: «Это пустяки, подагра, не пугайтесь».

Мы сели в автомобиль и поехали домой.

С первого часа, с первого дня я ощутила незримое присутствие какой-то грозной, неотвратимой, где-то таящейся около нас катастрофы.

Блоку отвели ту же комнату, что и в прошлом, 1920 году. Мы приехали, он поздоровался с Петром Семеновичем, тотчас же ушел к себе и лег на диван. На лице Петра Семеновича я прочла тоже тревогу. Спустя некоторое время Блок вышел из своей комнаты и, почувствовав общее беспокойство, начал уверять нас, что просто устал с дороги, отдохнет, выспится и завтра будет иным.

Но на другой день и во все последующие состояние здоровья Блока не улучшалось. Он плохо ел, плохо спал, жаловался на боли в руке, ноге, в груди, в голове.

Помню, однажды на рассвете слышу, что он не спит, ходит, кашляет и словно стонет. Я не выдержала, оделась и, постучав к нему в дверь, вошла. Блок сидел в кресле спиной к двери, в поникшей, утомленной позе, перед письменным столом, возле окна, сквозь которое брезжил холодный и скупой рассвет. В этот предутренний час все было серо-сумрачно в комнате. И стол, и смутно белевшая на нем бумага, которую я всегда клала вечером на этот стол, даже сирень в хрустальном стакане казалась увядшей. Услыхав, что кто-то вошел, Блок обернулся, и я ужаснулась выражению его глаз, передать которое не в силах. В руке Блок держал карандаш. Подойдя ближе, я заметила, что белый лист бумаги был весь исчерчен какими-то крестиками, палочками. Увидев меня, А. А. встал и бросил карандаш на стол. «Больше стихов писать никогда не буду», — сказал он и отошел в глубь комнаты.

Тогда я решила, что надо сейчас же переключить его внимание на иное, вырвать из круга этих переживаний, и, сказав, что не хочу больше спать, предложила пройтись, подышать свежим воздухом раннего утра. Блок согласился. Я быстро оделась. Мы вышли и отправились по безлюдным, прохладным переулкам Арбата к храму Христа Спасителя.

Мы шли медленно, молча и, дойдя до скамьи, сели. Великое спокойствие царило окрест, с реки тянуло запахом влаги, в матовой росе лежал цветущий сквер, а в бледном небе постепенно гасли звезды. День занимался. Как благоуханен был утренний воздух! Как мирно все вокруг! Какая тишина!

Мало-помалу Блок успокаивался, светлел, прочь отлетали мрачные призраки, рассеивались ночные кошмары, безнадежные думы покидали его. Надо было, чтобы в этой тишине прозвучал чей-то голос, родственный сердцу поэта, чтобы зазвенели и запели живые струны в его душе.

Внезапно в памяти моей всплыли строфы Фета:

Передо мной дай волю сердцу биться
И не лукавь.
Я знаю край, где все, что может сниться,
Трепещет въявь...

Вспомнить дальше я не могла. Блок улыбнулся и продолжил:

Скажи не я ль на первые воззванья
Страстей в ответ
Искал блаженств, которым нет названья
И меры нет[21].

Так прочел он до конца все стихотворение, успокоился и обратно шел уже иным.

В этот приезд Блок выступал всякий раз очень неохотно, его раздражала публика, шум, ему трудно было читать стихи, ходить, болела нога, он задыхался, но успех выступлений был столь же велик, как и в 1920 году[22]. Та же буря оваций, то же море цветов, множество писем, стихов, звонков по телефону, но он оставался ко всему почти равнодушен. Его здоровье все ухудшалось, и наконец, после долгих настояний с нашей стороны, он согласился показаться врачу, которого мы пригласили на дом. Врач нашел состояние его здоровья очень серьезным и настаивал на полном покое, находя, что лучше всего сейчас помог бы ему постельный режим. Но уговорить Блока лечь в постель не удавалось, каждое утро он вставал через силу, был так же подтянут, как обычно, но давалось это ему, конечно, не легко. Он чувствовал себя все хуже и хуже, худел и таял на глазах.

Наконец Блок решил уехать ранее намеченного срока. Мы не удерживали его, понимая, что это бесполезно. Я написала письмо его матери в Лугу, где она в то время жила у своей сестры и оттуда посылала ему письма, которые очень волновали его. <...>

И вот наступил день отъезда Блока. С жестокой тяжестью в сердце я собирала и помогала ему укладывать вещи. На вокзал мы приехали рано, пришлось сидеть в шумном, прокуренном, душном зале. Блок сидел, словно окаменев.

Подробности последних минут стерлись в моей памяти, но одно мгновение я помню отчетливо. Блок вошел в вагон и стоял у окна, а я возле. Вот поезд задребезжал, скрипнул и медленно тронулся. Я пошла рядом. Внезапно Блок, склонившись из окна вагона, твердо проговорил: «Прощайте, да, теперь уже прощайте...» Я обомлела. Какое лицо! Какие мученические глаза! Я хотела что-то крикнуть, остановить, удержать поезд, а он все ускорял свой бег, все дальше и дальше уплывали вагоны, окно — и в раме окна незабвенное, дорогое лицо Александра Блока.

И. Н. РОЗАНОВ

ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

(Из воспоминаний)

После Октябрьской революции Блок прошумел своими «Двенадцатью» и «Скифами». Было радостно сознавать, что поэт не остановился в своем поэтическом развитии и сделал еще гигантский скачок, но не думалось, что «Двенадцати» суждено стать лебединого песнью Блока. Это и не ощущалось, потому что сборники стихов его под разными заглавиями продолжали выходить, и не всякий читатель обращал внимание на то, что это все из старых, дореволюционных запасов. Из этих книжек — все они были маленького формата — наибольший успех у читателей имело, как мне помнится, «Седое утро» (издание «Алконоста» 1920 года), а в этом сборнике — четыре стихотворения: «Голос из хора» — «Как часто плачем — вы и я...» (1910—1914), «Когда-то гордый и надменный...» (1910), «Женщина» (1914) и особенно «Перед судом» — «Что же ты потупилась в смущеньи?..» (1915). Некоторые в связи с последним из этих стихотворений вспомнили Некрасова, но лиризм Блока тоньше и сердечнее, чем в аналогичных вещах Некрасова.

«Скифы» напомнили многим «Клеветникам России»; по энергии лирического негодования больше не с чем было сравнивать. Наиболее выразительными и запоминающимися строками в «Скифах» оказались строки:

Да, скифы мы, да, азиаты мы,
С раскосыми и жадными глазами.

И еще:

Нам внятно все: и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений.

Поэма «Двенадцать» вызвала яростное негодование у писателей, не принимавших революцию. Ходили слухи, что во главе их были Мережковский и Гиппиус и что Блоку перестали подавать руку многие вчерашние друзья. Я считал, что как раз этим Блок доказал, что он не только большой поэт, но и героическая личность. С тех пор мне особенно захотелось увидеть его, тем более, что к этому времени я был лично знаком Почти со всеми крупными поэтами-символистами. И наконец я его увидел.

Весною 1920 года Георгий Иванович Чулков, всегда удивлявший меня своей предприимчивостью и разносторонней литературной деятельностью, носился с мыслью издать серию избранных стихов лучших русских поэтов.

В каждой книжке, кроме избранных стихов, должны быть две вступительные статьи: одна из них пишется историком литературы и должна давать сведения о жизни и литературной деятельности поэта, а другая статья должна быть написана непременно поэтом. Пусть оценку поэта читатель получит через поэтическое же восприятие.

— Хорошо, если бы вы согласились взять на себя Лермонтова, — сказал мне Чулков. — А из поэтов следовало бы пригласить Брюсова — для Пушкина, Блока — для Лермонтова.

Через несколько времени Георгий Иванович напомнил мне о нашем разговоре.

— На днях в Москву приезжает Блок, — сказал он, — поговорите с ним о Лермонтове.

— Но я незнаком с ним и даже никогда не видел его.

— Тем лучше: познакомитесь.

В мае 1920 года Блок был в Москве, и у меня была блоковская неделя. За эту неделю с 11 мая по 17-е я четыре раза видел его и слышал, один раз говорил с ним по телефону и один раз был у него.

В воскресенье 9 мая 1920 года состоялось первое публичное выступление Блока в Москве. Я на этом вечере не был, так как все билеты были расхватаны моментально и я не успел достать. Да и не до того было: в этот день, с семи часов вечера, в Москве, в районе Пресни и улицы Герцена, началась такая страшная канонада, что многие выходили на площади, боясь, что дома от сотрясения будут разрушаться. Но, кажется, дело ограничивалось только разбитыми окнами. Это взрывались пороховые

склады в Хорошеве, в нескольких километрах от площади Восстания.

Не попав на первый литературный вечер Блока, я решил не упустить следующего его выступления и заблаговременно купил (это стоило триста рублей керенками) билет на блоковский вечер 16 мая в зале Политехнического музея. Но потом неожиданно узнал, что Блок еще раньше выступит во Дворце искусств.

Этот второй блоковский вечер в Москве состоялся в пятницу 14 мая в том доме на улице Воровского, где теперь помещается Союз писателей, а тогда был Дворец искусств. На этом вечере я впервые увидел и услышал Блока. Он поразил меня художественной простотой чтения стихов. Энтузиазм поклонников, а еще более поклонниц был неописуемый. Обстановка для делового разговора о Лермонтове показалась мне неподходящей, и в этот вечер я не искал случая познакомиться с ним лично.

Когда впервые видишь лицо, хорошо знакомое раньше по портретам, обычно испытываешь чувство какого-то несоответствия: очень похоже, но то, да не то. Кажется, что скорее это не тот самый «настоящий», а его родной брат, очень на него похожий. У меня запечатлелся в воображении зрительный образ Блока по портрету Сомова. На этом портрете больше всего бросались в глаза губы, и это было неприятно; когда я впервые увидал Блока 14 мая во Дворце искусств, на его вечере, первое впечатление, которое он на меня произвел, можно было бы выразить так: «Нет, он не похож на сомовский портрет, к счастью, не похож!» А потом, когда я в него вглядывался, думалось, неужели этот человек, такой простой на вид и такой реальный, тот самый, по поводу которого мне не раз приходилось слышать вокруг себя: «Какое счастье, что у нас есть Блок!»

В зале, как я уже сказал, царила атмосфера влюбленности в Блока. Больше всего было женской молодежи, которая знакомилась с его поэзией, когда он был уже признан, знакомилась не как я, по отдельным сборникам, постепенно, как они выходили, а по мусагетовским трем томикам. Эта молодежь знала стихов Блока наизусть больше, чем я.

Голос у Блока был несколько глухой, и сначала его манера чтения, показавшаяся слишком уж простой и

невыразительной, разочаровывала. Это было совсем не эстрадное чтение стихов, к какому приучили публику поэты за десятилетия: тут не было ни эстетного жеманства Игоря Северянина, ни клоунады Андрея Белого, который, читая стихи, отчаянно жестикулировал, приседал и подпрыгивал; не было ничего похожего и на могучий, властный голос Маяковского. Блок читал тихо, как бы желая не поражать слушателей, а приглашая их самих вслушиваться в то, что он говорит... втягиваться. И чем больше он читал, тем более и более овладевал аудиторией. Постепенно его чтение все более и более нравилось: оно все было основано на тончайших нюансах. И то, что он не жестикулировал, а был неподвижен, тоже начинало нравиться. Не было ничего отвлекающего внимание от главного — от лирических стихов, которые сами за себя должны были говорить.

В результате некоторые из прочитанных им стихотворений, например «О доблестях, о подвигах, о славе...», так запечатлелись в моей памяти в его чтении, что мне неприятно было потом слышать чтение их с эстрады другими. То же повторилось потом и с произведениями Маяковского, всякое чтение их другими исполнителями казалось мне искажением их.

Помню два момента. Читая любимое публикой «В ресторане», Блок в одном месте вдруг остановился и начал припоминать. Ему сейчас же подсказали в несколько голосов: «Ты рванулась движеньем испуганной птицы». Выходило, что слушатели знают его стихи лучше, чем он сам. Кончив одно стихотворение, он остановился, как бы не зная, что теперь прочесть. «Вновь оснеженные колонны...» — крикнула ему моя соседка справа. Он слегка улыбнулся и прочел это стихотворение. Читал он на этом вечере 14 мая во Дворце искусств, как и на вечере в Политехническом музее, главным образом из книг «Ночные часы» и «Седое утро».

Весь день 16 мая 1920 года был у меня заполнен Блоком. Сначала приведу запись из дневника, а потом добавлю, что еще припоминается.

«16 мая, воскресенье. Утром в 11 часов звонил по телефону Блоку. Речь шла о статье — характеристике какого-нибудь поэта. Он сообщил, что редактировал Лермонтова. В 3 часа я пришел в университет на заседание Об-

щества любителей русской словесности. Здесь неожиданно оказался и Блок. Жена П. С. Когана, Н. А. Нолле, меня ему представила. Долго не начиналось. Начал Бальмонт чтением «Венка сонетов Вяч. Иванову» и других стихов.

— Радостно соловью перекликнуться с другим, — сказал Бальмонт.

— Петуху с петухом, — иронически прошептал мне мой сосед справа.

Вяч. Иванов читал перевод «Агамемнона» Эсхила и двенадцать сонетов. Затем свои переводы читал А. Е. Грузинский. Не знаю, на кого пришел Блок, но он заметно волновался и скоро исчез, кажется, не дослушав Вяч. Иванова. Вечером я на Блоке в Политехническом музее.

17 мая. Понедельник. В 2 часа я был у Ал. Блока. Ему принес «Русскую лирику» и «Венок Лермонтову». Он дал мне «Соловьиный сад» с надписью».

Теперь что припоминается:

В воскресенье 16 мая, утром, я позвонил Блоку по телефону.

Так как Чулков уже договорился предварительно с одним из издательств, то я, не называя Чулкова, а от имени издательства изложил Блоку по телефону, в чем дело. Мне ответили очень приветливо и любезно приблизительно следующее:

— Я с величайшим удовольствием принял бы ваше предложение, потому что люблю Лермонтова. Но, к сожалению, вы запоздали: я уже связал себя с Гржебиным, который заказал мне проредактировать Лермонтова.

Это было для меня полнейшей неожиданностью, но я еще не терял надежды.

— Если вы работаете над Лермонтовым, то тем лучше, — сказал я, — вам теперь ничего не будет стоить написать о нем небольшую вступительную статью.

— Но я уже закончил свою работу, — отвечал мне Блок, — и психологически для меня совершенно невозможно сейчас же возвращаться к той же теме.

Я принужден был согласиться.

В три часа дня должно было открыться в здании Московского университета, в круглой зале правления, заседание Общества любителей российской словесности с довольно необычной программой. Оно все было посвящено стихам, и только стихам. Тут были и «Сонеты солнца, меда и луны» Бальмонта, и перевод с подлинника трагедии

Эсхила «Агамемнон», сделанный Вячеславом Ивановым, и переводы из Низами, сделанные товарищем председателя Общества А. Е. Грузинским.

Может быть, этой программой объясняется то, что сюда привезли Блока. Кто-то из выступавших запоздал, и заседание долго не начиналось. Меня познакомили с поэтом.

— Мы уже познакомились по телефону, — сказал Блок и сам заговорил о Лермонтове, как бы продолжая утренний разговор. Вот что приблизительно он сказал:

— Я даю Лермонтова почти всего, но считаю нужным резко разграничить то, что Лермонтов сам считал достойным печати, от того, что он писал только для себя. Если же делать строгий отбор, как, например, для того издания, о котором вы говорите, то я все же пожертвовал бы некоторыми из хрестоматийных стихов Лермонтова и непременно взял бы несколько мало известных, например, хотя бы незаконченное стихотворение «Слышу ли голос твой...». Оно не рифмовано, но стоит многих рифмованных. В книгу лермонтовских стихотворений 1840 года не вошло одно из характернейших лермонтовских стихотворений «Есть речи, значенье...».

Я спросил его, знает ли он статью Фишера о поэтике Лермонтова, помещенную в юбилейном сборнике «Венок Лермонтову». Он отвечал, что не знает этого сборника. У меня, как участника «Венка Лермонтову», был второй экземпляр этой книги. Я сказал, что охотно подарю ему свой дублет. Он поблагодарил.

В этот раз Блок показался мне озабоченным и рассеянным. Говорил тихо и медленно о Лермонтове, а мысли были далеко. Он решительно ничем не был похож на мэтра — ни голосом, ни манерами, ни походкой.

Меня предупреждали, что в наружности Блока нет соответствия с его стихами. Легко можно было представить его себе нежным и хрупким, а он высок, силен и мускулист. К такому несоответствию я подготовился, почему его внешность и не поразила меня ничем 14-го во Дворце искусств. Но здесь меня поразила в нем какая-то застенчивость. Он показался мне ребенком-переростком, который стыдится, что он такой не по возрасту большой.

Мне казалось, что он не очень интересуется тем, что читают Бальмонт и Вяч. Иванов, и очень скоро я убедился, оглянувшись, что он и его спутница так же неожиданно исчезли, как и появились. Впоследствии

Н. А. Нолле объяснила, почему они исчезли: вечером ему надо выступать в Политехническом, и он с утра волновался и не находил места, хоть и старался казаться спокойным.

Однако на самом вечере в Политехническом музее он вполне овладел собой и читал свои стихи, ни разу не переходя в театральную декламацию, так же просто и проникновенно, ничего резко не подчеркивая, но великолепно владея искусством нюансов, как читал и на вечере во Дворце искусств.

На следующий день я был у него. Он остановился у своих знакомых на Арбате в восьмиэтажном доме, самом высоком на этой улице. Ход был со двора. Помню, как отперли мне дверь, как он вышел ко мне в переднюю и повел в маленькую комнату, сейчас же направо от входной двери.

Усадив меня, Блок начал просматривать оглавление моей книги «Русская лирика». Он особенно задержался на трех главах: V — «Вослед Радищеву», VI — «Поэзия небесных упований» и XII — «Отверженные».

— Многих я тут совсем не знаю, — сказал он, — но как хорошо, что, помимо Жуковского и Батюшкова, вы воскрешаете целый ряд второстепенных, забытых поэтов. Еще интереснее будет, когда дойдете до послепушкинских поэтов. Ведь кроме тех, которые есть у Гербеля (то есть в сборниках «Русские поэты в биографиях и образцах»), было много других, заслуживающих внимания.

Не помню в точности слов Блока, но таков был смысл.

Затем он стал перелистывать сборник «Венок Лермонтову». Здесь были статьи «Земля и небо в поэзии Лермонтова», «Поэзия одинокой души».

— Как жаль, что я не знал этого раньше, — сказал Блок, — но я должен признаться, что не только этого сборника до сих пор не знал, но, хорошо зная Лермонтова, я совсем почти не знаю юбилейной лермонтовской литературы 1914 года. Меня когда-то давно отпугнула от литературы о Лермонтове книга Котляревского. Он не понял самого главного, что Лермонтов — поэт [1]. А в 1914 году я весь был поглощен Аполлоном Григорьевым...

Вероятно, из вежливости он стал мою статью «Отзвуки Лермонтова» перелистывать медленнее, чем предыдущие.

Я напомнил Блоку, что в поэме Аполлона Григорьева «Олимпий Радин» есть лермонтовская строчка:

Грозой оторванный листок[2].

— И что замечательно, — подхватил Блок, — этот образ одинаково характерен и для того и для другого...

Впоследствии я не раз думал, что у Блока, вероятно, бывали минуты, когда он и себя осознавал таким же одиноким, носимым бурей листком.

Да, конечно, он был близок к Лермонтову, как был близок к Пушкину и ко всем другим великим поэтам.

У Блока не было ни самовлюбленности Бальмонта, ни экзальтированности Белого, ни той четкости и стремительности, какими удивлял Валерий Брюсов. Всего поразительнее в Блоке было то, что в нем не было ничего бросающегося в глаза, ничего сразу поражающего, но скоро вами овладевало обаяние простоты его обращения. Он был прост, как, вероятно, был прост в своих манерах и обращении Пушкин, прост, как все великие люди.

Прошел год. В мае 1921 года Блок снова приехал в Москву. Тут я его видел и слышал два раза: в четверг 5 мая на вечере в Политехническом музее и на следующий день, 6 мая[3], в Доме печати на Никитском бульваре.

Меня поразила мрачность его репертуара[4]. 5 мая, несмотря на усиленные просьбы слушателей, он категорически отказался прочесть «Двенадцать»[5]. Запомнился ряд концовок прочитанных им стихотворений:

Доколе матери тужить —
Доколе коршуну кружить.

Или:

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней!

Или:

Что тужить? Ведь решена задача:
Все умрем![6]

Произнесение им этих строк главным образом осталось в памяти.

В дневнике у меня записано, что в публике были Пастернак и Маяковский[7] и что я в первый раз увидал тут Чуковского.

На следующий день, в пятницу 6 мая[8], я был на вечере Блока в Доме печати. В дневнике у меня перечислено, кто выступал в прениях.

В памяти этот вечер остался лучше, чем предыдущий. Было нечто вроде скандала.

Появился на эстраде Михаил Струве, автор книги стихов «Пластические этюды», где воспевалась хореография, и стал говорить, что Блок исписался, Блок умер. Тогда выступил Сергей Бобров и резко отчитал Струве: какое право имеет такая бездарность, как Струве, судить о Блоке? Что он понимает в поэзии?[9]

На другой день мне рассказали, что, когда выступал Струве, Блок стоял тут же за кулисами, очень подавленный, и, качая головой, шептал:

— Правда! Правда![10]

Не помню, на каком из этих двух вечеров Блок прочел стихотворение «Рожденные в года глухие...» и «Перед судом», произведшие на слушателей особенно волнующее впечатление.

Я и сам ведь не такой — не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.

...Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта.

Эти строки так же прочно ассоциировались у меня с Блоком последнего года, как когда-то:

Впереди с невинными взорами
Мое детское сердце идет[11].

То было начало. Это — конец. И тем не менее хотелось возражать против его заявления, что он уж «не такой, не прежний, недоступный, гордый, чистый».

Неправда! Блок до конца остался для читателей таким же гордым и чистым, каким был в стихах о Прекрасной Даме.

ЛЕВ НИКУЛИН

АЛЕКСАНДР БЛОК

В октябре 1921 года, в Афганистане, на пятнадцатый день путешествия по Хазарийской дороге, я узнал о смерти Блока.

Вокруг были горы — девять тысяч футов над уровнем моря; снег уже лежал в горных проходах, и кочевые племена торопились спуститься в долины. Однако в полдень невыносимо жгло солнце, и на крутом перевале выдыхались даже привычные вьючные лошади. И вдруг на самом гребне перевала мы увидели европейца. Он лежал в тахтараване — вьючных носилках, укрепленных на спинах двух запряженных гуськом коней. Тахтараван медленно приближался.

Мы встретились на крутом спуске, дружно вскрикнули, бросились друг к другу. В тахтараване ехал кинооператор по фамилии Налетный, вечный спутник Волжско-Каспийской военной флотилии в дни гражданской войны, болезненный молодой человек, чудак и неврастеник. Он ехал из Москвы в столицу Афганистана Кабул с двумястами метров пленки и старинным съемочным аппаратом Патэ. Увидев нас, он тотчас заговорил без пауз, не останавливаясь:

— Шестой день еду и молчу — ни одного звука, я не могу по-афгански, а они по-русски. Скажите хоть одно слово!

Мы так устали от пятнадцати дней в седле, что это даже не рассмешило нас. Мы спросили:

— Что нового в Петрограде? В Москве?

Растирая отекшие колени, он ответил:

— Ничего. Все в порядке. Только умер Блок.

Вокруг была торжественная тишина, горное безмолвие, скалы, дикая, нетронутая природа.

— Да, да. Умер Блок. Разве вам не передают по радио сводки РОСТА?

Мы промолчали. В Кабуле он узнает о том, что радиостанция не работает.

Брякнули колокольцы, кинооператор полез в тахтараван, афганские солдаты-конвоиры пришпорили тощих коней, и тахтараван, Налетный, кони исчезли за перевалом. Мы молча глядели вслед человеку, который привез нам горькую весть о смерти поэта.

Я, не спеша, собрал бесстрастно
Воспоминанья и дела;
И стало беспощадно ясно:
Жизнь прошумела и ушла [1].

Несколько раз я видел Блока.

Надо напомнить, кем был Блок для нашего поколения.

Еще до революции он стал признанным первым лирическим поэтом России. Разумеется, не было стотысячных тиражей его книг, как сейчас, не было такого, как теперь, круга читателей, но книги Блока раскупали ценители поэзии, его стихи декламировали с эстрады, о Блоке с уважением писала критика в «толстых» журналах.

Праздничные номера газет иногда украшали далеко не праздничные по своему содержанию стихи Блока. Московский Художественный театр несколько лет подряд объявлял о предстоящей постановке пьесы Блока «Роза и Крест».

Поэма «Соловьиный сад» была впервые напечатана в самой распространенной в России газете «Русское слово». Это было своеобразное признание всероссийской славы поэта.

Но никогда Блок не знал такой славы, как в первые годы революции, когда появились «Двенадцать», «Скифы», «Возмездие».

Трудно рассказать о спорах, которые кипели вокруг поэмы «Двенадцать». Контрреволюционеры и саботажники пытались найти в этой поэме скрытую иронию, издевку над ненавистной им революцией. Изуверы обвиняли Блока в кощунстве, которое они усмотрели в последней

строфе поэмы. Что бы ни говорили враги, но многие поняли, что поэт давно видел свою родину не как «единую и неделимую» Русь, что он давно постиг «международный, разноплеменный», весьма разнородный характер страны,

Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол...[2]

Им не казалось неожиданным, что автор стихов о Прекрасной Даме понял революцию как возмездие старому миру, как утверждение новой эпохи человечества, призыв народов «на светлый, братский пир»...[3]

Мы перечитывали написанную в 1908 году статью Блока о театре, в которой поэт писал о «свежем зрителе», о «новой, живой и требовательной аудитории», о «массе рабочих и крестьян»... И потому в тот день, когда нам суждено было увидеть и услышать Блока, мы страстно хотели увидеть поэта революции.

Конечно, мы во многом ошиблись.

Он стоял, слегка опираясь на трибуну, чуть откинув голову, и негромко читал стихи, читал несколько монотонно; трудно было уловить ритм стихов в этом чтении, но мысль поэта обретала особенную прозрачность и ясность[4]. Голос Блока был чуть глуховатый, ровный и тихий. Читал он, как бы припоминая, всматриваясь в пространство, точно где-то там были написаны видимые только ему строки стихов.

Почти все портреты Блока придают поэту какую-то несвойственную ому женственность черт, в особенности портреты, написанные в его молодые годы. В действительности он выглядел несколько по-иному. У Блока было красноватое, как бы обветренное или обожженное первым загаром лицо немолодого человека северной расы. Значительность этого лица была в грустном спокойствии, в задумчивом, неподвижном взгляде, устремленном на собеседника.

Блок выглядел здоровым, физически сильным от природы человеком. Поэтому так поразила всех его смерть и особенно рисунок художника[5], изображающий поэта на смертном одре, — маска страдания и скорби, совершенно исказившая его черты.

У Блока был большой успех, почти триумф в дни его выступлений в Москве. Успех выражался не только в буре рукоплесканий и выкриках почитательниц поэта. Он

долго не мог уйти с эстрады, читал охотно и много, читал все, что помнил наизусть. И в эти минуты интересно было смотреть на лица его слушателей — губы их шевелились, они беззвучно повторяли вместе с поэтом строфы его стихов, они знали их наизусть.

Как только Блок умолкал, начинался ровный, нарастающий гром, и он не утихал, пока Блок не соглашался прочитать еще одно стихотворение. И он опять читал, именно то, чего от него ждали, именно эти стихи, читал он монотонным, бесстрастным голосом:

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле...

Бывает так, что серьезные, даровитые поэты, появляясь на эстраде, теряют чувство меры и собственное достоинство. Успех, рукоплескания превращают их в жеманных, бестактных лицедеев, ловцов аплодисментов.

Успех, выкрики, рукоплескания внешне не оказывали никакого влияния на Блока. Должно быть, у него не было естественного волнения поэта, читающего свои стихи перед людьми, которых он видит первый раз в жизни. И вообще окружающее не влияло на него. Какие-то назойливые девицы теснились вокруг него с цветами, говорили ему слащавые любезности и комплименты, — другой человек мог бы оказаться в неловком и комичном положении, но все это проходило мимо и ничуть не трогало этого задумчивого, немного грустного, немолодого человека. Но тогда возникало недоумение — почему же этот молчаливый, умный, скромный человек терпит такую странную обстановку истерии и экстаза, которая окружала его в артистической комнате, когда он ушел с эстрады. Откуда это непротивление, странная покорность, с которой Блок принимал психопатические восторги, почему эти кликуши, мистики, истерички предъявляют права на поэта, почему он не гонит их от себя, почему не возражает, когда они своим присутствием возле него как бы говорят:

— Он наш! Вот почему мы здесь — он наш!

Может быть, потому он терпел их, что знал, понимал обреченность этого поколения, видел конец этих «последних денди» и не мог по-человечески не жалеть тех, кто не нашел себе места в новом рождающемся мире.

Сурова, жестока была зима 1920 года...

Эпигон Блока, поэт Зоргенфрей, писал такие стихи:

Что сегодня, гражданин, на обед?
Прикреплялись, гражданин, или нет?
Я сегодня, гражданин, плохо спал,
Душу я на керосин обменял...

Уходящий старый мир представлял собой поразительное сочетание «высоких умов», будущих эмигрантов профессоров Карсавина, Лосского, членов Вольно-философской ассоциации, и зловещих старух, собиравшихся на кухне и черных лестницах, оплакивавших «убиенных» Романовых и возвещавших чудесные обновления икон... А меньшевики и эсеры пробирались на собрания и митинги, сеяли недовольство и втихомолку готовили «волынку» и мятежи.

В тот год в большой квадратной комнате бывшего Адмиралтейства[6] я увидел Блока. Он мало изменился со дня его последнего выступления в Москве. Тот же как бы загорелый цвет лица и грустное спокойствие во взгляде.

Блок слушал горячие, искренние речи красивой молодой женщины, писательницы Ларисы Рейснер. Она одна из первых приветствовала социалистическую революцию и мужественно держала себя на фронте гражданской войны. Она чувствовала, что имеет право говорить с Блоком от имени революционного народа и требовать, чтобы он поднялся над своей средой и своим окружением. Но молодая женщина говорила с ним несколько возвышенно, пожалуй, даже напыщенно.

Блок помнил эту молодую женщину в ее девические годы, он знал ее почти девочкой, поклонницей стихов символистов и акмеистов, потом посетительницей литературного кабачка «Бродячая собака», и, возможно, то, что она говорила, показалось ему новым увлечением, и он рассеянно слушал звонкие фразы о том, что в эту счастливую эру от него ждут стихов, достойных эпохи.

И вдруг он сказал мягко, с грустной иронией:

— Вчера одна такая же, как вы, красивая и молодая женщина убеждала меня писать нечто прямо противоположное...

И затем он сказал, что не видит разницы между своей сегодняшней беседой и вчерашней.

Был в тот вечер еще один знаменательный разговор — один поэт[7], не так уж давно изменивший свои политиче-

ские взгляды, на правах старого знакомства довольно резко порицал Блока за то, что он не продолжает направления, принятого им в поэме «Двенадцать» и в «Скифах». Что-то похожее на усмешку появилось в лице Блока, — может быть, ему пришли на память не так давно написанные стихи его собеседника, стихи, в которых был нестерпимо шовинистический дух и к тому же упоение «мощью» самодержца всероссийского [8].

Мы возвращались вдвоем в одном автомобиле, это была машина штаба Балтийского флота, и за рулем сидел матрос. Проехали пустынную Исаакиевскую площадь и повернули в сторону бывшей Офицерской.

Я помалкивал из робости и потому, что боялся сморозить глупость. Кто я был для Блока? Случайный знакомый, неизвестный молодой человек в солдатской шинели и красноармейском шлеме-буденовке.

Блок огляделся очень внимательно, как бы изучая машину внутри. Потом долго смотрел сквозь стекло на ее радиатор. Что-то в этой большой, сильной машине привлекло его внимание. Может быть, два блестящих медных обруча на радиаторе, таких не было ни на одной легковой машине в Петрограде.

— Чей это автомобиль? — неожиданно спросил Блок.

Я ответил, что это автомобиль штаба флота.

— Мне кажется, я его узнаю... Иногда в этой машине приезжали в следственную комиссию по делам царских сановников, летом в семнадцатом году.

И Блок опять замолчал. Мы продолжали мчаться во мраке и холоде в щели Вознесенского проспекта, в зимнюю петроградскую ночь.

— Это «делонэ-бельвиль», — снова заговорил Блок, — автомобиль бывшего царя... Да, именно так.

Не сказав более ни слова, он доехал до дома. Мы простились.

Я ехал в сторону Невского и в недоумении размышлял об этом странном разговоре. Помнится, я спросил у матроса за рулем, правда ли, что это «делонэ-бельвиль», бывшая машина царя. Матрос сказал: «Правда».

Ночной разговор с Блоком имел неожиданное продолжение.

Мне случалось не раз бывать в Большом драматическом театре, которому теперь присвоено имя Горького. Зимой 1920—1921 года здесь ставили пьесы Шекспира, Шиллера. Блок работал в репертуарном совете театра.

Изредка я видел его на заседаниях, утомленного бесплодными спорами с самовлюбленными, самоуверенными премьерами и премьершами театра. Мне казалось, что он расточал себя в этих спорах, но его работа в театре как-то заполняла его жизнь в те времена. Я видел его в полутемном кабинете репертуарного отдела, среди книг и рукописей, в комнатке позади литерной ложи дирекции.

В зрительном зале обычно сидели простуженные, кашляющие, усталые и полуголодные мужчины и женщины в валенках. На этот раз в театре были красноармейцы и моряки. С непосредственностью и сочувствием к Отелло и Дездемоне они следили за тем, как Яго готовит им гибель. «Новая, живая и требовательная аудитория», «масса рабочих и крестьян»!.. Разве не о таких зрителях мечтал Блок в 1908 году?

Блок сидел в ложе дирекции и смотрел не на сцену, а в зрительный зал, вглядываясь в молодые лица красноармейцев. Все они были в шинелях — в театре было холодно и сыро, пахло махоркой и мокрым шинельным сукном.

Блок протянул мне руку и опять стал глядеть в зал с каким-то мучительным любопытством. В антракте я спросил его, что он думает о пьесе одного драматурга — это была довольно грубая антирелигиозная агитка, присланная в театр из театрального отдела Петросовета.

Блок ответил не сразу.

— Я *этого* не понимаю.

Спектакль продолжался, я собрался уходить и вдруг почувствовал на своем локте руку.

Блок смотрел на меня каким-то странным взглядом.

— Я виноват перед в а м и , — сказал он.

Я не мог скрыть удивления. В чем он мог быть виноват передо мной?

— Я сказал вам тогда в машине... о «делонэ-бельвиль». Потом я подумал о том, что вы уехали один в эту темную ночь, один в моторе, который принадлежал тому человеку... Не следовало вам об этом говорить.

Он пожал мне руку и ушел в ложу. (Вот что означает запись «Автомобильная история» в «Записной книжке» Блока [9].)

Акт еще не начался. Я спустился вниз и прошел через партер. Уходя, я оглянулся на ложу дирекции и в последний раз увидел Блока. Он по-прежнему глядел в быстро наполняющийся моряками и красноармейцами зрительный зал.

НАДЕЖДА ПАВЛОВИЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

1

...Передо мной книга Блока «За гранью прошлых дней»; на ней надпись:

Яблони сада вырваны,
Дети у женщины взяты,
Песню не взять, не вырвать,
Сладостна боль ее.

Август 1920

Это ответ на мое стихотворение:

У сада есть яблони,
У женщины есть дети,
А у меня только песни,
И мне — больно.

Строка «Дети у женщины взяты» навеяна тогдашними неосновательными разговорами нашими о будто бы предполагаемом декрете об отобрании детей у матерей для государственного воспитания.

Александр Александрович, помню, сказал: «А еще неизвестно, лучше бы или хуже, если б в свое время меня вот так отобрали».

Жизнь и творчество были для него нераздельны.

Раз он сказал о своих стихах: «Это дневник, в котором бог мне позволил высказаться стихами».

Но в жизни было — «настоящее» и «игра». Такая же резкая черта была для Блока между «настоящим» в творчестве и «литературой». В устах Блока «литература» и «игра» были словами страшными, осуждающими.

Мучительной «игры» наших дней и не вынес он.

Все, что возникало или пыталось возникнуть в годы революции, интересовало его. Таков был, например, его интерес к Пролеткульту — до тех пор, пока он не почувствовал «игры». Мне пришлось около двух лет проработать ответственным работником в Пролеткульте (сначала в московском, а потом в самарском) об руку с пролетарскими поэтами, и потому я многое могла рассказать Александру Александровичу. Блок знал петербургский Пролеткульт и относился к нему отрицательно; к идее особой пролетарской культуры — также; но поэты-пролетарии его интересовали. В них думал он найти звук той стихии, которая заговорила с ним в 1918 году голосом «Двенадцати».

Ему хотелось видеть в них каких-то новых людей — иной породы, иного мира. Раз он полушутя спросил меня: «Что ж, они так же влюбляются, как мы?»

Однажды он прочел мою статью в «Творчестве» о пролетарских поэтах, отметил логичность построения, а потом, помолчав, сказал: «А ведь статья ваша им не за здравие».

— Но и не за упокой...

— Да... только они еще не выразители.

Александр Александрович подарил мне свой экземпляр «Монны Лизы» Герасимова. Там есть пометки. Отчеркнуты строфы:

Вся — жизнь, вся — в бронзовом загаре,
Вся — смехострунный хоровод,
С игрою глаз призывно-карих,
К нам поступила на завод.

Тебе, как маю, были рады
И пением твоим пьяны,
Но вот чугунные снаряды
Твоей рукой заряжены.

Блок сказал мне, что это ему нравится.

Девятая песня, аллитерированная на «ж», носит такую пометку: *«ж* неудачно».

«Завод весенний» того же поэта ему не нравился; отмечал он влияние Брюсова.

Блок был очень строг в суждениях и о своем, и о чужом творчестве.

Я помню, однажды я читала ему одну неудачную свою поэму, написанную пятистопным ямбом. Блок выслушал, а потом сказал: «Ямб-то у вас Алексея Толстого, а не Пушкина». Я возразила: «То Пушкин, а то я». Но Блок

оборвал меня: «Но вы живете и после Толстого и после Пушкина».

Несколько раз мы говорили с Блоком о его творчестве. Я сказала ему, что ставлю его наравне с Лермонтовым, а с Пушкиным — нет. Александр Александрович ответил печально и серьезно: «Они (Пушкин, Лермонтов) жили в культурную эпоху, а мы всю жизнь провели под знаком революции. Когда я начинал писать, то думал, что хватит сил на постройку большого здания, а не вышло».

«Большевики не мешают писать стихи, но они мешают чувствовать себя мастером... Мастер — тот, кто ощущает стержень всего своего творчества и держит ритм в себе».

Потом неожиданно спросил меня: «Что же, и вы думали, что Прекрасная Дама превратилась в Незнакомку, а потом в Россию?»

Я сказала: «Когда-то, давно — да. А когда *поняла*, — конечно, нет».

Александр Александрович улыбнулся: «Ну, конечно, я знаю, что вы так не думаете... А то я, как услышу от кого-нибудь о превращениях, так махаю рукой и отхожу... Значит, ничего не поняли!»

В другой раз он спросил меня: «А пьесы мои вы понимаете?»

— Да, кроме «Короля на площади». Я честно прочла его раз пятьдесят, но ничего не поняла.

— Это петербургская мистика.

Еще о пьесах: «Я писал сначала стихи, потом пьесу, потом статью». (На одну тему.)

Больше всего Блок любил свой первый том. «Там мне открылась правда». Раз он прочел стихотворенье «Поле за Петербургом» — и сказал: «Так все и вышло»...[1] А потом прочел:

Когда мы воздвигали зданье,
Его паденье снилось нам[2].

Однажды он пришел ко мне хмурый и постаревший, взял у меня со стола свой третий том и открыл «О чем поет ветер».

— А это вам нравится?

— Совсем не нравится... То есть стихи прекрасные... но это такая усталость... Уже и борьбы нет. Душа — как в гробу.

— Да! — как бы с удовольствием сказал *он*. — Мне было очень скверно, когда я писал это.

Осенью 1920 года в Петербург приехал поэт Мандельштам и читал в Союзе поэтов свои стихи. Одно из них было посвящено Венеции[3].

Через несколько дней мы с Александром Александровичем вспомнили об этом чтении и отметили, что Венеция поразила обоих (и Блока и Мандельштама) своим стеклярусом и чернотой. Разговор перешел на «Итальянские стихи» Александра Александровича, и я сказала, что больше всего люблю «Успение» и «Благовещение».

— А что, «Благовещение», по-вашему, высокое стихотворение или нет?

— *Высокое*... — ответила я.

— А на самом деле нет. Оно раньше, в первом варианте, было хорошим, бытовым *таким*... — с жалостью в голосе сказал он[4].

«Бытовым»... Быт не случаен в творчестве Блока. Блок умел ходить по земле («Если б я вздумал бежать, я, вероятно, сумел бы незаметно пройти по лесу, притаиться за камнем»), и Блок чувствовал связь человека с землей.

В минуты надежды на возврат творчества он мечтал кончить «Возмездие». Ему хотелось увидеть в русской поэзии возрождение поэмы с бытом и фабулой. Там, где Блок ощущал быт, там он ощущал культуру или зачатки культуры и возможность для художника чувствовать себя мастером. Правда, сказавшаяся ему в зорях Прекрасной Дамы, действенно могла и должна была выявить себя в новых формах жизни, значит — и быта.

Блок — великий мистический поэт — был и великим реалистом. У него было то «духовное трезвение» (по слову «Добротолюбия»), которое позволяло ему и видеть недоступное нам, и предчувствовать, как оно должно отразиться на земле.

2

<...> У меня есть книга Блока. На ней написано: «В дни новых надежд. Август 1920 г.».

Об этих днях хочется мне вспомнить, потому что это были дни, может быть, «последних надежд» в жизни Блока. В те дни я встречалась с ним часто, потому что была секретарем президиума петербургского отделения Всероссийского союза поэтов он — председателем.

От тех дней остался у меня памятный протокол заседания. Вот выписка оттуда:

«Тов. Блок настоятельно указывает на необходимость работы в районах».

Что это значит?

Когда основалось отделение Союза поэтов, стала выра¬батываться программа деятельности, Блок мучительна чувствовал оторванность интеллигенции, в частности — писателей, от народа, и вот ему начинает казаться, что Союз дает возможность и поэтам объединиться и затем непосредственно идти в народные массы. Сам он раз пробовал читать, кажется, в «Экспедиции заготовления государственных знаков», но без успеха, и все-таки настаивал на этих попытках.

Надеялся он, что и свежие силы из народа войдут в Союз.

Я помню первый литературный вечер Союза в зале Городской думы. Лариса Рейснер делала доклад, Городецкий, только что приехавший с юга, читал стихи, а Блок сказал вступительное слово о значении и целях Союза.

Он говорил там о возможности общения и звал эти новые силы...[5]

В то время я работала в петербургском Совете профессиональных союзов. Иногда с работы я прямо приходила к Блокам. Мне поручено было собрать материалы для плана лекций на 1920 год; союзы заполняли анкету, высказывая свои пожелания о количестве и характере лекций на заводах. Были три графы: политические, профессиональные и общеобразовательные. Александр Александрович интересовался этими анкетами и разбирал их со мной. Наибольший процент падал на общеобразовательные, и Блок считал это симптоматическим.

Работа Союза поэтов налаживалась очень медленно. Мы — поэты — люди берложные и не умеем общаться. Я помню, как Чуковский в великом изумлении говорил про самого Блока: «Я поражен. В первый раз слышу я от Александра Александровича вместо «я» — «мы». Как он близко принял к сердцу Союз!»

Председатель наш был необыкновенно добросовестен. (Впрочем, если Блок брался за какое-нибудь дело, он всегда делал его честно до конца.) Он не пропускал ни одного заседания, он входил во все мелочи. Так, у нас при Союзе служил матрос. И вот однажды Александр

Александрович приходит ко мне и достает из кармана какую-то бумажку: вот, чтоб не забыть.

«Матросу нужно: 1) дать бумагу, чтоб его отпускали с корабля, 2) прописать в домкоме».

Матрос был очень мил и работящ, но однажды — с кем беды не бывает! — украл у хозяина квартиры, где помещался Союз, соусник... и хозяин в девять часов утра звонит Блоку, требуя расследования. Но Блок передал это дело товарищу председателя.

Потом он со смехом рассказывал о своих новых обязанностях. Но все же ему приходилось входить в разные мелочи — и заботиться о дровах для Союза и о хотя бы единовременных пайках в помощь нуждающимся членам, и посещать собрания. А на собраниях поэтов тоже иногда тяжко бывало. В Петербурге люди — нелюдимые, здесь даже и споров разных почти не бывает.

Сидим мы кругом стола. Мучительно молчим. Лозинский предлагает читать стихи. Начинаем по кругу. По одному стихотворению. После каждого — мертвое молчание. И вот круг кончен. Делать больше нечего. Блок упорно и привычно молчит, но спасительный голос Лозинского предлагает начать круг снова. Потом с облегчением уходим домой.

Все это в конце концов Блоку надоело. Он стал отказываться от председательствования. Но тогда весь Союз в полном составе явился к нему на квартиру просить остаться. Стояли на лестнице, во дворе. И он остался, но от дел отстранясь, а в январе, при новых выборах, председателем Союза был выбран Гумилев [6].

Я помню дождливый вечер, и ветер с моря, и черные улицы. Только — издали искры рабочих костров. С какого-то заседания мы идем домой... Под старенькой кепкой — прекрасный и строгий профиль: профиль воина. Ему пошел бы шлем... И хрустит осеннее ароматное яблоко. Блок вечно осенью носил в кармане яблоки... и в комнате не любил их есть. Идет своей легкой, своей быстрой походкой и глядит в осеннее небо... А там ползут тяжелые тучи, затихает ветер — любимый Блоком ветер.

— Мне иногда кажется, что я глохну, — говорит Блок.

В мертвой тишине наступающего нэпа он и задохнулся. Но те, для кого слова Блока были не «литературой», а живым заветом, те в темную тихую ночь должны хранить память о заре, о той заре, во имя которой жил и умер Блок.

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

ИЗ ОЧЕРКА «ИСТОРИЯ МОИХ КНИГ»

...В самом начале 1921 года я вышел через Миллионную на Мойку против Придворных конюшен. Настала оттепель, дул влажный ветер, и Мойка и камни мостовой были покрыты ржаво-желтым налетом. Устав, я положил связку книг — ею наградил меня Горький, считавший, не без основания, что мои знания очень малы, — на каменную тумбу и задумался. <...>

... — Иванов?

Высокий человек с резким голосом, раскинув длинные руки, подошел ко мне. Я был тогда секретарем Литературной студии и хорошо знал этого человека в коричневом пальто, барашковой шапке и синем шарфе с белой бахромой. Это был К. И. Чуковский.

Указывая на своего спутника, он спросил:

— Не знакомы? Блок.

Блок изредка читал в нашей студии лекции, но по разным причинам я не мог быть на этих лекциях и видел его впервые.

— Вот здесь, напротив, живет некто Белицкий, — сказал, смеясь, Корней Иванович. — Он работает в Петрокоммуне. У него бывает серый хлеб, а иногда даже белый. Так как вы оба голодны, и я тоже голоден, и так как вы оба не умеете говорить, а значит, будете мне мешать, я пойду к Белицкому и достану хлеба.

И он скрылся в доме.

Блок стоял молча, не говоря ни слова. Он, по-видимому, думал о своем. Он работал и вряд ли видел меня. Я понимал это. Мне нисколько не было обидно, я не только не возмущался, а чувствовал восхищение. Вот стоит рядом величайший поэт России и работает! И то,

что вы не лезете к нему со словами восхищения, не пытаетесь его «выпрямлять», как это часто делают другие, а просто тише дышите-, вы до какой-то степени помогаете ему. Глубокое молчание царило между нами.

Смею думать, мы оба наслаждались этим молчанием.

Колко дребезжа по камням мостовой, проехала мимо нас тяжелая телега, которую везла крайне тощая лошадь. Ясными и светлыми глазами она взглянула на нас. «Ну, что ж, если уж надо трудиться, давайте трудиться!» — говорил ее взгляд. Прошел очень приличный старичок с широченными карманами и в рыжем котелке. Не доходя до нас несколько шагов, он всхлипнул, достал крошечный необыкновенно чистый платок и вытер им не глаза, а сухонькие, тоненькие губы. Я знал этого старичка. Он читал лекции по культуре Востока, и я советовался с ним, когда начал писать повесть «Возвращение Будды». Два дня назад у него умерла от тифа дочь, обладающая редчайшей способностью к языкам. Старичок шел читать сейчас очередную лекцию.

Послышался резкий голос Чуковского:

— Достал!

Сняв небрежно мои книги, Корней Иванович положил на каменную тумбу буханку хлеба, вынул перочинный нож и разрезал ее пополам.

— Половину за то, что достал, получу я, — смеясь, сказал он. И затем, отрезав от второй половины буханки небольшой кусочек, Корней Иванович с царственной щедростью протянул м н е . — Вам, как начинающему писателю.

Остальное он отдал Блоку. Блок взял хлеб восковой желтой рукой, вряд ли понимая, что он берет. Держа хлеб чуть на отлете, он уходил рядом с Корнеем Ивановичем вдоль Мойки, в сторону Дворцовой площади и Дома искусств.

У, какой сырой и длинный месяц! Кажется, никогда не дождешься его конца. То падает дождь, то завоет мокрая вьюга, а за нею грянет мороз. Выйдешь на улицу — и хоть обратно в дом: облака перепутанные и такие низкие, что, того и гляди, снесут шапку. Улица кажется кривой и вдобавок бегущей куда-то под уклон.

И стоишь долго, неподвижно у ворот своего жилища на Пантелеймоновской или же у ворот громадного темного здания на Итальянской, где Пролеткульт, учреждение страшно возвышенное по духу, но довольно бездеятельное по выражению этого духа.

В Литературной студии, как я уже писал, читают лекции многие знаменитые писатели и критики Петрограда. В последнее время, после того как поэты-пролеткультовцы несколько раз внушали слушателям, какой редкий случай выпал им на долю, слушатели стали исправно посещать лекции. Но дня два назад, когда начался Кронштадтский мятеж и ранним утром над городом пронесся отдаленный гул артиллерийской стрельбы, число слушателей заметно уменьшилось. Сегодня в студию, кроме меня, никто не пришел.

Я уныло бродил по серой промозглой комнате. Тоскливо глядеть на высокие стулья, аккуратно расставленные вдоль обширного стола. Кожа со стульев давно ободрана, торчат пружинки, мочала, клочки холста. Зеленое сукно со стола тоже содрано, и стол такой, словно на него брошена большая ветхая промокашка, вся в зеленых чернилах [1].

На столе ведомость для лекторов. Среди них — А. Блок.

В дни, когда по расписанию Блок должен читать лекцию, я повторяю его стихи, которые давно знаю наизусть. Меня считают недурным «декламатором». Ах, если б удалось продекламировать ему какое-либо, хоть самое крошечное стихотворение! Но где там! Не хватает смелости. И к тому же Блок стал появляться редко: говорят, прихварывает.

Невысокий человек медленно идет по коридору. В руках у него тонкое пальто, с плеча свисает кашне. Я мгновенно узнаю его: по шаткому биению своего сердца. Блок! Кажется по выражению его сухого, темного и несколько надменного лица, что его терзает большая скрытая мысль, которую ему хочется высказать именно сегодня. «Какая жалость: нет слушателей!» — думаю я.

— Никого? — говорит Блок, оглядывая комнату.

— Восстание, — отвечаю я извиняюще.

— А вы?

— Я секретарь студии.

— И слушатель?

Он глядит на меня задумчиво, и взор его говорит: «Это хорошо, что вы остались на посту поэзии. Поэзия, дорогой мой, не менее важна, чем склады с порохом, например».

И он вдруг спрашивает:

— Разрешите прочесть лекцию вам?

Я важно сажусь на другой конец стола; пространство между нами, кажется мне, еще более увеличивает силу того события, которое происходит.

Блок раскрывает записки и читает медленно, не спеша, постепенно разгораясь. Он читает о французских романтиках, и каждое слово его говорит: «Они были прекрасны, несомненно, но разве мы с вами, мой молодой слушатель, менее прекрасны? Мы, вот здесь сидящие, в холодной сырой комнате, за тусклыми, несколько лет не мытыми стеклами?»

Я киваю головой каждому его слову и про себя говорю: «Мы с вами достойны звания людей!» Он мне возражает: «Но разве мы одни? Нас множество, мой молодой друг!» И я покорно ему отвечаю: «Да, нас множество. Мы трудимся». — «И ведь правда, какой у нас отличный, прозрачно прекрасный труд! И как я люблю его. А вы?»

По расписанию Блок должен был читать час.

Через сорок минут после начала он позволил себе немножко передохнуть. Отодвинув в сторону записки, он, поеживаясь, поднялся.

— Однако у вас тут холодновато.

— И сыро.

Он читал еще сорок пять минут. Я заметил, что чернила в нашей чернильнице замерзли. Как же будет расписываться Блок? Взяв чернильницу в руки, я отогрел чернила. Блок расписался в ведомости, и я был очень доволен, что чернил на его перо собралось достаточно. Блок, молча пожав мою руку, медленным шагом покинул комнату.

Вскоре после Блока поспешно вбежал критик Клейнборт, в свое время довольно известный.

— Никого? — спросил он.

— Никого, — ответил я и тут же добавил не без гордости: — Только что Александр Блок мне одному прочел лекцию о французских романтиках.

— Ну, он читает о романтиках, а я вам о русском реализме. Будем-ка реалистами. Давайте ведомость! — Он расписался и, возвращая мне ведомость, сказал: — А там, где стоит час, поставьте, что я вам читал два часа. Не все ли равно? Во время восстания, если я вам и двадцать часов подряд буду читать о реализме, вы ничего не поймете.

...Блок, Горький, Есенин, Кончаловский — какие учителя и спутники гибкого и грозного мужества наших дней!

БОРИС ПАСТЕРНАК

ИЗ ОЧЕРКА «ЛЮДИ И ПОЛОЖЕНИЯ»

Я имел случай и счастье знать многих старших поэтов, живших в Москве — Брюсова, Андрея Белого, Ходасевича, Вячеслава Иванова, Балтрушайтиса. Блоку я впервые представился в его последний наезд в Москву, в коридоре или на лестнице Политехнического музея, в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья.

В этот вечер [1] он выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме печати и в Обществе Данте Алигьери, где собрались самые ревностные его поклонники и где он читал свои «Итальянские стихи».

На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят бенефис, разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.

Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснялись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ИЗ ОГНЕННОЙ РОССИИ

(Памяти Блока)

<...>

Трижды вы мне снились.

Два раза в городе рыцарей — в башенном Ревеле — и раз тут — в зеленом Фриденау, в фремденхейме [1] фрау Пфейфер, над Weinstube, по-нашему — над кабаком.

Видел вас в белом, потом в серебре, и я пробуждался с похолодевшим сердцем. А тут — над Weinstube — вы пришли совсем обыкновенным, всегдашним, и мне было совсем не страшно. Я вас просил о чем-то, и вы, как всегда, слушая, улыбались — что-то всегда было чудное, когда я говорил с вами.

Из разных краев, разными дорогами проходили наши души до жизни и в жизни, по крови разные — мне достались озера и волшебные алтайские звезды, зачаровавшие необозримые русские степи, вам же — скандинавские скалы, северное небо и океан, и недаром выпала вам на долю вихревая песня взбаламученной, вздыбившейся России, а мне — погребальная над краснозвонной отшедшей Русью [2].

Где-то однажды, а может — не раз, мы встречались — на каком перепутье? — вы, закованный в латы с крестом [3], а я в моей лисьей острой шапке, под вой и бой бубна — или на росстани какой дороги? в какой чертячьей Weinstube — разбойном кабаке? или там — там, на болоте —

И сидим мы, дурачки,
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед [4].

Судьба с первой встречи свела нас в жизни — и до последних дней.

И в решающий час по запылавшим дорогам и бездорожью России, через вой и вихрь прозвучали наши два голоса России —

на новую страдную жизнь
и на вечную память.

Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре — фонари...

1905 год. Редакция «Вопросов жизни» в Саперном переулке. Я на должности не канцеляриста, а Домового — все хозяйство у меня в книгах за подписями (сам подписывал!) и печатью хозяина моего, Д. Е. Жуковского, — помните, «высокопоставленные лица» обижались, когда под деловыми письмами я подписывался: «Старый дворецкий Алексей». Марья Алексеевна, младшая конторщица, убежденная, что мой «Пруд» есть роман, переведенный мною с немецкого, усумнилась в вашей настоящей фамилии:

— Блок! псевдоним?

И когда вы пришли в редакцию — еще в студенческой форме, с синим воротником, — первое, что я передал вам, это о вашем псевдониме.

И с этой первой встречи, — а была весна петербургская особенная, — и пошло что-то, чудное что-то, от чего, говоря со мной, вы не могли не улыбаться.

Театр В. Ф. Коммиссаржевской на Офицерской с вашим «Балаганчиком» и моим «Бесовским действом» — Вс. Мейерхольд — страда театральная.

Неофилологическое общество с Е. В. Аничковым — весенняя обрядовая песня и ваше французское средневековье[5]. Вечера у Вяч. Иванова на Таврической с вашей «Незнакомкой» и моей «Калечиной-малечиной» послонной.

1913 год. Издательство «Сирин» — М. И. Терещенко и его сестры — канун войны, когда мы встречались всякий день и еще по телефону часовали. Вы жили тогда на Монетной[6], помните Острова, помните двугривенный, — ведь я отдал его последний! — как вы смеялись, и после, еще недавно, вспоминая, смеялись.

Р. В. Иванов-Разумник — «Скифы» предгрозные и грозовые[7].

1918 год. Наша служба в ТЕО — О. Д. Каменева — бесчисленные заседания и затеи, из которых ничего-то не вышло. И наша служба в ПТО — М. Ф. Андреева — ваш театр на Фонтанке, — помните, вы прислали билеты на «б. короля Лира» — .

Комитет Дома литераторов с А. Ф. Кони под глазом Н. А. Котляревского.

И через четырехлетие «опыта» Алконост — С. М. Алянский, «вол исполком обезьяний», мытарства и огорчения книжные, бесчисленные, как заседания, прошения Луначарскому, разрыв и мировая с Ионовым[8].

Помните, на Новый год из Перми после долгого пропада появился влюбленный Слон Слонович (Юрий Верховский) — вот кому горе, как узнает! — ведь вы первый в «Вопросах жизни» отозвались на его стихи слоновьи, на «Зеленый сборник», в котором впервые выступил Слон с М. А. Кузминым и Менжинским[9].

Помните Чуковские вечера в Доме искусств, чествование М. А. Кузмина, «музыканта Обезьяньей Великой и Вольной Палаты», и наш последний вечер в Доме литераторов — я читал «Панельную сворь», а вы — стихи про «французский каблук» [10], домой мы шли вместе — Серафима Павловна, Любовь Александровна и мы с вами — по пустынному Литейному зверски светила луна.

Февральские поминки Пушкина — это ваш апофеоз.

И опять весна — Алконост женился — растаял Невский, заволынил Остров, белые ночи —

Первый день Пасхи — 1 мая — первая весть о вашей боли.

И конец.

Глаза ваши пойдут цветам,
кости — камню,
помыслы — ветру,
слово — человеческому сердцу.

Странные бывают люди — странными они родятся на свет, дураками.

Лев Шестов, о нем еще с Петербурга, когда он начал печататься в дягилевском «Мире искусств», пущен был слух как о забулдыге — горькой пьянице. А на самом-то деле — поднеси рюмку, хлопнет — и сейчас же песни петь! — трезвейший человек, но во всех делах — оттого и молва пошла — как выпивши.

Розанов В. В. — тоже от странников, возводя Шестова в «ум беспросветный», что означало верх славословия, до того уверился в пороке его винном, что всякий раз, как ждать в гости Шестова, вином запасался и всякий раз, угощая, не упускал случая попенять, что зашибает.

А настоящие люди — ума юридического, — отдавая Шестову должное как книжнику и философу, в одном корили, что водится, деликатно выражаясь, со всякой сволочью, куда первыми входили мы с Лундбергом, и все приписывалось «запойному часу» и «по пьяному делу».

А дело-то, конечно, не в рюмке — это П. Е. Щеголев не может! — а если и случалось дернуть и песни петь, что ж? и какой же это человек беспесенный? — дело это такое, что словами не скажешь, оно вот где —

А бывают и не только что странные, больше — Андрей Белый —

Андрей Белый вроде как уж и не человек вовсе, тоже и Блок, — не в такой степени, а все-таки.

И Е. В. Аничков это заметил.

«Вошел ко мне Блок, — рассказывает Аничков о своей первой встрече, — и что-то такое...»

А это такое и есть как раз такое, что и отличает нечеловеческого человека.

Блок был вроде как не человек.

И таким странным — дуракам — и как не человекам дан всякий дар: ухо — какое-то другое, не наше.

Блок слышал музыку.

И это не ту музыку — инструментальную, — под которую на музыкальных вечерах любители, люди сурьезные и вовсе не странные, а как собаки мух ловят, — нет, музыку —

Помню, в 1917 году, после убийства Шингарева и Кокошкина, говорили мы с Блоком по телефону, — еще можно было, — и Блок сказал мне, что над всеми событиями, над всем ужасом слышит он — музыку, и писать пробовал.

А это он «Двенадцать» писал [11].

И та же музыка однажды, не сказавшаяся словом, дыхом своим звездным вывела Блока на улицу с красным флагом — это было в 1905 году.

Из всех самый крепкий, — куда ж Андрей Белый — так, мля с седенькими пейсиками, или меня взять — червяк, в три дуги согнутый, и вот первый — не думано! — раньше всех, первый — Блок простился с белым светом.

Не от цинги, не от голода и не от каких трудовых повинностей — ведь Блоку это не то, что мне, полено разрубить и дров принести! — нет, ни от каких неустройств несчастных Блок погиб и не мог не погибнуть.

В каком вихре взвихрилась его душа! на какую ж высоту! И музыка —

— Я слышу м у з ы к у, — повторял Блок.

И одна из музыкальнейших русских книг — «Переписка» Гоголя — лежала у него на столе.

Гоголь тоже погиб такой же судьбой.

Взвихриться над землей, слышать музыку — и вот будни — один Театральный отдел чего стоит! — передвижения из комнаты в комнату, из дома в дом, реорганизация на новых началах, начальник-на-начаьнике и — ничего! — весь Петербург, вся Россия за эти годы переезжала и реорганизовывалась беспоследственно.

С угасающим сердцем Блок читал свои старые стихи.

«В таком гнете писать невозможно».

И как писать? После той музыки? С вспыхнувшим и угасающим сердцем?

Ведь чтобы сказать что-то, написать, надо со всем железом духа и сердца принять этот «гнет» — Россию, такую Россию, какая она есть сейчас, всю до кости, русскую жизнь, метущуюся из комнаты в комнату, от дверей к дверям, от ворот до ворот, с улицы на улицу, русскую жизнь со всем дубоножием, шкурой, потрохом, ором и матом, а также — с великим железным сердцем и безусловной свободной простотой, русскую жизнь — ее единственную огневую жажду воли.

Гоголь — современнейший писатель Гоголь — к нему обращена душа новой возникающей русской литературы и по слову и по глазу.

Блок читал старые свои стихи.

А читал он изумительно: только он один и передавал свою музыку. И когда на вечерах брались актеры, было неловко слушать.

Ритм — душа музыки, и в этом стих.

Стихи — не для того, чтобы понимать их, и не надо понимать, стихи слушают сердцем, как музыку, а актеру — профессиональным чтецам — не ритм, выражение — все, а выражение ведь это для понимания, чтобы, слушая стих, лишенные «уха» — мух по-собачьи не ловили.

Про себя Блока будут читать — стихи Блока, а с эстрады больше не зазвучат — не услышишь, если, конечно, не вдолбят актеру, что стих есть стих, а не разговоры, а безухий есть глухой.

У Блока не осталось детей, — к великому недоумению и огорчению В. В. Розанова! - но у него осталось больше — и нет ни одного из новых поэтов, на кого б не упал луч его звезды.

А звезда его — трепет сердца слова его, как оно билось, трепет сердца Лермонтова и Некрасова — звезда его незакатна.

И в ночи над простором русской земли, над степью и лесом, я вижу, горит.

7 ноября 1921
Берлин

КОНСТ. ФЕДИН

АЛЕКСАНДР БЛОК

1

Вот так хочется иной раз бежать в комнату, порог которой не переступают люди. Заткнуть все щели и скважины в дверях и окнах, завесить стены коврами, платьем, покрывалами, чтобы никто, никто не слышал, как играешь.

Потому, что на руках моих жесткие выросли ногти, и пальцы отвыкли от грифа, и легкий смычок — чужой мне.

И потому, что стыдно держать инструмент, когда не быстры пальцы и не гибки кисти. И жалок, презренен я, которого руки не пускают передать живущую во мне песню.

Есть многое в сердце моем о Блоке. Но что это многое — не знаю. И если скажу словами, которыми дано мне говорить, кто поверит, что вижу я образ поэта?

Для меня мое видение — содержание. Но руки не пускают передать его. Слова, за ними фразы, главы за ними — и содержание утрачено.

Сгусток всего — мыслей, переживаний, взлетов, падений — вот содержание.

Сгусток всего — это стих.

Как же передать мне свою песню, когда стих не во власти моей? Разве бежать в комнату, порог которой не переступают люди? И там, для себя, для одного себя, сказать, как мне дано?

Потому что слышу уже отовсюду:

— Что же это? Впечатления? Оценка творчества? Характеристика? Быть может, мемуары?

Не знаю, не знаю.

Знаю только, что о Блоке надо не говорить, а петь.

Предрождественские дни девятнадцатого года.

Впервые увидел я его тогда на Литейном.

Чужой в Петербурге, еще пугавшийся его красоты, благоговел я перед Литейным. Пергаментный стоит там дом, и черно за старомодным переплетом его рам, и поблек мрамор старой доски: здесь жил и умер Некрасов.

Волокут в холодной сыри мешки и узлы, окунают в дорожной слякоти подолы серых армейских шинелей, кидаются, прихлобученные непогодью, от стены к стене.

Но со всякой стены вопят плакаты:

«Спасайте революцию!»

И — обалделые, роняя пожитки — бросаются к трамваю, бороздящему железным шлейфом дорогу, виснут на нем, льнут к исковерканным бокам его.

«Спасайте революцию!»

Страшно россиянам. Бегут.

И до пергамента ли стародавних стен, в которых умер Некрасов? До того ли, кто был с нами и ушел, когда слеплены глаза наши и не видим мы, кто с нами?

Потому что так же черно в окнах другого дома и так же бегут мимо него, заметая шинелями следы друг друга.

Там, в этом доме, читал Блок[1].

Оторвалась от уличного страха горстка людей, скучилась в холоде крохотной комнатки.

И — так привыкли мы — все в тех же серых шинелях, что и на улице: в вечном походе мы вот уж какой год.

Куда-то неслись мы, призванные спасать, сами ища спасения, неслись с пожитками, мешками, жалким скарбом и забежали, по пути, послушать Блока.

О крушении гуманизма говорил он, о цивилизации, павшей жертвой культуры.

И казалось, сами слова — крушение, жертва — должны бы были вселить в нас ужас, как набат во время пожара. Казалось, в панике, должны мы были броситься вон из каморки, в слякоть уличного страха, бежать, цепляться за трамваи, волочить по грязи свои мешки.

Но никто не ушел, пока читал он.

Был он высокий, и страх не окутал его, а кружился вихрем вокруг ступней его и под ним.

И хорошо было, что он снял с себя шубу, и что пальцы его ровно перебирали листки рукописи, и что был он,

как всегда, медлителен и прям: ведь стоял он над всеми, кто одержим страстью спастись в эти грозные дни.

С мыслью о нем шел я к себе. Впервые за эти годы шел, а не бежал...

Как ровен был он, как прям был его взор, как целен образ!

Помню, в солнечный мартовский день в гостях у Горького.

Улыбался хозяин добрыми углами лица своего, поливал меня теплом синих глаз. Говорил о тех, чей голос должен я, молодой, слушать. Лепил слова меткие, точные, от которых становились люди на постах своих, словно получив пароль разводящего.

Но когда дошел до Блока — остановился, не подыскал слова. Нахмурился, пошевелил пальцами, точно нащупывая. Выпрямился потом, высокий, большой, поднял голову, провел рукой широко, от лица к ногам.

— Он такой...

И потом, когда уходил я, заговорили опять о Блоке, повторил широкий жест свой, и неотделимыми от жеста казались два слова:

— Он такой...

И, сжимая широкой, бодрящей рукой своей мою руку, говорил:

— Познакомьтесь, непременно познакомьтесь с ним.

Но не выпало мне это счастье. Я только видел Блока. Разве это мало?

И когда видел его, останавливался, смотрел ему вслед: как ровен был он, как прям был его взор, как целен образ.

1921

2

Александр Блок никогда не был отшельником. Он отзывался на жизнь с беспощадностью к себе, к естественной для поэта потребности оставаться наедине с собой. До него в поэзии никто так не принадлежал миру, как он, и никто с такой поэтической верой не сказал: «Слушайте музыку революции!»

В блоковском понимании событий было много отвлеченного и эстетического. Горький чувствовал это и позже не раз говорил о своем отчуждении от Блока. Через де-

сять лет после того, как на Кронверкском Горький великолепным жестом показал, каким он представляет себе Блока, он писал мне из Сорренто:

«Мизантропия и пессимизм Блока — не сродни мне, а ведь этих его качеств — не обойдешь, равно как и его мистику... Поэзия Блока никогда особенно сильно не увлекала меня, и мне кажется, что «Прекрасную Даму» — начало всех начал — он значительно изуродовал, придав ей свойства дегенеративные, свойства немецкой дамы XVIII в., а она, хотя и гораздо старше, однако — вполне здоровая женщина. Вообще у меня с Блоком «контакта» нет. Возможно, что это — *мой* недостаток».

Но в годы петербургского общения Горький видел, что Блок единственный поэт, который мог стоять в ряду с ним. Горький знал, что Блок обретается в тончайшей близости к самому сильному движению века, всего в нескольких шагах от идеологии революции, и в другом письме ко мне выразил это очень ясно:

«Гуманизм в той форме, как он усвоен нами от евангелия и священного писания художников наших о русском народе, о жизни, этот гуманизм — плохая вещь, и А. А. Блок, кажется, единственный, кто чуть-чуть не понял это».

Не художественные, а жизненные черты сближали Блока с Горьким. Основной из них была страстность блоковского отношения к революции. Как великий поэт, Блок был терзаем мыслями о счастье человечества. В прошлом никогда не действуя из побуждений моды, он и после Октября остался чужд политиканству, прямо и строго глядя в лицо жизни. Он знал, что революция борется за счастье человека не в фантазии, а практически, и так же, как Горький, работал в тех формах, какие создавались временем. Он был одним из основателей Большого драматического театра, много сил отдавая его новому классическому репертуару; он посещал нескончаемые заседания в Доме искусств, в Союзе поэтов, в Театральном отделе; он рецензировал рукописи — драмы и стихи. Он был повседневно на людях. Но каждое его выступление становилось событием, точно он появлялся из затвора и снимал с себя обет молчания.

Я услышал его первый раз в конце 1919 года. Вымороженная, мрачная комната на Литейном была заполнена окоченевшими людьми в шубах и солдатских шинелях. Они сидели тесно, словно обогревая друг друга свои-

ми неподвижными телами. Единственный человек, по принятому когда-то обычаю снявший шубу, находился на кафедре и — без перчаток — спокойными пальцами перевертывал листы рукописи. Это был Блок.

Белый свитер с отвернутым наружу воротом придавал ему вид немного чужеземный и, пожалуй, морской. Он читал монотонно, но в однообразии его интонации таились оттенки, околдовывавшие, как причитанья или стихи. Он показался мне очень прямым и то, что он говорил, — прямолинейным. Он говорил о крушении гуманизма, о судьбах цивилизации и культуры. Слова его были набатом во время пожара, но слушателей, казалось, сковывал не ужас его слов, а красота его веры в них.

Его лицо было малоподвижно, иногда почти мертвенно. Шевелились только губы, взгляд не отрывался от бумаги. Странная убедительность жизни заключалась в этой маске.

Я вышел после чтения на улицу, как после концерта, как после Бетховена, и позже, слушая Блока, всегда переживал бетховенское состояние трагедийных смен счастья и отчаяния, ликования молодой крови и обреченной любви и тьмы небытия.

Такое чувство я переживал и тогда, когда слушал грозную речь Блока «О назначении поэта» и особенно — когда Блок читал «Возмездие» в Доме искусств. Поэма была произнесена как признание, из тех, какие высказываются, наверно, только в предчувствии смерти. Я тогда увидел Блока очень большим, громадным. И я понял, что для него искусство было вечной битвой, в которой он каждое мгновение готов был положить свою душу.

Горький не мог не любоваться им как человеком и явлением. Но Горький — художник и философ, — вопреки своему скептицизму тех лет, жил в совершенно ином, нежели Блок, жизнерадостном ключе.

Я только раз наблюдал Блока улыбающимся: на одном из заседаний в Доме искусств он устало привалился к спинке кресла и чертил или писал карандашом в каком-то альбоме, взглядывая изредка на соседа — Чуковского — и смеясь. Смех его был школьнически озорной, мимолетный, он вспыхивал и тотчас потухал, точно являлся из иного мира и, разочаровавшись в том, что встречал, торопился назад, откуда пришел. Это не было веселостью. Это было ленивым отмахиванием от скуки.

Февраль принес волнующее переживание, оставившее по себе память. В годовщину смерти Пушкина Александр Блок произнес на собрании в Доме литераторов речь «О назначении поэта».

Речь содержала утверждение трагической роли поэта и Пушкиным лишь обосновывала главные мысли. Поэт — сын гармонии, гармония же — порядок мировой жизни, — это начальное положение придало речи общественную остроту, исключительную даже для Блока. По виду ярко логичная, упорядоченная, как все во внешней форме у Блока, речь не только не укрощала хаоса, она раскрыла все смятение души, все отчаяние поэта. Она завершалась безотрадным выводом, что конечные цели искусства «нам не известны и не могут быть известны». И хотя в ней повторялись такие слова, как «веселые истины», «веселое имя Пушкин», «забава», «здравый смысл», она создала впечатление обреченности искусства и с ним — самого Блока.

В этом смятении, в этом отчаянии Блок был, сказал бы я, прекрасен: такой же малоподвижный, как всегда, прямой, с лицом-маской, чуть окрасившимся от прилива крови, такой же тихий. Но тишина его слов прозвучала криком. И еще: тоска мучительной зависти слышалась в том, как он произносил имя Пушкина — не мелкой зависти обойденного, конечно, ибо даже рядом с величием Пушкина Блок не был мал, а той невольной зависти, какую боль должна испытывать к здоровью.

Блоку недоставало веселости, как воздуха, легкости, как воды, и он говорил об этом с тоскою:

«Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта — не легкая и не веселая; она — трагическая...»

Когда в душной передней толпились около вешалок, тесня со всех сторон Блока, к нему протолкался старый публицист, из тех, что составляли внутренний лик Дома литераторов. С очевидным удовлетворением, но с болезненной миной он посочувствовал Блоку:

— Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Александрович!

— Никакого, — ровно и строго отозвался Блок. — Я сейчас думаю так же, как думал, когда писал «Двенадцать».

Он сказал это так, что искусителю не пришло в голову его оспаривать. Возможен ли был с ним спор вообще,

даже если бы спорщиком оказался человек более чуткий, нежели всплывший около вешалок Дома литераторов? Блок был целен: он слушал музыку мира, нераздельную с музыкой революции, и для него это была единая жизнь поэта, трагедия, которая продолжалась, которая подходила к концу. Все, что он писал до исхода своих дней, писалось так же, как «Двенадцать», — с неотступной страстью и с непреходящей печалью сердца.

Раз поздно вечером на каком-то заборе по соседству с газетами мне бросилась в глаза мокрая от клея маленькая афиша. Невзрачный зеленовато-серый клок бумаги, наверно, не остановил бы внимания, если бы не траурная рамочка, его окаймлявшая, и если бы не одно слово, напечатанное покрупнее: «Блок». Я подошел к афише и не помню, сколько раз принимался прочитать ее как следует, от начала до конца, и все никак не мог, возвращаясь к началу и опять где-то застревая. Смысл афиши был уловлен сразу, но мне, вероятно, хотелось считать, что я его не понял.

ДОМ ИСКУССТВ, ДОМ УЧЕНЫХ, ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР,
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»,
ГРЖЕБИНА И «АЛКОНОСТ»

ИЗВЕЩАЮТ, ЧТО 7 АВГУСТА В $10^1/_2$ ЧАСОВ УТРА

скончался

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК

Вынос тела из квартиры (Офицерская, 57, кв. 23)
на Смоленское кладбище состоится в среду
10 августа, в 10 часов утра.

О том, что Блок тяжело болен, говорилось давно и с волнением, но смерть поразила всех. Была в ней не только присущая смерти неожиданность физического исчезновения и было не только то, что опять великим русским поэтом «не прейден» какой-то предел — Блок умер молодым, — но странно ощутилось, что с Блоком отошла прежняя, старая эпоха, та, которая, дожив до революции, сделала шаг в ее владения, как бы показав, куда надо идти, и упала, обессиленная тяжестью своего дальнего пути. Стало очевидно, что уже никто *оттуда* не сделает такого шага, а если повторит его, в том не будет подоб-

ного мужества и подобной тоски о правде будущего, какие проявил Александр Блок. Множеством людей понималось, что теперь высшие поэтические ожидания перелагаются на будущее. Но каждый равно чувствовал, что Блок не уносит с собою в могилу трагедию прошлого, но оставляет нам ее в живое поучение, как наследие истории, и это означает, что он бессмертен.

И вот последний земной день Блока — очень синий, ослепительный, до предела тихий, словно замерший от удивления, что в мире возможна такая тишина. Гроб не на руках, а на плечах людей, которые несут без устали и не хотят сменяться, невзирая на усталь. И впереди — больше всех запоминающийся, в раскиданных волосах, будто все время говорящий, бормочущий с Блоком, Андрей Белый. Народа не так много, но и очень, очень много для того времени, довольно безлюдного. И так — до кладбища, какими-то ущербными линиями Васильевского острова, по которым, вероятно, недавно гулял любивший помногу ходить Блок.

1941

СМЕРТЬ ЕГО НА НЕКОТОРЫЙ МИГ ВЫЗВАЛА ОКАМЕНЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ — СТАРОЙ И МОЛОДОЙ, — ПОКА ПРОИСХОДИЛО ОСОЗНАВАНИЕ ПОТЕРИ. БЕЗЗВУЧИЕ СТОЯЛО В ЗАЛАХ И КОРИДОРАХ ДОМА ИСКУССТВ. ЗАТЕМ СРАЗУ ОЧЕНЬ МНОГО СТАЛИ ГОВОРИТЬ, ПИСАТЬ, ВЫПУСКАТЬ КНИГ, ПЕЧАТАТЬ СТАТЕЙ, И ПОВСЮДУ, СОВЕРШЕННО БЕЗ РАСХОЖДЕНИЙ, В МОМЕНТ ГЛУБОЧАЙШЕГО РЕВОЛЮЦИОННОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ БЫЛО ОСОЗНАНО ТО, ЧТО В ДВУХ СЛОВАХ ВЫРАЗИЛ БЕЛЫЙ: «...В СОЗВЕЗДИИ (ПУШКИН, НЕКРАСОВ, ФЕТ, БАРАТЫНСКИЙ, ТЮТЧЕВ, ЖУКОВСКИЙ, ДЕРЖАВИН И ЛЕРМОНТОВ) ВСПЫХНУЛО: АЛЕКСАНДР БЛОК».

Конст. Федин

КОММЕНТАРИИ

ПРИМЕЧАНИЯ

ИСПЕПЕЛЯЮЩИЕ ГОДЫ

(продолжение)

В. А. ЗОРГЕНФРЕЙ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК

Печатается по журналу «Записки мечтателей», 1922, № 6.

Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882—1938) — поэт и переводчик, по образованию и основной специальности инженер-технолог. Родился в Аккермане в семье военного врача немецкого происхождения (мать — армянка), в 1900 г. окончил Псковскую гимназию, учился на математическом факультете Петербургского университета, откуда перешел в Технологический институт, который окончил в 1908 г. Накануне и в годы мировой войны служил в учебном отделе министерства торговли а промышленности. В печати выступил (с рецензией) в 1902 г., в дальнейшем изредка печатал стихи (в «Вопросах жизни», «Золотом руне», «Перевале», «Русской мысли»); до 1907 г. подписывался: В. Зор; в 1905—1907 гг. сотрудничал в сатирической прессе под псевдонимами ZZ и Гильом ZZ. Единственный сборник его стихов — «Страстная суббота» (П., 1922) посвящен «благословенной памяти Александра Александровича Блока». Кроме довольно бесцветной лирики, писал удачные сатирические стихи и эпиграммы (шутка-пародия на злободневную тему «Пробуждение Потока» — в альманахе «Набат». М., 1905; «Над Невой» и «Еще скрежещет старый мир...» — в сб. «Страстная суббота», эпиграммы, за подписью: Moriturus в «Красной нови», 1925, № 10). В послереволюционные годы занимался главным образом переводами (в частности, Гете, Гейне, Грильпарцера, позже — Т. Манна, Цвейга, Шиллера).

С Блоком В. А. Зоргенфрей познакомился весной 1906 г. В дальнейшем их связывали тесные дружеские отношения. Зоргенфрей относился к Блоку благоговейно; еще в 1908 г. пред-

рекал, что тот станет «национальным писателем» (см.: *IX,* 106). Блок, со своей стороны, в 1916 г. назвал Зоргенфрея в числе своих четырех «действительных друзей» (*IX,* 309). Добрые отношения их не нарушились и после Октября, несмотря на то что В. А. Зоргенфрей пролетарскую революцию встретил несочувственно. Неодобрение тогдашней общественно-политической позиции Блока и поэмы «Двенадцать» достаточно отчетливо сквозит в воспоминаниях Зоргенфрея, в целом содержательных и правдивых. На смерть Блока В. А. Зоргенфрей откликнулся красноречивой некрологической статьей в пятой книжке журнала «Записки мечтателей» (с. 23—27).

1. См. примеч. 2-е на с. 513 тома I наст. изд.

2. См.: В. Розанов. Уединенное. СПб., 1912, с. 116.

3. *Йёста Берлинг* — герой романа шведской писательницы Сельмы Лагерлёф «Сага о Йёсте Бьёрлинге» (русский перевод печатался в «Русской мысли» в 1904 г.), сельский пастор «аполлоновской» наружности. Цитата — из Блока («Ночная фиалка»; *II,* 31).

4. Имеется в виду портрет поэта и философа К. Эрберга (К. А. Сюннерберга) работы М. Добужинского (1904—1905 гг.), который так и назван: «Человек в очках».

5. См. воспоминания С. И. Бернштейна (с. 357 наст. тома).

6. Эти стихи в свое время в печати не появились и были опубликованы лишь недавно («Русская литература», 1979, № 4, С 129):

Вдохновенно преклонив колени,
Кто предстал в тиши, у алтаря?
По чьему лицу живые тени
Разбросала смутная заря?

Я узнал, стыдливый друг молчанья
Я узнал чарующий твой взгляд!
Эти очи, полные сиянья,
О любви безмолвно говорят...

О любви, родившейся от света,
О любви, пьянящей, как цветы,
О безумстве юного поэта,
Паладина призрачной мечты.

7. Ср. в воспоминаниях Вл. Пяста (том I наст. изд., с. 377).

8. Имеется в виду первый вечер «Клуба поэтов», состоявшийся 16 сентября 1920 г. Текст сочиненного тогда буриме сохранился в бумагах М. М. Шкапской:

В магазине готового платья (*В. Зоргенфрей*)
Конвульсивно зажав кошелек (*М. Шкапская*)
Для жены должен был выбирать я (*Н. Оцуп*)
Голубое матто-мотылек (*А. Блок*)
А мотор дребезжит у подъезда (*В. Рождественский*)
Укоризненно мрачен шофер (*Л. Берман*)
Нет, придется отправиться в Дрезден (*Е. Полонская*)
И купить ей текинский ковер (*С. Нельдихен*)

9. Об участии юного Блока в любительских спектаклях см. в воспоминаниях А. И. Менделеевой, М. А. Рыбниковой и Л. Д. Блок (том I наст. изд.).

10. Слова Пушкина (притча «Сапожник»).

И. Рождение и смерть сына Л. Д. Блок относятся к февралю 1909 г.

12. Премьера спектакля «Пеллеас и Мелизанда» в театре В. Ф. Коммиссаржевской состоялась гораздо раньше — 10 октября 1907 г.

13. Стихотворение «Александру Блоку», написанное в октябре 1913 г. (В. Зоргенфрей. Страстная суббота. Пг., 1922, с. 31).

14. В письме от 4 июня 1914 г. В. А. Зоргенфрей, сообщая Блоку, что лечится в санатории от сильного нервного расстройства, писал: «Мир мой далеко от меня, но Вы мне снитесь постоянно, и только Ваши стихи помнятся мне и говорят о жизни» (*ЦГАЛИ*). На письме — помета Блока: «Ответил почти через месяц — и вяло».

15. Блок говорит о своем увлечении Л. А. Дельмас.

16. Имеются в виду романы Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера» и «Годы странствий Вильгельма Мейстера». В цитату из письма Блока внесены исправления по автографу (см.: *VIII,* 438).

17. Стих. «Голос из хора» (*III*, 63).

18. Может быть, имеются в виду стихи «Был как все другие. Мыслил здраво...», которые вошли в сб. В. Зоргенфрея «Страстная суббота», с. 45.

19. О своеобразной обстановке Народного дома Блок в 1918 г. говорил в статье «О репертуаре коммунальных и государственных театров» (*VI,* 276—279).

20. См.: *III,* 519—520. В июне 1916 г. Блок, по просьбе В. А. Зоргенфрея, посвятил ему «Шаги Командора» (см.: *IX,* 307).

21. Блока могли зачислить в дивизион тяжелой артиллерии при содействии М. Т. Блок (второй жены А. Л. Блока), брат которой, генерал С. Т. Беляев, командовал дивизионом.

22. Блок вернулся в Петроград 19 марта 1917 г., получив

отпуск из дружины. У В. А. Зоргенфрея Блок был 19 апреля (*IX,* 318).

23. См. краткие воспоминания В. Леха и А. Н. Толстого в наст. томе.

24. Блок был в Москве 13—17 апреля 1917 г.

25. Имеется в виду заметка М. Пришвина «Большевик из «Балаганчика» (Ответ Александру Блоку)», напечатанная в право-эсеровской газете «Воля страны», 1918, 16 февраля. Блок в тот же день послал М. Пришвину письмо (см.: *IX,* 388), которое остается не выявленным.

26. Это могло быть не раньше февраля, поскольку закончена поэма была лишь 28 января (В. А. Зоргенфрей был у Блока 16 и 21 февраля, — см.: *IX,* 388—389).

27. Преувеличение: Блок был вполне равнодушен к политической теории и практике партии левых эсеров и не был связан с их лидерами даже личным знакомством. Но в 1918 г. ему пришлось воспользоваться левоэсеровскими изданиями как единственно приемлемой и доступной трибуной (до марта 1918 г. левые эсеры сотрудничали с Советской властью).

28. Была опубликована в сб. «Памяти Александра Блока». Пг., 1922.

29. Это замечание резко расходится с тем, что мы знаем об отношении Блока (глубоко отрицательном) к церковной обрядности и православному духовенству.

30. «Любуша» (1844); см: *IX,* 433.

31. О работе Блока в Союзе поэтов и об обстоятельствах идейно-литературного конфликта, возникшего между Блоком в группой П. Гумилева, см. ниже — в воспоминаниях Вс. Рождественского и Н. Павлович.

32. В Большом драматическом театре (в помещении б. Малого театра), 25 апреля 1921 г.

33. См. дневник, 22 октября 1920 г. (*VII,* 371).

34. Ср. в воспоминаниях В. Гиппиуса (с. 82—83 наст. тома).

35. Ср. в воспоминаниях Н. Павлович (с. 396 наст. тома). При всем том Блок интересовался пролетарскими поэтами и выделял из них наиболее талантливых.

36. Имеется в виду спектакль Театра народной комедии.

37. Имеется в виду А. В. Луначарский.

38. Имеется в виду Н. Гумилев.

39. В. Розанов изумлялся: «После оскорбительной статьи о н е м , — он издали поклонился, потом подошел и протянул руку. Что это такое — совершенно для меня непостижимо» (В. Р о з а н о в. Опавшие листья. СПб., 1913, с. 276).

40. Имеется в виду Вл. Пяст.

41. Речь идет о письме к А. В. Луначарскому от 6 сентября 1918 г. (см.: *IX,* 424—426).

42. Переводчицы С. А. Свиридовой.

43. Слова Блока (из стих. «Ветр налетит, завоет снег...»; *III,* 199).

В. И. СТРАЖЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

Печатается по изданию: *Блоковский сборник, I.*

Стражев Виктор Иванович (1879—1950) — поэт, прозаик, критик; после Октябрьской революции — писатель для детей, библиограф, педагог. Автор книг: «Opuscula» (1904), «О печали светлой» (1907), «Путь голубиный» (1908), «О Метерлинке» (1908), «Стихи» (1910), «Рассказы» (1911). Первую из них Блок подверг строгому разбору и осудил за подражательность, безликость и дешевые декадентские красивости (*V,* 563—564), а о второй отозвался скорее сочувственно: «Маленькая книжка заставляет совсем забыть первые и очень неудачные опыты поэта — «Opuscula»... вся книжка свежа и проста» (*V,* 157).

Воспоминания о Блоке В. И. Стражев написал, очевидно, в 1947 г.

1. Похвала, нужно думать, была неискренней: Бунин относился к поэзии Блока резко отрицательно и отзывался о ней обычно в насмешливом тоне.

2. Это было в начале декабря 1906 г., когда Блок приезжал в Москву для участия в заседании жюри «Золотого руна».

3. То есть Блока и Вяч. Иванова (по названиям их стихотворных сборников: «Нечаянная Радость» и «Cor ardens», что в переводе с латинского означает: «Пылающее сердце» (впрочем, нужно заметить, что сборник «Cor ardens» вышел в свет значительно позже — в 1911 г.).

4. В позднейших изданиях — «Милый брат! Завечерело...», «Твое лицо бледней, чем было...», «Шлейф, забрызганный звездами...».

5. «Красивый уют» — из стих. Блока «Земное сердце стынет вновь...» (*III,* 95); «суматоха сердца» — из Записных книжек (*XI,* 123).

БОРИС САДОВСКОЙ

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

Печатается по журналу «Звезда», 1968, № 3.

Садовской Борис Александрович (1881—1952) — поэт и прозаик, критик и литературовед. Родился в г. Ардатове Нижего-

родской губернии, детство провел в родительской усадьбе; учился в Нижегородском дворянском институте и в Нижегородской гимназии, с 1903 по 1910 г. с перерывами — на историко-филологическом и юридическом факультетах Московского университета (курса не кончил). В печати выступил в 1901 г. в нижегородской газете «Волгарь». Активно сотрудничал в символистских изданиях («Весы», «Золотое руно») и в общей журнально-газетной прессе. В 1919—1922 гг. читал курс истории русской литературы в Нижегородском отделении Московского архивного института. С 1894 по 1915 г. вел дневник, подготовил к изданию «Записки», охватывающие период с 1881 по 1916 г., и ряд отдельных воспоминаний (рукописи в *ЦГАЛИ*). Автор стихотворных сборников: «Позднее утро» (1909), «Пятьдесят лебедей» (1913), «Косые лучи» (1914), «Самовар» (1914), «Полдень» (1915), «Обитель смерти» (1917), «Морозные узоры» (1922); книг прозы; «Узор чугунный» (1911), «Адмиралтейская игла» (1915), «Лебединые клики» (1915), «Приключения Карла Вебера» (1928); критических и историко-литературных работ: «Русская Камена» (1910), «Озимь» (1915), «Ледоход» (1916).

Блок относился к В. А. Садовскому со вниманием, ценил его художественный талант (сказавшийся более в прозе, нежели в стихах) и горячий критический темперамент, отзывался о нем как о человеке «значительном, четком, странном и несчастном» (*VII,* 178). Из шестнадцати писем Блока к Садовскому одно, по поводу его книги «Русская Камена», опубликовано (*VIII,* 321).

1. Сб. «Нечаянная Радость» вышел в свет в декабре 1906 г,

2. Возглавлял изд-во «Мусагет» Э. К. Метнер; А. Белый играл в изд-ве роль вдохновителя и идеолога.

3. Блок в этот раз был в Москве с 31 октября по 4 ноября 1910 г.

4. Б. Садовскому изменила память: в этот день (9 июня) на открытии театра в Териоках были показаны два пролога, пантомима, интермедия Сервантеса и концертные номера. Комедия Гольдони «Трактирщица» шла 10 июля; Блок на этом спектакле не присутствовал.

5. Б. М. Кустодиев лепил бюст Блока в феврале—мае 1914 г.; бюст не сохранился.

6. Не верно: с осени 1913 г. и весь 1914 г. Блок переживал период творческого подъема.

7. Б. Садовской, вероятно, имеет в виду статейку «Критика с погоста» («Вершины», 1915, № 19, с. 19—20, — подпись: Иван Чернохлебов), содержащую очень грубый отзыв на его критический сборник «Озимь». Там же, на с. 20, помещена заметка

«Находка», за подписью: Старый читатель (очевидно, Н. О. Лернер), в которой Б. Садовского обличали за мнимые «открытия» и «стилизации», взятые прямо из «Русской старины». См. также крайне резкие «Заметки читателя» (Н. О. Лернера), в которых содержится уничижительная характеристика творчества Б. Садовского, высмеиваются его «стародворянские» претензии и замашки. В частности, здесь сказано: «Мы помним его ругательный памфлет против Тургенева. Грязи кругом себя нарыл г. Садовской целые траншеи, испачкался по уши, а в великого писателя ни комочком не попал. Сердит, да не силен!» («Журнал журналов», 1915, № 2, с. 6).

Е. Ю. КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

Печатается по журналу «Современные записки» (Париж), 1936, № 62 (подписано: Мон<ахиня> Мария). Вторая публикация — «Ученые записи Тартуского гос. университета». Труды по русской и славянской филологии, XI. Литературоведение, вып. 209. Тарту, 1968.

Кузьмина-Караваева (урожденная Пиленко, по второму браку Скобцова) Елизавета Юрьевна (1891—1945) — человек необычайной, легендарной судьбы. Родилась и выросла на юге, у Черного моря. Молодой девушкой очутившись в Петербурге, вышла замуж за Д. В. Кузьмина-Караваева — юриста и историка, социал-демократа (впоследствии эмигранта и католического священника), стихи не писавшего, но состоявшего одним из «синдиков» организованного Н. Гумилевым «Цеха поэтов». Через мужа Елизавета Юрьевна, сочинявшая стихи смолоду, вошла в петербургскую литературную среду. В 1912 г. «Цех поэтов» издал ее первую стихотворную книжку «Скифские черепки». Вслед за тем появились книга лирической прозы — «Юрали» (1915) и второй сборник стихов — «Руфь» (1916). Расставшись с мужем, Кузьмина-Караваева снова оказалась на юге, накануне 1917 г. вступила в партию левых эсеров и при февральском режиме была назначена городским головой Ставрополя.

Превратности того времени привели Кузьмину-Караваеву в эмиграцию — сперва в Константинополь, потом в Югославию, наконец — в Париж. Здесь она продолжала литературную работу, издала (под фамилией: Скобцова) несколько книг: «Жатва духа. Жития святых» (1928), «Достоевский и современность» (1929), «Миросозерцание Вл. Соловьева», «Хомяков». Окончив богослов-

ский факультет эмигрантской духовной академии, она приняла постриг, стала матерью Марией, но осталась «в миру» и занялась широкой благотворительной деятельностью. Сперва она учредила странноприимный дом для больных и неимущих эмигрантов, а в 1935 г., проявив большую энергию в сборе средств, встала во главе основанного ею общества «Православное дело», которое оказывало разнообразную помощь многим сотням обездоленных русских людей. Мать Мария работала не покладая рук: «она умела... плотничать, малярничать, шить, писать иконы, мыть полы, стучать на машинке, набивать тюфяки, доить коров, полоть огород. Она любила физический труд, ей были неприятны белоручки, она ненавидела комфорт — материальный и духовный, могла по суткам не есть, не спать, отрицала усталость, любила опасность. Она вела жизнь суровую, деятельную» (Евг. Богат. Такая живая, такая красивая... — «Комсомольская правда», 1965, 5 сентября). В эмигрантской среде эта необычная монахиня была «окружена любовью и редким авторитетом» (Дм. Мейснер. Миражи и действительность. Записки эмигранта. М., 1966, с. 199). Она продолжала писать стихи — главным образом на религиозно-нравственные темы; новый ее сборник вышел в Париже в 1937 г.

Когда в ходе мировой войны фашисты вторглись во Францию, мать Мария решила идти пешком на Восток: «Лучше погибнуть по пути в Россию, чем остаться в покоренном Париже». Но обстоятельства сложились так, что она застряла в оккупированном немцами Париже, и ее странноприимный дом на улице Лурмель стал одним из центров Сопротивления. Отсюда передавали посылки, деньги и подложные документы заключенным в лагерях и тюрьмах, помогали в организации побегов, распространяли новости, пойманные по советскому радио; здесь скрывали антифашистов и бежавших из плена советских солдат. В феврале 1943 г. эта подпольная антифашистская деятельность была раскрыта. Гестапо арестовало мать Марию, ее восемнадцатилетнего сына Юрия Скобцова и несколько ближайших ее сотрудников. Все они (кроме одного) вскоре погибли в концлагерях. Мать Мария после двухмесячного одиночного заключения была привезена в форт Роменвиль (о ее пребывании там см. в воспоминаниях А. Тверитиновой «Форт Роменвиль». — «Звезда», 1960, № 4, с. 130, 132), а потом переправлена в Германию, в лагерь Равенсбрюк. Здесь она подвергалась изощренным издевательствам и жестоким побоям, но вела себя с исключительным мужеством и благородством, духовно поддерживала оказавшихся в лагере советских женщин, учила русскому языку француженок, радовалась победам советского оружия. Есть несколько версий рассказа

о гибели матери Марии. По одной из них, очевидно, наиболее достоверной, 31 марта 1945 г. она обменялась с какой-то советской девушкой одеждой и номером и пошла вместо нее в газовую камеру: «Я уже стара, а у тебя вся жизнь...»

Так бывшая петербургская поэтесса стала легендарной героиней Сопротивления. В 1947 г. в Париже был издан на русском языке сборник «Мать Мария», в который вошли ее стихи, поэмы и мистерии, а также воспоминания очевидцев об ее аресте и заключении в Равенсбрюке.

На Блока сильная и цельная личность Е. Ю. Кузьминой-Караваевой произвела в свое время, по-видимому, глубокое впечатление. «Прошу Вас, думайте обо мне, как я буду вспоминать о Вас», — писал он ей 1 декабря 1913 г. (*VIII,* 430). Но стихи Кузьминой-Караваевой оставляли его равнодушным; в том же письме он признавался: «Скифские черепки» мне мало нравятся — это самое точное выражение; я знаю, что все меняются, а Вы — молоды очень. Но все-таки, не знаю почему, мне кажется, что Ваши стихи — не для печати». Впрочем, вскоре же, в январе 1914 г., Блок принял непосредственное участие в составлении второго стихотворного сборника Кузьминой-Караваевой (см.: *IX,* 202, 205). Частые встречи в 1914—1916 гг., о которых говорит Кузьмина-Караваева в своих воспоминаниях, кажется, все же несколько тяготили Блока: Елизавета Юрьевна старалась обратить поэта в свою христианскую веру, но он сопротивлялся. «Звонила Е. Ю. Кузьмина-Караваева, — записывает Блок 28 октября 1914 г. — Хотела увидеться, сказала, что ходит в облаке, а я сказал ей, что мне весело» (*IX,* 245; см. также записи от 19 марта 1915 г. и 14 марта 1916 г.). В сущности, об этом же говорит и сама Кузьмина-Караваева в стихах, обращенных к Блоку («Руфь», с. 60):

Не жду ничего я сегодня:
Я только проверить иду,
Как вестница слова господня,
Свершаемых дней череду.

Я знаю — живущий к закату
Не слышит священную весть,
И рано мне тихому брату
Призывное слово прочесть.

Письма Блока к Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, кроме одного, цитированного выше, по-видимому, не сохранились. Письма (15) Е. Ю. Кузьминой-Караваевой хранятся в *ЦГАЛИ*. Отрывки из них опубликованы Е. Богатом в статье «История одной любви». — «Литературная газета», 1977, 14 сентября.

1. Речь идет о сб. «Снежная маска» (1907) с фронтисписом работы Л. Бакста.

2. Встреча с Блоком имела место, очевидно, в конце января или начале февраля 1908 г. В Ревеле, откуда Блок послал свое письмо, он был 15—22 февраля 1908 г. Стих. «Когда Вы стоите на моем пути...» датируется 6 февраля 1908 г.

3. «Бродячая собака» — литературно-артистический клуб-кабаре в Петербурге.

4. Блок выступил с докладом «Рыцарь-монах» (*V,* 446).

5. Е. Ю. Кузьмина-Караваева ошиблась: о предстоявшем обеде Блок говорит не в дневнике, а в письме к матери от 13 декабря 1910 г.: «В среду предстоит самое трудное, а именно — у нас будут обедать Аничковы, Л. Я. Гуревич и Кузьмины-Караваевы. Я сам это затеял, а теперь с ужасом думаю об этом» (*Письма к родным, II,* с. 105). Подробности об обеде — в следующем письме от 16 декабря: «Вчера же обедали Кузьмины-Караваевы — они оба очень хорошие. Аничковы не поняли и пришли вечером. Любовь Яковлевна телеграфировала, что не придет, чему я втайне обрадовался. Хотя разговоры были очень интересные, но я невыносимо устал, как всегда, когда гости приходят неслучайно» (там же, с. 106).

6. В Нормандии и Бретани (а также в Бельгии и Голландии) Блок был летом 1911 г.; таким образом, здесь, очевидно, совместились воспоминания о двух встречах с Блоком — в декабре 1910 г. и осенью 1911 г.

7. См.: Вл. Пяст. Встречи. М., 1929, с. 256—257. Эпизод датируется 10 декабря 1911 г. Пяст в числе присутствовавших называет также О. Мандельштама и Вас. Гиппиуса.

8. В 1913 г. Вяч. Иванов переселился в Москву.

9. Вяч. Иванов жил в Москве не на Смоленском, а на Зубовском бульваре.

10. Это письмо датировано 1 декабря 1913 г. (*VIII,* 430), — следовательно, было получено на день или два позже.

11. Этот пейзаж запечатлен Е. Ю. Кузьминой-Караваевой в ее стихах, обращенных к Блоку («Руфь», с. 60) ;

Над Западом черные краны
И дока чуть видная пасть;
Покрыла незримые страны
Крестом вознесенная снасть.

На улицах бегают дети,
И город сегодня шумлив,
И близок в алеющем свете
Балтийского моря залив.

12. Неточная цитата из стих. Игоря-Северянина «Мой ответ» (1914).

13. Из стих. «Голос из хора» (*III,* 63).

14. По этому поводу редактор «Аполлона» С. К. Маковский и Блок в январе 1915 г. обменялись письмами. Журнал отказался от «Голоса из хора» на том основании, что стих. «по содержанию беспросветно мрачному» не отвечает настроениям, объединяющим сотрудников «Аполлона»: «Мы верим. Мы ждем. И грядущие дни озарены для нас всенародной и праведной победой» (письмо С. Маковского от 7 января 1915 г. — «Литературный современник», 1936, № 9, с. 192). Блок ответил, что стихи написаны задолго до войны и «относятся к далекому будущему», — «что же касается ближайшего будущего, то я верю и жду, как и «Аполлон»; верю в величие России, люблю ее и жду победы» (письмо от 12 января 1915 г.; сохранилось среди бумаг М. Л. Лозинского).

15. Среди бумаг Блока (*ИРЛИ*) имеется портрет Р. Штейнера, присланный А. Белым. Остается предположить, что у Блока был не один портрет Штейнера.

16. Эти встречи отмечены в записной книжке Блока за 1914—1915 гг. (см.: *IX,* по указателю). В воспоминаниях Е. Ю. Кузьминой-Караваевой хронология несколько смещена,

17. Эта встреча была уже в марте 1916 г. (см.: *IX,* 290—291).

ВАСИЛИЙ ГИППИУС

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

Впервые — «Ленинград», 1941, № 3. Печатается по кн.: В. В. Гиппиус. От Пушкина до Блока. М.—Л., 1966.

Гиппиус Василий Васильевич (1890—1942) — поэт, переводчик, литературовед. После окончания в 1908 г. Петербургской 6-й гимназии поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где окончил два отделения — романо-германское (в 1912 г.) и славяно-русское (в 1913 г.). В годы первой мировой войны работал санитаром Красного Креста. В 1918—1921 гг., живя на Украине, занимался педагогической работой; в 1922—1930 гг. профессор Пермского университета, в 1930—1932 гг. профессор Иркутского университета, с 1932 г. работал в Ленинграде — в Институте русской литературы Академии наук СССР и в Ленинградском университете. Автор историко-литературных трудов о Гоголе, Салтыкове-Щедрине, Пушкине, Тютчеве, Некрасове. В молодости В. В. Гиппиус, по примеру старших братьев — Владимира и Александра, писал стихи, выступал как

переводчик и критик (под собственным именем и под псевдонимом: Василий Галахов). Первое выступление в печати (с переводом из Горация) — в журнале «Гермес» (1908). В 1911 г. сблизился с акмеистическим «Цехом поэтов», напечатал в его журнале «Гиперборей» (1913, № 4) поэму «Волшебница», о которой Блок отозвался отрицательно (см.: *VII,* 493).

1. А. В. Гиппиус, товарищ Блока по юридическому факультету Петербургского университета, в юности был одним из его ближайших друзей; добрые отношения с ним Блок сохранял и впоследствии. Письма Блока к А. В. Гиппиусу частично опубликованы (*VIII*).

2. Ошибка памяти: эта встреча могла произойти лишь в конце 1909 г., ибо стих. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...», о котором идет речь дальше, было напечатано в январском номере «Нового журнала для всех» за 1910 г.

3. В «Новом журнале для всех», 1908, № 2 (декабрь), было напечатано стих. Вас. Гиппиуса «Листья безумные вертятся, падая...».

4. Блок имел в виду именно А. Белого, а не Г. Чулкова, как сказано в примеч. в кн. В. В. Гиппиуса (с. 333). Между прочим, неловкая встреча Блока и Г. И. Чулкова с А. Белым (с которым они были в ссоре) произошла на вечере памяти В. Ф. Коммиссаржевской в зале городской думы (7 марта 1910 г.), о котором В. В. Гиппиус упоминает выше.

5. Сведениями об этом представлении не располагаю.

6. «Вера Федоровна Коммиссаржевская» и «Памяти В. Ф. Коммиссаржевской» (*V,* 415—420).

7. Впечатления Блока об этом вечере — в дневнике (*VII,* 75—76).

8. Лекция о Пушкине (из цикла «Пессимизм и религиозное сознание в русской литературе»). Отзыв Блока о лекции («прекрасная лекция») — *VII,* 95. Лекция легла в основу книжки Вл. Гиппиуса «Пушкин и христианство» (П., 1915), о которой Блок тоже отозвался сочувственно (*VIII,* 448).

9. С. Городецкий высказался о сб. «Ночные часы» дважды — в газете «Речь», 1911, 21 ноября, и во «Всеобщем ежемесячнике», 1911, ноябрь. Вас. Гиппиус имеет в виду первую из этих рецензий.

10. «Новая жизнь», 1911, № 12.

11. Речь идет о Н. Клюеве.

12. См.: *VII,* 232.

13. Ср. в предисловии Блока к сб. «Земля в снегу» (1908) — *II,* 373.

14. Этот вечер состоялся 2 и 4 декабря 1913 г. Блок был, кажется, на первом представлении — 2 декабря.

15. По инициативе Блока перевод Вас. Гиппиуса был напечатан в журнале «Любовь к трем апельсинам», 1916, № 1.

16. Отзыв Блока о спектакле «Гибель «Надежды» и, в частности, об игре Б. М. Сушкевича см.: *VII,* 246 и 249; *VIII,* 419.

17. В «Бродячей собаке» Блок не был ни разу.

18. Следы этого замысла сохранились в бумагах Блока. *Лебядкин* — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы».

19. Кроме отрывка из поэмы «Возмездие», в III альманахе «Сирин» (1914) были напечатаны следующие стих. Блока: «Художник», «Как свершилось, как случилось...», «О, нет! не расколдуешь сердца ты...», «Седое утро», «На бале» («Я вижу блеск...») и «Как растет тревога к ночи...»

ПАВЕЛ СУХОТИН

ПАМЯТИ БЛОКА

Печатается по журналу «Красная нива», 1924, № 32.

Сухотин Павел Сергеевич (1884—1935) — поэт, беллетрист, драматург. Родился в помещичьей семье Тульской губернии, вырос в деревне, склонялся к народничеству, любил Глеба Успенского, но испытал также сильное влияние Аполлона Григорьева, изучал русские народные сказки и древнерусскую литературу. В послереволюционные годы, как сказано в его автобиографии, «был: землеробом, мельником, кооператором, заведующим отделом народного образования в г. Одоеве, корректором, актером, фельетонистом, служащим музея и, наконец, вернулся к своему исконному делу — к литературе» («Писатели». М., 1926, с. 294). В печати выступил в 1906 г. Автор стихотворных сборников «Астры» (1909), «Полынь» (1914), «В черные дни» (1922) и «Глухая крапива» (1925), сказок для детей, ряда повестей, рассказов и пьес.

Блок в ноябре 1909 г. отозвался о первой книжке П. Сухотина коротко и уничижительно (*V,* 655) и в дальнейшем признавался Сухотину, что стихи его ему не нравятся. Семь писем Блока к Сухотину от 1914—1916 гг. опубликованы в *Блоковском сборнике, II,* с. 546—547; два из них вошли в *VIII* (с. 437 и 456). На смерть Блока Сухотин отозвался двумя стихотворениями (в сб. «В черные дни») и драматическими сценами «Поминки поэту» (отдельная книжка — М., 1922).

1. Встреча относится к июлю 1909 г. (Блок на короткий срок приезжал в Москву из Шахматова). Об этой встрече рассказал и Б. Зайцев в своих воспоминаниях о Блоке (Б. Зайцев. Далекое. Париж, 1965).

2. Слова Блока (*III,* 278).

3. Сын Л. Д. Блок (умер 10 февраля 1909 г.).

4. Письмо Блока Сухотину от 1 апреля 1914 г. (*VIII,* 437).

5. Стих Блока (*III,* 270).

6. В феврале 1921 г. (см.: *VII,* 420).

Г. АРЕЛЬСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. БЛОКЕ

Печатается по журналу «Красный студент». 1923, № 7/8.

Г. Арельский и *Грааль Арельский* — литературные псевдонимы Степана Степановича Петрова (1888—?), по профессии астронома, окончившего физико-математический факультет Петербургского университета, автора двух стихотворных сборников «Голубой ажур» (1911) и «Летейский брег» (1913), поэмы «Ветер с моря» (альманах «Стожары», кн. III, 1923), пьесы в стихах «Нимфа Ата» (альманах «Стожары», кн. I, 1923), прозаических книг: «Повести о Марсе» (1925), «Гражданин Вселенной» (1925), «Солнце и время. Популярная астрономия для крестьянской молодежи» (1926), «Враг Птолемея» (1928; изд. 2-е — 1930).

В дневнике Блока от 18 ноября 1911 г. есть интересная страница о Г. Арельском: «...пришел Степан Степанович Петров, назвавший себя на карточке и на сборнике стихов «Грааль Арельский», что утром (когда он передал карточку) показалось мне верхом кощунства и мистического анархизма. Пришел — лицо неприятное, провалы на щеках, маленькая, тяжелая фигурка. Стал задавать вопросы — вяло, махал рукой, что *незачем* спрашивать, что выходит трафарет, интервью... Бывший революционер, хотел возродить «Молодую Россию» 60-х годов, был в партии (с.-р.), сидел в тюрьмах, астроном (при университете), работает в нескольких обсерваториях, стрелялся и травился, ему всего 22 года, но и вид и душа старше гораздо. Не любит мира... Есть гамсуновское. Уезжает, живет один в избушке, хочет жить на Волге, где построит на клочке земли обсерваторию. Зовет меня ночью в обсерваторию Народного дома смотреть звезды. Друг Игоря-Северянина...» (*VII,* 93—94).

1. Сб. «Ночные часы» к тому времени уже вышел в свет (в октябре 1911 г.).

2. «Летейский брег» (1910—1913). Спб., «Цех поэтов», 1913 (книга, по-видимому, вышла раньше). Ссылка в *VIII,* 609, на первый сб. стихов Г. Арельского «Голубой ажур» (1911) — неверна.

3. Слова Лермонтова («Демон»).

АННА АХМАТОВА

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛ. БЛОКЕ

Печатается по журналу «Звезда», 1967, № 12. Текст выступления А. А. Ахматовой 12 октября 1965 г. по ленинградскому телевидению.

Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889—1966) — в литературе выступила в 1912 г. со сборником стихов «Вечер» (с рекомендательным предисловием М. Кузмина). Блок встречался с Ахматовой на литературных собраниях у Вяч. Иванова (см. воспоминания Е. Ю. Кузьминой-Караваевой — с. 66 наст. тома); 7 ноября 1911 г. он записывает в дневнике: «А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше)» (*VII,* 83). Впоследствии Блок назвал Ахматову «настоящим исключением» среди молодых поэтов акмеистического цеха (*VI,* 180). В декабре 1913 г. Блок обратился к Ахматовой с замечательным по тонкости характеристики посланием («Красота страшна», — Вам скажут...»); в марте 1916 г. в письме к Ахматовой Блок высоко оценил ее поэму «У самого моря» (*VIII,* 458—459).

Анна Ахматова числила Блока среди своих поэтических учителей. На ее книге «Четки» (1914), сохранившейся в библиотеке Блока, сделана следующая авторская надпись:

От тебя приходила ко мне тревога
И уменье писать стихи...

В январе 1914 г. было написано известное стих. Ахматовой, обращенное к Блоку, — «Я пришла к поэту в гости...». На смерть Блока Ахматова откликнулась патетическим стихотворным «плачем» («А Смоленская нынче именинница...»):

Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее, —
Александра, лебедя чистого.

Впоследствии Ахматова посвятила Блоку еще несколько стих. Об их личных и литературных взаимоотношениях см.:

В. М. Жирмунский. Анна Ахматова и Александр Блок, — «Русская литература», 1970, № 3; то же в его кн.: «Теория литературы. Поэтика. Стилистика». Л., 1977.

1. Очевидно, это было на том же вечере (см. воспоминания К. Арсеневой — с. 97 наст. тома).

2. Ошибка памяти: А. А. Ахматова посетила квартиру Блока на Офицерской ул. по меньшей мере дважды.

3. См.: *IX,* 250 (13 декабря 1914 г.).

К. АРСЕНЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

Печатается впервые по тексту, предоставленному автором В. Н. Орлову.

Клара Арсенева — литературный псевдоним Клары Соломоновны Арсеньевой-Букштейн (1896—1972) — поэта, драматурга, переводчика, автора сборников «Стихи о жизни» (П., 1916), «Стихи» (Тифлис, 1920), «Весна на окне» (М., 1958), «Сокровенные просторы» (М., 1968).

1. Ошибка: Незнакомку играли в очередь Ильяшенко (Бугаева), Клепинина и Филаретова.

2. Получение этой рукописи отмечено в записной книжке Блока под 23 декабря 1914 г. (*IX,* 251).

3. Очевидно, это произошло уже в 1915 г.; Блок был в Петербурге 10—14 августа 1915 г.

А. МГЕБРОВ

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ В ТЕАТРЕ»

Печатается по кн.: А. А. Мгебров. Жизнь в театре, П. М—Л., 1932, с. 269—271.

Мгебров Александр Авельевич (1884—1966) — в молодости артиллерийский офицер, участник революционных событий 1905—1906 гг., впоследствии драматический артист, игравший в театре В. Ф. Коммиссаржевской и в труппе В. Э. Мейерхольда. Блок часто встречался с А. Мгебровым, начиная с 1912 г., ценил его яркий актерский талант (см., напр.: *VII,* 154—155), помогал ему материально. Довольно суровый отзыв о А. Мгеброве (*«подпоручик»*) — в дневнике Блока 1917 г. (*VII,* 299).

1. Встреча относится к весне 1914 г.

2. Любопытную деталь, характеризующую отношение Блока к искусству клоунады, сообщает К. А. Эрберг (Сюннерберг) в предисловии к письмам Блока к нему: «В Старинном театре, который, как известно, давал пьесы из разных эпох, а может быть, в каком-нибудь другом театре (но не в цирке) шла какая-то антрактная клоунада. Блок с интересом наблюдал грубую перебранку шутов, которые колотили друг друга бычьими пузырями и по-дурацки хохотали при этом. «Вот бы мне так погаерничать, — обратился ко мне Александр Александрович. — Иногда очень хочется!» Потом, помолчав, прибавил: «И безо всяких иносказаний: просто так, колотить пузырем и чтобы меня колотили. И кувыркаться» («Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год». Л., 1979, с. 117).

Е. М. ТАГЕР

БЛОК В 1915 ГОДУ

Печатается по изданию: «Ученые записки Тартуского госуниверситета». Труды по русской и славянской филологии, IV, вып. 104. Тарту, 1961.

Тагер Елена Михайловна (1895—1964) — поэт, прозаик, переводчик. Училась на историко-филологическом факультете Высших женских курсов; в печати выступила в 1915 г. со стихами (под псевдонимом: Анна Регатт); автор очерков, рассказов и повестей: «Зимний берег» (1929), «Сквозь ветер» (1930), «Желанная страна» (1934), «Ревизоры» (1935), «Праздник жизни» (1937), «Повесть об Афанасии Никитине» (1966).

1. Из стих. «К Музе» (*II,* 7).

2. То же.

3. 25 января 1915 г.

4. 18 апреля 1915 г.

5. Блок довольно активно посещал заседания Религиозно-философского общества в 1907—1908 гг., но постепенно интерес его к обществу угас, и в 1910-е гг. он бывал там крайне нерегулярно.

6. Вопрос об исключении В. Розанова из Религиозно-философского общества (за выступления в черносотенной печати, «несовместимые с общественной порядочностью») возник в ноябре 1913 г. В заседании Совета общества 14 ноября 1913 г. Розанову было предложено уйти из общества; он отказался. Общее собрание, созванное 19 января 1914 г., не составило кворума,

Исключение состоялось на общем собрании 26 января (см. «Записки Петроградского Религиозно-философского общества», вып. 4. П., 1914—1916). Блок был на обоих общих собраниях (см.: *IX,* 202 и 204). Отнесение этого эпизода к весне 1915 г. — ошибка памяти Е. М. Тагер.

7. Из стих. Пушкина «Легенда» («Жил на свете рыцарь бедный...»).

8. Из стих. Блока «День проходил, как всегда...» (*III,* 50).

9. Из цикла Блока «Осенняя любовь» (*II,* 264).

10. Из поэмы Блока «Возмездие» (*III*, 302).

ВС. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ИЗ КНИГИ «СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ»

Впервые — Вс. Рождественский. Сергей Есенин (Из книги «Повесть моей жизни»). — «Звезда», 1946, № 1, с. 109—110. Печатается по кн.: Всеволод Рождественский. Страницы жизни. М.—Л., 1962, с. 276—280.

О *В. А. Рождественском* — см. ниже, с. 451. Дополнительно о знакомстве С. Есенина с Блоком и об их взаимоотношениях см.: И. Грузинов. Есенин разговаривает о литературе и искусстве (альманах «Сегодня», I. М., 1926, с. 86); Иван Розанов. Есенин о себе и других. М., 1926, с. 16; М. Мурашов. Сергей Есенин в Петрограде («Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». М.—Л., 1926, с. 50); Ю. Либединский. Современники. М., 1958, с. 119—120; В. С. Чернявский. Встречи с Есениным («Новый мир», 1965, № 10, с. 194—195).

1. Это был известный книжный магазин М. В. Попова (М. А. Ясного) на Невском, 66, куда действительно часто заходил Блок.

2. В бумагах Блока (*ЦГАЛИ*) сохранилась записка С. Есенина, которую он, очевидно, передал Блоку через служанку: «Я поэт, приехал из деревни, прошу меня принять». На записке — помета Блока: «Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет, стихи свежие, голосистые, многословный язык, приходил ко мне 9 марта 1915 года». Известна и другая записка С. Есенина, более пространная, переданная в тот же день, с такой же пометой Блока (с некоторыми разночтениями); ее фотовоспроизведение — в Собрании сочинений С. Есенина, т. V. М., 1962, с. 112.

3. Это была записка к М. П. Мурашову, — см. ее на с. 111 наст. тома.

М. МУРАШОВ

А. БЛОК И С. ЕСЕНИН

Печатается по изданию: «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество». Сборник под редакцией Е. Ф. Никитиной. М., 1926, с. 65—70.

Мурашов Михаил Павлович (1884—1957) — журналист; в 1915 г. работал в редакции газеты «Биржевые ведомости», одновременно служил в морском ведомстве. В это же время готовил к печати литературный сборник «Страда» (1916), в котором участвовали С. Есенин, Н. Клюев, А. Ремизов, П. Карпов и др. (Блок не участвовал), В июне—июле 1916 г. часто встречался с Блоком (см.: *IX,* по указателю).

О. В. ГЗОВСКАЯ

А. А. БЛОК
В МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

Впервые (в сокращенной редакции) — в кн.: «Василий Иванович Качалов. Сборник статей, воспоминаний и писем». М., 1954. Печатается по журналу «Русская литература», 1961, № 3.

Гзовская Ольга Владимировна (1889—1962) — драматическая актриса. Играла в Москве в Малом театре (1906—1910, 1917—1919 гг.) и в Художественном театре (1910—1917 гг.), снималась в кино, выступала на эстраде с мелодекламацией. С 1919 по 1932 г. жила и работала на сцене и в кино за границей (Эстония, Латвия, Чехословакия, Германия). В 1943—1956 гг. играла в Ленинградском академическом театре имени Пушкина.

Блок по достоинству оценил артистическое дарование О. В. Гзовской и хотел видеть в ее исполнении свою Изору (в драме «Роза и Крест»), хотя (поначалу) и не без оговорок. «Гзовская очень хорошо слушает, хочет играть, но она любит Игоря-Северянина и боится делать себя смуглой, чтобы сохранить дрожание собственных ресниц. Кроме того, я в нее никак -е могу влюбиться» (письмо к матери от 31 марта 1916 г. — *VIII,* 460). Из писем Блока к О. В. Гзовской сохранилось лишь одно, приведенное в ее воспоминаниях.

1. Вечер состоялся в начале апреля 1916 г., когда Блок находился в Москве в связи с постановкой драмы «Роза и Крест» в Художественном театре. (В дальнейшем у О. В. Гзовской хронология спутана: создается впечатление, будто Блок приезжал в Москву дважды). В ноябре 1915 г. Блок получил известие о том, что его драма заинтересовала Художественный театр (инициатива исходила в данном случае отчасти от Л. Андреева),

а в феврале 1916 г. В. И. Немирович-Данченко сообщил ему, что театр «хочет работать» над драмой. После встречи с В. И. Немировичем-Данченко в Петрограде (9 или 10 марта) Блока 29 марта приехал в Москву, где пробыл до 6 апреля. За это время он провел восемь бесед с труппой Художественного театра, читая и объясняя свою пьесу, а также дважды выступил с чтением своих стихов (на открытом вечере поэтов в Политехническом музее и (30 марта) в студии Художественного театра). Длительная история неосуществленной постановки драмы «Роза и Крест» в Художественном театре прослежена в *IV,* 587—591.

2. Ошибка памяти: Блок не мог в этот раз читать стих. «Демон», так как оно было написано 9 июня 1916 г. Вообще перечень стих., прочитанных Блоком, внушает сомнения. С другой стороны, известно, что на этом вечере было прочитано «Петроградское небо мутилось дождем...».

3. В 1908 г. К. С. Станиславский заинтересовался было драмой Блока «Песня Судьбы» и собирался поставить ее, но вскоре же охладел к ней. В апреле 1913 г. Блок прочитал К. С. Станиславскому «Розу и Крест» и в результате последовавшего затем шестичасового разговора убедился, что Станиславский драму «не воспринимает», а в апреле 1917 г. писал, что «Роза и Крест» Станиславскому «совершенно непонятна и ненужна; по-моему, он притворяется (хитрит с самим собой), хваля пьесу». Основной материал, характеризующий творческие взаимоотношения Блока и К. С. Станиславского, — в дневниковых записях Блока (*VII,* 187—188, 239—245, 248), его письмах (*VIII,* 260, 263—267, 415, 417—418, 457) и письмах К. С. Станиславского к Блоку (К. С. Станиславский. Собр. соч., т. *VII.* М., 1960, с. 414—415, 569).

4. Имеется в виду стих. Блока «В голубой далекой спаленке...», ставшее популярным произведением тогдашнего эстрадного репертуара (между прочим, в исполнении А. Вертинского).

5. В следующий раз, в связи с постановкой драмы «Роза и Крест», Блок был в Москве 13—17 апреля 1917 г.

6. Неверно: монолог Изоры был в тексте драмы с самого начала — и в рукописи, и в первопечатной публикации (альманах «Сирин», вышедший в свет в августе 1913 г.).

7. В дневнике (*VII,* 240—245).

8. М. В. Добужинский в своих воспоминаниях о Блоке пишет: «...постановка «Розы и Креста» готовилась с необыкновенной медлительностью и трудом; прошло почти два года, и было несчетное число репетиций. Все переждали, и все перезрело. Я сам, вначале увлеченный, застрял в том самом реализме, которого хотел Блок, и все засушил и уже делал через силу.

Этого не мог не видеть Блок и недаром в своем дневнике написал: «Эскизы Добужинского какие-то деревянные» — и был прав... В заключение случилась настоящая катастрофа: на первой генеральной репетиции вся наша работа была забракована Станиславским, в ту пору чрезвычайно нервничавшим и точно потерявшим почву. Были обижены все — и Блок, и Немирович, и я» («Новый журнал» (Нью-Йорк), 1945, № 11, с. 294; «Воспоминания». Нью-Йорк, 1976, с. 388).

П. АНТОКОЛЬСКИЙ

ИЗ ОЧЕРКА «АЛЕКСАНДР БЛОК»

Печатается по кн.: П. Антокольский. Пути поэтов. М., 1965, с. 270—276, — с поправками, внесенными автором.

Антокольский Павел Григорьевич (1896—1978) — советский поэт. Учился на юридическом факультете Московского университета, с 1915 г. работал в качестве актера и режиссера в драматической студии, руководимой Е. Б. Вахтанговым, затем в театре его имени. В печати выступил в 1918 г. (альманах «Сороконожка»), первая книга — «Стихотворения». М., 1922.

1. Это был «Вечер современной поэзии и музыки», состоявшийся в Тенишевском зале 15 апреля 1916 г. В афише стояли: Блок, А. Ахматова, С. Есенин, М. Кузмин, Н. Клюев, О. Мандельштам, Ф. Сологуб и др. В записной книжке Блока под этим числом отмечено: «В концерте сегодня я не буду читать...» (*IX,* 295), но, очевидно, он передумал и все же читал.

2. Из стих. «Когда-то гордый и надменный...» (*III,* 194).

3. Слова Блока («За гробом»; *III,* 123).

4. См. у Блока: «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух...» (*III,* 156).

5. Здесь допущено смещение в хронологии: речь идет о выступлении Блока во второй его приезд в Москву — 7 мая 1921 г.

6. Блок ни разу публично не читал поэму «Двенадцать», утверждая, что «такие стихи» читать не умеет.

7. Это был некий Александр Филиппович Струве (1874—?) — мелкий стихотворец, автор сборников «κυκλος» (1908), «Пластические этюды. Стихотворения для танцев под слово» (1913), «Азбука в стихах» (1918), «Напевы и ритмы» (1918), «Отражения» (1919), драмы «Над морем» (1909) и работы «Ритм. Его психология, философия и синтез» (альманах «Новая жизнь», 1915, ноябрь и декабрь). Выходка его на вечере Блока была приступом застарелой злобы. В свое время, в 1909 г.,

Блок презрительно отозвался о бездарных виршах А. Струве: «И по содержанию, и по внешности — дряхлое декадентство, возбуждающее лишь отвращение. Таких книг в России мало кто не стыдился выпускать» (*V,* 647). О хулиганском выступлении А. Струве на вечере Блока см. также в воспоминаниях К. И. Чуковского, С. М. Алянского, Н. А. Нолле-Коган и И. Н. Розанова (о некоторыми разноречиями).

8. Выступив против А. Струве, С. Бобров, в свою очередь, вскоре допустил грубые выпады по адресу Блока в печати.

В. ЛЕХ

БЛОК В ПАРОХОНСКЕ

Сокращенный перевод статьи: W. Lech. Ostatni poeta (wjedenasta rocznice smerci A. Bloka), напечатанной в варшавской газете «Kuryer literacko-naukowy», 1932, № 37 (12 wrzesnia). Там же — плохо воспроизведенные репродукции пяти любительских фотоснимков, на которых изображен А. А. Блок среди сослуживцев по 13-й инженерно-строительной дружине Земгора, также дом, в котором жил Блок в Парохонске, и его комната. Здесь статья публикуется лишь в своей мемуарной части, в переводе С. П. Теодоровича (ум. в 1963 г.).

В. Лех — литературный псевдоним Владимира Францевича Пржедпельского (1892—1952), инженера-путейца, поэта и журналиста; одного из сослуживцев Блока по 13-й инженерно-строительной дружине в 1916—1917 гг.; позже они встречались в Петрограде и переписывались. В 1924 г. В. Ф. Пржедпельский вернулся в Польшу. Стихи он писал и по-русски (под псевдонимом: Ю. Туманов). О нем см. в польской книге А. Галиса «Восемнадцать дней Александра Блока в Варшаве» (Варшава. 1976).

1. 7 июля 1916 г. Блок был призван в действующую армию и при содействии В. А. Зоргенфрея (см. его воспоминания — с. 25 наст. тома) был зачислен табельщиком в 13-ю инженерно-строительную дружину Всероссийского Союза Земств и Городов; 26 июля он выехал в расположение дружины (ст. Лунинец Полесских железных дорог, в районе Пинских болот). В конце сентября 1916 г. Блок приехал в Петроград в отпуск, 2 ноября — вернулся в дружину, где пробыл до 17 марта 1917 г. Во время пребывания в дружине Блок жил то в расположении отряда (в деревне), то в помещении штаба дружины — в усадьбе Парохонск местного помещика кн. И. Э. Друцкого-Любецкого (1861—?), а с середины февраля 1917 г. в бараке, с частыми

выездами в расположение отрядов. Подробности о пребывании в дружине — в письмах Блока к матери и к жене от августа 1916 — марта 1917 г. (*Письма к родным, II,* с. 304—337; *VIII,* 466—478; *ЛН,* т. 89, с. 361—367).

2. Л. А. Дельмас.

3. Н. И. Идельсон (1885—1951).

4. Л. И. Катонин (1876—1936).

5. К. А. Глинка (1898—1937), студент-медик.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

ИЗ СТАТЬИ «ПАДШИЙ АНГЕЛ»

Впервые в газете «Последние новости» (Париж), 1921, 21 августа. Печатается по кн.: Алексей Н. Толстой. Нисхождение и преображение. Берлин, 1922. Перепечатано в журнале «Дон», 1966, № 3.

Толстой Алексей Николаевич (1883—1945) выступил в литературе в 1907 г. со сборником стихов «Лирика». Именно к этому времени относится его первое беглое воспоминание о Блоке: «Я увидел Блока в первый раз в 907 году. Он вошел в вестибюль театра Коммиссаржевской, минуя очередь, взял в кассе билет и, подбоченясь, взглянул на зароптавшую очередь барышень и студентов. Его узнали. У него были зеленовато-серые, ясные глаза, вьющиеся волосы. Его голова напоминала античное изваяние. Он был очень красив, несколько надменен, холоден. Он носил тогда черный застегнутый сюртук, черный галстук, черную шляпу. Это было время колдовства и тайны Снежной маски». («Нисхождение и преображение». Берлин, 1922, с. 19—20. Познакомились они позже; очевидно, время от времени встречались в литературной среде, но личной близости между ними не установилось. Для отношения Блока к А. Н. Толстому характерна такая запись в дневнике (октябрь 1911 г.): «Тяжелый и крупный Толстой рассказывает, конечно, как кто кого побил в Париже» (*VII,* 75). Эта характеристика А. Н. Толстого как человека несколько легкомысленного в известной мере распространялась Блоком и на творчество молодого писателя: «На этих днях мы с мамой (отдельно) прочли новую комедию Ал. Толстого — «Насильники». Хороший замысел, хороший язык, традиции — все испорчено хулиганством, незрелым отношением к жизни, отсутствием художественной меры... много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но пока он будет думать, что жизнь и искусство состоят из «трюков»... — будет он бесплодной смоковницей» (*VII,* 221).

1. Блок написал матери 17 января 1917 г.: «Вчера приезжал генерал, остался доволен, благодарил нас (при нем состояли приятели мои Д. Кузьмин-Караваев и Ал. Толстой, с которым мы целовались и пр.)» (*Письма к родным, II,* с. 328). Ср.: Н. В. Толстая-Крандиевская. Я вспоминаю. — Альманах «Прибой», Л., 1959, с. 88—89.

М. В. БАБЕНЧИКОВ

ОТВАЖНАЯ КРАСОТА

Печатается по журналу «Звезда», 1968, № 3.

Бабенчиков Михаил Васильевич (1891—1957) — театровед и искусствовед, в последний период жизни — профессор Московского художественно-промышленного училища (б. Строгановского). В печати выступал с 1912—1913 гг. (альманахи «Очарованный странник»). Автор книги «Ал. Блок и Россия» (М., 1923), в которой был использован материал личных воспоминаний о поэте.

1. Неоговоренные цитаты в тексте воспоминаний — из стихов и прозы Блока.

2. *Ансельм* — герой повести Э.-Т.-А. Гофмана «Золотой горшок», студент-бедняк и неудачник, фантазер и мечтатель, одержимый душевным разладом, в глазах благополучных мещан — чудак, сумасброд, человек не от мира сего.

3. Из пьесы Э. Ростана «Романтики».

4. Речь идет о втором издании «Стихов о Прекрасной Даме» (том I «Собрания стихотворений»). Книга вышла в свет около 20 декабря 1911 г.

5. Описание этого дня — в письме Блока к матери от 5 июня (*VIII,* 391). Из письма следует, что Блок поехал в Териоки один (Л. Д. Блок была уже там); Вл. Пяст приехал позже, а о Бабенчикове вообще нет упоминания.

6. У Блока: «На незнакомом языке» (*I*, 361).

7. Слова Пушкина («Город пышный, город бедный»).

8. Когда именно состоялось знакомство В. В. Маяковского с Блоком, не установлено (см. с. 448 наст. тома).

9. Дата первого представления — 7 апреля 1914 г.

10. Слова Блока (из предисловия к поэме «Возмездие»).

11. Из юношеского стих. Блока «Боец» (1902), напечатанного в газете «Утро России» 10 апреля 1916 г. (*I*, 514). Цитировано не точно.

12. Слова В. С. Печорина из письма его к гр. С. Г. Строганову от 23 марта 1837 г.; приведены в кн. М. Гершензона «Молодая Россия» (по 2-му изд. 1923 г., с. 100).

13. То есть 1917 г. Судя по дневнику Блока (*VII,* 297), это было 7 августа 1917 г.

14. Из стих. А. Ахматовой, обращенного к Блоку («Я пришла к поэту в гости...»).

15. Репродукция этой «Мадонны» была куплена Блоком в 1902 г. именно за сходство с Л. Д. Менделеевой.

16. 8 мая Блок был назначен редактором стенографического отчета Чрезвычайной следственной комиссии, учрежденной Временным правительством для расследования деятельности царских министров и сановников.

17. См. «Соображения об издании стенографических отчетов» (*VI*, 443), также — многочисленные записи в дневнике 1917 г.

18. См. дневник от 25 июля 1917 г. (*VII,* 288).

19. Слова Блока «На перекрестке...» (*II*, 8).

20. Среди бумаг Блока сохранилось письмо М. В. Бабенчикова с выражением соболезнования по поводу появившейся в одной из газет заметки «о разгроме имения А. А. Блока». На письме — пометка Блока: «Эта пошлость получена 23 ноября...» (*ЦГАЛИ*).

21. Имеется в виду, вероятно, академик С. Ф. Ольденбург, с которым Блок часто встречался по работе в Верховной следственной комиссии.

22. См.: *VII,* 307.

23. Блок, нужно думать, имел в виду заглавие брошюры М. А. Бакунина «Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель?» (Лондон, 1862); в брошюре утверждалось, что решающую роль в революции будет играть «простой народ».

24. Под *Настасьей,* вероятно, имеется в виду Анастасия Алексеевна Суворина (по мужу — Мясоедова-Иванова), дочь А. С. Суворина — основателя и издателя «Нового времени», с 1910 г. артистка «Суворинского» (Малого) театра. Ср. дневник Блока от 29 августа 1917 г. (*VII,* 307).

25. Из стих. Вл. Соловьева «В тумане утреннем неверными шагами...».

26. Ср. последнюю запись в дневнике Блока 1917 г. (от 19 октября). — *VII,* 311—312.

27. Слова Блока («...узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней»; *III*, 253).

28. Контаминация строк из двух стих. 1900 г.: «Не призывай и не сули...» и «Ты не обманешь, призрак бледный...».

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ

В. МАЯКОВСКИЙ

УМЕР АЛЕКСАНДР БЛОК

Впервые — газета «Агит-роста», 1921, 10 августа. Печатается по изданию: В. В. Маяковский. Полн. собр. соч., т. XII. М., 1959.

Время знакомства В. В. Маяковского с Блоком точно не установлено. Известно, что Блок рано (не позже 1913 г.) заинтересовался творчеством Маяковского и сразу же выделил его из ряда участников русского футуристического движения (см. воспоминания Вас. Гиппиуса — с. 83 наст. тома). Впоследствии, в статье «Без божества, без вдохновенья» (апрель 1921 г.), Блок вспоминал, как мощно прозвучал голос молодого Маяковского, голос «автора нескольких грубых и сильных стихотворений», заставивший многих «откликнуться», независимо от «желтой кофты» и «футуризма» (*VI,* 180—181). В послеоктябрьские годы Блок, «возражая многим и многим, отстаивал за Маяковским право громадного таланта» (воспоминания В. Зоргенфрея — с. 33 наст. тома). В библиотеке Блока сохранился экземпляр второго выпуска альманаха «Садок судей» (вышедшего в свет в начале 1913 г.) с не датированной дарственной надписью Маяковского, но эта книга, очевидно, была подарена еще до личного знакомства. В мае 1914 г. Блок упомянул о Маяковском в стихотворении «День проходил, как всегда..» (см. первопечатный текст в альманахе «Стрелец», I. П., 1915). Возможно, в это время (или несколько позже) они уже встречались. В сентябре 1915 г. вышла в свет поэма «Облако в штанах»; на принадлежавшем Блоку экземпляре — дарственная надпись: «А. Блоку В. Маяковский. Расписка всегдашней любви к его слову» (см.: Владимир Маяковский. Сборник I. М.—Л., 1940, с. 329). Эта книга, вероятно, была вручена Маяковским Блоку лично (Блок вернулся в Петроград из Шахматова 29 сентября). До нас дошел следующий рассказ Маяковского в передаче одной из его знакомых: «— А вы часто встречались с Блоком? — Не часто, но многозначительно. — И, присев на подлокотнике кресла, рассказывает об одной встрече с Блоком. Кто-то привел его, совсем молодого, к поэту... Блок, молчаливый, угрюмый, сидел в темных креслах, явно тяготясь посетителями. Маяковский попросил разрешения прочесть «Облако в штанах». Читал горячо, очень волнуясь. Блок был ему дорог. Оценка важна. Чтение закончилось. Длинная тягостная пауза. Собеседники, бывшие в комнате,

начали разбирать поэму. Кто-то что-то советовал, против чего-то возражал. Совсем невразумительно бубнил Иванов-Разумник. Хозяин молчал. В комнате темнело, и он все глубже уходил в кресла. Молчание его показалось Маяковскому нестерпимым. Он встал. Начал прощаться. Блок вышел проводить его в переднюю. Тщательно закрыл дверь в кабинет и вдруг доверчиво улыбнулся Маяковскому: — Не слушайте вы их! Вещь — замечательная! — и вытолкнул его на лестницу» (Е. Хин. Как живой с живым... — «Звезда», 1959, № 1, с. 149). В феврале 1916 г. Блок настоятельно рекомендовал В. Э. Мейерхольду напечатать в журнале «Любовь к трем апельсинам» отрывки из поэмы Маяковского «Война и мир». В июне 1916 г. Блок отметил в записной книжке: «Звонил Маяковский. Он жаловался на московских поэтов и говорил, что очень уж много страшного написал про войну, надо бы проверить, говорят — там не так страшно. Все это — с обычной ужимкой, но за ней, кажется, подлинное (то же, как мне до сих пор казалось)» (*IX,* 306). О знаменитой ночной встрече с Блоком у солдатского костра вскоре после Октябрьской революции рассказал сам Маяковский. В сентябре 1918 г. Маяковский позвал Блока слушать «Мистерию-буфф» (*IX,* 429). Блок на этом чтении не присутствовал, но в день первой Октябрьской годовщины смотрел «Мистерию-буфф» в театре; спектакль произвел на него сильное впечатление (*IX,* 434—435).

Об отношении молодого Маяковского к Блоку мы располагаем рядом свидетельств современников. Д. Бурлюк сообщил, что в 1911—1912 гг. Маяковский «поражал» его «знанием Александра Блока» (см. «Творчество» (Владивосток), 1920, № 1, с. 12), а со слов К. И. Чуковского известно, что «третий том» Блока Маяковский в 1915 г. мог декламировать наизусть (см. однодневную газету «Владимир Маяковский», Л., 1930, 24 апреля). Л. Никулин передает свой разговор с Маяковским в мае 1920 г., после одного из выступлений Блока в Москве: «На следующий день, случайно, мы встретились с Маяковским в одной частной столовой на Дмитровке. — Были вчера? — Был. — Что он читал? (Маяковский так и сказал «он», как будто речь могла идти не о ком ином, как только о Блоке и его вечере.) — «Возмездие». — Успех? Ну, конечно, хотя я не знаю поэта, который бы читал хуже. — Помолчав, он взял карандаш и начертил на бумажной салфетке в две колонки несколько цифр, затем разделил их вертикальной чертой. Я вопросительно посмотрел на него. Указывая на цифры, он сказал: — У меня из десяти стихотворений пять хороших, три средних, два плохих. У Блока из десяти стихотворений восемь плохих и два хороших, но таких хороших мне, пожалуй,

не написать. — И задумчиво порвал в клочки бумажную салфетку» («Знамя», 1933, № 9, с. 174).

1. Эта встреча нашла отражение в поэме Маяковского «Хорошо!» (1927).

2. В мае 1921 г., в последний приезд Блока в Москву, Маяковский был на его вечере в Политехническом музее (зал, вопреки тому, что пишет Маяковский, был полон, а Блок стихов о «Прекрасной Даме» не читал) и пытался предотвратить обструкцию против Блока, устроенную в Доме печати (см. воспоминания Б. Пастернака — с. 405 наст. тома).

П. ЛЕБЕДЕВ-ПОЛЯНСКИЙ

ИЗ ВСТРЕЧ С А. БЛОКОМ

Печатается по журналу «Жизнь», 1922, № 1.

Лебедев-Полянский Павел Иванович (1881—1948) — критик и литературовед, член Коммунистической партии с 1902 г. Учился в духовной семинарии и в Дерптском университете, на медицинском факультете. За участие в революционном движении несколько раз арестовывался, несколько раз бежал. В 1908 г. эмигрировал в Швейцарию, входил в группу «Вперед». В 1917 г. вернулся в Россию, был членом ВЦИКа, Петроградского комитета РСДРП (б) и Петроградского Совета. В 1917—1919 гг. член коллегии Наркомпроса, правительственный комиссар Литературно-издательского отдела Наркомпроса, в 1918—1920 гг. председатель Всероссийского совета Пролеткульта, в 1921—1930 гг. начальник Главлита, впоследствии академик, директор Института русской литературы АН СССР.

В заметках П. И. Лебедева-Полянского совместились воспоминания о двух встречах с Блоком — 17 и 25 января 1918 г. (см.: *VII,* 319—323).

А. СУМАРОКОВ

МОЯ ВСТРЕЧА С БЛОКОМ

Печатается по журналу «Новый быт» (Иваново-Вознесенск), 1922, № 1.

Сумароков Александр Дмитриевич (1883 — после 1937) — поэт. Из крестьян Владимирской губернии. С 1914 г. печатался в журнале «Весна», «Новом журнале для всех», «Нашем журнале»; с мая 1918 по ноябрь 1936 г. жил в Шуе, где заведовал городской библиотекой и преподавал литературу в вечерней школе. Сотрудничал в местной печати, в ивановской газете

«Рабочий край», в журнале «Начало» (1921), в сборниках «Крылья свободы» (1919), «Красная улица» (1920), «Сноп» (1920), «Атака» (1930). Очевидно, ему принадлежит книжка стихов «Маки красные» (автор — А. Сумароков), изданная в 1920 г. без указания места издания и типографии. В 1920 г. А. Сумароков подал заявление о приеме в Петроградский Союз поэтов; Блок дал отзыв о его стихах (см. воспоминания Вс. Рождественского — с. 212—213 наст. тома).

1. Выражение Н. А. Некрасова («Рыцарь на час»).

2. Это было не в октябре 1917-го, а 27 января 1918 г. (см.: *IX,* 386).

3. В 1913 г. Блок написал статью о повести П. Карпова «Пламень» (*V,* 483).

4. Речь идет о статье «"Религиозные искания" и народ», напечатанной за два дня до встречи с А. Д. Сумароковым, 25 января 1918 г., в газете «Знамя труда». В статье приведено письмо не рабочего, а крестьянского поэта Н. Клюева.

5. Имеется в виду драма П. Карпова «Три чуда»; есть отрицательный отзыв Блока о ней (*V,* 658—659).

6. Ложный слух: портрет Блока работы К. Сомова находится в Третьяковской галерее.

7. 9 апреля 1918 г. (см.: *IX,* 399).

8. Именно так охарактеризован А. Д. Сумароков в записной книжке Блока: «Человек со старым лицом и молодой душой; молодая душа в лохмотьях» (*IX,* 399).

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

АЛЕКСАНДР БЛОК

Впервые — «Звезда», 1945, № 3 («Александр Блок», из кн. «Повесть моей жизни»); вторично — «Звезда», 1960, № 11 («Лицом в грядущее», к 80-летию со дня рождения Александра Блока). Печатается по кн.: Всеволод Рождественский. Страницы жизни. М.—Л., 1962, с. 218—244.

Рождественский Всеволод Александрович (1895—1977) — советский поэт. Родился в Царском Селе, учился в Царскосельской гимназии, где директором был И. Ф. Анненский, и на историко-филологическом факультете Петроградского университета. В печати выступил в 1914 г. со сборником стихов «Гимназические годы»; в 1921 г. издал две книжки лирики — «Лето» и «Золотое веретено». В 1920 г. участвовал в организации Петроградского отделения Союза поэтов и был первым его секретарем.

1. Стихи Блока («Последнее напутствие»; *III*, 273).

2. Это было одно из первых публичных исполнений поэмы. Оно сопровождалось открытой обструкцией в отношении Блока со стороны некоторых известных поэтов. В правоэсеровской газете «Дело народа» 10 мая 1918 г. В. Пяст, А. Ахматова и Ф. Сологуб объявили, что отказываются участвовать в литературном вечере кружка «Арзамас», поскольку в программе стоит исполнение поэмы «Двенадцать». Блок назвал это заявление «поразительным известием» и отметил его в записной книжке (12 мая): «Письмо от Г. Адамовича и телефон его с Любой по поводу скандалов, окруживших вечер «Арзамаса» из-за «Двенадцати» (*IX,* 406). Сам Блок тоже участвовал в вечере — читал стихи.

3. Блок начал работать в коллегии изд-ва «Всемирная литература» лишь в конце 1918 г.

4. Подлинный текст дарственной надписи: «Дорогому Николаю Степановичу Гумилеву — автору «Костра», читанного не только «днем», когда я «не понимаю» стихов, но и ночью, когда понимаю. Ал. Блок. III. 1919» (Гос. лит. музей). Надпись сделана не на сборнике «Седое утро» (1920), а на книге «Стихотворения. Книга третья» (1916).

5. Иное высказывание Блока о творческом процессе приводит С. Бернштейн: «Отвечая на мои вопросы, Блок сообщил, что стихи он создает всегда на бумаге, не произнося их в процессе творчества... слова возникают и живут в его сознании в зрительной, письменной форме...» (с. 354 наст. тома).

6. Дополнительные воспоминания Вс. Рождественского о Блоке — организаторе и первом председателе Союза поэтов в Петрограде — в его очерке «Как это начиналось» (сб. «День поэзии. 1966. Ленинград». Л., 1966, с. 88—89). Здесь читаем: «Разговоры о Союзе поэтов возникали все чаще и чаще. Сдержанное участие принимал в них и Блок. Но, надо сказать, он не сразу признал необходимость этого нового в тогдашних условиях начинания. Помнится, во время одной из очередных пешеходных прогулок он стал доказывать, что не видит особого смысла в таком объединении. — «Ну, что они (т. е. поэты) будут делать вместе, такие разные и друг на друга непохожие в самом существенном, в понимании и видении жизни? Как все это согласовать в каком-то теоретическом единстве? Да и нужно ли?» — Потом с неожиданно светлой и как бы нерешительной улыбкой, которая так шла к его несколько строгому и словно окаменелому лицу, вдруг добавил: «А впрочем, надо бы во всем этом разобраться. Теперь ведь жизнь пошла по-новому, и нам самим надо быть новыми. Кто знает, может, и поэты будут нужны. Ведь в поэзии, по самой ее природе, всегда заложено что-то вечно растущее, близкое самой жизни».

7. В состав комиссии входили также М. Кузмин, Н. Гумилев и М. Лозинский.

8. Всего известно 23 отзыва Блока о стихах лиц, желавших вступить в Союз поэтов. Они (в том числе и приведенные Вс. Рождественским) были опубликованы П. Медведевым в сб. «Памяти Блока», изд. 2-е, доп., П., 1923, с. 66—72. Все отзывы относятся к июлю—ноябрю 1920 г.

9. Смиренские — Владимир Викторович и Борис Викторович.

10. Имеется в виду А. Д. Сумароков, оставивший воспоминания о встрече с Блоком в 1918 г. (с. 186—195 наст. тома).

11. Дополнительные данные о конфликтах в Союзе поэтов — в очерке Вс. Рождественского «Как это начиналось». 7 сентября 1920 г. Блок согласился с тем, чтобы Союз поэтов вошел во Всероссийский союз работников искусств, потому что это дало бы ему «все права профессиональных союзов». Но тут разразилась «целая буря страстей»: «В протестующем меньшинстве осталась «акмеистическая группа», возглавляемая Н. Гумилевым, Г. Ивановым, Г. Адамовичем, Ир. Одоевцевой, Н. Оцупом. Эта группа заявила, что не желает подчинять принципы «чистого искусства» профсоюзным интересам, и потребовала переизбрания правления в целом. После бурного заседания в клубе поэтов ей удалось это сделать. Поначалу был забаллотирован и Блок, но потом его просили остаться, на что он согласился крайне неохотно и только при условии, что его не будут загромождать очередными бытовыми делами» («День поэзии. 1966. Ленинград», с. 89). См. также воспоминания В. Зоргенфрея и Н. Павлович (с. 30—31, 398—400 наст. тома).

12. В неопубликованной мемуарной заметке «Последний портрет Блока» М. С. Наппельбаум писал: «Зал Большого драматического театра был полон. Блок читал много стихов. Он был элегантен, изящен, с белым цветком в петлице, но все-таки чувствовалось, что он болен... Черты исхудавшего его лица были обострены, особенно нос, а глаза казались огромными, полными страдания. Но то не были лишь физические страдания больного человека. Это было нечто большее. Я обратил внимание на блеск его глаз: в них я увидел горение поэта... Мне вдруг показалось, что он видит нечто никому не видимое, и мне захотелось запечатлеть этот сосредоточенный, устремленный внутрь себя взгляд его расширенных, блестящих зрачков Привлекла меня и рука Блока, узкая в запястье, тонкие длинные пальцы художника. Вместе с тем и в руках его ощущалась болезненность. Во время съемки за кулисы пришли молодые поэты Они молча следили за фотографированием. А. Блок, сидя перед аппаратом, освещенный яркой лампой, безмолвно улыбался им навстречу.

После съемки молодежь окружила поэта, просила выслушать их стихи. Он сказал: «Очень хорошо, только принесите мне написанные, я на слух не умею» — и с улыбкой показал на ухо» (цит. по копии в собрании В. Н. Орлова).

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

АЛЕКСАНДР БЛОК

Впервые — «Записки мечтателей», 1922, № 6 (под заглавием: «Последние годы Блока»). В дальнейшем, при каждом переиздании, воспоминания расширялись и частично перерабатывались: К. Чуковский. Александр Блок как человек и поэт (Введение в поэзию Блока). П., 1924, с. 3—53 (Часть первая. А. А. Блок как человек. Отрывки из воспоминаний о Блоке. — Здесь приведено немало фактов, опущенных при дальнейших переизданиях); К. Чуковский. Из воспоминаний о Блоке. — «Литературная Москва». М., 1956, с. 783—793; К. Чуковский. Люди и книги. М., 1958, с. 520—543; К. Чуковский. Из воспоминаний. М., 1959, с. 369—419; К. Чуковский. Современники. М., 1962, с. 439—492; К. Чуковский. Собр. соч. в шести томах, т. II. М., 1965, с. 264—316. Печатается по последней публикации, — с купюрами, коснувшимися той части текста, которая не является собственно мемуарной.

Чуковский Корней Иванович (1882—1969) — писатель, критик и литературовед, поэт и переводчик. В 1905 г. редактировал сатирический журнал «Сигнал», подвергшийся судебному преследованию. В дооктябрьское время работал по преимуществу в области литературной критики, много писал в газете «Речь». Автор книг: «От Чехова до наших дней» (1908), «Критические рассказы» (1911), «Лица и маски» (1914) и многих других.

Хотя Блок и К. И. Чуковский были знакомы с 1906 г. и довольно часто встречались, никакой близости между ними в течение долгого времени не возникало. В 1907 г. Блок, отмечая «чуткость и талантливость» К. Чуковского, «едкость его пера» и отводя ему «видное место» в современной литературе, при всем том упрекал его в «газетной легкости» и «беспочвенности»: «Эта талантливая критика не имеет под собой почвы» (*V,* 203—205). Немногие высказывания о К. Чуковском в записных книжках и дневниках Блока носят по большей части характер осудительный (*IX,* 124; *VII,* 78). В дальнейшем, уже после Октябрьской революции, отношение Блока к литературной деятельности К. Чуковского совершенно изменилось. В 1918—1921 гг., связанные общей работой в изд-ве «Всемирная литера-

тура», в секции «Исторические картины», в Союзе деятелей художественной литературы и в Союзе писателей, они подружились и общались очень тесно. В 1920 г. К. И. Чуковский приступил к работе над «Книгой об Александре Блоке» (вышла в свет в 1922 г. двумя изданиями). Воспоминания К. И. Чуковского (в различных их редакциях) служат одним из важнейших источников, освещающих жизнь и деятельность Блока в послеоктябрьские годы.

1. Это юношеское стих. Блока не могло оказывать такого действия на поколение К. И. Чуковского в «пору далекой юности», поскольку было впервые опубликовано лишь в 1919 г. (в переработанном виде; в частности, строфа, которую приводит К. И. Чуковский, была написана в 1916 г.).

2. Миракль Рютбефа «Действо о Теофиле», поставленный в Старинном театре (премьера — 7 декабря 1907 г.).

3. Стих. Я. П. Полонского, о котором идет речь («Мгновения»), было написано в 1897 г., уже после издания пятитомного «Полного собрания стихотворений» (1896), и напечатано в «Литературных приложениях» к «Ниве», 1898, январь — апрель, с. 59. Стих. кончается так:

Даст нам успокоиться —
Промелькнет и скроется!

4. Из стих. Некрасова «Балет».

5. Ошибка памяти мемуариста: Аничкову звали: Анна Митрофановна.

6. К тому времени, когда это было написано, дневники Блока были опубликованы полностью.

7. Из письма к матери от 10 ноября 1909 г. (*VIII,* 296, — цитировано не точно).

8. Из письма к Е. П. Иванову от 15 ноября 1906 г. (*VIII,* 165).

9. Здесь и дальше — цитаты из поэмы Блока «Возмездие».

10. Из письма к В. П. Пясту от 24 мая 1911 г. (*VIII,* 337).

11. Ср. с. 168 и 347 наст. тома.

12. Последнее публичное выступление Блока в Петрограде, 25 апреля 1921 г., в Большом драматическом театре.

13. См. воспоминания В. П. Веригиной (том I наст. изд.).

14. Из стих. Блока «Поздней осенью из гавани...» (*III,* 19).

15. Вероятно, имеется в виду драма Л. Андреева «Любовь студента (Дни нашей жизни)». Ср. письмо Блока к матери от 16 ноября 1908 г. (*VIII,* 262).

16. См. личную приписку к юбилейному приветствию Н. Ф. Монахову от 22 января 1921 г. (К. Чуковский. Александр Блок как человек и поэт, с. 144).

17. Блок был приглашен участвовать в работе изд-ва «Всемирная литература» 22 сентября 1918 г., приступил к редактированию Собрания сочинений Г. Гейне — в декабре 1918 г., был утвержден членом коллегии изд-ва и главным редактором отдела немецкой литературы — 8 марта 1919 г.

18. «Продолжение „Стихов о предметах первой необходимости"», написанное 10 декабря 1919 г. (*III,* 427).

19. См. стих. «Enjambements», написанное 21 ноября 1919 г. (*III,* 426).

20. Полный текст этого стих. («Стихи о предметах первой необходимости») —*III,* 426—427.

21. Полный текст «Сцены из исторической картины „Всемирная литература" — *III*, 422—425.

22. Это стих., написанное 15 марта 1921 г., оказалось последним законченным стихотворением Блока; к более позднему времени (май—июль 1921 г.) относятся черновые наброски продолжений второй и третьей глав поэмы «Возмездие».

23. Эта статья («Без божества, без вдохновенья»), написанная в апреле 1921 г., была опубликована в 1925 г. (*VI*, 174).

24. Статья была набросана вчерне под впечатлением знакомства с белогвардейским кадетским журналом «Русская мысль» (см. дневник, 20 апреля 1921 г. — *VII,* 416—418). В воспоминаниях о Блоке Е. И. Замятина сказано: «...он только что прочитал «Русскую мысль» Струве — и я редко слышал, чтобы он брал такие грубые слова: «Что они смыслят, сидя там? Только лают по-собачьи» («Русский современник», 1924, № 3, с. 192).

25. Писательница А. Ф. Даманская, сбежавшая из Советской России и изощрявшаяся в разного рода клеветнических выдумках о советской жизни, вскоре выступила с ханжески-лживыми «воспоминаниями» о Блоке (газеты: «Голос России» (Берлин), 1921, 18 августа, и «Рижский курьер», 1921, 7 сентября).

26. Это был ничтожный стихослагатель и исследователь стихотворного ритма Александр Струве. См. выше, с. 443—444 — примеч. 6 к воспоминаниям П. Антокольского.

27. По окончательному плану поэма «Возмездие» должна была состоять из трех, а не из четырех глав.

28. Это было записано в «Чукоккалу» 30 марта 1919 г. в день 50-летия А. М. Горького (ср. приветственную речь Блока — *VI,* 92). В этот же день Блок писал Н. А. Нолле-Коган: «Сегодня мы чествовали Горького во «Всемирной литературе». Были минуты трогательные и музыкальные» (*ЦГАЛИ*).

29. Приведено в русской транскрипции первое двустишие эпитафии Фра Филиппо Липпи, сочиненной Полицианом и вырезанной на надгробии художника в Сполетском соборе. Эту эпитафию (в собственном переводе и в латинском тексте) Блок ввел в цикл «Итальянские стихи» (как заключение). Вот стихи Полициана в переводе Блока:

Здесь я покоюсь, Филипп, живописец навеки бессмертный,
Дивная прелесть моей кисти у всех на устах...

30. Намек на нелады между женою и матерью Блока. Речь идет о второй поездке в Москву в мае 1921 г.

31. Полный текст письма от 26 мая 1921 г. — *VIII,* 537.

ЛЕОНИД БОРИСОВ
О БЛОКЕ

Печатается (частично) по тексту, предоставленному автором В. Н. Орлову. Первый отрывок в первоначальной редакции был опубликован в журнале «Литературный современник», 1939, № 9.

Борисов Леонид Ильич (1897—1972) — советский писатель. Начал со стихов (сб. «На солнечной стороне». П., 1922), потом перешел на прозу (первая книга — роман «Ход конем». Л., 1927). Родился в Петербурге, в семье портного, окончил среднее учебное заведение; в 1915 г. был призван на военную службу; с декабря 1917 г. работал (машинистом — на пишущей машинке) в Смольном, с 1919 г. был в Красной Армии; с 1922 г. занят литературной работой. Автор нескольких полумемуарных-полубеллетристических рассказов о Блоке.

1. Н. С. Гумилев, руководивший в Доме искусств студией начинающих стихотворцев.

2. Эта группа в 1922 г. выпустила в свет альманах стихов «Звучащая раковина», посвященный памяти Н. С. Гумилева. Вскоре группа распалась.

3. Этот вечер состоялся 11 января 1920 г.

С. М. АЛЯНСКИЙ
ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

Впервые — в журнале «Новый мир», 1967, № 6. Печатается по кн.: С. Алянский. Встречи с Александром Блоком (Изд. 2-е). М., «Детская литература», 1972.

Алянский Самуил Миронович (1891—1974) — видный книгоиздательский работник. В 1918 г. основал издательство

«Алконост», за пять лет своего существования выпустившее около пятидесяти книг русских писателей, главным образом символистов (Андрея Белого, Вяч. Иванова, А Ремизова, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, К. Эрберга, также А. Ахматовой и др.). Александр Блок, начиная с 1918 г., издавал свои книги преимущественно в «Алконосте». Здесь вышли при жизни Блока поэмы «Соловьиный сад» и «Двенадцать» (три издания), очерк «Катилина», сборник стихов «Ямбы», драматическая поэма «Песня Судьбы», второе издание сборника статей «Россия и интеллигенция», пятый сборник лирики «Седое утро», драматические сцены «Рамзес», а посмертно — книга «Последние дни императорской власти», третий том «Стихотворений», доклад «О символизме», поэма «Возмездие», два тома Собрания сочинений, подготовленных самим Блоком, а также было начато новое Собрание сочинений, из которого в 1923 г. вышло в Берлине семь томов (I—V, VII и IX) под маркой изд-ва «Эпоха». В 1919—1922 гг. «Алконостом» было издано шесть выпусков (в пяти книгах) журнала «Записки мечтателей», в которых появились произведения Блока (юношеские стихи, третья глава поэмы «Возмездие» с предисловием, очерки «Русские дэнди». «Призрак Рима и Monte Luca», «Ни сны, ни явь», «Памяти Леонида Андреева»), Андрея Белого, Вяч. Иванова, А. Ремизова, Е. Замятина, А. Ахматовой, Ф. Сологуба, Ю. Верховского, М. Гершензона, М. Шагинян, В. Зоргенфрея, В. Ходасевича и др. Четвертый и пятый выпуски «Записок мечтателей» частично, а шестой выпуск целиком были посвящены памяти Блока. «Алконостом» были изданы также книги Иванова-Разумника «Александр Блок. Андрей Белый» (1919) и М. А. Бекетовой «Александр Блок» (1922). Блок играл в изд-ве «Алконост» руководящую роль — вдохновителя и, в значительной мере, «главного редактора». См. по этому поводу: И. Чернов. А. Блок и книгоиздательство «Алконост» (*Блоковский сборник, I,* с. 530—538; здесь опубликована заметка Блока, относящаяся к февралю 1921 г. и долженствовавшая, очевидно, служить декларацией издательства).

Блок и лично сблизился с С. М. Алянским, был дружески расположен к нему, высоко ценил его организаторские способности и деловые качества. Он считал С. М. Алянского человеком незаменимым в делах, требующих «больших масштабов и широкого размаха», и именно поэтому привлек его в 1919 г. к руководству Издательским бюро Театрального отдела Наркомпроса (см.: *VI,* 297—301 и 525). В последние годы жизни Блока С. М. Алянский был для Блока одним из самых близких людей. Когда Блок смертельно заболел и впал в мрачное настроение, он никого не хотел видеть, и лишь «один С. М. Алянский имел счастливое свойство действовать на Ал. Ал. успокоительно», как

удостоверяет это М. А. Бекетова («Александр Блок», изд. 2-е. Л., 1930, с. 297).

В дальнейшем С. М. Алянский работал в издательствах Ленинграда и Москвы («Книга», Издательство писателей в Ленинграде, «Молодая гвардия», Детгиз). Об Алянском-издателе см.: С. Белов. Мастер книги. Л., 1979.

1. В опущенном здесь вступительном разделе книги С. М. Алянский рассказал, как в 1917 г. он, сообща со своим гимназическим товарищем В. Васильевым, открыл в Петрограде небольшую книжную лавку, при помощи известного библиофила Л. И. Жевержеева, «Особенным спросом и вниманием наших покупателей пользовались книги поэтов-символистов, а среди них больше всего спрашивались книги Александра Блока, и отныне добывание их стало нашей главной заботой. Но книг Блока нигде не было... Кому-то из нас пришло в голову обратиться к самому Блоку...» В ответ на телефонный звонок Алянского Блок через жену пригласил его к себе. Первая их встреча имела место 14 июня 1918 г. и отмечена в записной книжке Блока: «Пришел молодой человек и купил моих книг — 20 за 200 рублей (Алянский)» *(IX,* 412).

2. 19 июля 1918 г. Блок записал: «Алянский (принес 50 экземпляров «Соловьиного сада»)», и через несколько дней, 24 июля: «Уже 500 экземпляров «Соловьиного сада» продано» (*IX,* 417—418).

3. 3 марта 1918 г.

4. Это было 12 августа 1918 г. (см.: *IX,* 420).

5. Этому рассказу противоречит запись Блока от 1 марта 1919 г.: «Блины у Алянского. Хороший вечер... Потом — маскарад на курсах Вивьена с компанией из «Привала». Дома — в 7 час. утра» (*IX,* 451), из которой следует, что на этот раз Блок не оставался у С. М. Алянского до утра. Время выхода в свет первого выпуска «Записок мечтателей» указано С. М. Алянским не верно: это произошло в октябре 1919 г. В воспоминаниях о Блоке Ю. П. Анненкова сообщается о другой вечеринке, которую Алянский устроил у себя по этому случаю «в начале октября» («Новый журнал», 1956, кн. 47; Ю. Анненков, Дневник моих встреч, т. I (Нью-Йорк), 1966, с. 75—78). Здесь к этой, второй, вечеринке приурочены и визит О. А. Глебовой-Судейкиной, и появление комиссара. (Ср. в записной книжке Блока запись от 13 октября 1919 г., где упоминается о предложении, сделанном ему Глебовой-Судейкиной, очевидно, за несколько дней до того.) Ясно, что С. М. Алянский запамятовал и соединил две вечеринки в одну. В другом месте С. М. Алянский

сообщает (на этот раз правильно), что после «блинов» все его гости направились на маскарадный вечер, устроенный студистами В. Э. Мейерхольда («Творчество А. А. Блока и русская культура XX века». Тарту, 1979, с. 166—167).

6. Речь идет о выступлениях Блока в Москве, по приглашению тамошних литературных организаций, в мае 1920 г. По просьбе Блока, С. М. Алянский сопровождал его в этой поездке.

7. Имеется в виду вечер В. В. Маяковского в том же Политехническом музее, в начале 1920 г., на котором довелось побывать С. М. Алянскому. Впечатлениями об этом вечере он в свое время поделился с Блоком.

8. См. эпизод в поэме Н. Брауна «Молодость» («Звезда», 1960, № 1, и отдельно —Л., 1960, с. 30—35).

9. Об этом инциденте см. в воспоминаниях П. Г. Антокольского, К. И. Чуковского, Н. А. Нолле-Коган и И. Н. Розанова.

10. См. письмо Блока к М. С. Шагинян от 22 мая 1921 г. (*VIII,* 536).

11. Уничтожено было (полностью или частично) несколько записных книжек; дневники остались нетронутыми.

М. ГОРЬКИЙ

А. А. БЛОК

Впервые — «Беседа» (Берлин), 1923, кн. 2. Печатается по изданию: М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. XV. М., 1951.

Блока и М. Горького (А. М. Пешкова) связывали сложные и противоречивые отношения. Впервые Блок встретился с Горьким 3 января 1906 г. на одной из «сред» Вячеслава Иванова (см.: *Переписка,* с. 167), но встреча эта, по-видимому, не перешла в знакомство. В разное время, начиная с 1905 г., Блок неоднократно высказывался о Горьком и его творчестве. В статьях и рецензиях, письмах и дневниках Блока встречаются противоречивые, порой неверные оценки Горького и его отдельных произведений (см. по Указателям имен в *VIII* и *IX*). Но при всем том Блок с самого начала признавал Горького писателем истинно национальным и народным, резко расходясь в этом отношении с буржуазной литературной критикой и своим ближайшим, символистским окружением.

С конца 1918 г. Блок по обстоятельствам и условиям своей работы («Всемирная литература», «Исторические картины», Большой драматический театр) сблизился с Горьким. В марте 1919 г., в юбилейный день Горького, он охарактеризовал его как

«величайшего художника наших дней». (*VI,* 92). Горький, долго «не принимавший» Блока, при личном знакомстве высоко оценил его и как художника и как личность (см. воспоминания К. Федина, с. 414—415 наст. тома). «Блоку — верьте, — писал Горький начинающему стихотворцу в 1919 г., — это настоящий, волею божией — поэт и человек бесстрашной искренности» (Дм. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи, изд. 2-е. М., 1940, с. 115).

Однако и в этот период во взаимоотношениях Блока и Горького явственно различимы не только точки соприкосновения, но и точки отталкивания, и объясняется это, в конечном счете, глубоким несходством мировоззрений и человеческих характеров. «Я продолжаю его любить... Плохо только, что у него всегда — надо, надо, надо», — сказал Блок в 1920 г. в дружеской беседе, когда речь зашла о Горьком. Отсюда — признания Блока, что ему иногда бывает «тяжело с Горьким». Отношение Горького к Блоку тоже было двойственным. Он сам удостоверил, что еще до революции «почувствовал Блока очень понятным и близким», и вместе с тем оговаривался: «Мизантропия и пессимизм Блока — не сродни мне» (письмо к К. Федину 1930 г.). Но и при этой оговорке Горький признавал величие и обаяние поэтического и человеческого характера Блока: «В общем же Блок изумительно красив, как поэт и как личность. Завидно красив» (письмо к А. Цинговатову 1928 г.).

Наиболее полная сводка данных о личных и литературных взаимоотношениях писателей содержится в статье Н. Венгрова «А. Блок и М. Горький» («Горьковские чтения 1953—1957». М., 1959, с. 200—261).

Н. И. КОМАРОВСКАЯ

АЛЕКСАНДР БЛОК В БОЛЬШОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Печатается по сб. «Театр и жизнь», Л.—М., 1957. В несколько измененном виде вошло в кн.: Н. И. Комаровская. Виденное и пережитое (Из воспоминаний актрисы). Л.—М., 1965.

Комаровская Надежда Ивановна (1885—1967) — драматическая актриса. В 1902 г. окончила гимназию в Москве, училась на историко-филологическом факультете московских Высших женских курсов, одновременно — с осени 1902 г. — в школе Московского Художественного театра. Сценическую деятельность начала в 1906 г. в Киеве. Играла в театрах Корша (1907—1908 гг.), Малом (1909—1916 гг.), Камерном (1916—1918 гг.),

с 1919 г. — в Большом драматическом. В дальнейшем занималась театрально-педагогической и режиссерской работой, выступала на концертной эстраде как мастер художественного чтения.

1. См. воспоминания О. В. Гзовской (с. 115—117 наст. тома и коммент. на с. 441). Н. И. Комаровская ошиблась, назвав Исторический музей вместо Политехнического.

2. *IV,* 535.

3. Стих. Блока (*III,* 213).

4. *«Утро туманное, утро седое...»* — цыганский романс на слова И. С. Тургенева. Блок высоко ценил эти стихи (см. в воспоминаниях К. Чуковского — с. 235 наст. тома).

5. Это было 31 марта 1916 г. «На днях провел ночь у Качалова с цыганами и крюшоном, это было восхитительно», — писал Блок матери 4 апреля (*Письма к родным. II,* с. 278). В другой раз Блок слушал у В. И. Качалова цыганские романсы в исполнении артистов Художественного театра Фаины Шевченко и Григория Хмары.

6. Постановкой трагедии Шиллера «Дон Карлос» 15 февраля 1919 г. открылся Большой драматический театр в помещении б. Театра Музыкальной драмы (Консерватория).

7. Работа Блока по исправлению перевода, выполненного А. В. Амфитеатровым, прослежена в статье Вл. Орлова «Александр Блок и пьеса Сема Бенелли «Рваный плащ». — «Ученые записки Гос. научно-исследовательского института театра и музыки», т. 1. Л., 1958.

8. «Зачем, зачем во мрак небытия...» — одно из юношеских стихотворений Блока (*I*, 24).

9. Блок в октябре 1919 — марте 1920 г. написал пять таких вступлений к спектаклям: «Дон Карлос», «Разбойники», «Много шуму из ничего», «Дантон» и «Рваный плащ» (*VI,* 372—383). Чаще всего их читал не сам Блок, а режиссер А. Н. Лаврентьев либо кто-нибудь из актеров.

10. См. дневник Блока от 13 декабря 1920 г. (*VII,* 384—386).

11. В. П. Веригина со слов Н. И. Комаровской передает: «Незадолго до того, как поэт окончательно слег, она встретила его на улице и была поражена той переменой, которая в нем произошла. Комаровская не выдержала и сказала ему с тревогой: «Александр Александрович! Что же нам, бедным, делать, если вы не выдерживаете?» Он как-то весь встрепенулся и ответил: «Нет, Надежда Ивановна, я верю... верю... и со мной пройдет» («Ученые записки Тартуского гос. университета», IV, вып. 104. Тарту, 1961, с. 370).

12. Несколько позже, в середине мая 1921 г., С. М. Алянским был сделан еще один, последний, фотографический снимок с Блока.

13. В середине мая.

14. Это впечатление резко расходится с общим мнением: смерть до удивления исказила черты лица, что подтверждается и дошедшими до нас фотографическими снимками и рисунками.

СЕРГЕЙ БЕРНШТЕЙН

МОИ ВСТРЕЧИ С А. А. БЛОКОМ

Печатается по сб. «День поэзии». Л., 1964.

Бернштейн Сергей Игнатьевич (1892—1971) — филолог (славист и лингвист); в 20-е гг. в Институте истории искусств (Ленинград) много занимался исследованием фонетики, возглавляя «Комиссию по изучению звучащей художественной речи». К 1928 г. составил обширную коллекцию фонографических записей (около 250 валиков), запечатлев голоса многих поэтов и декламаторов (см.: С. Бернштейн. Звучащая художественная речь и ее изучение. — «Поэтика», Л., 1926, с. 49). Автор работ о Блоке: «Голос Блока» (*Блоковский сборник, II,* с. 454—525), выросшей из доклада, прочитанного осенью 1921 г. на заседании памяти Блока в Институте истории искусств; «Художественная структура стихотворения Блока «Пляски осенние» («Труды по знаковым системам», VI. Тарту, 1973, с. 521—545).

21 июня 1921 г. С. И. Бернштейном в Доме искусств на шести восковых валиках было записано пятнадцать стихотворений Блока: «Все, что память сберечь мне старается...», «Девушка пела в церковном хоре...», «Поздней осенью из гавани...», «Ночь — как ночь, и улица пустынна...», «Как тяжко мертвецу среди людей...», «Девушка из Spoleto», «Рожденные в года глухие...», «Голос из хора», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...», «Осенний день», «О жизни, догоревшей в хоре...», «В ресторане», «Седое утро». Записи трех стихотворений были восстановлены в 1966—1967 гг. Фонетическим кабинетом Союза писателей СССР: «В ресторане», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (см. об этом: Лев Шилов. Вновь зазвучавший голос Блока. — В его кн.: «Голоса, зазвучавшие вновь». М., 1977, с. 40—50).

1. Слова Блока из стих. «Художник»: «Творческий разум осилил — убил» (*III,* 145).

2. Из стих. Блока «Как тяжело ходить среди людей...» (*III*, 27).

3. Запись от 17 января 1921 г. (*VII*, 397).

4. Из письма Блока к матери от 28 июля 1917 г. (*Письма к родным, II*, с. 394).

5. Б. Ахмадулина. Магнитофон. — В ее кн.: «Уроки музыки». М., 1969, с. 11.

6. Сб. «Дом литераторов. Пушкин. Достоевский». Пб., 1921.

Н. А. НОЛЛЕ-КОГАН
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается впервые по машинописной копии, предоставленной А. П. Нолле (рукопись — в *ЦГАЛИ*). Работу свою над воспоминаниями Н. А. Нолле-Коган не считала законченной. Небольшой фрагмент воспоминаний («Встреча с Александром Блоком») был напечатан в журнале «Огонек», 1955, № 48, с. 26.

Нолле-Коган Надежда Александровна (1888—1966) — жена литературоведа профессора П. С. Когана, переводчица.

1. Стих. Блока (*III*, 161).

2. Цитируемые в воспоминаниях письма Блока хранятся в *ИМЛИ* АН СССР и в *ЦГАЛИ*.

3. Эта встреча зарегистрирована в записной книжке Блока (*IX*, 248).

4. В каталоге «Александр Блок. Переписка». Вып. 2. М., 1979, с. 345 — зарегистрировано 28 писем (1913—1921 гг.).

5. См.: *VIII*, 534.

6. Речь идет о подготовке избранных произведений Г. Гейне, которой Блок был занят для изд-ва «Всемирная литература».

7. На с. 5 сб. «Ямбы» (1919) эпиграф из Ювенала («Fecit indignatio versum» — «Негодование рождает стих») был (вслед за Аполлоном Григорьевым) ошибочно приписан Горацию; в следующем издании («Стихотворения», кн. 3, издание третье) Блок исправил ошибку.

8. Вяч. Иванов (равно как и Г. Чулков) резко осудительно отнесся к поэме «Двенадцать» и литературно-публицистическим выступлениям Блока в 1918 г.

9. У А. Ф., Ф. А. и А. А. Кублицких-Пиоттух.

10. Первое выступление (в Политехническом музее) состоялось 9 мая.

11. В этот день по случайной небрежности взорвались артиллерийские склады, расположенные на Ходынском поле.

12. Очевидное недоразумение: статья П. С. Когана «Голос поэта» (о сб. статей Блока «Россия и интеллигенция») была напечатана за два с лишним года раньше (газета «Вперед», 1918, № 24, 15 февраля).

13. Выражение Блока (из стих. «О нет, не расколдуешь сердца ты...»; *III,* 148).

14. Из песни Бертрана в драме «Роза и Крест».

15. М. Цветаева передала Блоку свой цикл «Стихи к Блоку». Впоследствии она вспоминала в неопубликованной заметке о встрече с Н. А. Нолле-Коган: «Ее рассказ о том, как Блок читал мои стихи. После каждого выступления он получал тут же, на вечере, груды писем — женских, конечно. И я всегда их ему читала, сама вскрывала, и он не сопротивлялся... Только смотрел с улыбкой. Так было и в этот в е ч е р. — «Ну, с какого же начнем?» — Он: «Возьмем любое». И подает мне — как раз ваше — в простом синем конверте. Вскрываю и начинаю читать, но у вас ведь такой особенный почерк... Да еще и стихи, я не ждала... И он очень серьезно, беря у меня из рук листы: «Нет, это я должен читать сам». Прочел молча — читал долго — и потом — такая до-ол-гая улыбка. Он ведь очень редко улыбался, за последнее время — никогда» (сообщено А. С. Эфрон).

16. Стихотворение Ф. Сологуба (1897). Первая строфа записана не точно (может быть, изменена Блоком нарочито); у Сологуба:

Не ужасай меня угрозой
Безумства, муки и стыда,
Навек останься легкой грезой,
Не воплощайся никогда.

17. Речь шла, очевидно, об отношениях, сложившихся между Блоком и его женой.

18. Имеется в виду кооперативная книжная лавка, устроенная группой московских писателей и ученых.

19. В марте 1921 г. Блок подготовил маленький сборник «Отроческие стихи», который вышел в свет уже после смерти поэта, в 1923 г., в изд-ве «Первина» (с приложением Автобиографии Блока).

20. «Книга об Александре Блоке», изданная уже после смерти Блока, в 1922 г.

21. Из стих. Фета «О, не зови! Страстей твоих так звонок...».

22. В этот приезд в Москву Блок выступал: трижды в Политехническом музее (3, 5 и 7 мая), в Доме печати и «Studio Italiano» (7 мая) и в Союзе писателей (9 мая).

И. Н. РОЗАНОВ

ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

Печатается впервые — по машинописной копии, предоставленной И. Н. Розановым. В сокращении было напечатано в журнале «Огонек», 1940, № 35.

Розанов Иван Никанорович (1874—1959) — литературовед и фольклорист, знаток и исследователь русской поэзии XVIII—XX вв. Родился в Моршанске Тамбовской губернии, учился в Москве — в гимназии и в университете; преподавал в средних учебных заведениях, с 1915 г. — в Московском университете; с 1919 г. заведовал в Историческом музее созданным им «Отделом истории книги». Автор книг: «Русская лирика» (1914), «Пушкинская плеяда» (1923), «Поэты 1820-х годов» (1925), «Литературные репутации» (1928) и др., а также двух стихотворных сборников: «Только о ней» (1915) и «Призраки звезд» (1916).

1. О кн. Н. Котляревского «М. Ю. Лермонтов. Личность поэта и его произведения» Блок в 1906 г. высказался в остро критической статье «Педант о поэте» (*V,* 25).

2. У Лермонтова— в поэме «Мцыри».

3. Ошибка; нужно: 7 мая.

4. Вот еще свидетельства людей, наблюдавших в это время Блока: «Знал ли Блок скорое свершение таинственных сроков судьбы? Предчувствовал ли он скорый конец, трагическую смерть свою «в каких-то четырех стенах», когда в последний приезд в Москву читал стихи, строки которых все твердили о том, что «даже рифмы нет короче глухой, крылатой рифмы: смерть»? Как разгадать, случайное ли это совпадение или преднамеренный выбор, отвечающий сокровенной настроенности и устремлению «стареющей души» к мирам иным... Больной, исхудавший, пожелтевший, но как-то по-новому углубленный, сосредоточенный и необычайно волнующий — таким казался Блок в этот свой московский приезд» (Ю. С<оболев>. Блок в Москве. — «Литературная газета» (Казань), 1921, № 1); «Насилуя себя, больной, жестко-мрачный, вышел он на эстраду аудитории Политехнического музея. Читал он в тот вечер много, но как-то безразлично, не выбирая стихов: ему, видимо, было все равно. Слали записки, просили еще и еще. Он снова выходил, останавливался. Поднимал правую руку, проводил слабо концами пальцев по лбу, вынимал записную книжку, заглядывал и снова читал. И было так ясно: больной, безмерно усталый, лицо без улыбки, страдальческая маска. И единственное, что он прочел тогда, жутко заполонив дыхание ему внимавших, это и было первое стихотворение из

цикла «Пляски смерти»... Впечатление мое, помню, не было эстетического порядка, — это было нечто иное, но сильнейшее и незабываемое. Было ясно и внятно: он — про себя!» (М. Рыбникова. А. Блок — Гамлет. М., 1923, с. 42). Известно, что, кроме «Плясок смерти», Блок в этот приезд читал такие свои стихи, как: «Последнее напутствие», «Голос из хора», «Ночь — как ночь...» и «Я коротаю жизнь мою...». Но читал также и стихи совсем другого звучания (стихи о России, «Пушкинскому Дому», «Скифы»).

5. Поэму «Двенадцать» Блок публично не читал никогда.

6. Приведено неточно; нужно: «День — как день; ведь решена задача: все умрут» (*III,* 68).

7. См. воспоминания Б. Пастернака (с. 405 наст. тома).

8. В субботу 7 мая.

9. См. воспоминания П. Антокольского (с. 139 наст. тома); автором «Пластических этюдов» был не Михаил, а Александр Струве.

10. См. воспоминания К. Чуковского (с. 246 наст. тома). Вот несколько сгущенное впечатление стороннего человека, присутствовавшего на этом выступлении: «Аудитория была непривычная для Блока... Председатель — розовый, сытый, с небрежной поэтической шевелюрой — стоял рядом с Блоком, — тонким, изможденным, с лицом умученного Аполлона. После открытия воцарилось долгое жуткое молчание. Казалось, Блок ничего не сможет прочесть и уйдет. Но вот мучительная судорога пробежала по лицу, и он стал читать: «Рожденные в года глухие...» <...> После перерыва Блок прочел только два стихотворения — «Голос из хора» и «Коршун» (В. М-н. А. А. Блок в Москве. — Газета «Голос России» (Берлин), 1922, 6 августа).

11. Из стих. Блока «Погружался я в море клевера...» (*I*, 265).

ЛЕВ НИКУЛИН

АЛЕКСАНДР БЛОК

Впервые — «Знамя», 1939, № 9, с. 163—168. Печатается по кн.: Лев Никулин. Годы нашей жизни. Воспоминания и портреты. М., 1966 (с восстановлением, по указанию автора, случайно выпавших из текста трех строк).

Никулин Лев Вениаминович (1891—1967) — советский писатель. Родился в Волынской губернии, в семье актера и театрального деятеля, учился в Московском коммерческом институте, в печати выступил в 1911 г., сотрудничал в сатирических журналах и

газетах (стихи, фельетоны, рецензии). Участвовал в гражданской войне, работая в культпросвете Красной Армии; в 1921 г. с советской дипломатической миссией посетил Афганистан. Автор стихотворных сборников «История и стихи Анжелики Сафьяновой» (1918) и «Страдиварий» (1919), поэмы «Красный флот» (1923), пьесы «Последний день Парижской коммуны» (1921) и многочисленных книг прозы (романы, повести, рассказы, путевые очерки, воспоминания и пр.).

1. Из стих. Блока «Весенний день прошел без дела...» (*III,* 74).

2. Из стих. «Русь» (*II,* 106).

3. Слова Блока (из «Скифов»).

4. Речь идет об одном из выступлений Блока в Москве, в мае 1920 г.

5. Ю. Анненкова.

6. В казенной квартире Л. М. Рейснер, в ту пору комиссара Главного морского штаба.

7. С. Городецкий.

8. См. сб. С. Городецкого «Четырнадцатый год» (П., 1915).

9. См. запись от 13 августа 1920 г. (*IX,* 499).

НАДЕЖДА ПАВЛОВИЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

Печатается: первая часть — по сб. «Феникс», кн. I. М., 1922; вторая часть — по журналу «Рупор», 1922, № 3. В дальнейшем Н. Павлович еще не раз возвращалась к воспоминаниям о Блоке, варьируя, по преимуществу, первоначальный текст («Об Александре Блоке». — «Огонек», 1946, № 28; «Памятные встречи». — «Литературная газета», 1955, № 141, 26 ноября; см. также: «Мать Блока». — «Россия», 1923, № 7). В расширенном виде «Воспоминания об Александре Блоке» Н. Павлович напечатаны: *Блоковский сборник, I;* то же — «Прометей», 1977, № 11.

Павлович Надежда Александровна (1895—1980) — поэт, переводчик и критик (иногда печаталась под фамилией Мих. Павлов). Училась в Псковской гимназии и впервые выступила в печати со стихами в 1911 г., в газете «Псковская жизнь». Посещала историко-филологический факультет Московских Высших женских курсов. После Октября работала в московском Пролеткульте, в 1919—1920 гг. — секретарем Внешкольного отдела Наркомпроса. Автор стихотворных сборников: «Берег» (1922), «Золотые ворота» (1923), «Думы и воспоминания» (1962, изд. 2-е, доп. — 1966),

«Сквозь долгие года». Избранные стихи (1977) и ряда книжек: для детей. Центральное стихотворное произведение Н. Павлович — поэма «Воспоминания об Александре Блоке». Блоку и его памяти посвящены также многие стихи Н. Павлович в ее ранних сборниках. Знакомство Н. Павлович с Блоком (если не считать краткой встречи в Москве, в мае 1920 г.) продолжалось восемь месяцев — с 19 июня 1920 г. по начало марта 1921 г. (см.: *VII,* 420; *Блоковский сборник, I,* 494).

1. Очевидно, имеется в виду стих. 1901 г. «В день холодный, в день осенний...», в рукописи и в первых публикациях озаглавленное: «Поле за Петербургом». Замечание Блока могло относиться к заключительным строфам:

Злые времени законы
Усыпили скорбный дух.
Прошлый вой, былые стоны
Не услышишь — я потух.

Самый огнь — слепые очи
Не сожжет мечтой былой.
Самый день — темнее ночи
Усыпленному душой.

2. «Мы все простим — и не нарушим...» (*I*, 172).

S. «Венецейской жизни, мрачной и бесплодной...» Это стихотворение отмечено в дневнике Блока *(VII,* 371).

4. См.: *III,* 539.

5. См.: *VI,* 435.

6. О фракционной борьбе в Союзе поэтов см. в воспоминаниях. В. Зоргенфрея и Вс. Рождественского (с. 31 и 214 наст. тома).

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

ИЗ ОЧЕРКА «ИСТОРИЯ МОИХ КНИГ»

Впервые (частично) — в очерке «Начало» («Красная новь»,. 1941, № 6, с. 75—76). Печатается по изданию: Всеволод Иванов. Собр. соч., т. I. М., 1958, с. 120—125.

Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963) — советский писатель. Учился в Павлодаре, в сельском училище и сельскохозяйственной школе, с пятнадцати лет вел скитальческую жизнь, побывав матросом, клоуном и «факиром», шарманщиком, куплетистом, цирковым борцом и типографским наборщиком. Писать начал в 1915 г. — стихи, в 1916 г. — прозу; два рассказа, посланных М. Горькому, были напечатаны в сборнике пролетарских

писателей (1916). В 1917 г. был меньшевиком, в дальнейшем служил в Красной Армии, воевал с белочехами, был мобилизован колчаковцами, попал в плен к красным. В конце 1920 г. при помощи М. Горького перебрался в Петроград, где вошел в группу молодых советских писателей «Серапионовы братья».

1. В очерке «Начало» после этого — выпущенный кусок: «Здание Пролеткульта совершенно пустынно: коммунисты на фронте, спецы предпочитают переждать бурю дома. Еще вчера один из преподавателей Литературной студии, знаменитый поэт, несмотря на весну шедший в дохе по Невскому, увидав меня, остановился и спросил, выпятив широкую челюсть: «Занятия производите?» — «Произвожу», — ответил я. «И офицеров не боитесь? Скоро по Невскому поедут. Интересно». Я смолчал. Мне не хотелось плохо думать о преподавателе и о литературе. Знаменитый поэт, распахнув доху, двинулся вперед» («Красная новь», 1946, № 6, с. 75—76; *знаменитый поэт* — Н. Гумилев).

БОРИС ПАСТЕРНАК

ИЗ ОЧЕРКА «ЛЮДИ И ПОЛОЖЕНИЯ»

Печатается по журналу «Новый мир», 1967, № 1, с. 214.

Пастернак Борис Леонидович (1890—1960) — советский поэт. Родился, вырос и прожил всю жизнь в Москве. В 1908 г. окончил гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета, через год перешел на философское отделение историко-филологического факультета, которое окончил в 1913 г. Летом 1912 г. в Марбургском университете слушал лекции неокантианцев Когена и Наторпа. Увлекался музыкой, изучал теорию композиции и сам сочинял для фортепьяно. В печати выступил в 1913 г. Первые сборники стихов: «Близнец в тучах» (1914), «Поверх барьеров» (1917), «Сестра моя жизнь» (1922, — книга была написана летом 1917 г.), «Темы и вариации» (1923). Единственное дошедшее до нас высказывание Блока о Б. Пастернаке относится к маю 1920 г.; это строгий отзыв о выполненных Пастернаком переводах произведений Гете «Посвящение» и «Тайны» (*VI,* 468—469). Кроме того, Блок читал трагедию Г. Клейста «Роберт Гискард» в переводе Б. Пастернака (см.: *IX,* 466).

1. 7 мая 1921 г.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ИЗ ОГНЕННОЙ РОССИИ

Впервые — в газете «Последние новости» (Париж), 1921, 2 декабря. Печатается по журналу «Звено» (Берлин), 1922, № 1, по экземпляру, исправленному А. М. Ремизовым (собрание В. Н. Орлова). Вошло в кн. А. Ремизова: «Ахру. Повесть петербургская». Берлин—Пб.—М., 1922 (под заглавием: «К звездам») и «Взвихренная Русь». Париж, 1927.

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — писатель, примыкавший к символистам. Происходил из московской «старокоренной» купеческой семьи; учился на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета. В ноябре 1896 г. был арестован на студенческой демонстрации как агитатор и удален из университета без права возвращения; после полуторамесячного одиночного заключения был сослан в Пензенскую губернию под гласный надзор полиции; в Пензе, в марте 1898 г., был снова арестован и провел пять лет в тюрьмах и ссылках (Пенза, Усть-Сысольск, Вологда) и под полицейским наблюдением (с 1903 г.: Херсон, Одесса, Киев); в январе 1905 г. получил разрешение на въезд в Петербург, где прожил до 5 августа 1921 г., когда (за два дня до смерти Блока) легально уехал за границу. Около двух лет провел в Берлине, с ноября 1923 г. жил в Париже, где и умер. Октябрьскую революцию Ремизов принял с левоэсеровских позиций. В первые советские годы продолжал активную литературную деятельность: работал в Театральном отделе Наркомпроса, часто выступал и печатался. Очутившись за рубежом, в политической жизни белой эмиграции участия не принимал; в 1946 г. восстановил свое советское гражданство. В печати впервые выступил в 1902 г. в московской газете «Курьер»; автор более восьмидесяти книг (стихов и прозы).

Блок познакомился с А. М. Ремизовым в начале 1905 г., когда тот, по возвращении из ссылки, был определен на должность заведующего конторой журнала «Вопросы жизни». Вскоре между ними установились тесные дружеские отношения. Блок считал Ремизова «одним из самых серьезных и глубоких писателей нашего времени», осуждая, впрочем, «вычурность» его ранних произведений (*V,* 407).

1. *Фремденхейм* (нем. Fremdenheim) — «заезжий дом», гостиница.

2. Имеются в виду поэма Блока «Двенадцать» и «Слово о погибели русской земли» А. Ремизова (впервые напечатано во втором сб. «Скифы», 1918).

8. Намек на стихи Блока (в драме «Роза и Крест»): «Меть свои крепкие латы // Знаком креста на груди!»

4. Из стих. Блока «Болотные чертенятки» (1905; *II*, 10), посвященного А. Ремизову.

5. Имеются в виду исследования Б. Аничкова «Весенняя обрядовая песня» и материалы по французскому средневековью, которые изучал Блок в связи с работой над драмой «Роза и Крест».

6. На Монетной ул. Блок жил в 1910—1912 гг.; с 24 июля 1912 г. жил уже на Офицерской.

7. Имеются в виду два сб. «Скифы», изданные в 1917 и 1918 гг.

8. И. Ионов, возглавлявший Петроградское отделение Государственного издательства, самовольно чинил препятствия деятельности изд-ва «Алконост». Блок обращался за содействием к А. В. Луначарскому и М. Горькому — это нашло отражение в дневнике, записных книжках и письмах Блока.

9. См. рецензию Блока на «Зеленый сборник», изданный в 1905 г. (*V,* 586).

10. «Унижение» (*III,* 32).

11. В дневнике А. М. Ремизова (январь 1918 г.) записано: «Долго разговаривал с Блоком по телефону; он слышит «музыку» во всей этой метели, пробует писать и написал что-то» (А. Ремизов. Взвихренная Русь. Париж, 1927, с. 255). См. также: Н. Кодрянская. Алексей Ремизов. Париж, 1959, с. 103.

КОНСТ. ФЕДИН

АЛЕКСАНДР БЛОК

Впервые: первая часть — «Книга и революция», 1921, № 1; вторая часть (в первоначальной редакции) — «Дружба народов», 1955, № 12. Печатается по кн.: Конст. Федин. Писатель. Искусство. Время. М., 1957.

Федин Константин Александрович (1892—1977) — советский писатель. В печати выступил в 1913 г.; после Октября работал как публицист и журналист в Сызрани, во фронтовой печати, а с 1919 г. в Петрограде. В 1920 г. был секретарем Отдела печати Петросовета. По воспоминаниям С. М. Алянского, проявлял «особый интерес к жизни и творчеству Блока». Когда летом 1920 г. С. М. Алянский пришел к К. А. Федину, чтобы получить разрешение на выпуск сборника стихов Блока «Седое утро», «он буквально засыпал... вопросами о Блоке. Его интересовало все: чем

занят Блок, что он сейчас пишет, где бывает, как его здоровье, как у него с питанием. Словом, он хотел знать решительно все, что касается Блока. Вопросы Федина были полны преклонением перед поэтом и искренней тревогой за его судьбу... В тот же вечер я был на Офицерской ул. и рассказывал Блоку о своем походе в Отдел печати; рассказывал об удивительном секретаре, о том, как хорошо он относится к «Алконосту»... На мой рассказ Александр Александрович заметил, что он «рад за «Алконост», ему, вероятно, повезло; а этот молодой человек, который вас так пленил, должно быть, любит поэзию, а возможно, что и сам пишет стихи» (сб. «Творчество Константина Федина». М., 1966, с. 440). Очевидно, под впечатлением рассказа С. М. Алянского Блок писал Н. Павлович по поводу одного задуманного дела: «Думаю, что хорошо бы пойти к Федину (который очень мил)...» (*Блоковский сборник, I,* с. 476).

1. Речь идет о выступлении Блока 16 ноября 1919 г. с докладом «Крушение гуманизма» на открытии Вольной философской ассоциации (Вольфилы).

Концовка тома (текст на с. 420) взята из книги: Конст. Федин. Горький среди нас. Картины литературной жизни, М., 1967, с. 93.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *

* Римской цифрой обозначен том, арабской — страница. В составлении указателя принимали участие К. А. Кумпан и А. М. Конечный.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСПЕПЕЛЯЮЩИЕ ГОДЫ
(Продолжение)

Первая цифра обозначает страницу текста, вторая — комментария.

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ

Б70 **Александр Блок в воспоминаниях современников.** В 2-х т. — М.: Худож. лит., 1980.
Т. 2. / Сост., подготовка текста и коммент. Вл. Орлова. 1980. 527 с. /Серия лит. мемуаров/

Во второй том входят воспоминания Вс. Рождественского П. Антокольского, К. Чуковского, С. Алянского, М. Горького, А. Ахматовой и др.

Б $\frac{70202\text{-}244}{028(01)\text{-}80}$ 50-80 4702010100 8 Р1

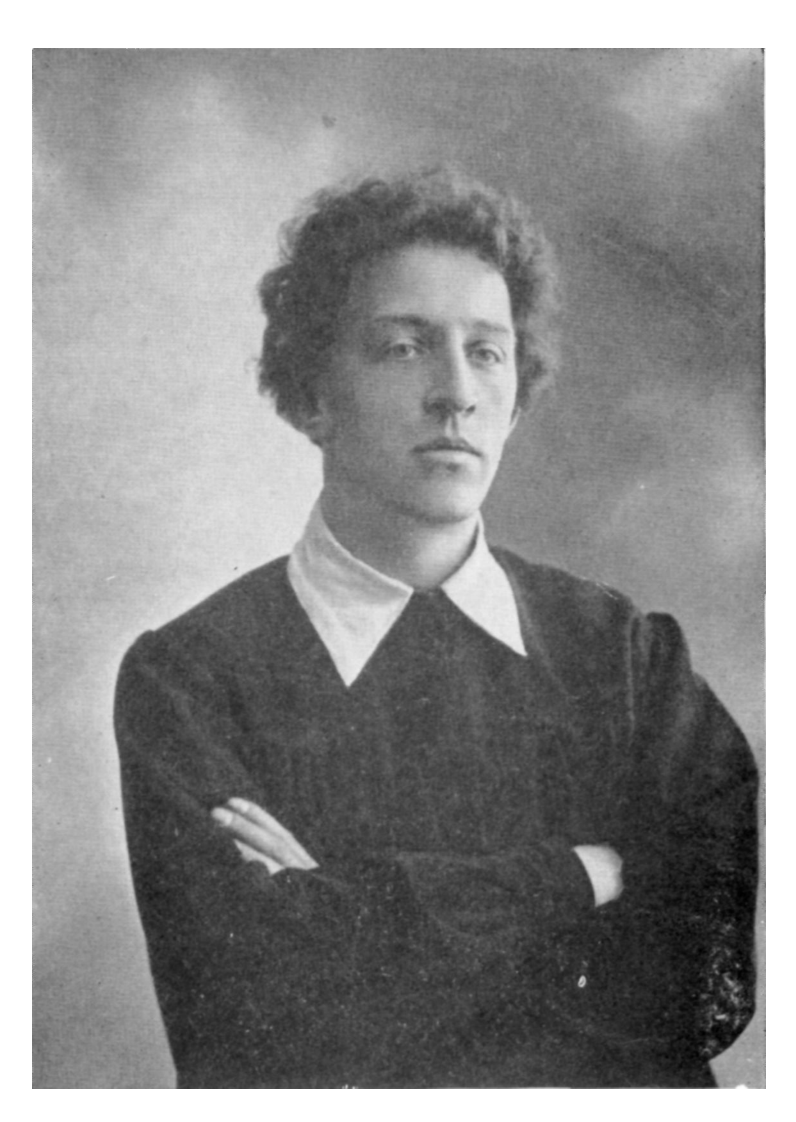
**АЛЕКСАНДР БЛОК
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ
Том 2**

Редактор *А. Саакянц*
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
Л. Синицына
Корректор
Г. Асланянц

ИБ № 1599
Сдано в набор 27.11.79. Подписано к печати А01901 от 18.08.80. Формат 84Х108$^1/_{32}$. Бумага типограф. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 27,72+1 вкл.+альб. =28,612 усл. печ. л. 28,759+1 вкл.+альб.=29,557 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 454. Цена 2 р.

Издательство
«Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29



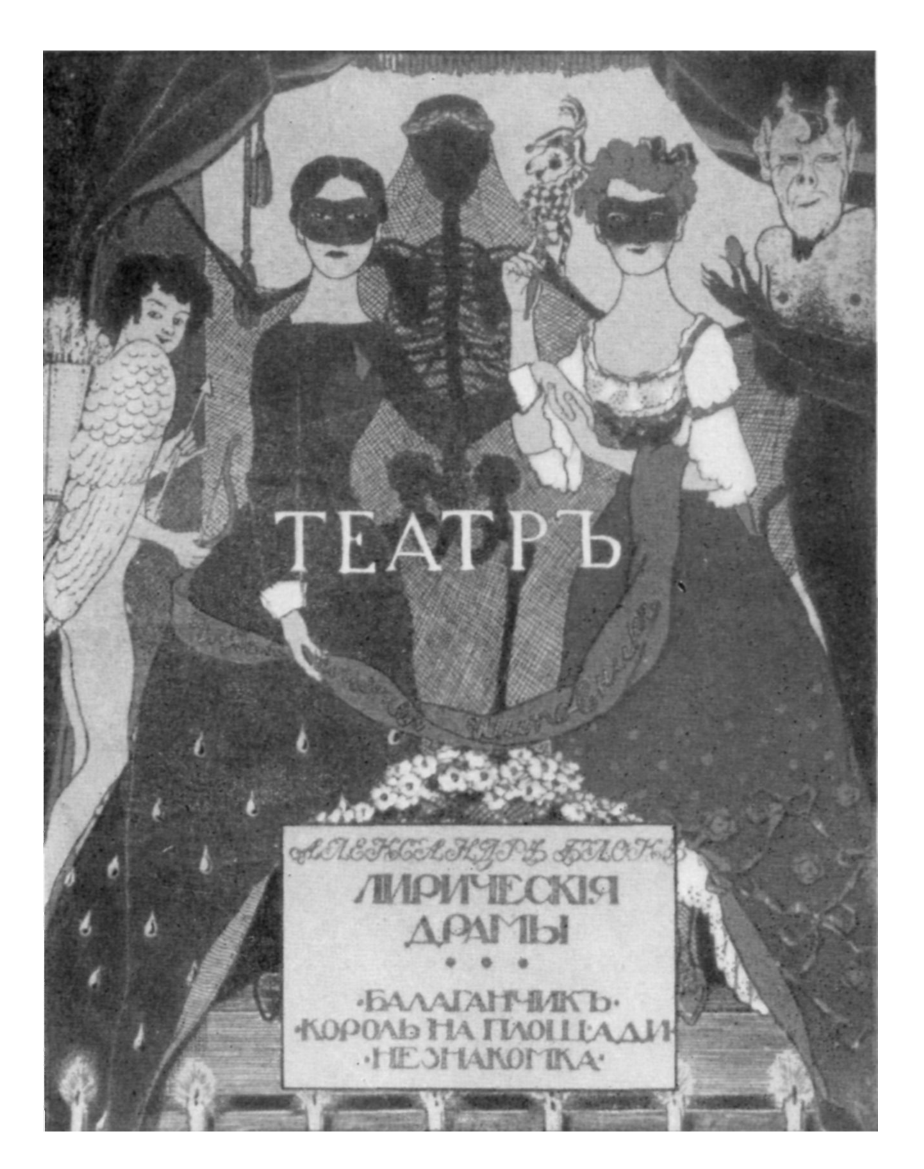
А. Блок. Фотография Д. С. Здобнова (1907 г.).



А. Блок. Фотография (Киев, начало октября 1907 г.).



А. Блок. Портрет работы К. А. Сомова. Цветные карандаши (апрель 1907 г.).



Обложка сборника «Лирические драмы» (1908 г.).



Группа писателей. Фотография Д. С. Здобнова (апрель 1908 г.).
Слева направо: Г. И. Чулков, К. А. Сюннерберг, А. А. Блок,
Ф. К. Сологуб.



Группа, снятая в саду в Шахматове. Фотография
И. Д. Менделеева. Слева направо: М. А. Бекетова,
Л. Д. Блок, С. А. Кублицкая-Пиоттух,
А. А. Кублицкая-Пиоттух, Ф. А. Кублицкий-Пиоттух,
И. Д. Менделеев, А. Блок.



А. Блок. Фотография И. Д. Менделеева (Шахматово, осень 1900 г.).



Группа, снятая на крыльце дома в Шахматове. Фотография И. Д. Менделеева (осень 1909 г.). А. Блок, А. А. Кублицкая-Пиоттух, Л. Д. Блок.



А. Блок. Фотография 1911 г.



Дом на Пряжке, где с 1912 г. жил и умер А. Блок.



Л. Д. Блок в костюме сестры милосердия.
Фотография (1915 г.).



А. Блок. Фотография (1913 г.).



А. Блок. Фотография, снятая 17 июня 1916 г. в саду Народного дома в Петрограде.



А. Блок. Фотография (лето 1917 г.). Зимний дворец.



А. Блок. Фотография (октябрь 1918 г.).



А. Блок на балконе своей квартиры. Фотография
С. М. Алянского (лето 1919 г.).



А. Блок. Фотография (1920 г.).